

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й
М И Р

6

1990

6

Н О В Ы Й
М И Р

1990



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1925 г.

№ 6

Июнь, 1990 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ДАВИД САМОЙЛОВ — Я вырос в железной скворешне..., стихотворение	3
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Раковый корпус, повесть	4
ЭДУАРД БАЛАШОВ — Два стихотворения	117
ЮРИЙ КАРАБЧИЕВСКИЙ — Кто ближе в этот миг, стихи	118
РУСЛАН КИРЕЕВ — Играем в снежки среди ночи. Поздняя проза	119
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ — Земные дети, стихи	138
АНДРЕЙ ВОЛОС — Рассказы	140
ТАТЬЯНА ЕФИМЕНКО — И тень летит за тенью, стихи. <i>Ирина Гитович</i> — Необходимы уточнения	172

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

А. ТВАРДОВСКИЙ — Наброски и черновики. Вступительное слово, публикация и примечания М. И. Твардовской	178
---	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН — О Твардовском	188
--------------------------------	-----

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

П. ПЭНЭЖКО — Поездка в Загорье. Земельный вопрос на хуторе и в его окрестностях	194
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

М. ВОСЛЕНСКИЙ — Номенклатура. Фрагменты книги	205
---	-----

(См на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
Д. МЕДРИШ — После выстрела. Пушкин: «Песня о Георгии Черном»	231
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Е. ТАМАРЧЕНКО — Идея правды в «Тихом Доне»	237
СИМОНА ВЕЙЛЬ — «Илиада», или Поэма о силе. Перевели с французского Кэтрин Темерсон и Александр Суконик. Вступительное слово С. Аверинцева. Послесловие Александра Суконика	249
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
А. Нежный. Современный паломник. Ирина Васюченко. Арлекин против Кощея.	261
<i>Политика и наука</i>	
Н. Бросова, Л. Лисюткина. Реабилитация здравого смысла.	267
КОРОТКО О КНИГАХ:	
В. Вахрушев.— Джеймс Джойс. Улисс. Роман	271
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

К СВЕДЕНИЮ ИЗДАТЕЛЬСТВ И РЕДАКЦИЙ

Обращаемся с просьбой ко всем советским и зарубежным издательствам, а также к редакциям газет и журналов всякий раз ставить нас в известность о намерениях перепечатать произведения, помещенные на страницах нашего журнала.

Редакционная коллегия.

ДАВИД САМОЙЛОВ
(1920—1990)

* * *

Я вырос в железной скворешне,
А был я веселый скворец.
Порою туманною, вешней
Звенела капель о торец.

Скворешня железная пела,
Когда задували ветра,
Железная ветка скрипела,
Железом гудела кора.

Рыдал оцинкованный желоб
Все ночи за гулкой стеной,
И дождь, как серебряный голубь,
Весной ворковал надо мной.

В скворешне учился я пенью
Железному миру под стать —
Звенеть ледяною капелью
И цинковым свистом свистать.

И если мне пенье иное,
Живое, уже ни к чему,
Так вставьте мне сердце стальное
И ключик вручите к нему.

Гоните воркующих горлиц,
Рубите глухие сады,
Пока не заржавели в горле
От слез и туманов лады.

Железом закройте мне руки,
Железом обшейте до пят,
Не то уже странные звуки
С утра в моем горле кипят.

Между 1946 и 1952 годом.

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН
*
РАКОВЫЙ КОРПУС

Повесть

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

(Главы 1—21)

Вообще не рак
Образование ума не прибавляет
Пчёлка
Тревоги больных
Тревоги врачей
История анализа
Право лечить
Чем люди живы
Tumor cordis
Дети
Рак берёзы
Все страсти возвращаются
И тени тоже
Правосудие
Каждому своё
Несуразности
Иссык-кульский корень
«И пусть у гробового входа...»
Скорость, близкая свету
Воспоминание о Прекрасном
Тени расходятся

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

(Главы 22—36)

Река, впадающая в пески
Зачем жить плохо?
Переливая кровь
Вега
Хорошее начинание
Что кому интересно
Всюду нечет
Слово жёсткое, слово мягкое
Старый доктор
Идолы рынка
С оборота
Счастливый конец
Потяжелей немного
Первый день творения
И последний день

World © Александр Солженицын. 1979. Повесть была принята к печати «Новым миром» осенью 1967 года, но тогда не была опубликована по не зависящим от редакции причинам. В 1968 году появилась по-русски в издательстве «Посев» (Франкфурт) и YMCA-PRESS (Париж). В окончательном виде вошла в собрание сочинений А. И. Солженицына (т. 4; Вермонт — Париж. YMCA-PRESS. 1979). Печатается по тексту этого издания. В публикации сохраняются особенности авторской орфографии и пунктуации.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Раковый корпус носил и номер тринадцать. Павел Николаевич Русанов никогда не был и не мог быть суеверен, но что-то опустилось в нём, когда в направлении ему написали: «тринадцатый корпус». Вот уж ума не хватило назвать тринадцатым какой-нибудь протезный или кишечный.

Однако во всей республике сейчас не могли ему помочь нигде, кроме этой клиники.

— Но ведь у меня — не рак, доктор? У меня ведь — не рак? — с надеждой спрашивал Павел Николаевич, слегка потрагивая на правой стороне шеи свою злоую опухоль, растущую почти по дням, а снаружи всё так же обтянутую безобидной белой кожей.

— Да нет же, нет, конечно, — в десятый раз успокоила его доктор Донцова, размашистым почерком исписывая страницы в истории болезни. Когда она писала, она надевала очки — скруглённые четырёхугольные, как только прекращала писать — снимала их. Она была уже немолода, и вид у неё был бледный, очень усталый.

Это было ещё на амбулаторном приёме, несколько дней назад. Назначенные в раковый даже на амбулаторный приём, больные уже не спали ночь. А Павлу Николаевичу Донцова определила лечь, и как можно быстрее.

Не сама только болезнь, не предусмотренная, не подготовленная, налетевшая как шквал за две недели на беспечного счастливого человека, — но не меньше болезни угнетало теперь Павла Николаевича то, что приходилось ложиться в эту клинику на общих основаниях, как он лечился уже не помнил когда. Стали звонить — Евгению Семёновичу, и Шендяпину, и Ульмасбаеву, а те в свою очередь звонили, выясняли возможности, и нет ли в этой клинике спецпалаты или нельзя хоть временно организовать маленькую комнату как спецпалату. Но по здешней тесноте не вышло ничего.

И единственное, о чём удалось договориться через главного врача — что можно будет миновать приёмный покой, общую баню и переодевалку.

И на их голубеньком «москвичике» Юра подвёз отца и мать к самым ступенькам Тринадцатого корпуса.

Несмотря на морозец, две женщины в застиранных бумазейных халатах стояли на открытом каменном крыльце — ёжились, а стояли.

Начиная с этих неопрятных халатов всё было здесь для Павла Николаевича неприятно: слишком истёртый ногами цементный пол крыльца; тусклые ручки двери, захватанные руками больных; вестибюль ожидающих с облезлой краской пола, высокой оливковой панелью стен (оливковый цвет так и казался грязным) и большими рейчатыми скамьями, на которых не помещались и сидели на полу приехавшие издалека больные — узбеки в стёганных ватных халатах, старые узбечки в белых платках, а молодые — в лиловых, красно-зелёных, и все в сапогах и в галошах. Один русский парень лежал, занимая целую скамейку, в растёгнутом, до полу свешенном пальто, сам истощавший, а с животом опухшим и непрерывно кричал от боли. И эти его вопли оглушили Павла Николаевича и так задели, будто парень кричал не о себе, а о нём.

Павел Николаевич побледнел до губ, остановился и прошептал:

— Капа! Я здесь умру. Не надо. Вернёмся.

Капиталина Матвеевна взяла его за руку твёрдо и сжала:

— Пашенька! Куда же мы вернёмся?.. И что дальше?

— Ну, может быть, с Москвой ещё как-нибудь устроится...

Капиталина Матвеевна обратилась к мужу всей своей широкой головой, ещё уширенной пышными медными стриженными кудрями:

— Пашенька! Москва — это, может быть, ещё две недели, может быть не удастся. Как можно ждать? Ведь каждое утро она больше!

Жена крепко сжимала его у кисти, передавая бодрость. В делах гражданских и служебных Павел Николаевич был неуклонен и сам, — тем приятней и спокойней было ему в делах семейных всегда полагаться на жену: всё важное она решала быстро и верно.

А парень на скамейке раздирался-кричал!

— Может, врачи домой согласятся... Заплатим... — неуверенно отпирался Павел Николаевич.

— Пасик! — внушала жена, страдая вместе с мужем, — ты знаешь, я сама первая всегда за это: позвать человека и заплатить. Но мы же выяснили: эти врачи не ходят, денег не берут. И у них аппаратура. Нельзя...

Павел Николаевич и сам понимал, что нельзя. Это он говорил только на всякий случай.

По уговору с главврачом онкологического диспансера их должна была ожидать старшая сестра в два часа дня вот здесь, у низа лестницы, по которой сейчас осторожно спускался больной на костылях. Но, конечно, старшей сестры на месте не было, и каморка её под лестницей была на замочке.

— Ни с кем нельзя договориться! — вспыхнула Капитолина Матвеевна. — За что им только зарплату платят!

Как была, объятая по плечам двумя чернобурками, Капитолина Матвеевна пошла по коридору, где написано было: «В верхней одежде вход воспрещён».

Павел Николаевич остался стоять в вестибюле. Боязливо, лёгким наклоном головы направо, он ощупывал свою опухоль между ключицей и челюстью. Такое было впечатление, что за полчаса — с тех пор, как он дома в последний раз посмотрел на неё в зеркало, окутывая кашне, — за эти полчаса она будто ещё выросла. Павел Николаевич ощущал слабость и хотел бы сесть. Но скамьи казались грязными и ещё надо было просить подвинуться какую-то бабу в платке с сальным мешком на полу между ног. Даже издали как бы достигал до Павла Николаевича смрадный запах от этого мешка.

И когда только научится наше население ездить с чистыми аккуратными чемоданами! (Впрочем, теперь, при опухолях, это уже было всё равно.)

Страдая от криков того парня и от всего, что видели глаза, и от всего, что входило через нос, Русанов стоял, чуть прислонясь к выступу стены. Снаружи вошёл какой-то мужик, перед собой неся поллитровую банку с наклейкой, почти полную жёлтой жидкостью. Банку он нес не пряча, а гордо приподняв, как кружку с пивом, выстоянную в очереди. Перед самым Павлом Николаевичем, чуть не протягивая ему эту банку, мужик остановился, хотел спросить, но посмотрел на котиковую шапку и отвернулся, ища дальше, к больному на костылях:

— Милай! Куда это несть, а?

Безногий показал ему на дверь лаборатории.

Павла Николаевича просто тошнило.

Раскрылась опять наружная дверь — и в одном белом халате вошла сестра. не миловидная, слишком долголицая. Она сразу заметила Павла Николаевича и догадалась, и подошла к нему.

— Простите, — сказала она через запышку, румяная до цвета накрашенных губ, так спешила. — Простите, пожалуйста! Вы давно меня ждёте? Там лекарства привезли, я принимаю.

Павел Николаевич хотел ответить едко, но сдержался. Уж он рад был, что ожидание кончилось. Подошёл, неся чемодан и сумку с продуктами, Юра — в одном костюме, без шапки, как правил машиной — очень спокойный, с покачивающимся высоким светлым чубом.

— Пойдёмте! — вела старшая сестра к своей кладовке под лестницей. — Я знаю, Низамутдин Бахрамович мне говорил, вы будете в своём белье и привезли свою пижаму, только ещё не ношенную, правда?

— Из магазина.

— Это обязательно, иначе ведь нужна дезинфекция, вы понимаете? Вот здесь вы переоденетесь.

Она открыла фанерную дверь и зажгла свет. В каморке со скошенным потолком не было окна, а висело много графиков цветными карандашами.

Юра молча занёс туда чемодан, вышел, а Павел Николаевич вошёл переодеваться. Старшая сестра рванулась куда-то ещё за это время сходить, но тут подошла Капитолина Матвеевна:

— Девушка, вы что, так торопитесь?

— Да н-немножко...

— Как вас зовут?

— Мита.

— Странное какое имя. Вы не русская?

— Немка...

— Вы нас ждать заставили.

— Простите, пожалуйста. Я сейчас там принимаю...

— Так вот слушайте, Мита, я хочу, чтоб вы знали. Мой муж... заслуженный человек, очень ценный работник. Его зовут Павел Николаевич.

— Павел Николаевич, хорошо, я запомню.

— Понимаете, он и вообще привык к уходу, а сейчас у него такая серьёзная болезнь. Нельзя ли около него устроить дежурство постоянной сестры?

Озабоченное беспокойное лицо Миты ещё озаботилось. Она покачала головой:

— У нас кроме операционных на шестьдесят человек три дежурных сестры днём. А ночью две.

— Ну вот, видите! Тут умирать будешь, кричать — не подойдут.

— Почему вы так думаете? Ко всем подходят.

Ко «всем»!.. Если она говорила «ко всем», то что ей объяснять?

— К тому ж ваши сёстры меняются?

— Да, по двенадцать часов.

— Ужасно это обезличенное лечение!.. Я бы сама с дочерью сидела посменно! Я бы постоянную сиделку за свой счёт пригласила, — мне говорят — и это нельзя..?

— Я думаю, это невозможно. Так никто ещё не делал. Да там в палате и стула негде поставить.

— Боже мой, воображаю, что это за палата! Ещё надо посмотреть эту палату! Сколько ж там коек?

— Девять. Да это хорошо, что сразу в палату. У нас новенькие лежат на лестницах, в коридорах.

— Девушка, я буду всё-таки просить, вы знаете своих людей, вам легче организовать. Договоритесь с сестрой или с санитаркой, чтобы Павлу Николаевичу было внимание не казённое... — она уже расщёлкнула большой чёрный ридикюль и вытянула оттуда три пятидесятки.

Недалеко стоявший молчаливый сын отвернулся.

Мита отвела обе руки за спину.

— Нет, нет! Таких поручений...

— Но я же не вам даю! — совала ей в грудь растопыренные бумажки Капитолина Матвеевна. — Но раз нельзя это сделать в законном порядке... Я плачу за работу! А вас прошу только о любезности передать!

— Нет-нет, — холодела сестра. — У нас так не делают.

Со скрипом двери из каморки вышел Павел Николаевич в новенькой зелёно-коричневой пижаме и тёплых комнатных туфлях с меховой оторочкой. На его почти безволосой голове была новенькая малиновая тубетейка. Теперь, без зимнего воротника и кашне, особенно грозно выглядела его опухоль в кулак на боку шеи. Он и голову уже не держал ровно, а чуть набок.

Сын пошёл собрать в чемодан всё снятое. Спрятав деньги в ридикюль, жена с тревогой смотрела на мужа:

— Не замёрзнешь ли ты?.. Надо было тёплый халат тебе взять. Привезу. Да, здесь же шарфик, — она вынула из его кармана. — Обмотай, чтоб не простудить! — В чернобурках и в шубе она казалась втрое мощнее мужа. — Теперь иди в палату, устраивайся. Разложи продукты, осмотришься, продумай, что тебе нужно, я буду сидеть ждать. Спустишься, скажешь — к вечеру всё привезу.

Она не тряла головы, она всегда всё предусматривала. Она была настоящий товарищ по жизни. Павел Николаевич с благодарностью и страданием посмотрел на неё, потом на сына.

— Ну, так значит едешь, Юра?

— Вечером поезд, папа,— подошёл Юра. Он держался с отцом почтительно, но, как всегда, порыва у него не было никакого, сейчас вот — порыва разлуки с отцом, оставляемым в больнице. Он всё воспринимал погащенно.

— Так, сынок. Значит, это первая серьёзная командировка. Возьми сразу правильный тон. Никакого благодушия! Тебя благодушие губит! Всегда помни, что ты — не Юра Русанов, не частное лицо, ты — представитель за-ко-на, понимаешь?

Понимал Юра или нет, но Павлу Николаевичу трудно было сейчас найти более точные слова. Мита мялась и рвалась идти.

— Так я же подожду с мамой, — улыбался Юра. — Ты не прощайся, иди пока, пап.

— Вы дойдёте сами? — спросила Мита.

— Боже мой, человек еле стоит, неужели вы не можете довести его до койки? Сумку донести!

Павел Николаевич сиротливо посмотрел на своих, отклонил поддерживающую руку Миты и, крепко взявшись за перила, стал всходить. Сердце его забилось, и ещё не от подъёма совсем. Он всходил по ступенькам, как всходят на этот, на как его... ну, вроде трибуны, чтобы там, наверху, отдать голову.

Старшая сестра опережая, взбежала вверх с его сумкой, там что-то крикнула Марии и ещё прежде, чем Павел Николаевич прошёл первый марш, уже сбегала по лестнице другою стороною и из корпуса вон, показывая Капитолине Матвеевне, какая тут ждёт её мужа чуткость.

А Павел Николаевич медленно взошёл на лестничную площадку — широкую и глубокую, какие могут быть только в старинных зданиях. На этой серединной площадке, ничуть не мешая движению, стояли две кровати с больными и ещё тумбочки при них. Один больной был плох, изнурён и сосал кислородную подушку.

Стараясь не смотреть на его безнадежное лицо, Русанов повернул и пошёл выше, глядя вверх. Но и в конце второго марша его не ждало ободрение. Там стояла сестра Мария. Ни улыбки, ни привета не излучало её смуглое иконописное лицо. Высокая, худая и плоская, она ждала его, как солдат, и сразу же пошла верхним вестибюлем, показывая, куда. Отсюда было несколько дверей, и только их не загромождала, ещё стояли кровати с больными. В беззаконном завороте под постоянно горячей настольной лампой стоял письменный столик сестры, её же процедурный столик, а рядом висел настенный шкаф, с матовым стеклом и красным крестом. Мимо этих столиков, ещё мимо кровати, и Мария указала длинной сухой рукой:

— Вторая от окна.

И уже торопилась уйти — неприятная черта общей больницы, не постоит, не поговорит.

Створки двери в палату были постоянно распахнуты, и всё же, переходя порог, Павел Николаевич ощутил влажно-спёртый смешанный, отчасти лекарственный запах — мучительный при его чуткости к запахам.

Койки стояли поперёк стен тесно, с узкими проходами по ширине тумбочек, и средний проход вдоль комнаты тоже был двойм разминуться.

В этом проходе стоял коренастый широкоплечий больной в розовополосчатой пижаме. Толсто и туго была обмотана бинтами вся его шея — высоко, почти под мочки ушей. Белое сжимающее кольцо бинтов не оставляло ему свободы двигать тяжёлой тупой головой, буро заросшей.

Этот больной хрипло рассказывал другим, слушавшим с коек. При входе Русанова он повернулся к нему всем корпусом, с которым наглухо сливалась голова, посмотрел без участия и сказал:

— А вот — ещё один рачок.

Павел Николаевич не счёл нужным ответить на эту фамильярность. Он чувствовал, что и вся комната сейчас смотрит на него, но ему не хотелось ответно оглядывать этих случайных людей и даже здороваться с ними. Он лишь отодвигающим движением повёл рукою в воздухе, указывая бурому больному посторониться. Тот пропустил Павла Николаевича и опять так же всем корпусом с приклёпанной головой повернулся вослед.

— Слышь, браток, у тебя рак — чего? — спросил он нечистым голосом.

Павла Николаевича, уже дошедшего до своей койки, как заскобило от этого вопроса. Он поднял глаза на нахала, стараясь не выйти из себя (но всё-таки плечи его дёрнулись), и сказал с достоинством:

— Ни чего. У меня вообще не рак.

Бурый просопел и присудил на всю комнату:

— Ну, и дурак! Если б не рак — разве б сюда положили?

2

В этот первый же вечер в палате за несколько часов Павлу Николаевичу стало жутко.

Твёрдый комок опухоли — неожиданной, ненужной, бессмысленной, никому не полезной, притащил его сюда, как крючок тащит рыбу, и бросил на эту железную койку — узкую, жалкую, со скрипящей сеткой, со скудным матрасиком. Стоило только переодеться под лестницей, проститься с родными и подняться в эту палату — как захлопнулась вся прежняя жизнь, а здесь выперла такая мерзкая, что от неё ещё жутче стало, чем от самой опухоли. Уже не выбрать было приятного, успокаивающего, на что смотреть, а надо было смотреть на восемь пришибленных существ, теперь ему как бы равных, — восемь больных в бело-розовых, сильно уже слинявших и поношенных пижамках, где залатанных, где надорванных, почти всем не по мерке. И уже не выбрать было, что слушать, а надо было слушать нудные разговоры этих сбродных людей, совсем не касавшиеся Павла Николаевича и не интересные ему. Он охотно приказал бы им замолчать, и особенно этому надоедному буроволосому с бинтовым охватом по шее и зацементированной головой — его просто Ефремом все звали, хотя был он не молод.

Но Ефрем никак не усмирался, не ложился и из палаты никуда не уходил, а неспокойно похаживал средним проходом вдоль комнаты. Иногда он взмарщивался, перекашивался лицом, как от укола, брался за голову. Потом опять ходил. И, походив так, останавливался именно у кровати Русанова, переклонялся к нему через спинку всей

своей негнущейся верхней половиной, выставляя широкое конопатое хмурое лицо и внушал:

— Теперь все, профессор. Домой не вернёшься, понятно?

В палате было очень тепло, Павел Николаевич лежал сверх одеяла в пижаме и тубетейке. Он поправил очки с золочёным ободочком, посмотрел на Ефрема строго, как умел смотреть, и ответил:

— Я не понимаю, товарищ, чего вы от меня хотите? И зачем вы меня запугиваете? Я ведь вам вопросов не задаю.

Ефрем только фыркнул злобно:

— Да уж задавай — не задавай, а домой не вернёшься. Очки вон можешь вернуть Пижаму новую.

Сказав такую грубость, он выпрямил неповоротливое туловище и опять зашагал по проходу, нелёгкая его несла.

Павел Николаевич мог, конечно, оборвать его и поставить на место, но для этого он не находил в себе обычной воли: она упала и от слов обмотанного чёрта ещё опускалась. Нужна была поддержка, а его в яму стаскивали. В несколько часов Русанов как потерял всё положение своё, заслуги, планы на будущее — и стал семью десятками килограммов тёплого белого тела, не знающего своего завтра.

Наверно, тоска отразилась на его лице, потому что в одну из следующих проходок Ефрем, став напротив, сказал уже миролюбиво:

— Если и попадешь домой — не надолго, а-а-а-а сюда. Рак людей любит. Кого рак клешней схватит — то уж до смерти.

Не было сил Павла Николаевича возражать — и Ефрем опять занялся ходить. Да и кому было в комнате его осадить! — все лежали какие-то прибитые или не русские. По той стене, где из-за печного выступа помещалось только четыре койки, одна койка — прямо против русановской, ноги к ногам через проход, была Ефремова, а на трёх остальных совсем были юнцы: простоватый смуглявый хлопец у печки, молодой узбек с костылем, а у окна — худой, как глист, и скрюченный на своей койке пожелтевший стонущий парень. В этом же ряду, где был Павел Николаевич, налево лежали два нацмена, потом у двери русский пацан, рослый, стриженный под машинку, сидел читал, — а по другую руку на последней приоконной койке тоже сидел будто русский, но не обрадуешься такому соседству: морда у него была бандитская. Так он выглядел, наверно, от шрама (начинался шрам близ угла рта и переходил по низу левой щеки почти на шею); а может быть от непричёсанных дыбливых чёрных волос, торчавших и вверх, и вбок; а может вообще от грубого жёсткого выражения. Бандюга этот туда же тянулся к культуре — дочитывал книгу.

Уже горел свет — две ярких лампы с потолка. За окнами стемнело. Ждали ужина.

— Вот тут старик есть один, — не унимался Ефрем, — он внизу лежит, операция ему завтра. Так ему ещё в сорок втором году рачок маленький вырезали и сказали — пустяки, иди гуляй. Понял? — Ефрем говорил будто бойко, а голос был такой, как самого бы резали. — Тринадцать лет прошло, он и забыл про этот диспансер, водку пил, баб трепал — нотный старик увидишь. А сейчас рачище у него та-кой вырос! — Ефрем даже чмокнул от удовольствия, — прямо со стола да как бы не в морг.

— Ну хорошо, довольно этих мрачных предсказаний! — отмахнулся и отвернулся Павел Николаевич и не узнал своего голоса: так неавторитетно, так жалобно он прозвучал.

А все молчали. Ещё нудьги нагонял этот исхудалый, всё вертящийся парень у окна в том ряду. Он сидел — не сидел, лежал — не лежал, скрючился, подобрал коленки к груди, и, никак не находя удобнее, перевалился головой уже не к подушке, а к изножью кровати. Он тихо-тихо стонал, гримасами и подёргиваниями выражая, как ему больно.

Павел Николаевич отвернулся и от него, спустил ноги в шлёпанцы и стал бессмысленно инспектировать свою тумбочку, открывая и закрывая то дверцу, где были густо сложены у него продукты, то верхний ящичек, где лежали туалетные принадлежности и электробритва.

А Ефрем всё ходил, сложив руки в замок перед грудью, иногда вздрагивал от уколов, и гудел своё как припев, как по покойнику: — Так что — сикиверное наше дело... очень сикиверное...

Лёгкий хлопок раздался за спиной Павла Николаевича. Он обернулся туда осторожно, потому что каждое шевеление шеи отдавалось болью, и увидел, что это его сосед, полубандит, хлопнул коркой прочтённой книги и вертел её в своих больших шершавых руках. Наискось по тёмно-синему переплёту и такая же по корешку шла тиснённая золотом и уже потускневшая роспись писателя. Чья это роспись, Павел Николаевич не разобрал, а спрашивать у такого типа не хотелось. Он придумал соседу прозвище — Оглоед. Очень подходило.

Оглоед угрюмыми глазищами смотрел на книгу и объявил беззастенчиво громко на всю комнату:

— Если б не Дёмка эту книгу в шкафу выбирал, так поверить бы нельзя, что нам её не подкинули.

— Чего — Дёмка? Какую книгу? — отозвался пацан от двери, читая своё.

— По всему городу шарь — пожалуй, нарочно такой не найдёшь.— Оглоед смотрел в широкий тупой затылок Ефрема (давно не стриженные от неудобства его волосы налезали на повязку), потом в напряжённое лицо.— Ефрем! Хватит скулить. Возьми-ка вот книжку почитай.

Ефрем остановился как бык, посмотрел мутно.

— А зачем — читать? Зачем, как все подохнем скоро?

Оглоед шевельнул шрамом:

— Вот потому и торопись, что скоро подохнем. На, на.

Он уже протягивал книгу Ефрему, но тот не шагнул:

— Много тут читать. Не хочу.

— Да ты неграмотный, что ли? — не очень-то и уговаривал Оглоед.

— Я — даже очень грамотный. Где мне нужно — я очень грамотный.

Оглоед пошарил за карандашом на подоконнике, открыл книгу сзади и, просматривая, кое-где поставил точки.

— Не бойсь,— бормотнул он,— тут рассказышки маленькие. Вот эти несколько — попробуй. Да надоел больно, скулишь. Почитай.

— А Ефрем ничего не боётся! — Он взял книгу и перешвырнул к себе на койку.

На одном костыле прохромал из двери молодой узбек Ахмаджан — один весёлый в комнате. Объявил:

— Ложки к бою!

И смуглявый у печки оживился:

— Вечерю несут, хлопцы!

Показалась раздатчица в белом халате, держа поднос выше плеча. Она перевела его перед себя и стала обходить койки. Все, кроме измученного парня у окна, зашевелились и разбирали тарелки. На каждого в палате приходилась тумбочка, и только у пацана Дёмки не было своей, а пополам с ширококостным казаком, у которого распух над губою неперебинтованный безобразный тёмно-бурый струп.

Не говоря о том, что Павлу Николаевичу и вообще сейчас было не до еды, даже до своей домашней, но один вид этого ужина — прямоугольной резиновой манной бабки с железным жёлтым соусом, и этой нечистой серой алюминиевой ложки с дважды перекрученным стеблом,— только ещё раз горько напомнил ему, куда он попал и какую, может быть, сделал ошибку, согласясь на эту клинику.

А все, кроме стонущего парня, дружно принялись есть. Павел Николаевич не взял тарелку в руки, а постучал ноготком по её ребру, оглядываясь кому б её отдать. Одни сидели к нему боком, другие спиной, а тот хлопец у двери как раз видел его.

— Тебя как зовут? — спросил Павел Николаевич, не напрягая голоса (тот должен был сам услышать).

Стучали ложки, но хлопец понял, что обращаются к нему, и ответил готовно:

— Прошкой... той, э-э-э... Прокофий Семёныч.

— Возьми.

— Та що ж, можно... — Прошка подошёл, взял тарелку, кивнул благодарно.

А Павел Николаевич, ощущая жёсткий комок опухоли под челюстью, вдруг сообразил, что ведь он здесь был не из лёгких. Изо всех девяти только один был перевязан — Ефрем, и в таком месте как раз, где могли порезать и Павла Николаевича. И только у одного были сильные боли. И только у того здорового казаха через койку — тёмно-багровый струп. И вот — костыль у молодого узбека, да и то он лишь чуть на него приступал. А у остальных вовсе не было заметно снаружи никакой опухоли, никакого безобразия, они выглядели как здоровые люди. Особенно — Прошка, он был румян, как будто в доме отдыха, а не в больнице, и с большим аппетитом вылизывал сейчас тарелку. У Оглоеда хоть была серизна в лице, но двигался он свободно, разговаривал развязно, а на бабу так накинулся, что мелькнуло у Павла Николаевича — не симулянт ли он, пристроился на государственных харчах, благо в нашей стране больных кормят бесплатно.

А у Павла Николаевича ступок опухоли поддавливал под голову, мешал поворачиваться, рос по часам — но врачи здесь не считали часов: от самого обеда и до ужина никто не смотрел Русанова и никакого лечения не было применено. А ведь доктор Донцова заманила его сюда именно экстренным лечением. Значит, она совершенно безответственна и преступно-халатна. Русанов же поверил ей и терял золотое время в этой тесной затхлоу нечистой палате вместо того, чтобы созваниваться с Москвой и лететь туда.

И это сознание делаемой ошибки, обидного промедления, наложенное на его тоску от опухоли, так защемило сердце Павла Николаевича, что непереносимо было ему слышать что-нибудь, начиная с этого стука ложек по тарелкам, и видеть эти железные кровати, грубые одеяла, стены, лампы, людей. Ощущение было, что он попал в западню и до утра нельзя сделать никакого решительного шага.

Глубоко несчастный, он лёг и своим домашним полотенцем закрыл глаза от света и ото всего. Чтоб отвлечься, он стал перебирать дом, семью, чем они там могут сейчас заниматься. Юра уже в поезде. Его первая практическая инспекция. Очень важно правильно себя показать. Но Юра — не напористый, растяпа он, как бы не опозорился. Авиета — в Москве, на каникулах. Немножко развлечься, по театрам побегать, а главное — с целью деловой: присмотреться, как и что, может быть завязать связи, ведь пятый курс, надо правильно ориентироваться в жизни. Авиета будет толковая журналистка, очень деловая и, конечно, ей надо перебираться в Москву, здесь ей будет тесно. Она такая умница и такая талантливая, как никто в семье — опыта у неё недостаточно, но как же она всё на лету схватывает! Лаврик — немножко шалопай, учится так себе, но в спорте — просто талант, уже ездил на соревнования в Ригу, там жил в гостинице, как взрослый. Он уже и машину гоняет. Теперь при Досаафе занимается на получение прав. Во второй четверти схватил две двойки, надо выправлять. А Майка сейчас уже наверно дома, на пианино играет (до неё в семье никто не играл). А в коридоре лежит Джульбарс на коврикe. Последний год Павел Николаевич пристрастился сам его по утрам выводить, это

и себе полезно. Теперь будет Лаврик выводить. Он любит — притравит немножко на прохожего, а потом: вы не пугайтесь, я его держу!

Но вся дружная образцовая семья Русановых, вся их налаженная жизнь, безупречная квартира — всё это за несколько дней отделилось от него и оказалось по ту сторону опухоли. Они живут и будут жить, как бы ни кончилось с отцом. Как бы они теперь ни волновались, ни заботились, ни плакали — опухоль задвигала его как стена, и по эту сторону оставался он один.

Мысли о доме не помогли, и Павел Николаевич постарался отвлечься государственными мыслями. В субботу должна открыться сессия Верховного Совета Союза. Ничего крупного как будто не ожидается, утвердят бюджет. Когда сегодня он уезжал из дому в больницу, начали передавать по радио большой доклад о тяжёлой промышленности. А здесь, в палате, даже радио нет, и в коридоре нет, хорошенькое дело! Надо хоть обеспечить «Правду» без перебоя. Сегодня — о тяжёлой промышленности, а вчера — постановление об увеличении производства продуктов животноводства. Да! Очень энергично развивается экономическая жизнь и предстоят, конечно, крупные преобразования разных государственных и хозяйственных организаций.

И Павлу Николаевичу стало представляться, какие именно могут произойти реорганизации в масштабах республики и области. Эти реорганизации всегда празднично волновали, на время отвлекали от будней работы, работники созванивались, встречались и обсуждали возможности. И в какую бы сторону реорганизации ни происходили, иногда в противоположные, никого никогда, в том числе и Павла Николаевича, не понижали, а только всегда повышали.

Но и этими мыслями не отвлёкся он и не оживился. Кольнуло под шейю — и опухоль, глухая, бесчувственная, вдвинулась и заслонила весь мир. И опять: бюджет, тяжёлая промышленность, животноводство и реорганизации — всё это осталось по ту сторону опухоли. А по эту — Павел Николаевич Русанов. Один.

В палате раздался приятный женский голосок. Хотя сегодня ничто не могло быть приятно Павлу Николаевичу, но этот голосок был просто лакомый:

— Температурку померим! — будто она обещала раздавать конфеты.

Русанов стянул полотенце с лица, чуть приподнялся и надел очки. Счастье какое! — это была уже не та унылая чёрная Мария, а плотненькая подобранная и не в косынке углом, а в шапочке на золотистых волосах, как носили доктора.

— Азовкин! А, Азовкин! — весело окликнула она молодого человека у окна, стоя над его койкой. Он лежал ещё странней прежнего — наискось кровати, ничком, с подушкой под животом, упершись подбородком в матрас, как кладёт голову собака, и смотрел в прутья кровати, отчего получался как в клетке. По его обтянутому лицу переходили тени внутренних болей. Рука свисала до полу.

— Ну, подберитесь! — стыдила сестра. — Силы у вас есть. Возьмите термометр сами.

Он еле поднял руку от пола, как ведро из колодца, взял термометр. Так был он обессилен и так углубился в боль, что нельзя было поверить, что ему лет семнадцать, не больше.

— Зоя! — попросил он стонуще. — Дайте мне грелку.

— Вы — враг сам себе, — строго сказала Зоя. — Вам давали грелку, но вы её клали не на укол, а на живот.

— Но мне так легчает, — страдальчески настаивал он.

— Вы себе опухоль так отращиваете, вам объясняли. В онкологическом вообще грелки не положены, для вас специально доставали.

— Ну, я тогда колоть не дам.

Но Зоя уже не слушала и, постукивая пальчиком по пустой кровати Оглоеда, спросила:

— А где Костоглотов?

(Ну надо же! — как Павел Николаевич верно схватил! Костоглот — Оглоед — точно!)

— Курить пошёл,— отозвался Дёмка от двери. Он всё читал.

— Он у меня докурится! — проворчала Зоя.

Какие же славные бывают девушки! Павел Николаевич с удовольствием смотрел на её тугую затянутую кругловатость и чуть навывкате глаза — смотрел с бескорыстным уже любованием и чувствовал, что смягчается. Улыбаясь, она протянула ему термометр. Она стояла как раз со стороны опухоли, но ни бровью не дала понять, что ужасается или не видела таких никогда.

— А мне никакого лечения не прописано? — спросил Русанов.

— Пока нет,— извинилась она улыбкой.

— Но почему же? Где врачи?

— У них рабочий день кончился.

На Зою нельзя было сердиться, но кто-то же был виноват, что Русанова не лечили! И надо было действовать! Русанов презирал бездействие и слякотные характеры. И когда Зоя пришла отбирать термометры, он спросил:

— А где у вас городской телефон? Как мне пройти?

В конце концов можно было сейчас решиться и позвонить товарищу Остапенко! Простая мысль о телефоне вернула Павлу Николаевичу его привычный мир. И мужество. И он почувствовал себя снова борцом.

— Тридцать семь,— сказала Зоя с улыбкой и на новой температурной карточке, повешенной в изножье его кровати, поставила первую точку графика.— Телефон — в регистратуре. Но вы сейчас туда не пройдёте. Это — с другого параллельного.

— Позвольте, девушка! — Павел Николаевич приподнялся и построжел.— Как может в клинике не быть телефона? Ну, а если сейчас что-нибудь случится? Вот со мной, например.

— Побежим — позвоним,— не испугалась Зоя.

— Ну, а если буря. дождь проливной?

Зоя уже перешла к соседу, старому узбеку, и продолжала его график.

— Днём и прямо ходим, а сейчас заперто.

Приятная-приятная, а дерзкая: не дослушав, уже перешла к казаху. Невольно повышая голос ей вслед, Павел Николаевич воскликнул:

— Так должен быть другой телефон! Не может быть, чтоб не было!

— Он есть,— ответила Зоя из присядки у кровати казаха.— Но в кабинете главврача.

— Ну, так в чём дело?

— Дёма... Тридцать шесть и восемь... А кабинет заперт. Низамутдин Бахрамович не любит...

И ушла.

В этом была логика. Конечно, неприятно, чтобы без тебя ходили в твой кабинет. Но в больнице как-то же надо придумать...

На мгновение болтнулся проводок к миру внешнему — и оборвался. И опять весь мир закрыла опухоль величиной с кулак, подставленный под челюсть.

Павел Николаевич достал зеркальце и посмотрел. Ух, как же её разносило! Посторонними глазами и то страшно на неё взглянуть — а своими?! Ведь такого не бывает! Вот кругом ни у кого же нет! Да за сорок пять лет жизни Павел Николаевич ни у кого не видел такого уродства!..

Не стал уж он определять — ещё выросла или нет, спрятал зеркало да из тумбочки немного достал-пожевал.

Двух самых грубых — Ефрема и Оглоеда, в палате не было, ушли. Азовкин у окна ещё по-новому извернулся, но не стонал. Остальные вели себя тихо, слышалось перелистывание страниц, некоторые легли спать. Оставалось и Русанову заснуть. Скоротать ночь, не думать — а уж утром дать взбучку врачам.

И он разделся, лёг под одеяло, накрыл голову полотенцем и попробовал заснуть.

Но в тишине особенно стало слышно и раздражало, как где-то шепчут и шепчут — и даже прямо в ухо Павлу Николаевичу. Он не выдержал, сорвал полотенце с лица, приподнялся, стараясь не сделать больно шее, и обнаружил, что это шепчет его сосед узбек — высохший, худенький, почти коричневый старик с клинышком маленькой чёрной бородки и в коричневой же потёртой тюбетейке.

Он лежал на спине, заложив руки за голову, смотрел в потолок и шептал — молитвы, что ли, старый дурак?

— Э! аксакал! — погрозил ему пальцем Русанов. — Перестань! Мешаешь!

Аксакал смолк. Опять Русанов лёг и накрылся полотенцем. Но уснуть всё равно не мог. Теперь он понял, что успокоиться ему мешает режущий свет двух подпотолочных ламп — не матовых и плохо закрытых абажурами. Даже через полотенце ощущался этот свет. Павел Николаевич крякнул, опять на руках приподнялся от подушки, ладя, чтоб не кольнула опухоль.

Прощка стоял у своей кровати близ выключателя и начинал раздвигаться.

— Молодой человек! Потушите-ка свет! — распорядился Павел Николаевич.

— Та ще... лекарства нэ принэсли... — замылся Прощка, но приподнял руку к выключателю.

— Что значит — «потушите»? — зарычал сзади Русанова Оглоед. — Укоротитесь, вы тут не один.

Павел Николаевич сел как следует, надел очки и, поберегая опухоль, визжа сеткой, обернулся:

— А вы повежливей можете разговаривать?

Грубиян скорчил кривоватую рожу и ответил низким голосом:

— Не оттягивайте, я не у вас в аппарате.

Павел Николаевич метнул в него сжигающим взглядом, но на Оглоеда это не подействовало ничуть.

— Хорошо, а зачем нужен свет? — вступил Русанов в мирные переговоры.

— В заднем проходе ковырять, — сгрубил Костоготов.

Павлу Николаевичу стало трудно дышать, хотя, кажется, уж он обдышался в палате. Этого нахала надо было в двадцать минут выписать из больницы и отправить на работу! Но в руках не было никаких конкретных мер воздействия.

— Так если почитать или что другое — можно выйти в коридор, — справедливо указал Павел Николаевич. — Почему вы присваиваете себе право решать за всех? Тут — разные больные, и надо делать различия...

— Сделают, — оклычился тот. — Вам некролог напишут, член с такого-то года, а нас — ногами вперёд.

Такого необузданного неподчинения, такого неконтролируемого своеволия Павел Николаевич никогда не встречал, не помнил. И он даже терялся — что можно противопоставить? Не жаловаться же этой девчонке. Приходилось пока самым достойным образом прекратить разговор. Павел Николаевич снял очки, осторожно лёг и накрылся полотенцем.

Его разрывало от негодования и тоски, что он поддался и лёг в эту клинику. Но не поздно будет завтра же и выписаться.

На часах его было начало девятого. Что ж, он решил теперь всё терпеть. Когда-нибудь же они успокоятся.

Но опять началась ходьба и тряска между кроватями — это, конечно, Ефрем вернулся. Старые половицы комнаты отзывались на его шаги и передавались Русанову через койку и подушку. Но уж решил Павел Николаевич замечания ему не делать, терпеть.

Сколько ещё в нашем населении неискоренённого хамства! И как его с этим грузом вести в новое общество!

Бесконечно тянулся вечер! Начала приходить сестра — один раз, второй, третий, четвёртый, одному несла микстуру, другому порошок, третьего и четвёртого колола. Азовкин вскрикивал при уколе, опять клянул грелку, чтоб рассасывалось. Ефрем продолжал топтать туда-сюда, не находил покоя. Ахмаджан разговаривал с Прошкой, и каждый со своей кровати. Как будто все только сейчас и оживали по-настоящему, как будто ничто их не заботило и нечего было лечить. Даже Дёмка не ложился спать, а пришёл и сел на койку Костоглотова, и тут, над самым ухом Павла Николаевича, они бубнили.

— Побольше стараюсь читать, — говорил Дёмка, — пока время есть. В университет поступить охота.

— Это хорошо. Только учти: образование ума не прибавляет.

(Чему учит ребёнка, Оглодь!)

— Как не прибавляет?!

— Так вот.

— А что ж прибавляет?

— Ж-жизнь.

Дёмка помолчал, ответил:

— Я не согласен

— У нас в части комиссар такой был, Пашкин, он всегда говорил: образование ума не прибавляет. И звание — не прибавляет. Иному добавят звёздочку он думает — и ума добавилось. Нет.

— Так что ж тогда — учиться не надо? Я не согласен.

— Почему не надо? Учись. Только для себя помни, что ум — не в этом.

— А в чём же ум?

— В чём ум? Глазам своим верь, а ушам не верь. На какой же ты факультет хочешь?

— Да вот не решил. На исторический хочется, и на литературный хочется.

— А на технический?

— Не-а.

— Странно. Это в наше время так было. А сейчас ребята все технику любят. А ты — нет?

— Меня... общественная жизнь очень разжигает.

— Общественная?.. Ох, Дёмка, с техникой — спокойней жить. Учись лучше приёмники собирать.

— А чего мне — покойней! Сейчас вот если месяца два тут полежу — надо за девятый класс подогнать, за второе полугодие.

— А учебники?

— Да два у меня есть. Стереометрия очень трудная.

— Стереометрия?! А ну, тащи сюда!

Слышно было, как папан пошёл и вернулся.

— Так, так, так... Стереометрия Киселёва, старушка... Та же самая... Прямая и плоскость, параллельные между собой... Если прямая параллельна какой-нибудь прямой, расположенной в плоскости, то она параллельна и самой плоскости... Чёрт возьми, вот книжечка, Дёмка! Вот так бы все писали! Толщины никакой, да? А сколько тут напихано!

— Полтора года по ней учат.

— И я по ней учился. Здорово знал!

— А когда?

— Сейчас тебе скажу. Тоже вот так девятый класс, со второго полугодия... значит, в тридцать седьмом и в тридцать восьмом. Чудно в руках держать. Я геометрию больше всего любил.

— А потом?

— Что потом?

— После школы.

— После школы я на замечательное отделение поступил — геофизическое.

— Это где?

— Там же, в Ленинграде.

— И что?

— Первый курс кончил, а в сентябре тридцать девятого вышел указ брать в армию с девятнадцати, и меня загребли.

— А потом?

— Потом действительно служил.

— А потом?

— А потом — не знаешь, что было? Война.

— Вы — офицер были?

— Не, сержант.

— А почему?

— А потому что если все в генералы пойдут, некому будет войну выигрывать... Если плоскость проходит через прямую, параллельную другой плоскости, и пересекает эту плоскость, то линия пересечения... Слушай, Дёмка! Давай я с тобой каждый день буду стереометрией заниматься? Ох, двинем! Хочешь?

— Хочу.

(Этого ещё не хватало, над ухом.)

— Буду уроки тебе задавать.

— Задавай.

— А то, правда, время пропадает. Прямо сейчас и начнём. Разберём вот эти три аксиомы. Аксиомы эти, учти, на вид простенькие, но они потом в каждой теореме скрытно будут содержаться, и ты должен видеть — где. Вот первая: если две точки прямой принадлежат плоскости, то и каждая точка этой прямой принадлежит ей. В чём тут смысл? Вот пусть эта книжка будет плоскость, а карандаш — прямая, так? Теперь попробуй расположить...

Заладили и долго ещё гудели об аксиомах и следствиях. Но Павел Николаевич решил терпеть, демонстративно повернутый к ним спиной. Наконец, замолчали и разошлись. С двойным сновторным заснул и умоля Азовкин. Так тут начал кашлять аксакал, к которому Павел Николаевич повернут был лицом. И свет уже потухли, а он, проклятый, кашляя и кашляя, да так противно, подолгу, со свистом, что, казалось, задохнётся.

Повернулся Павел Николаевич спиной и к нему. Он снял полотенце с головы, но настоящей темноты всё равно не было: падал свет из коридора, там слышался шум, хождение, гремели плевательницами и ведрами.

Не спалось. Давила опухоль. Такая счастливая, такая полезная жизнь была на обрыве. Было очень жалко себя. Одного маленького толчка не хватало, чтоб выступили слёзы.

И толчок этот не упустил добавить Ефрем. Он и в темноте не унялся и рассказывал Ахмаджану по соседству идиотскую сказку:

— А зачем человеку жить сто лет? И не надо. Это дело было вот как. Раздавал, ну, Аллах жизнь и всем зверям давал по пятьдесят лет, хватит. А человек пришёл последний, и у Аллаха оставалось только двадцать пять.

— Четвертная, значит? — спросил Ахмаджан.

— Ну да. И стал обижаться человек: мало! Аллах говорит: хватит. А человек: мало! Ну, тогда, мол, пойдё сам спроси, может у кого лишнее, отдаст. Пошёл человек, встречает лошадь. «Слушай,— гово-

рит,— мне жизни мало. Уступи от себя». — «Ну, на, возьми двадцать пять». Пошёл дальше, навстречу собака. «Слушай, собака, уступи жизни!» «Да возьми двадцать пять!» Пошёл дальше. Обезьяна. Выпросил и у неё двадцать пять. Вернулся к Аллаху. Тот и говорит: «Как хочешь, сам ты решил. Первые двадцать пять лет будешь жить как человек. Вторые двадцать пять будешь работать как лошадь. Третьи двадцать пять будешь гавкать как собака. И ещё двадцать пять над тобой, как над обезьяной, смеяться будут...»

3

Хотя Зоя была толкова, проворна и очень быстро сновала по своему этажу от стола к кроватям и снова к столу, она увидела, что не успеваает выполнить к отбою всех назначений. Тогда она подогнала, чтоб кончить и погасить в мужской палате и в малой женской. В большой же женской — огромной, где стояло больше тридцати коек, женщины никогда не утоманивались вовремя, гаси им свет или не гаси. Многие там лежали подолгу, утомились от больницы, сон у них был плох, душно, постоянно шёл спор — держать ли балконную дверь открытой или закрытой. А было и несколько изощёренных любительниц поговорить из угла в угол. До полуночи и до часу ночи тут всё обсуждали то цены, то продукты, то мебель, то детей, то мужей, то соседок — и до самых бесстыжих разговоров.

А сегодня там ещё мыла пол санитарка Нэля — крутозадая горластая девка с большими бровями и большими губами. Она давно уже начала, но никогда не могла кончить, вставая в каждый разговор. Между тем ждал своей ванночки Сибгатов, чья кровать стояла в вестибюле перед входом в мужскую палату. Из-за этих вечерних ванночек, а также стесняясь дурного запаха от своей спины, Сибгатов добровольно оставался лежать в вестибюле, хотя он был здесь издавнее всех старожилов — уж будто и не больной, а на постоянной службе.

Быстро мелькая по женской палате, Зоя сделала Нэле одно замечание и второе, но Нэля только огрызнулась, а подвигалась медленно. Она была не моложе Зои и считала обидой подчиняться девчёнке. Зоя пришла сегодня на работу в праздничном настроении, но это сопротивление санитарки раздражало её. Вообще Зоя считала, что всякий человек имеет право на свою долю свободы и, приходя на работу, тоже не обязательно должен выложиться до изнемоги, но где-то была разумная мера, а тем более находясь при больных.

Наконец, и Зоя всё раздала и кончила, и Нэля дотёрла пол, потушили свет у женщин, потушили и в вестибюле верхний, был уже двенадцатый час, когда Нэля развела тёплый раствор на первом этаже и оттуда принесла Сибгатову в его постоянном тазике.

— О-о-ой, уморилась,— громко зевнула она.— Закачусь я минуток на триста. Слушай, больной, ты ведь целый час будешь сидеть, тебя не дождёшься. Ты потом сам снеси тазик вниз, вылей, а?

(В этом крепком старом здании с просторными вестибюлями не было наверху слива.)

Каким Шариф Сибгатов был раньше — уж теперь нельзя было догадаться, не по чему судить: страдание его было такое долгое, что от прежней жизни уже как бы ничего и не осталось. Но после трёх лет непрерывной гнетучей болезни этот молодой татарин был самый кроткий, самый вежливый человек во всей клинике. Он часто слабо-слабо улыбался, как бы извиняясь за долгие хлопоты с собой. За свои четырёх- и шестимесячные лежанья он тут знал всех врачей, сестёр и санитарок как своих, и они его знали. А Нэля была новенькая, несколько недель.

— Мне тяжело будет,— тихо возразил Сибгатов.— Если куда отлить, я бы по частям отнёс.

Но Зоин стол был близко, она слышала, и прысочила:

— Как тебе не стыдно! Ему спину искривлять нельзя, так он тебе таз понесёт, да?

Она это всё как бы выкрикнула, но полушёпотом, никому кроме них троих не слышно. А Нэлла спокойно отозвалась, но на весь второй этаж:

— А чего стыдно? Я тоже как сучка затомилась.

— Ты на дежурстве! Тебе деньги платят! — ещё приглушённой возмущалась Зоя.

— Хой! Платят! Разве эт деньги? Я на текстильном и то больше заработаю.

— Тш-ш! Тише ты можешь?

— О-о-ой, — вздохнула-простонала на весь вестибюль ширококудрая Нэлла. — Милая подружка подушка! Спать-то как хочется-а... Ту ночь с шоферами прогуляла... Ну ладно, больная, ты тазик потом подсунь под кровать, я утром вынесу.

Глубоко-затяжно зевнув, не покрывая рта, в конце зевка сказала Зое:

— Тут я, в заседаниях буду, на диванчике.

И, не дожидаясь разрешения, пошла к угловой двери — там была с мягкой мебелью комната врачебных заседаний и пятиминуток.

Она оставляла ещё многою недоделанную работу, невычищенные плевательницы, и в вестибюле можно было помыть пол, но Зоя посмотрела ей в широкую спину и сдержалась. Не так давно и сама она работала, но начинала понимать этот досадный принцип: кто не тянет, с того и не спросишь, а кто тянет — и за двоих потянет. Завтра с утра заступит Елизавета Анатольевна, она вычистит и вымоет за Нэллу и за себя.

Теперь, когда Сибгатова оставили одного, он обнажил крестец, в неудобном положении опустил в тазик на полу около кровати — и так сидел, очень тихо. Ото всякого неосторожного движения ему было больно в кости, но ещё бывало паляще больно и от касания к повреждённому месту, даже от постоянного касания бельём. Что там у него сзади, он не видел никогда, только иногда нащупывал пальцами. В позапрошлом году в эту клинику его внесли на носилках — он не мог вставать и ногами двигать. Его смотрели тогда многие доктора, но лечила всё время Людмила Афанасьевна. И за четыре месяца боль совсем прошла! — он свободно ходил, наклонялся и ни на что не жаловался. При выписке он руки целовал Людмиле Афанасьевне, а она его только предупреждала: «Будь осторожен, Шараф! Не прыгай, не ударяйся!» Но на такую работу его не взяли, а пришлось опять экспедитором. Экспедитору — как не прыгать из кузова на землю? Как не помочь грузчику и шофёру? Но всё было ничего до одного случая — покати́лась с машины бочка и ударила Шарафа как раз в больное место. И на месте удара загноилась рана. Она не заживала. И с тех пор Сибгатов стал как цепью прикован к раковому диспансеру.

С непроходящим чувством досады Зоя села за стол и ещё раз проверяла, все ли процедуры исполнила, дочёркивая расплывающимися чернильными чёрточками по дурной бумаге уже расплывшиеся чернильные строки. Писать рапорт было бесполезно. Да и не в натуре Зои. Надо бы самой справиться, но именно с Нэллей она справиться не умела. Поспать — ничего плохого нет. При хорошей санитарке Зоя и сама бы полночи поспала. А теперь надо сидеть.

Она смотрела в свою бумажку, но слышала, как подошёл мужчина и стал рядом. Зоя подняла голову. Стоял Костоглолов — неукладистый, с недочёсанной угольной головой, большие руки почти не влезали в боковые маленькие карманчики больничной куртки.

— Давно пора спать, — вменила Зоя. — Что расхаживаете?

— Добрый вечер, Зоенька, — выговорил Костоглолов, как мог мягче даже нарастят.

— Спокойной ночи,— легче улыбнулась она.— Добрый вечер был, когда я за вами с термометром бегала.

— То на службе было, не укоряйте. А сейчас я к вам в гости пришёл.

— Вот как? — (Это уж там само получалось, что подбрасывались ресницы или широко открывались глаза, она этого не обдумывала.)— Почему вы думаете, что я принимаю гостей?

— А потому что по ночным дежурствам вы всегда зубрили, а сегодня учебников не вижу. Сдали последний?

— Наблюдательны. Сдала.

— И что получили? Впрочем, это неважно.

— Впрочем, всё-таки четвёрку. А почему неважно?

— Я подумал: может быть тройку, и вам неприятно говорить. И теперь каникулы?

Она мигнула с весёлым выражением лёгкости. Мигнула — и прониклась: чего она, в самом деле, расстроилась? Две недели каникул, блаженство! Кроме клиники — больше никуда! Сколько свободного времени! И на дежурствах — можно книжечку почитать, можно вот поболтать.

— Значит, я правильно пришёл в гости?

— Ну, садитесь.

— Скажите, Зоя, но ведь каникулы, если я не забыл, раньше начинались 25-го января.

— Так мы осенью на хлопке были. Это каждый год.

— И сколько ж вам лет осталось учиться?

— Полтора.

— А куда вас могут назначить?

Она пожала кругленькими плечами.

— Родина необъятна.

Глаза её с выкатком, даже когда она смотрела спокойно, как будто под веками не помещались, прорисовались наружу.

— Но здесь не оставят?

— Не-ет, конечно.

— И как же вы семью бросите?

— Какую семью? У меня бабушка одна. Бабушку — с собой.

— А папа-мама?

Зоя вздохнула.

— Мама моя умерла.

Костоглов поглядел на неё и об отце не спросил.

— А вообще, вы — здешняя?

— Нет, из Смоленска.

— Во-о! И давно оттуда?

— В эвакуацию, когда ж.

— Это вам было... лет девять?

— Ага. Два класса там кончила... А потом здесь с бабушкой застряли.

Зоя потянулась к большой хозяйственной ярко-оранжевой сумке на полу у стены, достала оттуда зеркальце, сняла врачебную шапочку, чуть включила стянутые шапочкой волосы и начесала из них редкую, лёгкой дугой подстриженную золотенькую чёлку.

Золотой отблик отразился и на жёсткое лицо Костоглового. Он смягчился и следил за ней с удовольствием.

— А ваша где бабушка? — пошутила Зоя, кончая с зеркальцем.

— Моя бабушка,— вполне серьёзно принял Костоглов,— и мама моя... умерли в блокаду.

— Ленинградскую?

— У-гм. И сестрёнку снарядом убило. Тоже была медсестрой. Козьявка ещё.

— Да-а,— вздохнула Зоя.— Сколько погибло в блокаду! Проклятый Гитлер!

Костоглотов усмехнулся:

— Что Гитлер.— проклятый, это не требует повторных доказательств. Но всё же ленинградскую блокаду я на него одного не списываю.

— Как?! Почему?

— Ну, как! Гитлер и шёл нас уничтожать. Неужели ждали, что он приотворит калиточку и предложит блокадным: выходите по одному, но толпитесь? Он воевал, он враг. А в блокаде виноват некто другой.

— Кто же?? — прошептала поражённая Зоя. Ничего подобного она не слышала и не предполагала.

Костоглотов собрал чёрные брови.

— Ну, скажем, тот или те, кто были готовы к войне, даже если бы с Гитлером объединились Англия, Франция и Америка. Кто получал зарплату десятки лет и предусмотрел угловое положение Ленинграда и его оборону. Кто оценил степень будущих бомбардировок и догадался спрятать продовольственные склады под землю. Они-то и задушили мою мать — вместе с Гитлером.

Просто это было, но как-то очень уж ново.

Сибгатов тихо сидел в своей ванночке позади них, в углу.

— Но тогда..? тогда их надо... судить? — шёпотом предположила Зоя.

— Не знаю.— Костоглотов скривил губы, и без того угловатые.— Не знаю.

Зоя не надевала больше шапочки. Верхняя пуговица её халата была расстёгнута, и виднелся ворот платья иззолота-серый.

— Зоенька. А ведь я к вам отчасти и по делу.

— Ах, вот как! — прыгнули её ресницы.— Тогда, пожалуйста, в дневное дежурство. А сейчас — спать! Вы просились — в гости!

— Я — и в гости. Но пока вы ещё не испортились, не стали окончательным врачом — протяните мне человеческую руку.

— А врачи не протягивают?

— Ну, у них и рука не такая... Да и не протягивают. Зоенька, я всю жизнь отличался тем, что не любил быть мартышкой. Меня здесь лечат, но ничего не объясняют. Я так не могу. Я у вас видел книгу — «Патологическая анатомия». Так ведь?

— Так.

— Это и есть об опухолях, да?

— Да.

— Так вот будьте человеком — принесите мне её! Я должен её полистать и кое-что сообразить. Для себя.

Зоя округлила губы и покачала головой:

— Но больным читать медицинские книги противопоказано. Даже вот когда мы, студенты, изучаем какую-нибудь болезнь, нам всегда кажется...

— Это кому-нибудь другому противопоказано, но не мне! — прихлопнул Костоглотов по столу большой лапой.— Я уже в жизни пуган-перепуган и отпугался. Мне в областной больнице хирург-кореец, который диагноз ставил, вот под Новый год, тоже объяснять не хотел, а я ему — «говорите!». «У нас, мол, так не положено!» «Говорите, я отвечаю! Я семейными делами должен распорядиться!» Ну, и он мне лепанул: «Три недели проживёте, больше не ругаюсь!»

— Какое ж он имел право!..

— Молодец! Человек! Я ему руку пожал. Я знать должен! Да если я полгода до этого мучился, а последний месяц не мог уже ни лежать, ни сидеть, ни стоять, чтобы не болело, в сутки спал несколько минут — так я уже что-то ведь передумал! За эту осень я на себе узнал, что человек может переступить черту смерти, ещё когда тело его не умерло. Ещё что-то там в тебе кровообращается или пищеварится — а ты уже, психологически, прошёл всю подготовку к смерти.

И пережил саму смерть. Всё, что видишь вокруг, видишь уже как бы из гроба, бесстрастно. Хотя ты не причислял себя к христианам и даже иногда напротив, а тут вдруг замечаешь, что ты-таки уже простил всем обижавшим тебя и не имеешь зла к гнавшим тебя. Тебе уже просто всё и все безразличны, ничего не порываешься исправить, ничего не жаль. Я бы даже сказал: очень равновесное состояние, естественное. Теперь меня вывели из него, но я не знаю — радоваться ли. Вернутся все страсти — и плохие, и хорошие.

— Да уж чего задаётся! Ещё бы не радоваться! Когда вы сюда поступили... Сколько это дней?..

— Двенадцать.

— И вот тут, в вестибюле, на диванчике крутились — на вас смотреть было страшно, лицо покойническое, не ели ничего, температура тридцать восемь и утром, и вечером, — а сейчас? Ходите в гости... Это же чудо — чтоб человек за двенадцать дней так ожил! У нас так редко бывает.

В самом деле — тогда на лице его были как зубилом прорублены глубокие, серые, частые морщины от постоянного напряжения. А сейчас их стало куда меньше, и они посветлели.

— Всё счастье в том, что оказалось — я хорошо переношу рентген.

— Это далеко не часто! Это удача! — с тёплым сердцем сказала Зоя.

Костоглотов усмехнулся:

— Жизнь моя так была бедна удачами, что в этой рентгеновской есть своя справедливость. Мне и сны сейчас стали сниться какие-то расплывчато-приятные. Я думаю — это признак выздоровления.

— Вполне допускаю.

— Так тем более мне надо понять и разобраться! Я хочу понять, в чём состоит метод лечения, какие перспективы, какие осложнения. Мне настолько полегчало, что, может, нужно лечение остановить? Это надо понять. Ни Людмила Афанасьевна, ни Вера Корнильевна мне ничего не объясняют, лечат, как обезьяну. Принесите книжечку, Зоя, прошу вас! Я вас не продам.

Он говорил так действительно, что оживился.

Зоя в колебании взялась за ручку ящика в столе.

— Она у вас здесь? — догадался Костоглотов. — Зоенька, дайте! — И уже руку вытянул. — Когда вы следующий раз дежурите?

— В воскресенье днём.

— И я вам отдам! Всё! Договорились!

Какая она славная была, незаносчивая, с этой чёлкой золотенькой, с этими чуть выкаченными глазками.

Он только себя не видел, как во всех направлениях были закручены угловатые вихры на его собственной голове, отлёжанные так на подушке, а из-под курточки, не достёгнутой до шеи, с больничною простотой высовывался уголок казённой бязевой сорочки.

— Так-так-так, — листал он книгу и лез в оглавление. — Очень хорошо. Тут я всё найду. Вот спасибо. А то чёрт его знает, ещё может перелечат. Им ведь только графу заполнить. Я ещё, может, оторвусь. И хорошая аптека убавит века.

— Ну вот! — всплеснула Зоя ладонями. — Стоило вам давать! А ну-ка назад!

И она потянула книгу одной рукой, потом двумя. Но он легко удерживал.

— Порвём библиотечную! Отдайте!

Круглые плотные плечи её и круглые плотные небольшие руки были как облитые в натянувшемся халате.. Шея была ни худа, ни толста, ни коротка, ни вытянута, очень соразмерна.

Перетягивая книгу, они сблизились и смотрели в упор. Его нескладное лицо распустилось в улыбке. И шрам уже не казался таким страш-

ным, да он и был-то побледневший, давний. Свободной рукой мягко отнимая её пальцы от книги, Костоглотов шёпотом уговаривал:

— Зоенька. Ну вы же не за невежество, вы же за просвещение. Как можно мешать людям развиваться? Я пошутил, я никуда не оторвусь.

Напористым шёпотом отвечала и она:

— Да вы уж потому недостойны читать, что — как вы себя запустили? Почему вы не приехали раньше? Почему надо было приезжать уже мертвецом?

— Э-э-эх,— вздохнул Костоглотов уже полувслух.— Транспорта не было.

— Да что это за место такое — транспорта не было? Ну, самолётом! Да почему надо было допускать до последнего? Почему заранее не переехать в более культурное место? Какой-нибудь врач, фельдшер у вас там был?

Она сняла пальцы с книги.

— Врач есть, гинеколог. Даже два...

— Два гинеколога?! — подавилась Зоя.— Так у вас там одни женщины?

— Наоборот, женщин не хватает. Гинеколога два, а других врачей нет. И лаборатории нет. Крови не могли взять на исследование. У меня РОЭ был, оказывается,— шестьдесят, и никто не знал.

— Кошмар! И опять берётесь решать — лечиться или нет? Себя не жалеете — хоть бы близких своих пожалели, детей!

— Детей?— будто очнулся Костоглотов, будто вся эта весёлая возня с книгой была во сне, а вот опять он возвращался в своё жёсткое лицо и медленную речь.— У меня никаких детей нет.

— А жена — не человек?

Он стал ещё медленней.

— И жены нет.

— Мужчины всегда, что — нет. А какие ж вы семейные дела собирались улаживать? Корейцу что говорили?

— Так я ему соврал.

— А может мне — сейчас?

— Нет, правда нет.— Лицо Костоглотово тяжелело.— Я переборчив очень.

— Она не выдержала вашего характера? — сочувственно кивнула Зоя.

Костоглотов совсем медленно покачал головой.

— И не было никогда.

Зоя недоумённо оценивала, сколько ж ему лет. Она шевельнула губами раз — и отложила вопрос. И ещё шевельнула — и ещё отложила.

Зоя к Сибгатову сидела спиной, а Костоглотов лицом, и ему было видно, как тот преосторожно поднялся из ванночки, обеими руками держась за поясницу, и просыхал. Вид его был обстрадавшийся: от крайнего горя он уже отстал, а к радости не вызывало его ничто.

Костоглотов вдохнул и выдохнул, как будто это работа была — дышать.

— Ох, закурить хочется! Здесь никак нельзя?

— Никак. И для вас курить — это смерть.

— Ни за что просто?

— Просто ни за что. Особенно при мне.

Но улыбалась.

— А может одну всё-таки?

— Больные спят, как можно!

Он всё же вытащил пустой длинный наборный мундштук ручной работы и стал его сосать.

— Знаете, как говорят: молодому жениться рано, а старому поздно.— Двумя руками облокотился о её стол и пальцы с мундштуком за-

пустил в волосы.— Чуть-чуть я не женился после войны, хотя: я — студент, она — студентка. Поженились бы всё равно, да пошло кувырком.

Зоя рассматривала малодружелюбное, но сильное лицо Костоглота. Костлявые плечи, руки — но это от болезни.

— Не сладилось?

— Она... как это называется... погибла.— Один глаз он закрыл в кривой пожимке, а одним смотрел.— Погибла, но вообще — жива. В прошлом году мы обменялись с ней несколькими письмами.

Он распурился. Увидел в пальцах мундштук и положил его в карманчик назад.

— И, знаете, по некоторым фразам в этих письмах я вдруг задумался: а на самом-то деле тогда, прежде, она была ли таким совершенством, как виделась мне? Может и не была?.. Что мы понимаем в двадцать пять лет?..

Он смотрел в упор на Зою тёмно-коричневыми глазами:

— Вот вы, например — что сейчас понимаете в мужчинах? Ни чер-та!

Зоя засмеялась:

— А может быть как раз понимаю?

— Никак этого не может быть,— продиктовал Костоглотов.— То, что вы под пониманием думаете — это не понимание. И выйдете замуж — о-бя-за-тельно ошибётесь.

— Перспективка! — покрутила Зоя головой и из той же большой оранжевой сумки достала и развернула вышивание: небольшой кусочек, натянутый на пяльцы, на нём уже вышитый зелёный журавль, а лиса и кувшин только нарисованы.

Костоглотов смотрел, как на диво:

— Вышиваете??

— Чему вы удивляетесь?

— Не представляя, что сейчас и студентка мединститута — может вынуть рукоделие.

— Вы не видели, как девушки вышивают?

— Кроме, может быть, самого раннего детства. В двадцатые годы. И то уже считалось буржуазным. За это б вас на комсомольском собрании выхлестали.

— Сейчас это очень распространено. А вы не видели?

Он покрутил головой.

— И осуждаете?

— Что вы! Это так мило, уютно. Я люблю.

Она клала стежок к стежку, давая ему полюбоваться. Она смотрела в вышивание, а он — на неё. В жёлтом свете лампы отсвечивали призолотой её ресницы. И отзолачивал открытый уголок платья.

— Вы пчёлка с чёлкой,— прошептал он.

— Как? — она исподлобья взбросила бровки.

Он повторил.

— Да? — Зоя будто ожидала похвалы и побольше.— А там, где вы живёте, если никто не вышивает, так может быть свободно продаются мулинэ?

— Как-как?

— Му-ли-нэ. Вот эти нитки — зелёные, синие, красные, жёлтые. У нас очень трудно купить.

— Мулинэ. Запомню и спрошу. Если есть — обязательно пришлю. А если у нас окажутся неограниченные запасы мулинэ — так, может быть, вам проще переехать самой к нам туда?

— А куда это, всё-таки,— к вам?

— Да можно сказать — на целину.

— Так вы — на целине. Вы — целинник?

— То есть, когда я туда приехал, никто не думал, что целина. А теперь выяснилось, что — целина, и к нам приезжают целинники.

Вот будут распределять — проситесь к нам! Наверняка не откажут. К нам — не откажут.

— Неужели у вас так плохо?

— Ничуть. Просто у людей перевёрнуты представления — что хорошо и что плохо. Жить в пятиэтажной клетке, чтоб над твоей головой стучали и ходили, и радио со всех сторон — это считается хорошо. А жить трудолюбивым земледельцем в глинобитной хатке на краю степи — это считается крайняя неудача.

Он говорил ничуть не в шутку, с той утомлённой убеждённостью, когда не хочется даже силой голоса укрепить доводы.

— Но степь или пустыня?

— Степь. Барханов нет. Всё же травка кой-какая. Растёт жантак — верблюжья колючка, не знаете? Это — колючка, но в июле на ней розоватые цветы и даже очень тонкий запах. Казахи делают из неё сто лекарств.

— Так это в Казахстане?

— У-гм.

— Как же называется?

— Уш-Терёк.

— Это — аул?

— Да хотите — аул, а хотите — и районный центр. Больница. Только врачей не хватает. Приезжайте.

Он сощурился.

— И больше ничего не растёт?

— Нет, почему же, есть поливное земледелие. Сахарная свёкла, кукуруза. На огородах вообще всё, что угодно. Только трудиться надо много. С кетменём. На базаре у греков всегда молоко, у курдов баранина, у немцев свинина. А какие живописные базары, вы бы видели! Все в национальных костюмах, приезжают на верблюдах.

— Вы — агроном?

— Нет. Землеустроитель.

— А вообще зачем вы там живёте?

Костоготов почесал нос:

— Мне там климат очень нравится.

— И нет транспорта?

— Да почему, хо-одят машины, сколько хотите.

— Но зачем всё-таки туда поеду я?

Она смотрела искоса. За то время, что они болтали, лицо Костоготова подобрело и помягчело.

— Вы? — Он поднял кожу со лба, как бы придумывая тост. — А откуда вы знаете, Зоенька, в какой точке земли вы будете счастливы, в какой — несчастливы? Кто скажет, что знает это о себе?

4

Хирургическим больным, то есть тем, чью опухоль намечено было пресекать операцией, не хватало места в палатах нижнего этажа, и их клали также наверху, вперемежку с «лучевыми», кому назначалось облучение или химия. Поэтому наверху каждое утро шло два обхода: лучевики смотрели своих больных, хирурги — своих.

Но четвёртого февраля была пятница, операционный день, и хирурги обхода не делали. Доктор же Вера Корнильевна Гангарт, лечащий врач лучевых, после пятиминутки тоже не пошла сразу обходить, а лишь, поравнявшись с дверью мужской палаты, заглянула туда.

Доктор Гангарт была невысока и очень стройна — казалась очень стройной оттого, что у неё подчёркнуто узко сходилось в пояском перехвате. Волосы её, немодно положенные узлом на затылок, были светлее чёрных, но и темнее тёмно-русых — те, при которых нам предлагают невразумительное слово «шатенка», а сказать бы: чёрно-русые — между чёрными и русыми.

Её заметил Ахмаджан и закивал радостно. И Костоготов успел поднять голову от большой книги и поклониться издали. И она обоим им улыбнулась и подняла палец, как предупреждают детей, чтоб сидели без неё тихо. И тут же, уклоняясь от дверного проёма, ушла.

Сегодня она должна была обходить палаты не одна, а с заведующей лучевым отделением Людмилой Афанасьевной Донцовой, но Людмилу Афанасьевну вызвал и задерживал Низамутдин Бахрамович, главврач.

Только в эти дни своих обходов, раз в неделю, Донцова жертвовала рентгенодиагностикой. Обычно же два первых лучших утренних часа, когда острее всего глаз и яснее ум, она сидела со своим очередным ординатором перед экраном. Она считала это самой сложной частью своей работы и более чем за двадцать лет её поняла, как дорого обходятся ошибки именно в диагнозе. У неё в отделении было три врача, все молодые женщины, и чтобы опыт каждой из них был равномерен, и ни одна не отставала бы от диагностики, Донцова кругообразно сменяла их, держа по три месяца на первичном амбулаторном приёме, в рентгенодиагностическом кабинете и лечащим врачом в клинике.

У доктора Гангарт шёл сейчас этот третий период. Самым главным, опасным и наименее исследованным здесь было — следить за верною дозировкой облучения. Не было такой формулы, по которой можно было бы рассчитать интенсивности и дозы облучений, самые смертоносные для каждой опухоли, самые безвредные для остального тела. Формулы не было, а была — некий опыт, некое чутьё и возможность сверяться с состоянием больного. Это тоже была операция — но лучом, вслепую и растянутая во времени. Невозможно было не рапнуть и не губить здоровых клеток.

Остальные обязанности лечащего врача требовали только методичности: вовремя назначать анализы, проверять их и делать записи в тридцати историях болезни. Никакой врач не любит исписывать разграфлённые бланки, но Вера Корнильевна примирялась с ними за то, что эти три месяца у неё были свои больные — не бледное сплетение светов и теней на экране, а свои живые постоянные люди, которые верили ей, ждали её голоса и взгляда. И когда ей приходилось передавать обязанности лечащего врача, ей всегда было жалко расставаться с теми, кого она не долечила.

Дежурная медсестра, Олимпиада Владиславовна, пожилая, седоватая, очень осанистая женщина, с виду солиднее иных врачей, объявила по палатам, чтобы лучевые не расходились. Но в большой женской палате только как будто и ждали этого объявления — сейчас же одна за другой женщины в однообразных серых халатах потянулись на лестницу и куда-то вниз: посмотреть, не пришёл ли сметанный дед; и не пришла ли та бабка с молоком; заглядывать с крыльца клиники в окна операционной (поверх забеленной нижней части видны были шапочки хирургов и сестёр, и яркие верхние лампы); и вымыть банку над раковиной; и кого-то навестить.

Не только их операционная судьба, но ещё эти серые бумазейные обтрепавшиеся халаты, неопрятные на вид, даже когда они были вполне чисты, отъединяли, отрывали женщин от их женской доли и женского обаяния. Покрой халатов был никакой: они были все просторны так, чтоб любая толстая женщина могла в любой запахнуться, и рукава шли бесформенными широкими трубами, Бело-розовые полосатые курточки мужчин были гораздо аккуратнее, женщинам же не выдавали плаття, а только — эти халаты, лишённые петель и пуговиц. Одни подшивали их, другие — удлиняли, все однообразно затягивали бумазейные пояса, чтоб не обнажать сорочек, и так же однообразно стягивали рукою полы на груди. Угнетённая болезнью и убогая в таком халате, женщина не могла обрадовать ничего — взгляда и понимала это.

А в мужской палате все, кроме Русанова, ждали обхода спокойно, малоподвижно.

Старый узбек, колхозный сторож Мурсалимов, лежал вытянувшись на спине поверх застеленной постели, как всегда в своей вытертой-перевытертой тюбетейке. Он уж тому, должно быть, рад был, что кашель его не рвал. Он сложил руки на задышливой груди и смотрел в одну точку потолка. Его темно-бронзовая кожа обтягивала почти череп: видны были реберки носовой кости, скулы, острая подбородочная кость за клинышком бородки. Уши его утончились и были совсем плоские хрящики. Ему уже немного оставалось досохнуть и дотемнеть до мумии.

Рядом с ним средолетний казах чабан Егенбердиев на своей кровати не лежал, а сидел, поджав ноги накрест, будто дома у себя на кошме. Ладонями больших сильных рук он держался за круглые большие колени — и так жёстко сцеплено было его тугое ядрёное тело, что если он и чуть покачивался иногда в своей неподвижности, то лишь как заводская труба или башня. Его плечи и спина распирали курточку, и манжеты её едва не рвались на мускулистых предлокотьях. Небольшая язвочка на губе, с которой он приехал в эту больницу, здесь под трубками обратилась в большой тёмно-багровый струп, который заслонял ему рот и мешал есть и пить. Но он не метался, не сутелся, не кричал, а мерно и дочиستا выедал из тарелок и вот так спокойно часами мог сидеть, смотря никуда.

Дальше, на придверной койке, шестнадцатилетний Дёма вытянул больную ногу по кровати и всё время чуть поглаживал, массировал грызущее место голени ладонью. А другую ногу он поджал, как котёнок, и читал, ничего не замечая. Он вообще читал всё то время, что не спал и не проходил процедур. В лаборатории, где делались все анализы, у старшей лаборантки был шкаф с книгами, и уже Дёма туда был допущен и менял себе книги сам, не дожидаясь, пока обменят всей палате. Сейчас он читал журнал в синеватой обложке, но не новый, а потрёпанный и выгоревший на солнце — новых не было в шкафу лаборантки.

И Прошка, добросовестно, без морщин и ямок застав свою койку, сидел чинно, терпеливо, спустив ноги на пол, как вполне здоровый человек. Он и был вполне здоров — в палате ни на что не жаловался, не имел никакого наружного поражения, щёки были налиты здоровой смуглостью, а по лбу — выложен гладкий чубчик. Парень он был хоть куда, хоть на танцы.

Рядом с ним Ахмаджан, не найдя с кем играть, положил на одеяло шашечную доску углом и играл сам с собой в уголки.

Ефрем в своей бинтовой как броневой обмотке, с некрутящейся головой, не топал по проходу, не нагонял тоски, а подмостясь двумя подушками повыше, без отрыву читал книгу, навязанную ему вчера Костоготовым. Правда, страницы он переворачивал так редко, что можно было подумать — дремлет с книгой.

А Азовкин всё так же мучился, как и вчера. Он может быть и совсем не спал. По подоконнику и тумбочке были разбросаны его вещи, постель вся сбита. Лоб и виски его пробивала испарина, по жёлтому лицу переходили все те искорчины болей, которые он ощущал внутри. То он становился на пол, локтями упирался в кровать и стоял так, согнутый. То брался обеими руками за живот и складывался в животе. Он уже много дней в комнате не отвечал на вопросы, ничего о себе не говорил. Речь он тратил только на выпрашивание лишних лекарств у сестёр и врачей. И когда приходили к нему на свидание домашние, он посылал их покупать ещё этих лекарств, какие видел здесь.

За окном был пасмурный, безветренный, бесцветный день. Костоготов, вернувшись с утреннего рентгена и не спросив Павла Николаевича, отворил над собой форточку, и оттуда тянуло сыроватым, правда не холодным.

Опасаясь простудить опухоль, Павел Николаевич обмотал шею и отсел к стене. Какие-то тупые все, покорные, полубрёвна! Кроме Азовкина здесь, видимо, никто не страдает по-настоящему. Как сказал, кажется, Горький, только тот достоин свободы, кто за неё идёт на бой. Так — и выздоровления. Павел-то Николаевич уже предпринял утром решительные шаги. Едва открылась регистратура, он пошёл позвонил домой и сообщил жене ночное решение: через все каналы добиваться направления в Москву, а здесь не рисковать, себя не губить. Капа — пробивная, она уже действует. Конечно, это было малодушие: испугаться опухоли и лечь сюда. Ведь это только кому сказать — с трёх часов вчерашнего дня никто даже не пришёл пощупать — растёт ли его опухоль. Никто не дал лекарства. Повесили температурный листок для дураков. Не-ет, лечебные учреждения у нас ещё надо подтягивать и подтягивать.

Наконец, появились врачи, — но опять не вошли в комнату: остановились там, за дверью, и изрядно постояли около Сибгатова. Он открывал спину и показывал им. (Тем временем Костоглотов спрятал свою книгу под матрас.)

Но вот вошли и в палату — доктор Донцова, доктор Гангарт и осанистая седая сестра с блокнотом в руках и полотенцем на локте. Вход нескольких сразу белых халатов вызывает всегда прилив внимания, страха и надежды — и тем сильнее все три чувства, чем белее халаты и шапочки, чем строже лица. Тут строже и торжественней всех держалась сестра, Олимпиада Владиславовна: для неё обход был как для дьякона богослужение. Это была та сестра, для которой врачи — выше простых людей, которая знает, что врачи всё понимают, никогда не ошибаются, не дают неверных назначений. И всякое назначение она вписывает в свой блокнот с ощущением почти счастья, как молодые сёстры уже не делают.

Однако, и войдя в палату, врачи не поспешили к койке Русанова! Людмила Афанасьевна — крупная женщина с простыми крупными чертами лица, с уже пепелистыми, но стриженными и подвитыми волосами, сказала общее негромкое «здравствуйте» и у первой же койки, около Дёмы, остановилась, изучающе глядя на него.

— Что читаешь, Дёма?

(Не могла найти вопроса поумней! В служебное время!)

По привычке многих, Дёма не назвал, а вывернул и показал голубоватую поблекшую обложку журнала. Донцова сощурилась.

— Ой, старый какой, позапрошлого года. Зачем?

— Здесь — статья интересная, — значительно сказал Дёма.

— О чём же?

— Об и с к р е н н о с т и! — ещё выразительней ответил он. — О том, что литература без искренности...

Он спускал больную ногу на пол, но Людмила Афанасьевна быстро его предупредила:

— Не надо! Закати.

Он закатил штанину, она присела на его кровать и осторожно, издали, несколькими пальцами стала прощупывать ногу.

Вера Корнильевна, позади неё опершись о кроватную спинку и глядя ей через плечо, сказала негромко:

— Пятнадцать сеансов, три тысячи «эр».

— Здесь больно?

— Больно.

— А здесь?

— Ещё и дальше больно.

— А почему ж молчишь? Герой какой! Ты мне говори, откуда больно.

Она медленно выщупывала границы.

— А само болит? Ночью?

На чистом Дёмином лице ещё не росло ни волоска. Но постоянно-напряжённое выражение очень взросло его.

— И день и ночь грызёт.

Людмила Афанасьевна переглянулась с Гангарт.

— Ну всё-таки, как ты замечаешь — за это время стало сильнее грызть или слабей?

— Не знаю. Может, немного полегче. А может — кажется.

— Кровь, — попросила Людмила Афанасьевна, и Гангарт уже протягивала ей историю болезни. Людмила Афанасьевна почитала, посмотрела на мальчика.

— Аппетит есть?

— Я всю жизнь ем с удовольствием, — ответил Дёма с важностью.

— Он стал у нас получать дополнительное, — голосом няни нареспев ласково вставила Вера Корнильевна и улыбнулась Дёме. И он ей. — Трансфузия? — тут же тихо отрывисто спросила Гангарт у Донцовой, беря назад историю болезни.

— Да. Так что ж, Дёма? — Людмила Афанасьевна изучающе смотрела на него опять. — Рентген продолжим?

— Конечно, продолжим! — осветился мальчик.

И благодарно смотрел на неё.

Он так понимал, что это — вместо операции. И ему казалось, что Донцова тоже так понимает. (А Донцова-то понимала, что прежде чем оперировать саркому кости, надо подавить её активность рентгеном и тем предотвратить метастазы.)

Егенбердиев уже давно приготовился, насторожился и, как только Людмила Афанасьевна встала с соседней койки, поднялся в рост в проходе, выпятил грудь и стоял по-солдатски.

Донцова улыбнулась ему, приблизилась к его губе и рассматривала струп. Гангарт тихо читала ей цифры.

— Ну! Очень хорошо! — громче, чем надо, как всегда говорят с иноязычными, ободряла Людмила Афанасьевна. — Всё идёт хорошо, Егенбердиев! Скоро домой пойдёшь!

Ахмаджан, уже зная свои обязанности, перевёл по-узбекски (они с Егенбердиевым понимали друг друга, хотя каждому язык другого казался искажённым).

Егенбердиев с надеждой, с доверием и даже восторгом уставился в Людмилу Афанасьевну — с тем восторгом, с которым эти простые души относятся к подлинно образованным и подлинно полезным людям. Но всё же провёл рукой около своего струпа и спросил.

— А стало — больше? раздулось? — перевёл Ахмаджан.

— Это всё отвалится! Так быть должно! — усиленно громко вговаривала ему Донцова. — Всё отвалится! Отдохнёшь три месяца дома — и опять к нам!

Она перешла к старику Мурсалимову. Он уже сидел, спустив ноги, и сделал попытку встать навстречу ей, но она удержала его и села рядом. С той же верой в её всемогущество смотрел на неё и этот высохший бронзовый старик. Она через Ахмаджана спрашивала его о кашле и велела закатить рубашку, подавливая грудь, где ему больно, и выстукивала рукою через другую руку, тут же слушала Веру Корнильевну о числе сеансов, крови, уколах и молча сама смотрела в историю болезни. Когда-то было всё нужное, всё на месте в здоровом теле, а сейчас всё было лишнее и выпирало — какие-то узлы, углы...

Донцова назначила ему ещё другие уколы и попросила показать из тумбочки таблетки, какие он пьёт.

Мурсалимов вынул пустой флакон из-под поливитаминов. «Когда купил?» — спрашивала Донцова. Ахмаджан перевёл: третьего дня. «А где же таблетки?» — Выпил.

— Как выпил?? — изумилась Донцова. — Сразу все?

— Нет, за два раза, — перевёл Ахмаджан.

Расхохотались врачи, сестра, русские больные, Ахмаджан, и сам Мурсалимов приоткрыл зубы, ещё не понимая.

И только Павла Николаевича их бессмысленный, несвоевременный смех наполнял негодованием. Ну, сейчас он их отрезвит! Он выбрал позу, как лучше встретить врачей, и решил, что полулёжа больше подчеркнёт.

— Ничего, ничего! — ободрила Донцова Мурсалимова. И назначив ему ещё витамин «С», обтерев руки о полотенце, истово подставленное сестрой, с озабоченностью повернулась перейти к следующей койке. Теперь, обращённая к окну и близко к нему, она сама выказывала нездоровый сероватый цвет лица и глубоко-усталое, едва ли не больное выражение.

Лысый, в тубетейке и в очках, строго сидящий в постели, Павел Николаевич почему-то напоминал учителя, да не какого-нибудь, а заслуженного, выросшего сотни учеников. Он дождался, когда Людмила Афанасьевна подошла к его кровати, поправил очки и объявил:

— Так, товарищ Донцова. Я вынужден буду говорить в минздраве о порядках в этой клинике. И звонить товарищу Остапенко.

Она не вздрогнула, не побледнела, может быть землистее стал цвет её лица. Она сделала странное одновременное движение плечами — круговое, будто плечи устали от лямок и нельзя было дать им свободу.

— Если вы имеете лёгкий доступ в минздрав, — сразу согласилась она, — и даже можете звонить товарищу Остапенко, я добавлю вам материала, хотите?

— Да уж добавлять некуда! Такое равнодушие, как у вас, ни в какие ворота не лезет! Я в о с е м н а д ц а т ь часов здесь! — а меня никто не лечит! А между тем я..

(Не мог он ей больше высказать! Сама должна была понимать!)

Все в комнате молчали и смотрели на Русанова. Кто принял удар, так это не Донцова, а Гангарт — она сжала губы в ниточку и схмурилась, и лоб стянула, как будто непоправимое видела и не могла остановить.

А Донцова, нависая над сидящим Русановым, крупная, не дала себе воли даже нахмуриться, только плечами ещё раз кругоподобно провела и сказала уступчиво, тихо:

— Вот я пришла вас лечить.

— Нет, уж теперь поздно! — обрезал Павел Николаевич. — Я посмотрелся здешних порядков — и ухожу отсюда. Никто не интересуется, никто диагноза не ставит!

Его голос непредусмотренно дрогнул. Потому что действительно было обидно.

— Диагноз вам поставлен, — размеренно сказала Донцова, обеими руками держась за спинку его кровати. — И вам некуда идти больше, с этой болезнью в нашей республике вас нигде больше не возьмутся лечить.

— Но ведь вы сказали — у меня не рак?!.. Тогда объявите диагноз!

— Вообще мы не обязаны называть больным их болезнь. Но если это облегчит ваше состояние, извольте: лимфогрануломатоз.

— Так значит, не рак!!

— Конечно, нет. — Даже естественного озлобления от спора не было в её лице и голосе. Ведь она видела его опухоль в кулак под челюстью. На кого ж было сердиться? — на опухоль? — Вас никто не неволил ложиться к нам. Вы можете выписаться хоть сейчас. Но помните... — Она поколебалась. Она примирительно предупредила его: — Умирают ведь не только от рака.

— Вы что — запугать меня хотите?! — вскрикнул Павел Николаевич. — Зачем вы меня пугаете? Это не методически! — ещё бойко резал он, но при слове «умирают» всё охолодело у него внутри. Уже мягче он спросил: — Вы что, хотите сказать, что со мной так опасно?

— Если вы будете переезжать из клиники в клинику — конечно. Снимите-ка шарфик. Встаньте, пожалуйста.

Он снял шарфик и стал на пол. Донцова начала бережно ощупывать его опухоль, потом и здоровую половину шеи, сравнивая. Попросив его сколько можно запрокинуть голову назад (не так-то далеко она и запрокинулась, сразу потянула опухоль), сколько можно наклонить вперёд, повернуть налево и направо.

Вот оно как! — голова его, оказывается, уже почти не имела свободы движения — той лёгкой изумительной свободы, которую мы не замечаем, обладая ею.

— Куртку снимите, пожалуйста.

Куртка его зелёно-коричневой пижамы расстёгивалась крупными пуговицами и не была тесна, и кажется бы не трудно было её снять, но при вытягивании рук отдалось в шее, и Павел Николаевич просто-на-просто, как далеко зашло дело!

Седая асанистая сестра помогла ему выпутаться из рукавов.

— Под мышками вам не больно? — спрашивала Донцова. — Ничто не мешает?

— А что, и там может заболеть? — голос Русанова совсем упал и был ещё тише теперь, чем у Людмилы Афанасьевны.

— Поднимите руки в стороны! — и сосредоточенно, остро давя, щупала у него под мышками.

— А в чём будет лечение? — спросил Павел Николаевич.

— Я вам говорила: в уколах.

— Куда? Прямо в опухоль?

— Нет, внутривенно.

— И часто?

— Три раза в неделю. Одевайтесь.

— А операция — невозможна?

(Он спрашивал — «невозможна?», но больше всего боялся именно лечь на стол. Как всякий больной, он предпочитал любое другое долгое лечение.)

— Операция бессмысленна. — Она вытирала руки о подставленное полотенце.

И хорошо, что бессмысленна! Павел Николаевич соображал. Всё-таки надо посоветоваться с Капой. Обходные хлопоты тоже не просты. Влияния-то нет у него такого, как хотелось бы, как он здесь держался. И позвонить товарищу Остапенко совсем не было просто.

— Ну хорошо, я подумаю. Тогда завтра решим?

— Нет, — неумолимо приговорила Донцова. — Только сегодня. Завтра мы укола делать не можем, завтра суббота.

Опять правила! Как будто не для того пишутся правила, чтоб их ломать!

— Почему это вдруг в субботу нельзя?

— А потому что за вашей реакцией надо хорошо следить — в день укола и в следующий. А в воскресенье это невозможно.

— Так что, такой серьёзный укол?..

Людмила Афанасьевна не отвечала. Она уже перешла к Костоглолову.

— Ну, а если до понедельника?..

— Товарищ Русанов! Вы упрекнули, что восемнадцать часов вас не лечат. Как же вы соглашаетесь на семьдесят два? — (Она уже победила, уже давила его колёсами, и он ничего не мог!..) — Мы или берём вас на лечение, или не берём. Если да, то сегодня в одиннадцать часов дня вы получите первый укол. Если нет — вы распишитесь, что отказываетесь от нашего лечения, и сегодня же я вас выпишу. А три дня ждать в бездействии мы не имеем права. Пока я кончу обход в этой комнате — продумайте и скажите.

Русанов закрыл лицо руками.

Гангарт, гаухо зятянутая халатом почти под горло, беззвучно ми-

новала его. И Олимпиада Владиславовна проплыла мимо, как корабль.

Донцова устала от спора и надеялась у следующей кровати порадоваться. И она и Гангарт уже заранее чуть улыбались.

— Ну, Костоглотов, а что скажете вы?

Костоглотов, немного пригладивший вихры, ответил громко, уверенно, голосом здорового человека:

— Великолепно, Людмила Афанасьевна! Лучше не надо!

Врачи переглянулись. У Веры Корнильевны губы лишь чуть улыбались, а зато глаза — просто смеялись от радости.

— Ну всё-таки,— Донцова присела на его кровать.— Опишите словами — что вы чувствуете? Что за это время изменилось?

— Пожалуйста! — охотно взялся Костоглотов.— Боли у меня ослабились после второго сеанса, совсем исчезли после четвёртого. Тогда же упала и температура. Сплю я сейчас великолепно, по десять часов, в любом положении — и не болит. А раньше я такого положения найти не мог. На еду я смотреть не хотел, а сейчас всё подбираю и ещё добавки прошу. И не болит.

— И не болит? — рассмеялась Гангарт.

— А — дают? — смеялась Донцова.

— Иногда. Да вообще о чём говорить? — у меня просто изменилось мироощущение. Я приехал вполне мертвец, а сейчас я живой.

— И тошноты не бывает?

— Нет.

Донцова и Гангарт смотрели на Костоглотова и сияли — так, как смотрит учитель на выдающегося отличника: больше гордясь его великолепным ответом, чем собственными знаниями и опытом. Такой ученик вызывает к себе привязанность.

— А опухоль ощущаете?

— Она мне уже теперь не мешает.

— Но ощущаете?

— Ну, когда вот ложусь — чувствую лишнюю тяжесть, вроде бы даже перекатывается. Но не мешает! — настаивал Костоглотов.

— Ну, лягте.

Костоглотов привычным движением (его опухоль за последний месяц щупали в разных больницах многие врачи и даже практиканты, и звали из соседних кабинетов щупать, и все удивлялись) поднял ноги на койку, подтянул колени, лёг без подушки на спину и обнажил живот. Он сразу почувствовал, как эта внутренняя жаба, спутница его жизни, прилегла там где-то глубоко и подавливала.

Людмила Афанасьевна сидела рядом и мягкими круговыми приближениями подбиралась к опухоли.

— Не напрягайтесь, не напрягайтесь,— напоминала она, хотя и сам он знал, но непроизвольно напряглся в защиту и мешал щупать. Наконец, добившись мягкого доверчивого живота, она ясно ощутила в глубине, за желудком, край его опухоли и пошла по всему контуру сперва мягко, второй раз жёстче, третий — ещё жёстче.

Гангарт смотрела через её плечо. И Костоглотов смотрел на Гангарт. Она очень располагала. Она хотела быть строгой — и не могла: быстро привыкала к больным. Она хотела быть взрослой — и тоже не получалось: что-то было в ней девчёнчье.

— Отчётливо пальпируется по-прежнему,— установила Людмила Афанасьевна.— Стала площе, это безусловно. Отошла вглубь, освободила желудок, и вот ему не больно. Помягчала. Но контур — почти тот же. Вы — посмотрите?

— Да нет, я каждый день, надо с перерывами. РОЭ — двадцать пять, лейкоцитов — пять восемьсот, сегментных... Ну, посмотрите сами...

Русанов поднял голову из рук и шёпотом спросил у сестры:

— А — уколы? Очень болезненно?

Костоглотов тоже дознавался:

— Людмила Афанасьевна! А сколько мне ещё сеансов?

— Этого сейчас нельзя посчитать.

— Ну, всё-таки. Когда примерно вы меня выпишете?

— Что??? — Она подняла голову от истории болезни.— О чём вы меня спросили??

— Когда вы меня выпишете?— так же уверенно повторил Костоглотов. Он обнял колени руками и имел независимый вид.

Никакого любования отличником не осталось во взгляде Донцовой. Был трудный пациент с закоренело-упрямым выражением лица.

— Я вас только начинаю лечить! — осадила она его.— Начинаю с завтрашнего дня. А это всё была лёгкая пристрелка.

Но Костоглотов не пригнулся.

— Людмила Афанасьевна, я хотел бы немного объясниться. Я понимаю, что я ещё не излечен, но я не претендую на полное излечение.

Ну, выдались больные! — один лучше другого. Людмила Афанасьевна насушилась, вот когда она сердилась:

— Что вообще вы говорите? Вы — нормальный человек или нет?

— Людмила Афанасьевна,— спокойно отвёл Костоглотов большой рукой,— дискуссия о нормальности и ненормальности современного человека завела бы нас очень далеко... Я сердечно вам благодарен, что вы меня привели в такое приятное состояние. Теперь я хочу в нём немножечко пожить. А что будет от дальнейшего лечения — я не знаю.— По мере того, как он это говорил, у Людмилы Афанасьевны выворачивалась в нетерпении и возмущении нижняя губа. У Гангарт задёргались брови, глаза её переходили с одного на другую, ей хотелось вмешаться и смягчить. Олимпиада Владиславовна смотрела на бунтаря надменно.— Одним словом, я не хотел бы платить слишком большую цену сейчас за надежду пожить когда-нибудь. Я хочу положить на защитные силы организма...

— Вы со своими защитными силами организма к нам в клинику на четвереньках приползли! — резко отповедала Донцова и поднялась с его кровати.— Вы даже не понимаете, чем вы играете! Я с вами и разговаривать не буду!

Она взмахнула рукой по-мужски и отвернулась к Азовкину, но Костоглотов с подтянутыми по одеялу коленями смотрел непримиримо, как чёрный пёс:

— А я, Людмила Афанасьевна, прошу вас поговорить! Вас, может быть, интересует эксперимент, чем это кончится, а мне хочется пожить покойно. Хоть годик. Вот и всё.

— Хорошо,— бросила Донцова через плечо.— Вас вызовут.

Раздосадованная, она смотрела на Азовкина, ещё никак не переключаясь на новый голос и новое лицо.

Азовкин не вставал. Он сидел, держась за живот. Он поднял только голову навстречу врачам. Его губы не были сведены в один рот, а каждая губа выражала своё отдельное страдание. В его глазах не было никакого чувства, кроме мольбы — мольбы к глухим о помощи.

— Ну, что, Коля? Ну как?— Людмила Афанасьевна обняла его с плеча на плечо.

— Пло-хо,— ответил он очень тихо, одним ртом, стараясь не выталкивать грудью воздух, потому что всякий толчок лёгкими сразу же отдавался к животу на опухоль.

Полгода назад он шёл с лопатой через плечо во главе комсомольского воскресника и пел во всю глотку — а сейчас даже о боли своей не мог рассказать громче шёпота.

— Ну, давай, Коля, вместе подумаем,— так же тихо говорила Донцова.— Может быть, ты устал от лечения? Может быть, тебе больничная обстановка надоела? Надоела?

— Да...

— Ты ведь здешний. Может, дома отдохнёшь? Хочешь?.. Выпишем тебя на месяц — на полтора?

— А потом... примете?..

— Ну, конечно, примем. Ты ж теперь наш. Отдохнёшь от уколов. Вместо этого купишь в аптеке лекарство и будешь класть под язык три раза в день.

— Синэстрол?..

— Да.

Донцова и Гангарт не знали: все эти месяцы Азовкин фанатично вымаливал у каждой заступающей сестры, у каждого ночного дежурного врача лишнее снотворное, лишнее болеутоляющее, всякий лишний порошок и таблетку кроме тех, которыми его кормили и кололи по назначению. Этим запасом лекарств, набитой матерчатой сумочкой, Азовкин готовил себе спасение вот на этот день, когда врачи откажутся от него.

— Отдохнуть тебе надо, Коленька... Отдохнуть..

Было очень тихо в палате, и тем слышней, как Русанов вздохнул, выдвинул голову из рук и объявил:

— Я уступаю, доктор. Колите!

5

Как это называется?— расстроена?— угнетена?— какой-то невидимый, но плотный тяжёлый туман входит в грудь, а всё наше облегает и сдавливает к середине. И мы чувствуем только это сжатие, эту муку, не сразу даже понимаем, что именно нас так угнетило.

Вот это чувствовала Вера Корнильевна, кончая обход и спускаясь вместе с Донцовой по лестнице. Ей было очень нехорошо.

В таких случаях помогает вслушаться и разобраться: отчего это всё? И выставить что-то в заслон.

Вот что было: была боязнь за маму— так звали между собой Людмилу Афанасьевну три её ординатора-лучевика. Мамой она приходилась им и по возрасту — им всем близ тридцати, а ей под пятьдесят; и по тому особенному рвению, с которым натаскивала их на работу: она сама была старательна до въедливости и хотела, чтоб ту же старательность и въедливость усвоили все три «дочери»; она была из последних, ещё охватывающих и рентгенодиагностику и рентгенотерапию, и вопреки направлению времени и дроблению знаний добивалась, чтоб её ординаторы тоже удержали обе. Не было секрета, который она таила бы для себя и не поделилась. И когда Вера Гангарт то в одном, то в другом оказывалась живей и острее её, то «мама» только радовалась. Вера работала у неё уже восемь лет, от самого института — и вся сила, которую она в себе теперь чувствовала, сила вытягивать умоляющих людей из запахнувшей их смерти,— вся произошла от Людмилы Афанасьевны.

Этот Русанов мог причинить «маме» тягучие неприятности. Мудрено голову приставить, а срубить немудрено.

Да если бы только один Русанов! Это мог сделать любой больной с ожесточённым сердцем. Ведь всякая травля, однажды кликнутая,— она не лежит, она бежит. Это — не след по воде, это борозда по памяти. Можно её потом заглаживать, песочком засыпать,— но крикни опять кто-нибудь хоть спяну: «бей врачей!» или «бей инженеров!» — и палки уже при руках.

Клочки подозрений остались там и сям, проносятся. Совсем недавно лежал в их клинике по поводу опухоли желудка шофёр МГБ. Он был хирургический, Вера Корнильевна не имела к нему никакого отношения, но как-то дежурила ночью и делала вечерний обход. Он жаловался на плохой сон. Она назначила ему бромурал, но узнав от сестры, что мелка расфасовка, сказала: «Дайте ему два порошка сразу!» Больной взял, Вера Корнильевна даже не заметила особенного его взгляда. И так бы не узналось, но лаборантка их клиники была этому

шофёру соседка по квартире и навещала его в палате. Она прибежала к Вере Корнильевне взволнованная: шофёр не выпил порошков (почему два сразу?), он не спал ночь, а теперь выспрашивал лаборантку: «Почему её фамилия Гангарт? Расскажи о ней поподробней. Она отравить меня хотела. Надо её заняться».

И несколько недель Вера Корнильевна ждала, что её займут с я. И все эти недели она должна была неуклонно, неопишочно и даже со вдохновением ставить диагнозы, безусловно отмерять дозы лечения и взглядом и улыбкой поощрять больных, попавших в этот пресловутый раковый круг, и от каждого ожидать взгляда: «А ты не отравительница?»

Вот ещё что сегодня было особенно тяжело на обходе: что Костоглов, один из самых успешливых больных и к которому Вера Корнильевна была особенно почему-то добра,— Костоглов именно так и спросил «маму», подозревая какой-то злой эксперимент над собой.

Шла удручённая с подхода и Людмила Афанасьевна и тоже вспоминала неприятный случай — с Полиной Заводчиковой, скандальнейшей бабой. Не сама она была больна, но сын её, а она лежала с ним в клинике. Ему вырезали внутреннюю опухоль — и она напала в коридоре на хирурга, требуя выдать ей кусочек опухоли сына. И не будь это Лев Леонидович, пожалуй бы и получила. А дальше у неё была идея — отнести этот кусочек в другую клинику, там проверить диагноз и если не сойдётся с первоначальным диагнозом Донцовой, то вымогать деньги или в суд подавать.

Не один такой случай был на памяти у каждой из них.

Теперь, после обхода, они шли договорить друг с другом то, чего нельзя было при больных, и принять решения.

С помещениями было скудно в Тринадцатом корпусе, и не находилось комнатки для врачей лучевого отделения. Они не помещались ни в операторской «гамма-пушки», ни в операторской длиннофокусных рентгеновских установок на сто двадцать и двести тысяч вольт. Было место в рентгенодиагностическом, но там постоянно темно. И поэтому свой стол, где они разбирались с текущими делами, писали истории болезни и другие бумаги, они держали в лечебном кабинете короткофокусных рентгеновских установок — как будто мало им было за годы и годы их работы тошнотного рентгеновского воздуха с его особенным запахом и разогревом.

Они пришли и сели рядом за большой этот стол без ящиков, грубо остроганный. Вера Корнильевна переключивала карточки стационара — женские и мужские, разделяя, какие она сама обрабатывает, а о каких надо решить вместе. Людмила Афанасьевна угрюмо смотрела перед собой в стол, чуть выкатив нижнюю губу и постукивая карандашиком.

Вера Корнильевна с участием взглядывала на неё, но не решалась сказать ни о Русанове, ни о Костоглове, ни об общей врачебной судьбе — потому что понятное повторять ни к чему, а высказаться можно недостаточно тонко, недостаточно осторожно и только задеть, не утешить.

А Людмила Афанасьевна сказала:

— Как же это бесит, что мы бессильны, а?! — (Это могло быть о многих, осмотренных сегодня.) Ещё постучала карандашиком. — Но ведь нигде ошибки не было. — (Это могло быть об Азовкине, о Мурсалимове.) — Мы когда-то шатнулись в диагнозе, но лечили верно. И меньшей дозы мы дать не могли тоже. Нас погубила бочка.

Вот как! — она думала о Сибгатове! Бывают же такие неблагоприятные болезни, что тратишь на них утроенную изобретательность, а спасти больного нет сил. Когда Сибгатова впервые принесли на носилках, рентгенограмма показала полное разрушение почти всего крестца. Шатание было в том, что даже с консультацией профессора признали саркому кости, и лишь потом постепенно выявили, что это была

гигантоклеточная опухоль, когда в кости появляется жижа, и вся кость заменяется желеподобной тканью. Однако, лечение совпадало.

Крестец нельзя отнять, нельзя выпилить — это камень, положенный во главу угла. Оставалось — рентгенооблучение и обязательно сразу большими дозами — меньшие не могли помочь. И Сибгатов выздоровел! — крестец укрепился. Он выздоровел, но от бычьих доз рентгена все окружающие ткани стали непомерно чувствительны и расположены к образованию новых, злокачественных опухолей. И так от ушиба у него вспыхнула трофическая язва. И сейчас, когда уже кровь его и ткани его отказывались принять рентген, — сейчас бушевала новая опухоль, и нечем было её сбить, её только держали.

Для врача это было сознание бессилия, несовершенства методов, а для сердца — жалость, самая обыкновенная жалость: вот есть такой кроткий, вежливый, печальный татарин Сибгатов, так способный к благодарности, но всё, что можно для него сделать, это — продлить его страдания.

Сегодня утром Низамутдин Бахрамович вызывал Донцову по специальному этому поводу: ускорить оборачиваемость коек, а для того во всех неопределённых случаях, когда не обещается решительное улучшение, больных выписывать. И Донцова была согласна с этим: ведь в приёмном вестибюле у них постоянно сидели ожидающие, даже по несколько суток, а из районных онкопунктов шли просьбы разрешить прислать больного. Она была согласна в принципе, и никто, как Сибгатов, так ясно не подпадал под этот принцип, — а вот выписать его она не могла. Слишком долгая изнурительная борьба велась за этот один человеческий крестец, чтоб уступить теперь простому разумному рассуждению, чтоб отказаться даже от простого повторения ходов с ничтожной надеждой, что ошибётся всё-таки смерть, а не врач. Из-за Сибгатова у Донцовой даже изменилось направление научных интересов: она углубилась в патологию костей из одного порыва — спасти Сибгатова. Может быть, в приёмной сидели больные с меньшей нуждой — а вот она не могла отпустить Сибгатова и будет хитрить перед главврачом, сколько сможет.

И ещё настаивал Низамутдин Бахрамович не задерживать обречённых. Смерть их должна происходить по возможности вне клиники — это тоже увеличит оборачиваемость коек, и меньше угнетения будет оставшимся, и улучшится статистика, потому что они будут выписаны не по причине смерти, а лишь «с ухудшением».

По этому разряду и выписывался сегодня Азовкин. Его история болезни, за месяцы превратившаяся уже в толстую тетрадочку из коричневатых склеенных листиков с грубой выделкой, со встрявшими белесоватыми кусочками древесины, задирающими перо, содержала много фиолетовых и синих цифр и строчек. И оба врача видели сквозь эту подклеенную тетрадочку вспотевшего от страданий городского мальчика, как он сиживал на койке, сложенный в погибель, но читаемые тихим мягким голосом цифры были неумолиме раскатов трибунала, и обжаловать их не мог никто. Тут было двадцать шесть тысяч «эр» облучения, из них двенадцать тысяч в последнюю серию, пятьдесят инъекций синэстрола, семь трансфузий крови, и всё равно лейкоцитов только три тысячи четыреста, эритроцитов... Метастазы рвали оборону как танки, они уже твердели в средостении, появились в лёгких, уже воспаляли узлы над ключицами, но организм не давал помощи, чем их остановить.

Врачи переглядывали и дописывали отложенные карточки, а сестра-рентгенолаборант тут же продолжала процедуры для амбулаторных. Вот она ввела четырёхлетнюю девочку в синем платице, с матерью. У девочки на лице были красные сосудистые опухолёчки, они ещё были малы, они ещё не были злокачественны, но принято было облучать их, чтоб они не росли и не переродились. Сама же девочка мало заботилась, не знала о том, что, может быть, на крохотной губке

своей несла уже тяжёлую гирю смерти. Она не первый раз была здесь, уже не боялась, щебетала, тянулась к никелированным деталям аппаратов и радовалась блестящему миру. Весь сеанс ей был три минуты, но эти три минуты она никак не хотела посидеть неподвижно под точно направленной на больное место узкой трубкой. Она тут же изворачивалась, отклонялась, и рентгенотехник, нервничая, выключала и снова и снова наводила на неё трубку. Мать держала игрушки, привлекая внимание девочки, и обещала ей ещё другие подарки, если будет сидеть спокойно. Потом вошла мрачная старуха и долго размазывала платок и снимала кофту. Потом пришла из стационара женщина в сером халате с шариком цветной опухоли на ступне — просто наколола гвоздём в туфле — и весело разговаривала с сестрой, никак не предполагая, что этот сантиметровый пустячный шарик, который ей не хотят почему-то отрезать, есть королева злокачественных опухолей — меланобластома.

Врачи невольно отвлекались и на этих больных, осматривая их и давая советы сестре, так уже перешло время, когда надо было Вере Корнильевне идти делать эмбихинный укол Русанову, — и тут она положила перед Людмилой Афанасьевной последнюю нарочно ею так задержанную карточку Костоглотова.

— При таком запущенном исходном состоянии — такое блистательное начало, — сказала она. — Только очень уж упрямый. Как бы он правда не отказался.

— Да попробует он только! — пристукнула Людмила Афанасьевна. Болезнь Костоглотова была та самая, что у Азовкина, но так обнадёжливо поворачивалось лечение и ещё б он смел отказаться!

— У вас — да, — согласилась сразу Гангарт. — А я не уверена, что его переупрямлю. Может, прислать его к вам? — Она счищала с ногтя какую-то прилепившуюся соринку. — У меня с ним сложились довольно трудные отношения... Не удаётся категорично с ним говорить. Не знаю, почему.

Их трудные отношения начались ещё с первого знакомства.

Был ненастный январский день, лил дождь. Гангарт заступила на ночь дежурным врачом по клинике. Часов около девяти вечера к ней вошла толстая здоровая санитарка первого этажа и пожаловалась:

— Доктор, там больной один безобразит. Я сама не отобьюсь. Что ж это, если меры не принимать, так нам на голову сядут.

Вера Корнильевна вышла и увидела, что прямо на полу около запертой каморки старшей сестры, близ большой лестницы, вытянулся долговязый мужчина в сапогах, изрыжевшей солдатской шинели, а в ушанке — гражданской, тесной ему, однако тоже натянутой на голову. Под голову он подмостил вещмешок и по всему видно, что приготовился спать. Гангарт подошла к нему близко — тонконогая, на высоких каблучках (она никогда не одевалась небрежно), посмотрела строго, желая пристыдить взглядом и заставить подняться, но он, хотя видел её, смотрел вполне равнодушно, не шевельнулся и даже, кажется, прикрыл глаза.

— Кто вы такой? — спросила она.

— Че-ло-век, — негромко, с безразличием ответил он.

— Вы имеете к нам направление?

— Да.

— Когда вы его получили?

— Сегодня.

По отпечаткам на полу под его боками видно было, что шинель его вся мокра, как, впрочем, и сапоги, и вещмешок.

— Но здесь нельзя. Мы... не разрешаем тут. Это и просто неудобно.

— У-добно, — вяло отозвался он. — Я — у себя на родине, кого мне стесняться?

Вера Корнильевна смешалась. Она почувствовала, что не может прикрикнуть на него, велеть ему встать, да он и не послушается.

Она оглянулась в сторону вестибюля, где днём всегда было полно посетителей и ожидающих, где на трёх садовых скамьях родственники виделись с больными, а по ночам, когда клиника запиралась, тут оставяла и тяжёлых приезжих, которым некуда было податься. Сейчас в вестибюле стояло только две скамьи, на одной из них уже лежала старуха, на второй молодая узбечка в цветастом платке положила ребёнка и сидела рядом.

В вестибюле-то можно было разрешить лечь на полу, но пол там нечистый, захоженный.

А сюда входили только в больничной одежде или в белых халатах.

Вера Корнильевна опять посмотрела на этого дикого больного с уже отходящим безразличием остро-исхудалого лица.

— И у вас никого нет в городе?

— Нет.

— А вы не пробовали — в гостиницы?

— Пробовал, — уже устал отвечать он.

— Здесь — пять гостиниц.

— И слушать не хотят, — он закрыл глаза, кончая аудиенцию.

— Если бы раньше! — соображала Гангарт. — Некоторые наши нянечки пускают к себе больных ночевать. Они недорого берут.

Он лежал с закрытыми глазами.

— Говорит: хоть неделю буду так лежать! — напала дежурная санитарка. — На дороге! Пока, мол, койку мне не предоставят! Ишь ты, озорник! Вставай, не балуй! Стерильно тут! — подступала санитарка.

— А почему только две скамейки? — удивлялась Гангарт. — Вроде ведь третья была.

— Ту, третью, вон перенесли, — показала санитарка через застеклённую дверь.

Верно, верно, за эту дверь, в коридор к аппаратным, перенесли одну скамейку для тех ожидающих больных, которые днём приходили принимать сеансы амбулаторно.

Вера Корнильевна велела санитарке отпереть тот коридор, а больному сказала:

— Я переложу вас удобнее, поднимитесь.

Он посмотрел на неё — не сразу доверчиво. Потом с мученьями и подёргиваньями боли стал подниматься. Видно, каждое движение и поворот туловища давались ему трудно. Поднимаясь, он не прихватил в руки вещмешка, а теперь ему было больно за ним наклониться.

Вера Корнильевна легко наклонилась, белыми пальцами взяла его промокший нечистый вещмешок и подала ему.

— Спасибо, — криво улыбнулся он. — До чего я дожил...

Влажное продолговатое пятно осталось на полу там, где он лежал.

— Вы были под дождём? — вглядывалась она в него со всё большим участием. — Там, в коридоре, тепло, снимите шинель. А вас не знобит? Температуры нет? — Лоб его весь был прикрыт этой нахлобученной чёрной дрянной шапчёнкой со свисающими меховыми ушами, и она приложила пальцы не ко лбу его, а к щеке.

И прикосновением можно было понять, что температура есть.

— Вы что-нибудь принимаете?

Он смотрел на неё уже как-то иначе, без этого крайнего отчуждения.

— Анальгин.

— Есть у вас?

— У-гм.

— А снотворное принести?

— Если можно.

— Да! — спохватилась она. — Направление-то ваше покажите!

Он не то усмехнулся, не то губы его двигались просто велениями боли.

— А без бумажки — под дождь?

Расстегнул верхние крючки шинели и из кармана открывшейся гимнастёрки вытащил ей направление, действительно выписанное в этот день утром в амбулатории. Она прочла и увидела, что это — её больный, лучевой. С направлением в руке она повернула за снотворным:

— Я сейчас принесу. Идите ложитесь.

— Подождите, подождите! — оживился он. — Бумажечку верните! Знаем мы эти приёмчики!

— Но чего вы можете бояться? — она обернулась обиженная. — Неужели вы мне не верите?

Он посмотрел в колебании. Буркнул:

— А почему я должен вам верить? Мы с вами из одной миски щей не хлебали...

И пошёл ложиться.

Она рассердилась и сама уже к нему не вернулась, а через санитарку послала снотворное и направление, на котором сверху написала «cito», подчеркнула и поставила восклицательный знак.

Лишь ночью она прошла мимо него. Он спал. Скамья была удобна для этого, не свалившись: изгибистая спинка переходила в изгибистое же сидение полужёлобом. Мокрую шинель он снял, но всё равно ею же и накрылся: одну полу тянул на ноги, другую на плечи. Ступни сапог свешивались с краю скамьи. На подмётках сапог места живого не было — косячками чёрной и красной кожи латали их. На носках были металлические набойки, на каблуках подковки.

Утром Вера Корнильевна ещё сказала старшей сестре, и та положила его на верхней лестничной площадке.

Правда, с того первого дня Костоготов ей больше не дерзил. Он вежливо разговаривал с ней обычным городским языком, первый здоровался и даже доброжелательно улыбался. Но всегда было ощущение, что он может выкинуть что-нибудь странное.

И действительно, позавчера, когда она вызвала его определить группу крови, и приготовила пустой шприц взять у него из вены, он спустил откаченный уже рукав и твёрдо сказал:

— Вера Корнильевна, я очень сожалею, но найдите способ обойтись без этой пробы.

— Да почему ж, Костоготов?

— Из меня уже попили кровушки, не хочу. Пусть даёт, в ком крови много.

— Но как вам не стыдно? Мужчина! — взглянула она с той природной женской насмешкой, которой мужчине перенести невозможно.

— А потом что?

— Будет случай — перельём вам крови.

— Мне? Переливать? Избавьте! Зачем мне чужая кровь? Чужой не хочу, своей ни капли не дам. Группу крови запишите, я по фронту знаю.

Как она его ни уговаривала — он не уступал, находя новые неожиданные соображения. Он уверен был, что это всё лишнее.

Наконец, она просто обиделась:

— Вы ставите меня в какое-то глупое смешное положение. Я последний раз — прошу вас.

Конечно, это была ошибка и унижение с её стороны — о чём, собственно, просить?

Но он сразу оголил руку и протянул:

— Лично для вас — возьмите хоть три кубика, пожалуйста.

Из-за того, что она терялась с ним, однажды произошла нескладность. Костоготов сказал:

— А вы непохожи на немку. У вас, наверно, фамилия по мужу?

— Да,— вырвалось у неё.

Почему она так ответила? В то мгновение показалось обидным сказать иначе.

Он больше ничего не спросил.

А Гангарт — её фамилия по отцу, по деду. Они обрусевшие немцы.

А как надо было сказать? — я не замужем? — я замужем никогда не была?

Невозможно.

6

Прежде всего Людмила Афанасьевна повела Костоглотова в аппаратную, откуда только что вышла больная после сеанса. С восьми утра почти непрерывно работала здесь большая ставосьмидесятитысячевольтная рентгеновская трубка, свисающая со штатива на подвесах, а форточка была закрыта, и весь воздух был наполнен чуть сладковатым, чуть противным рентгеновским теплом.

Этот разогрев, как ощущали его лёгкие (а был он не просто разогрев), становился противен больным после полудюжины, после десятка сеансов. Людмила же Афанасьевна привыкла к нему. За двадцать лет работы здесь, когда трубки и совсем никакой защиты не имели (она попадала и под провод высокого напряжения, едва убита не была), Донцова каждый день дышала воздухом рентгеновских кабинетов и больше часов, чем допустимо, сидела на диагностике. И несмотря на все экраны и перчатки, она получила на себя, наверно, больше «эр», чем самые терпеливые и тяжёлые больные, только никто этих «эр» не подсчитывал, не складывал.

Она спешила — но не только, чтоб выйти скорей, а нельзя было лишних минут задерживать рентгеновскую установку. Показала Костоглотову лечь на твёрдый топчан под трубку и открыть живот. Как-ой-то щекокущей прохладной кисточкой водила ему по коже, что-то очерчивая и как будто выписывая цифры.

И тут же сестре-рентгенотехнику объяснила схему квадрантов и как подводить трубку на каждый квадрант. Потом велела ему перевернуться на живот и мазала ещё на спине. Объявила:

— После сеанса — зайдёте ко мне.

И ушла. А сестра опять велела ему животом вверх и обложила первый квадрант простынями, потом стала носить тяжёлые коврики из просвинцованной резины и закрывать ими все смежные места, которые не должны были сейчас получить прямого удара рентгена. Гибкие коврики приятно-тяжело облегли тело.

Ушла и сестра, затворила дверь, и видела его теперь только через окошечко в толстой стене. Раздалось тихое гудение, засветились вспомогательные лампы, раскалилась главная трубка.

И через оставленную клетку кожи живота, а потом через прослойки и органы, которым названия не знал сам обладатель, через туловище жабы-опухоли, через желудок или кишки, через кровь, идущую по артериям и венам, через лимфу, через клетки, через позвоночник и малые кости и ещё через прослойки, сосуды и кожу там, на спине, потом через настил топчана, четырёхсантиметровые доски пола, через лаги, через засыпку и дальше, дальше, уходя в самый каменный фундамент или в землю,— полились жёсткие рентгеновские лучи, не представимые человеческому уму вздрагивающие векторы электрического и магнитного полей, или более понятные снаряды-кванты, разрывающие и решетающие всё, что попадалось им на пути.

И этот варварский расстрел крупными квантами, происходивший беззвучно и неощутимо для расстреливаемых тканей, за двенадцать сеансов вернул Костоглотову намерение жить, и вкус жизни, и аппетит, и даже весёлое настроение. Со второго и третьего прострела освободясь от болей, делавших ему невыносимым существование, он потянулся узнать и понять, как же эти пронизывающие снарядики

могут бомбить опухоль и не трогать остального тела. Костоглотов не мог вполне поддаться лечению, пока для себя не понял его идеи и не поверил в неё.

И он постарался выведать идею рентгенотерапии от Веры Корнильевны, этой милой женщины, обезоружившей его предвзятость и настороженность с первой встречи под лестницей, когда он решил, что пусть хоть пожарниками и милицией его вытаскивают, а доброй волей он не уйдёт.

— Вы не бойтесь, объясните, — успокаивал её. — Я как тот сознательный боец, который должен понимать боевую задачу, иначе он не воюет. Как это может быть, чтобы рентген разрушал опухоль, а остальных тканей не трогал?

Все чувства Веры Корнильевны ещё прежде глаз выражались в её отзывчивых лёгких губах. И колебание выразилось в них же.

(Что она могла ему рассказать об этой слепой артиллерии, с тем же удовольствием лупящей по своим, как и по чужим?)

— Ох, не полагайтесь... Ну, хорошо. Рентген, конечно, разрушает всё подряд. Только нормальные ткани быстро восстанавливаются, а опухолевые нет.

Правду ли, неправду ли сказала, но Костоглотову это понравилось.

— О! На таких условиях я играю. Спасибо. Теперь буду выздоравливать!

И, действительно, выздоравливал. Охотно ложился под рентген и во время сеанса ещё особо внашал клеткам опухоли, что они — разрушаются, что им — х а н а́.

А то и вовсе думал под рентгеном о чём попало, даже дремал.

Сейчас вот он обошёл глазами многие висащие шланги и провода и хотел для себя объяснить, зачем их столько, и если есть тут охлаждение, то водяное или масляное. Но мысль его на этом не задержалась и ничего он себе не объяснил.

Он думал, оказывается, о Vere Гангарт. Он думал, что вот такая милая женщина никогда не появится у них в Уш-Тереке. И все такие женщины обязательно замужем. Впрочем, помня этого мужа в скобках, он думал о ней вне этого мужа. Он думал, как приятно было бы поболтать с ней не мельком, а долго-долго, хоть бы вот походить по двору клиники. Иногда напугать её резкостью суждения — она забавно теряется. Милость её всякий раз светит в улыбке как солнышко, когда она только попадётся в коридоре навстречу или войдёт в палату. Она не по профессии добра, она просто добра. И — губы...

Трубка зудела с лёгким призвоном.

Он думал о Vere Гангарт, но думал и о Зое. Оказалось, что самое сильное впечатление от вчерашнего вечера, выплывшее и с утра, было от её дружно подобранных грудей, составлявших как бы полочку, почти горизонтальную. Во время вчерашней болтовни лежала на столе около них большая и довольно тяжёлая линейка для расчерчивания ведомостей — не фанерная линейка, а из струганой досочки. И весь вечер у Костоглотова была соблазн — взять эту линейку и положить на полочку её грудей — проверить: соскользнет или не соскользнет. Ему казалось, что — не соскользнет.

Ещё он с благодарностью думал о том тяжёлом просвинцованном коврик, который кладут ему ниже живота. Этот коврик давил на него и радостно подтверждал: «Защищу, не бойся!»

А может быть, нет? А может, он недостаточно толст? А может, его не совсем аккуратно кладут?

Впрочем, за эти двенадцать дней Костоглотов не просто вернулся к жизни — к еде, движению и весёлому настроению. За эти двенадцать дней он вернулся и к ощущению, самому красному в жизни, но которое за последние месяцы в болях совсем потерял. И, значит, свинец держал оборону!

А всё-таки надо было выскакивать из клиники, пока цел.

Он и не заметил, как прекратилось жужжание, и стали остывать розовые нити. Вошла сестра, стала снимать с него щитки и простыни. Он спустил ноги с топчана и тут хорошо увидел на своём животе фиолетовые клетки и цифры.

— А как же мыться?

— Только с разрешения врачей.

— Удобненькое устройство. Так это что мне — на месяц заготовили?

Он пошёл к Донцовой. Та сидела в комнате короткофокусных аппаратов и смотрела на просвет большие рентгеновские плёнки. Оба аппарата были выключены, обе форточки открыты, и больше не было никого.

— Садитесь,— сказала Донцова сухо.

Он сел.

Она ещё продолжала сравнивать две рентгенограммы.

Хотя Костоглов с ней и спорил, но всё это была его оборона против излишеств медицины, разработанных в инструкции. А сама Людмила Афанасьевна вызывала у него доверие — не только мужской решительностью, чёткими командами в темноте у экрана, и возрастом, и безусловной преданностью работе одной, но больше всего тем, как она с первого дня уверенно щупала контур опухоли и шла точно по нему. О правильности прощупа ему говорила сама опухоль, которая тоже что-то чувствовала. Только больной может оценить, верно ли врач понимает опухоль пальцами. Донцова так щупала его опухоль, что ей и рентген был не нужен.

Отложив рентгенограммы и сняв очки, она сказала:

— Костоглов. В вашей истории болезни существенный пробел. Нам нужна точная уверенность в природе вашей первичной опухоли.— Когда Донцова переходила на медицинскую речь, её манера говорить очень убыстрялась: длинные фразы и термины проскакивали одним дыханием.— То, что вы рассказываете об операции в позапрошлом году, и положение нынешнего метастаза сходятся к нашему диагнозу. Но всё-таки не исключаются и другие возможности. А это нам затрудняет лечение. Взять пробу сейчас из вашего метастаза, как вы понимаете, невозможно.

— Слава Богу. Я бы и не дал.

— Я всё-таки не понимаю — почему мы не можем получить стёкол с первичным препаратом. Вы-то сами вполне уверены, что гистологический анализ был?

— Да, уверен.

— Но почему в таком случае вам не объявили результата? — строчила она скороговоркой делового человека. О некоторых словах надо было догадываться.

А вот Костоглов торопиться отвык:

— Результата? Такие у нас были бурные события, Людмила Афанасьевна, такая обстановочка, что, честное слово... Просто стыдно было о моей биопсии спрашивать. Тут головы летели. Да я и не понимал, зачем биопсия.— Костоглов любил, разговаривая с врачами, упреждать их термины.

— Вы не понимали, конечно. Но врачи-то должны были понять, что этим не играют.

— Вра-чи?

Он посмотрел на сединку, которую она не прятала и не закрашивала, охватил собранное деловое выражение её несколько скуластого лица.

Как идёт жизнь, что вот сидит перед ним его соотечественница, современница и доброжелатель — и на общем их родном русском языке он не может объяснить ей самых простых вещей. Слишком издали начинать надо, что ли. Или слишком рано оборвать.

— И врачи, Людмила Афанасьевна, ничего поделать не могли. Первый хирург, украинец, который назначил мне операцию и подготовил меня к ней, был взят на этап в самую ночь под операцию.

— И что же?

— Как что? Увезли.

— Но позвольте, когда его предупредили, он мог...

Костоглотов рассмеялся откровеннее.

— Об этапе никто не предупреждает, Людмила Афанасьевна. В том-то и смысл, чтобы выдернуть человека внезапно.

Донцова нахмурилась крупным лбом. Костоглотов говорил какую-то несообразицу.

— Но если у него был операционный больной?..

— Ха! Там принесли ещё почище меня. Один литовец проглотил алюминиевую ложку, столовую.

— Как это может быть?!

— Нарочно. Чтоб уйти из одиночки. Он же не знал, что хирурга увозят.

— Ну, а... потом? Ведь ваша опухоль быстро росла.

— Да, прямо-таки от утра до вечера, серьёзно... Потом дней через пять привезли с другого лагпункта другого хирурга, немца, Карла Фёдоровича. Во-от... Ну, он осмотрелся на новом месте и ещё через день сделал мне операцию. Но никаких этих слов: «злокачественная опухоль», «метастазы» — никто мне не говорил. Я их и не знал.

— Но биопсию он послал?

— Я тогда ничего не знал, никакой биопсии. Я лежал после операции, на мне — мешочки с песком. К концу недели стал учиться спускать ногу с кровати, стоять — вдруг собирают из лагеря ещё этап, человек семьсот, называется «бунтарей». И в этот этап попадает мой смиреннейший Карл Фёдорович. Его взяли из жилого барака, не дали обойти больных последний раз.

— Дикость какая!

— Да это ещё не дикость. — Костоглотов оживился больше обычного. — Прибежал мой дружок, шепнул, что я тоже в списке на тот этап, начальница санчасти мадам Дубинская дала согласие. Дала согласие, зная, что я ходить не могу, что у меня швы не сняты, вот сволочь!.. Простите... Ну, я твёрдо решил: ехать в телячьих вагонах с не снятыми швами — загноится, это смерть. Сейчас за мной придут, скажу: стреляйте тут, на койке, никуда не поеду. Твёрдо! Но за мной не пришли. Не потому, что смилословилась мадам Дубинская, она ещё удивлялась, что меня не отправили. А разобрались в учётно-распределительной части: сроку мне оставалось меньше года. Но я отвлёкся... Так вот я подошёл к окну и смотрю. За штaketником больницы — линейка, метров двадцать от меня, и на неё уже готовых с вещами споняют на этап. Оттуда Карл Фёдорыч меня в окне увидал и кричит: «Костоглотов! Откройте форточку!» Ему надзор: «Замолчи, падало!» А он: «Костоглотов! Запомните! Это очень важно! Срез вашей опухоли я направил на гистологический анализ в Омск, на кафедру патанатомии, запомните!» Ну и... угнали их. Вот мои врачи, ваши предшественники. В чём они виноваты?

Костоглотов откинулся в стуле. Он разволновался. Его охватило воздухом той больницы, не этой.

Отбирая нужное от лишнего (в рассказах больных всегда много лишнего), Донцова вела своё:

— Ну, и что ж ответ из Омска? Был? Вам объявили?

Костоглотов пожал остроуголыми плечами.

— Никто ничего не объявлял. Я и не понимал, зачем мне это Карл Фёдорович крикнул. Только вот прошлой осенью, в ссылке, когда меня уж очень забрало, один старичок-гинеколог, мой друг, стал настаивать, чтоб я запросил. Я написал в свой лагерь. Ответа не было. Тогда написал жалобу в лагерное управление. Месяца через два ответ при-

шёл такой: «При тщательной проверке вашего архивного дела установить анализа не представляется возможности». Мне так тошно уже становилось от опухоли, что переписку эту я бы бросил, но поскольку всё равно и лечиться меня комендатура не выпускала, — я написал наугад и в Омск, на кафедру патанатомии. И оттуда быстро, за несколько дней, пришёл ответ — вот уже в январе, перед тем, как меня выпустили сюда.

— Ну вот, вот! Этот ответ! Где он?!

— Людмила Афанасьевна, я сюда уезжал — у меня... Безразлично всё. Да и бумажка без печати, без штампа, это просто письмо от лаборанта кафедры. Она любезно пишет, что именно от той даты, которую я называю, именно из того посёлка поступил препарат, и анализ был сделан и подтвердил вот... подозреваемый вами вид опухоли. И что тогда же ответ был послан запрашивающей больнице, то есть нашей лагерной. И вот это очень похоже на тамошние порядки, я вполне верю: ответ пришёл, никому не был нужен, и мадам Дубинская...

Нет, Донцова решительно не понимала такой логики! Руки её были скрещены, и она нетерпеливо прихлопнула горстями повыше локтей.

— Да ведь из такого ответа следовало, что вам немедленно нужна рентгенотерапия!

— Ко-го? — Костоготов шутовски прижмурился и посмотрел на Людмилу Афанасьевну. — Рентгенотерапия?

Ну вот, он четверть часа рассказывал ей — и что же рассказал? Она снова ничего не понимала.

— Людмила Афанасьевна! — воззвал он. — Нет, чтоб тамошний мир вообразить.. Ну, о нём совсем не распространено представление! Какая рентгенотерапия! Ещё боль у меня не прошла на месте операции, вот как сейчас у Ахмаджана, а я уже был на общих работах и бетон заливал. И не думал, что могу быть чем-то недоволен. Вы не знаете, сколько весит глубокий ящик с жидким бетоном, если его вдвоём поднимать?

Она опустила голову.

— Ну пусть. Но вот теперь этот ответ с кафедры патанатомии — почему же он без печати? Почему он — частное письмо?

— Ещё спасибо, что хоть частное письмо! — уговаривал Костоготов. — Попался добрый человек. Всё-таки добрых людей среди женщин больше, чем среди мужчин, я замечаю... А частное письмо — из-за нашей треклятой секретности! Она и пишет дальше: однако препарат опухоли был прислан к нам безымянно, без указания фамилии больного. Поэтому мы не можем дать вам официальной справки и стекла препарата тоже не можем выслать. — Костоготов начал раздражаться. Это выражение быстрее других завладевало его лицом. — Великая государственная тайна! Идиоты! Трясутся, что на какой-то там кафедре узнают, что в каком-то лагере томится некий узник Костоготов. Брат Людовика! Теперь анонимка будет там лежать, а вы будете голову ломать, как меня лечить. Зато тайна!

Донцова смотрела твёрдо и ясно. Она не уходила от своего.

— Что ж, и это письмо я должна включить в историю болезни.

— Хорошо. Вернусь в свой аул — и сейчас же вам его вышлю.

— Нет, надо быстрее. Этот ваш гинеколог не найдёт, не вышлет?

— Да найди-то найдёт... А сам я когда поеду? — Костоготов смотрел исподлобья...

— Вы поедете тогда, — с большим значением отвесила Донцова, — когда я сочту нужным прервать ваше лечение. И то на время.

Этого мига и ждал Костоготов в разговоре! Его-то и нельзя было пропускать без боя!

— Людмила Афанасьевна! Как бы нам установить не этот тон взрослого с ребёнком, а — взрослого со взрослым? Серьёзно. Я вам сегодня на обходе...

— Вы мне сегодня на обходе, — погрозило крупное лицо Донцовой, — устроили позорную сцену. Что вы хотите? — будоражить больных? Что вы им в голову вколачиваете?

— Что я хотел? — Он говорил не горячася, тоже со значением, и стул занимал прочно, спиной о спинку. — Я хотел только напомнить вам о своём праве распоряжаться своей жизнью. Человек — может распоряжаться своей жизнью, нет? Вы признаёте за мной такое право?

Донцова смотрела на его бесцветный извилистый шрам и молчала. Костоглолов развивал:

— Вы сразу исходите из неверного положения: раз больной к вам поступил, дальше за него думаете вы. Дальше за него думают ваши инструкции, ваши пятиминутки, программа, план и честь вашего лечебного учреждения. И опять я — песчинка, как в лагере, опять от меня ничего не зависит.

— Клиника берёт с больных письменное согласие перед операцией, — напомнила Донцова.

(К чему это она об операции?.. Вот уж на операцию он ни за что!)

— Спасибо! За это — спасибо, хотя она так делает для собственной безопасности. Но кроме операции — ведь вы ни о чём не спрашиваете больного, ничего ему не поясняете! Ведь чего стоит один рентген!

— О рентгене — где это вы набрались слухов? — догадывалась Донцова. — Не от Рабиновича ли?

— Никакого Рабиновича я не знаю! — уверенно мотнул головой Костоглолов. — Я говорю о принципе.

(Да, именно от Рабиновича он слышал эти мрачные рассказы о последствиях рентгена, но обещал его не выдавать. Рабинович был амбулаторный больной, уже получивший двести с чем-то сеансов, тяжело переносивший их и с каждым десятком приближавшийся, как он ощущал, не к выздоровлению, а к смерти. Там, где жил он — в квартире, в доме, в городе, никто его не понимал: здоровые люди, они с утра до вечера бегали и думали о каких-то удачах и неудачах, казавшихся им очень значительными. Даже своя семья уже устала от него. Только тут, на крылечке противоракового диспансера, больные часами слушали его и сочувствовали. Они понимали, что это значит, когда окостенел подвижный треугольник «дужки» и сгустились рентгеновские рубцы по всем местам облучения.)

Скажите, он говорил о принципе!.. Только и не хватало Донцовой и её ординаторам проводить дни в беседах с больными о принципах лечения! Когда б тогда и лечить!

Но такой дотошный любознательный упрямец, как этот, или как Рабинович, изводивший её выяснениями о ходе болезни, попадались на пятьдесят больных один, и не миновать было тяжкого жребия иногда с ними объясниться. Случай же с Костоглоловым был особый и медицински: особый в том небрежном, как будто заговорно-зловонном ведении болезни до неё, когда он был допущен, дотолкнут до самой смертной черты — и особый же в том крутом исключительно-быстром оживлении, которое под рентгеном у него началось.

— Костоглолов! За двенадцать сеансов рентген сделал вас живым человеком из мертвеца — и как же вы смеете руку заносить на рентген? Вы жалуетесь, что вас в лагере и ссылке не лечили, вами пренебрегали — и тут же вы жалуетесь, что вас лечат и о вас беспокоятся. Где логика?

— Получается, логики нет, — потряс чёрными кудлами Костоглолов. — Но может быть, её и не должно быть, Людмила Афанасьевна? Ведь человек же — очень сложное существо, почему он должен быть объяснён логикой? или так экономикой? или физиологией? Да, я приехал к вам мертвецом, и просился к вам, и лежал на полу около лестницы — и вот вы делаете логический вывод, что я приехал к вам спасаться любой ценой. А я не хочу — любой ценой! Такого и на

свете нет ничего, за что б я согласился платить любую цену! — Он стал спешить, как не любил, но Донцова клонилась его перебить, а ещё тут много было высказать. — Я приехал к вам за облегчением страданий! Я говорил: мне очень больно, помогите! И вы помогли! И вот мне не больно. Спасибо! Спасибо! Я — ваш благодарный должник. Только теперь — отпустите меня! Дайте мне, как собаке, убраться к себе в конуру и там отлежаться и отлизаться.

— А когда вас снова подопрёт — вы опять приползёте к нам?

— Может быть. Может быть, опять приползу.

— И мы должны будем вас принять?

— Да! И в этом я вижу ваше милосердие! А вас беспокоит что? — процент выздоровления? отчётность? Как вы запишете, что отпустили меня после пятнадцати сеансов, если Академия медицинских наук рекомендует не меньше шестидесяти?

Такой сбивчивой ерунды она ещё никогда не слышала. Как раз с точки зрения отчётности очень выгодно было сейчас его выписать с «резким улучшением», а через пятьдесят сеансов этого не будет.

А он всё толок своё:

— С меня довольно, что вы опухоль попятели. И остановили. Она — в обороне. И я в обороне. Прекрасно. Солдату лучше всего живётся в обороне. А вылечить «до конца» вы всё равно не сможете, потому что никакого конца у ракового лечения не бывает. Да и вообще все процессы природы характеризуются асимптотическим насыщением, когда большие усилия приводят уже к малым результатам. В начале моя опухоль разрушалась быстро, теперь пойдёт медленно — так отпустите меня с остатками моей крови.

— Где вы этих сведений набрались, интересно? — сощурилась Донцова.

— А я, знаете, с детства любил подчитывать медицинские книги.

— Но чего именно вы боитесь в нашем лечении?

— Чего мне бояться — я не знаю, Людмила Афанасьевна, я не врач. Это, может быть, знаете вы, да не хотите мне объяснить. Вот например, Вера Корнильевна хочет назначить мне колоть глюкозу...

— Обязательно.

— А я — не хочу.

— Да почему же?

— Во-первых, это неестественно. Если мне уж очень нужен виноградный сахар — так давайте мне его в рот! Что это придумали в двадцатом веке: каждое лекарство — уколом? Где это видано в природе? у животных? Пройдёт сто лет — над нами как над дикарями будут смеяться. А потом — как колот? Одна сестра попадёт сразу, а другая истычет весь этот вот... локтевой сгиб. Не хочу! Потом я вижу, что вы подбираетесь к переливанию мне крови...

— Вы радоваться должны! Кто-то отдаёт вам свою кровь! Это — здорово, это — жизнь!

— А я не хочу! Одному чечену тут при мне перелили, его потом на койке подбрасывало три часа, говорят: «неполное совмещение». А кому-то ввели кровь мимо вены, у него шишка на руке вскочила. Теперь компрессы и парят целый месяц. А я не хочу.

— Но без переливания крови нельзя давать много рентгена.

— Так не давайте!! Почему вообще вы берёте себе право решать за другого человека? Ведь это — страшное право, оно редко ведёт к добру. Бойтесь его! Оно не дано и врачу.

— Оно именно дано врачу! В первую очередь — ему! — убеждённо вскрикнула Донцова, уже сильно рассерженная. — А без этого права не было б и медицины никакой!

— А к чему это ведёт? Вот скоро вы будете делать доклад о лучевой болезни, так?

— Откуда вы знаете? — изумилась Людмила Афанасьевна.

— Да это легко предположить...

(Просто лежала на столе толстая папка с машинописными листами. Надпись на папке приходилась Костоглолову вверх ногами, но за время разговора он прочёл её и обдумал.)

— ...легко догадаться. Потому что появилось новое название и, значит, надо делать доклады. Но ведь и двадцать лет назад вы облучали какого-нибудь такого Костоглолова, который отбивался, что боится лечения, а вы уверяли, что всё в порядке, потому что ещё не знали лучевой болезни. Так и я теперь: ещё не знаю, чего мне надо бояться, но — отпустите меня! Я хочу выздоравливать собственными силами. Вдруг да мне станет лучше, а?

Есть истина у врачей: больного надо не пугать, больного надо подбодрять. Но такого назойного больного, как Костоглолов, надо было, напротив, ошеломить.

— Лучше? Не станет! Могу вас заверить, — она прихлопнула четырьмя пальцами по столу как хлопущей муху, — не станет! Вы, — она ещё соразмеряла удар, — умрёт!

И смотрела, как он вздрогнет. Но он только затих.

— У вас будет судьба Азовкина. Видели, да? Ведь у вас с ним одна болезнь и запущенность почти одинаковая. Ахмаджана мы спасаем — потому что его стали облучать сразу после операции. А у вас потеряно два года, вы думайте об этом! И нужно было сразу делать вторую операцию — ближнего по ходу следования лимфоузла, а вам пропустили, учтите. И метастазы потекли! Ваша опухоль — из самых опасных видов рака! Она опасна тем, что скоротечна и резко-злокачественна, то есть очень быстро даёт метастазы. Её смертность совсем недавно составляла девяносто пять процентов, вас устраивает? Вот, я вам покажу...

Она вытаскала папку из груди и начала рыться в ней.

Костоглолов молчал. Потом заговорил, но тихо, совсем не так уверенно, как раньше:

— Откровенно говоря, я за жизнь не очень-то держусь. Не только впереди у меня её нет, но и сзади не было. И если проглянуло мне пожить полгодика — надо их и прожить. А на десять—двадцать лет планировать не хочу. Лишнее лечение — лишнее мучение. Начнётся рентгеновская тошнота, рвоты — зачем?..

— Нашла! Вот! Это наша статистика. — И она повернула к нему двойной тетрадный листик. Через весь развёрнутый лист пло название его опухоли, а потом над левой стороной: «Уже умерли», над правой: «Ещё живы». И в три колонки писались фамилии — в разное время, карандашами, чернилами. В левой стороне помарок не было, а в правой — вычёркивания, вычёркивания, вычёркивания... — Так вот. При выписке мы записываем каждого в правый список, а потом переносим в левый... Но всё-таки есть счастливицы, которые остаются в правом, видите?

Она дала ему ещё посмотреть список и подумать.

— Вам кажется, что вы выздоровели! — опять приступила энергично. — Вы — больны, как и были. Каким пришли к нам, такой и остались. Единственное, что выяснилось — что с вашей опухолью можно бороться! Что не всё ещё погибло. И в этот момент вы заявляете, что уйдёте? Ну, уходите! Уходите! Выписывайтесь хоть сегодня! Я сейчас дам распоряжение... А сама занесу вас в этот список. Ещё не умерших.

Он молчал.

— А? Решайте!

— Людмила Афанасьевна, — примирительно выдвинул Костоглолов. — Ну, если нужно какое-то разумное количество сеансов — пять, десять...

— Не пять и не десять! Ни одного! Или — столько, сколько нужно! Например, с сегодняшнего дня — по два сеанса, а не по одному. И все виды лечения, какие понадобятся! И курить бросите. И ещё обя-

зательное условие: переносить лечение не только с верой, но с радостью! С радостью! Вот только тогда вы вылезаете!

Он опустил голову. Отчасти-то сегодня он торговался с запросом. Он опасался, как бы ему не предложили операцию — но вот и не предлагали. А облучиться ещё можно, ничего. В запасе у Костоглотова было секретное лекарство — иссык-кульский корень, и он рассчитывал уехать к себе в глушь не просто, а полечиться корнем. Имея корень, он вообще-то приезжал в этот раковый диспансер только для пробы.

А доктор Донцова, видя, что победила, сказала великодушно:

— Хорошо, глюкозы давать вам не буду. Вместо неё — другой укол, внутримышечный.

Костоглов улыбнулся:

— Ну, это я вам уступаю.

— И пожалуйста: ускорьте пересылку омского письма.

Он шёл от неё и думал, что идёт между двумя вечностями. С одной стороны — список обречённых умереть. С другой стороны вечная ссылка. Вечная, как звёзды. Как галактики.

7

А вот начни б он допытываться, что это за укол, какая цель его и нужен ли он действительно и оправдан ли морально; если б Людмила Афанасьевна пришлось объяснять Костоглову смысла и возможные последствия этого нового лечения, — очень может быть, что он бы и окончательно взбунтовался.

Но именно тут, исчерпав свои блестящие доводы, он сдал.

А она нарочно скитрила, сказала, как о пустяке, потому что устала уже от этих объяснений, а знала твёрдо, что именно теперь, когда проверено было на больном воздействие рентгена в чистом виде, пришла пора нанести опухоли ещё новый удар, очень рекомендуемый для данного вида рака современными руководствами. Прозревая нерядовую удачу в лечении Костоглотова, она не могла ослабить его упрямству и не обрушить на него всех средств, в которые верила. Правда, не было стёкол с первичным препаратом, но вся интуиция её, наблюдательность и память подсказывали, что опухоль — та самая, именно та, не тератома и не саркома.

По этому самому типу опухолей, с этим именно движением метастазов, доктор Донцова писала кандидатскую диссертацию. То есть, не то чтобы писала постоянно, а когда-то начинала, бросала, опять писала, и друзья убеждали, что всё отлично получится, но, заставленная и задавленная обстоятельствами, она уже не предвидела когда-нибудь её защитить. Не потому, что у неё не хватало опыта или материала, но слишком много было того и другого, и повседневно они звали её то к экрану, то в лабораторию, то к койке, а заниматься подбором и описанием рентгено снимков, и формулировками, и систематизацией, да ещё сдачей кандидатского минимума — не было сил человеческих. Можно было получить научный отпуск на полгода, — но никогда не было в клинике таких благополучных больных и того первого дня, с которого можно было прекратить консультации трёх молодых ординаторов и уйти на полгода.

Людмила Афанасьевна слышала, будто бы Лев Толстой сказал про своего брата: он имел все способности писателя, но не имел недостатков, делающих писателем. Наверное, и она не имела тех недостатков, которые делают людей кандидатами наук. Ей, в общем, не было надо слышать шёпот позади: «она не просто врач, она кандидат медицинских наук». Или чтобы перед статьёй её (второй десяток их уже печатался, маленьких, но всё по делу) шли эти дополнительные, мелкие, но такие весомые буквочки. Правда, деньги лишние — никогда не лишние. Но уж раз не получилось, так не получилось.

Того, что называется научно-общественная работа, полно было и без диссертации. В их диспансере бывали клиничко-анатомические конференции с разбором ошибок в диагностике и лечении, с докладами о новых методах — обязательно было их посещать и обязательно активно участвовать (правда, лучевики и хирурги и без того каждый день советовались, и разбирались в ошибках, и применяли новые методы, — но конференции были сами собой). А ещё было городское научное общество рентгенологов — с докладами и демонстрациями. А ещё недавно образовалось и научное общество онкологов, где Донцова была не только участник, но и секретарь, и где, как со всяким новым делом, суэта была повышенная. А ещё был Институт усовершенствования врачей. А ещё была переписка с рентгенологическим «Вестником», и онкологическим «Вестником», и Академией меднаук, и информационным центром, — и получалось, что хотя Большая Наука была как будто вся в Москве и в Ленинграде, а они тут как будто просто лечили, но дня не проходило, чтоб досталось только лечить, а о науке не хлопотать.

Так и сегодня. Ей надо было звонить председателю общества рентгенологов насчёт своего близкого доклада. И надо было срочно просмотреть две маленькие журнальные статьи. И ответить на одно письмо в Москву. И на одно письмо в глухой онкопункт, откуда спрашивали разъяснения.

А скоро старший хирург, закончив операционный день, должна была, по уговору, показать Донцовой для консультации одну свою гинекологическую больную. А ещё надо было к концу амбулаторного приёма пойти посмотреть с одной из своих ординаторов этого больного из Ташауза с подозрением на опухоль тонкого кишечника. И сама же она на сегодня назначила разобраться с рентгенолаборантами, как им уплотнить работу установок, чтобы больше пропускать больных. И эмбихинный укол Русанову не надо было упустить из памяти, подняться проводить; таких больных они лишь недавно стали лечить сами, до сих пор отсылали в Москву.

А она потеряла время на вздорное препирательство с упрямцем Костоготовым! — методическое баловство. Ещё во время их разговора два раза заглядывали в дверь мастера, которые вели дополнительный монтаж на гамма-установке. Они хотели доказать Донцовой необходимость каких-то работ, не предусмотренных сметой, и чтоб она подписала им на эти работы акт и убедила главврача. Теперь они её потащили туда, но прежде сестра передала ей телеграмму. Телеграмма была из Новочеркасска — от Анны Зацырко. Пятнадцать лет они уже не виделись и не переписывались, но это была её хорошая старая подруга, с которой они вместе были в акушерской школе в Саратове, ещё до мединститута, в 1924 году. Анна телеграфировала, что старший сын её Вадим поступит сегодня или завтра в клинику к Люсе из геологической экспедиции, и просит она о дружеском внимании к нему, и ей честно написать, что с ним. Людмила Афанасьевна взволновалась, покинула мастеров и пошла просить старшую сестру задержать до конца дня место Азовкина для Вадима Зацырко. Старшая сестра Мита, как всегда, бегала по клинике, и не так легко её было найти. Когда же она нашлась и обещала место для Вадима, она озадачила Людмилу Афанасьевну тем, что лучшую сестру их лучевого отделения Олимпиаду Владиславовну требуют на десять дней на городской семинар профказначеев — и десять дней её надо кем-то заменять. Это было настолько недопустимо и невозможно, что вместе с Митой Донцова тут же решительным шагом пошла через много комнат в регистратуру — звонить в райком союза и отбивать. Но был занят телефон сперва с этой стороны, потом с той, потом перешвырнули их звонить в обком союза, а оттуда удивлялись их политической беспечности и неужели они предполагают, что профсоюзная касса может быть оставлена на произвола. Ни райкомовцев, ни обкомовцев,

ни самих, ни родных — никого ещё, видно, не укусила опухоль и, как думали они, не укусит. Заодно позвонив в общество рентгенологов, Людмила Афанасьевна рванулась просить о заступничестве главврача, но тот сидел с какими-то посторонними людьми и обсуждал намеченный ремонт одного крыла их здания. Так всё осталось неопределённо, и она пошла к себе через рентгенодиагностический, где сегодня не работала. Тут был перерыв, записывались при красном фонаре результаты, и тут же доложили Людмиле Афанасьевне, что подсчитали запасы плёнки и при нынешнем расходе её хватит не больше, как на три недели, а это значит — уже авария, потому что меньше месяца заявки на плёнку не выполняют. Отсюда ясно стало Донцовой, что надо сегодня же или завтра свести аптекаря и главврача, а это нелегко, и заставить их послать заявку.

Затем ей путь перегородили мастера гамма-установки, и она подписала им акт. Кстати было зайти и к рентгенолаборантам. Тут она села, и стали подсчитывать. По исконным техническим условиям аппарат должен работать один час, а полчаса отдыхать, но это давно было забыто и заброшено, а работали все аппараты девять часов без перерыва, то есть полторы рентгеновские смены. Однако и при такой нагрузке и при том, что проворные лаборанты быстро сменяли больных под аппаратами, всё равно не умещались деть столько сеансов, сколько хотели. Надо было успевать пропускать амбулаторных по разу в день, а клинических некоторых — и по два (как с сегодняшнего дня назначено было Костоглову) — чтоб усилить удар по опухоли, да и ускорить оборачиваемость коек. Для этого тайком от технического надзора перешли на ток в двадцать миллиампер вместо десяти: получалось вдвое быстрее, хотя трубки, очевидно, изнашивались тоже быстрее. А всё равно не умещались! И сегодня Людмила Афанасьевна пришла разметить в списках, каким больным и на сколько сеансов она разрешает не ставить (это тоже укорачивало сеанс вдвое) миллиметрового медного фильтра, оберегающего кожу, а каким ставить фильтр полумиллиметровый.

Тут она поднялась на второй этаж посмотреть, как ведёт себя после укола Русанов. Затем пошла в кабинет короткофокусных аппаратов, где снова уже шло облучение больных, и хотела приняться за свои статьи и письма, как постучала вежливо Елизавета Анатольевна и попросила разрешения обратиться.

Елизавета Анатольевна была просто «нянечкой» лучевого отделения, однако ни у кого язык не поворачивался звать её на «ты», Лизой или тётей Лизой, как зовут даже старых санитарок даже молодые врачи. Это была хорошо воспитанная женщина, в свободные часы ночных дежурств она сидела с книжками на французском языке, — а вот почему-то работала санитаркой в онкодиспансере, и очень исполнительно. Правда, она имела тут полторы ставки, и некоторое время здесь платили ещё пятьдесят процентов за рентгеновскую вредность, но вот надбавку нянечкам свели до пятнадцати процентов, а Елизавета Анатольевна не уходила.

— Людмила Афанасьевна! — сказала она, чуть изгибаясь в извинение, как это бывает у повышено вежливых людей. — Мне очень неловко беспокоить вас по мелкому поводу, но ведь просто берёт отчаяние! — ведь нет же тряпок, совсем нет! Чем убирать?

Да, вот это ещё была забота! Министерство предусматривало снабжение онкодиспансера радиевыми иглоками, гамма-пушкой, аппаратами «Стабилизольт», новейшими приборами для переливания крови, последними синтетическими лекарствами, — но для простых тряпок и простых щёток в таком высоком списке не могло быть места. Низамутдин же Бахрамович отвечал: если министерство не предусмотрело — неужели я вам буду на свои деньги покупать? Одно время рвали на тряпки изветшавшее бельё — но хозорганы спохватились и запретили это, заподозрив тут расширение нового белья. Те-

перь требовали изветшавшее свозить и сдавать в определённое место, где авторитетная комиссия активировала его и потом рвала.

— Я думаю,— говорила Елизавета Анатольевна,— может быть, мы все, сотрудники лучевого отделения, обяжемся принести из дому по одной тряпке и так выйдем из положения, а?

— Да что ж,— вздохнула Донцова,— наверно, ничего и не остаётся. Я согласна. Вы это, пожалуйста, предложите Олимпиаде Владиславовне...

Да! Саму-то Олимпиаду Владиславовну надо было идти выручать. Ведь просто же нелепость — лучшую опытную сестру выключить из работы на десять дней.

И она пошла звонить. И ничего не добилась опять. Тут сразу же пошла она посмотреть больного из Ташауза. Сперва сидела в темноте, приучая глаза. Потом смотрела бариевую взвесь в тонком кишкечнике больного — то стоя, то опуская защитный экран как стол и кладя больного на один бок и на другой для фотографирования. Проминная в резиновых перчатках живот больного и совмещая с его криками «больно» слепые расплывчатые зашифрованные оттенки пятен и теней, Людмила Афанасьевна перевела их в диагноз.

Где-то за всеми этими делами миновал и её обеденный перерыв, только она никогда его не отмечала, не выходила с бутербродиком в сквер даже летом.

Сразу же пришла её звать на консультацию в перевязочную. Там старший хирург сперва предварила Людмилу Афанасьевну об истории болезни, затем вызвали больную и смотрели её. Донцова пришла к выводу: спасение возможно только одно — путём кастрации. Больная, всего лишь лет сорока, заплакала. Дали ей поплакать несколько минут. «Да ведь это конец жизни!.. Да ведь меня муж бросит...»

— А вы мужу и не говорите, что за операция! — втолковывала ей Людмила Афанасьевна. — Как он узнает? Он никогда и не узнает. В ваших силах это скрыть.

Поставленная спасать жизнь, именно жизнь — в их клинике почти всегда шло о жизни, о меньшем не шло, — Людмила Афанасьевна непреклонно считала, что всякий ущерб оправдан, если спасается жизнь.

Но сегодня, как ни кружилась она по клинике, что-то мешало весь день её уверенности, ответственности и властности.

Была ли это ясно ощущаемая боль в области желудка у неё самой? Некоторые дни она не чувствовала её, некоторые дни слабей, сегодня — сильней. Если б она не была онкологом, она бы не придавала значения этой боли или, напротив, бесстрашно пошла бы на исследования. Но слишком хорошо она знала эту ниточку, чтобы отмотать первый виток: сказать родным, сказать товарищам по работе. Сама-то для себя она пробавлялась русским авосем: а может обойдётся? а может только нервное ощущение?

Нет, не это, ещё другое мешало ей весь день, как будто она занозилась. Это было смутно, но настойчиво. Наконец теперь, придя в свой уголок к столу и коснувшись этой папки «Лучевая болезнь», подмеченной доглядчивым Костоготовым, она поняла, что весь день не только взволнована, но уязвлена спором с ним о праве лечить.

Она ещё слышала его фразу: лет двадцать назад вы облучали какого-нибудь Костоготова, который умолял вас не облучать, но вы же не знали о лучевой болезни!

Она действительно должна была скоро делать сообщение в обществе рентгенологов на тему «О поздних лучевых изменениях». Почти то самое, в чём упрекал её Костоготов.

Лишь совсем недавно, год-два, как у неё и у других рентгенологов — здесь, и в Москве, и в Баку — стали появляться эти случаи, не сразу понятые. Возникло подозрение. Потом догадка. Об этом стали писать друг другу письма, говорили — пока не в докладах, а в перерывах

вах между докладами. Тут кто-то прочёл реферат по американским журналам — назревало что-то похожее и у американцев. А случаи нарастали, ещё и ещё приходили больные с жалобами — и вдруг это всё получило одно название: «Поздние лучевые изменения», и настало время говорить о них с кафедр и что-то решать.

Смысл был тот, что рентгеновские лечения, благополучно, успешно или даже блистательно закончившиеся десять и пятнадцать лет тому назад дачею крупных доз облучения, — выявлялись теперь в облучённых местах неожиданными разрушениями и искажениями.

Не обидно было, или во всяком случае оправдано, если те давние облучения проводились по поводу злокачественных опухолей. Тут не было выхода даже и с сегодняшней точки зрения: больного спасали единственным образом от неминуемой смерти и только большими дозами, потому что малые помочь не могли. И, приходя теперь с увечьем, он должен был понять, что это плата за уже прожитые добавленные ему годы и ещё за те, которые оставались впереди.

Но тогда, десять, и пятнадцать, и восемнадцать лет назад, когда не было и названия «лучевая болезнь», рентгеновское облучение представлялось способом таким прямым, надёжным и абсолютным, таким великолепным достижением современной медицинской техники, что считалось отсталостью мышления и чуть ли не саботажем в лечении трудящихся — отказываться от него и искать другие, параллельные или окольные пути. Боялись только острых ранних поражений тканей и костей, но их тогда же научились и избегать. И — облучали! Облучали с увлечением! Даже доброкачественные опухоли. Даже у маленьких детей.

А теперь эти дети, ставшие взрослыми, юноши и девушки, иногда и замужние, приходили с необратимыми увечьями в тех местах, которые так ретиво облучались.

Минувшей осенью пришёл — не сюда, не в раковый корпус, а в хирургический, но Людмила Афанасьевна узнала и тоже добилась его посмотреть — пятнадцатилетний мальчик, у которого рука и нога одной стороны отставали в росте от другой, и так же — кости черепа, отчего он снизу и доверху казался дугообразно искажённым, как карикатура. И, сравнив архивы, Людмила Афанасьевна отождествила с ним того двух-с-половиной-летнего мальчика, которого мать принесла в клинику медгородка со множественным поражением костей не известного никому происхождения, но совсем не опухоловой природы, с глубоким поражением обмена веществ, — и тогда же хирурги послали его к Донцовой — наудача, авось да поможет рентген. И Донцова взялась, и рентген помог! — да как хорошо, мать плакала от радости, говорила, что никогда не забудет спасительницы.

А теперь он пришёл один — матери не было уже в живых, и никто ничем не мог ему помочь, никто не мог взять назад из его костей прежнего облучения.

А совсем недавно, вот уже в конце января, пришла молодая мать с жалобой, что грудь не даёт молока. Она пришла не сюда, но её слали из корпуса в корпус, и она достигла онкологического. Донцова не помнила её, но так как в их клинике карточки на больных хранятся вечно, пошли в сарайчик, рылись там и нашли её карточку девятьсот сорок первого года, откуда подтвердилось, что девочкой она приходила и доверчиво ложилась под рентгеновские трубки — с доброкачественной опухолью, от которой теперь никто б её рентгеном лечить не стал.

Оставалось Донцовой лишь продолжить старую карточку, записать, что стали атрофичны мягкие ткани и что по всей видимости это есть позднее лучевое изменение.

Ни этому перекобоченному юноше, ни этой обделённой матери никто не объяснил, конечно, что их лечили в детстве не так: объяс-

нять это было бы в личном отношении бесполезно, а в общем отношении — вредило бы санитарной пропаганде среди населения.

Но у самой Людмилы Афанасьевна эти случаи вызвали потрясение, ноющее чувство неискупимой и неисправимой вины — и туда-то, в эту точку, попал сегодня Костоглотов.

Она сложила руки накрест и прошла по комнате от двери к окну, от окна к двери, по свободной полоске пола между двумя уже выключенными аппаратами.

Но можно ли так? — ставить вопрос о праве врача лечить? Если думать так, если сомневаться в каждом научно-принятом сегодня методе, не будет ли он позже опорожен или отвергнут, — тогда можно чёрт знает до чего дойти! Ведь смертные случаи описаны даже от аспирина: принял человек свой первый в жизни аспирин и умер!.. Тогда лечить вообще нельзя! Тогда вообще нельзя приносить повседневных благ.

Этот закон, вероятно, имеет и всеобщий характер: всякий делаящий и всегда порождает и то, и другое — и благо, и зло. Один только — больше блага, другой — больше зла.

Но как бы она себя ни успокаивала, и как бы ни знала она отлично, что эти несчастные случаи вместе со случаями неверных диагнозов, поздно принятых или неверно принятых мер, может быть не составят и двух процентов всей её деятельности, — а излеченные ею, а возвращённые к жизни, а спасённые, а исцелённые ею молодые и старые, женщины и мужчины, ходят по пашне, по траве, по асфальту, летают по воздуху, лазят по столбам, убирают хлопок, метут улицы, стоят за прилавками, сидят в кабинетах или в чайханах, служат в армии и во флоте, и их тысячи, и не все они забыли её и не все забудут, — она знала также, что сама она скорее забудет их всех, свои лучшие случаи, свои труднейшие победы, а до могилы будет помнить тех нескольких, тех немногих горемык, которые попали под колёса.

Такова была особенность её памяти.

Нет, готовиться к сообщению сегодня она уже не сможет, да и день к концу. (Разве взять папку домой? Наверняка провозишь зря, хоть сотни раз она так брала и возила.)

А что надо успеть сделать — вот «Медицинскую радиологию» освободить, статейки дочесть. И ответить этому фельдшеру в Тахта-Купыр на его вопрос.

Плохой становился свет из пасмурного окна, она зажгла настольную лампу и уселась. Заглянула одна из ординаторок, уже без халата: «Вы не идёте, Людмила Афанасьевна?» И Вера Гангарт зашла: «Вы не идёте?»

— А как Русанов?

— Спит. Рвоты не было. Температурка есть. — Вера Корнильевна сняла глухой халат и осталась в серо-зеленоватом тафтяном платье, слишком хорошем для работы.

— Не жалеете таскать? — кивнула Донцова.

— А зачем беречь?.. Для чего беречь?.. — хотела улыбнуться Гангарт, но получилось жалостно.

— Ладно, Верочка, если так, следующий раз введём ему полную, десять миллиграмм, — в своей убыстрённой манере, когда слова только время отнимают, протолкнула Людмила Афанасьевна и писала письмо фельдшеру.

— А Костоглотов? — тихо спросила Гангарт уже от двери.

— Был бой, но он разбит и покорился! — усмехнулась Людмила Афанасьевна и опять почувствовала от выпыха усмешки, как резнуло её около желудка. Она даже захотела сейчас и пожаловаться Вере, ей первой, подняла на неё прищуренные глаза, но в полутёмной глубине комнаты увидела её как собравшуюся в театр — в выходном платье, на высоких каблуках.

И решила — до другого раза.

Все ушли, а она сидела. Совсем было ей бесполезно и полчаса лишних проводить в этих помещениях, ежедневно облучаемых, но вот так всё цеплялось. Всякий раз к отпуску она была бледно-сера, а лейкоциты её, монотонно падающие весь год, снижались до двух тысяч, как преступно было бы довести какого-нибудь больного. Три желудка в день полагалось смотреть рентгенологу по нормам, а она ведь смотрела по десять в день, а в войну и по двадцать пять. И перед отпуском ей самой было влору переливать кровь. И за отпуск не восстанавливалось утерянное за год.

Но повелительная инерция работы не легко отпускала её. К концу каждого дня она с досадой видела, что опять не успела. И сейчас между делами она снова задумалась о жестоком случае Сибгатова и записала, о чём посоветоваться при встрече на обществе с доктором Орещенковым. Как она ввела в работу своих ординаторов, так и её когда-то до войны вводил за руку, осторожно направляя и передал ей вкус кругозора доктор Орещенков. — «Никогда, Людочка, не специализируйтесь до сушёной воблы! — предупреждал он. — Пусть весь мир течёт к специализации, а вы держитесь за своё — одной рукой за рентгенодиагностику, другой за рентгенотерапию! Будьте хоть последней такой — но такой!» И он всё ещё был жив, и тут же в городе.

Уже лампу потушив, она от двери вернулась и записала дело на завтра. Уже надев своё синее не новое пальто, она ещё свернула к кабинету главврача — но он был заперт.

Наконец, она сошла со ступенек между тополями, шла по аллеям медицинского городка, но в мыслях оставалась вся в работе и даже не пыталась и не хотела выйти из них. Погода была никакая — она не заметила, какая. А ещё не сумерки. На аллеях встречались многие незнакомые лица, но в Людмиле Афанасьевне и здесь не пробудилось естественное женское внимание — кто из встречных во что одет, что на голове, что на ногах. Она шла с присобранными бровями и на всех этих людей остро поглядывала, как бы прозревая локализацию тех возможных опухолей, которые в людях этих ещё сегодня не дают себя знать, но могут выявиться завтра.

Так она шла, и миновала внутреннюю чайхану медгородка и мальчика-узбечёнка, постоянно торгующего здесь газетными фунтиками миндала — и достигла главных ворот.

Кажется, проходя эти главные ворота, из которых неусыпная бранчивая толстуха-сторожиха выпускала только здоровых свободных людей, а больных заворачивала громкими окриками — кажется, ворота эти проходя, должна ж была она перейти из рабочей части своей жизни в домашнюю, семейную. Но нет, не равно делились время и силы её между работой и домом. Внутри медицинского городка она провела свежую и лучшую половину своего бодрствования, и рабочие мысли ещё вились вокруг её головы, как пчёлы, долго спустя ворота, а утром — задолго до них.

Она опустила письмо в Тахта-Купыр. Перешла улицу к трамвайному кругу. Позванивая, развернулся нужный номер. Стали густо садиться и в передние и в задние двери. Людмила Афанасьевна поспешила захватить место — и это была первая внешняя мелкая мысль, начинавшая превращать её из оракула человеческих судеб в простого трамвайного пассажира, которого толкали запросто.

Но ещё и под дребезжание трамвая по старой однопутной колее и на долгих разминных остановках Людмила Афанасьевна смотрела в окно неосмысленно, всё додумывая то о лёгочных метастазах у Мурсалимова, то о возможном влиянии уколов на Русанова. Его обидная наставительность и угрозы, с которыми он выступил сегодня на обходе, затёртые с утра другими впечатлениями, сейчас, после конца дня, простили угнетающим осадком: на вечер и на ночь.

Многие женщины в трамвае, как и Людмила Афанасьевна, были не с малоёмкими дамскими сумочками, а с сумками-баулами, куда

можно затолкать живого поросёнка или четыре буханки хлеба. С каждой пройденной остановкой и с каждым магазином, промелькнувшим за окном, Людмилой Афанасьевной завладевали мысли о хозяйстве и о доме. Всё это было — на ней и только на ней, потому что какой спрос с мужчин? И муж и сын у неё были такие, что когда она уезжала на конференцию в Москву — они и посуду не мыли неделю: не потому, что хотели приберечь это для неё, а — не видели в этой повторительной, вечно возобновляемой работе смысла.

Была и дочь у Людмилы Афанасьевны — уже замужняя, с маленьким на руках, и даже уже почти не замужняя, потому что шло к разводу. В первый раз за день вспомнив сейчас о дочери, Людмила Афанасьевна не повеселела.

Сегодня была пятница. В это воскресенье Людмила Афанасьевна непременно должна была совершить большую стирку, уж набралось. Значит, обед на первую половину недели (она готовила его дважды в неделю) надо было во что бы то ни стало варить в субботу вечером. А замочить бельё — сегодня бы тоже, когда б ни лечь. И в общем сейчас и только сейчас, хоть и поздно, ехать на главный рынок — там и до вечера кого-нибудь застанешь.

Она сошла, где надо было пересаживаться на другой трамвай, но посмотрела на соседний зеркальный «Гастроном» и решила в него заглянуть. В мясном отделе было пусто, и продавец даже ушёл. В рыбном нечего было брать — селёдка, солёная камбала, консервы. Пройдя живописные многоцветные пирамиды винных бутылок и коричневые — совсем под колбасу — сырныи круглые стержни, она наметила в бакалейном взять две бутылки подсолнечного масла (перед тем было только хлопковое) и ячневый концентрат. Так она и сделала — пересекла мирный магазин, заплатила в кассу, вернулась в бакалейный.

Но пока она тут стояла за двумя человеками — какой-то оживлённый шум поднялся в магазине, повалил с улицы народ, и все выстраивались в гастрономический и в кассу. Людмила Афанасьевна дрогнула и, не дождавшись получить в бакалейном, ускоренным шагом пошла тоже занимать и к продавцу и в кассу. Ещё ничего не было за изогнутым оргстеклом прилавка, но теснившиеся женщины точно сказали, что будут давать ветчинно-рубленую по килограмму в руки.

Так удачно она попала, что был смысл чуть позже занять и вторую очередь.

8

Если б не этот охват рака по шее, Ефрем Поддуев был бы мужчиной в расцвете. Ему ещё не сравнялось полуста, и был он крепок в плечах, твёрд в ногах и здрав умом. Он не то, что был двужильный, но двухребетный, и после восьми часов мог ещё восемь отработать как первую смену. В молодости на Каме таскал он шестипудовые мешки, и из силы той не много ubyло, он и сейчас не отрекался выкатить с рабочими бетономешалку на помост. Перебывал он во многих краях, переделал пропасть разной работы, там ломал, там копал, там снабжал, а здесь строил, не унижался считать ниже червонца, от полулитра не шатался, за вторым литром не тянулся — и так он чувствовал себя и вокруг себя, что ни предела, ни рубежа не поставлено Ефрему Поддуеву, а всегда он будет такой. Несмотря на силушку, на фронте он не бывал — бронировали его спецстроительства, не отведал он ни ран, ни госпиталей. И ничем никогда не болел — ни тяжёлым, ни гриппом, ни в эпидемию, ни даже зубами.

И только в запрошлом году первый раз заболел — и сразу вот этим.

Раком.

Это сейчас он так с рóзмаху лепил: «раком», а долго-долго перед собой притворялся, что нет ничего, пустяки, и сколько терпелу было — оттягивал, не шёл к врачам. И когда уже пошёл, и от диспансера

к диспансеру дослали его в раковый, а здесь всем до одного больным говорили, что у них — не рак, — Ефрем не захотел смекнуть, что у него, не поверил своему природному уму, а поверил своему хотению: не рак у него, и обойдётся.

А заболел у Ефрема — язык, поворотливый, ладный, незаметный, в глаза никогда не видный и такой полезный в жизни язык. За полста лет много он этим языком поупражнялся. Этим языком он себе выговаривал плату там, где не заработал. Клялся в том, чего не делал. Распинался, чему не верил. И кричал на начальство. И обкладывал рабочих. И укрючливо матюгался, подцепляя, что там святей да дороже, и наслаждался коленами многими, как соловей. И анекдоты выкладывал жирнозадые, только всегда без политики. И волжские песни пел. И многим бабам, рассеянным по всей земле, врал, что не женат, что детей нет, что вернётся через неделю и будут дом строить. «Ах, чтоб твой язык отсох!» — проклинала одна такая временная теща. Но язык только в шибко пьяном виде отказывал Ефрему.

И вдруг — стал наращиваться. Цепляться о зубы. Не помещаться в сочном мягком зеве.

А Ефрем всё отряхивался, всё скалился перед товарищами: — Поддуев? Ничего на свете не боётся!

И те говорили:

— Да-а, вот у Поддуева — сила воли.

А это была не сила воли, а — упятерённый страх. Не из силы воли — из страха он держался и держался за работу, как только мог откладывая операцию. Всей жизнью своей Поддуев был подготовлен к жизни, а не к умиранию. Этот переход был ему свыше сил, он не знал путей этого перехода — и отгонял его от себя тем, что был на ногах и каждый день, как ни в чём не бывало, шёл на работу и слышал похвалы своей воле.

Не дался он операции, и лечение начали иголками: впускали в язык иголки, как грешнику в аду, и по несколько суток держали. Так хотелось Ефрему этим и обойтись, так он надеялся! — нет. Распухал язык. И уже не найдя в себе той силы воли, быковатую голову опустив на белый амбулаторный стол, Ефрем согласился.

Операцию делал Лев Леонидович — и замечательно сделал! Как обещал: укоротил язык, сузился, но быстро привыкал обращаться снова и всё то же говорить, что и раньше, только может не так чисто. Ещё покололи иголками, отпустили, вызвали, и Лев Леонидович сказал: «А теперь через три месяца приезжай и ещё одну операцию сделаем — на шее. Эта — лёгкая будет».

Но таких «лёгких» на шее Поддуев тут уже насмотрелся и не явился в срок. Ему присылали по почте вызовы — он на них не отвечал. Он вообще привык на одном месте долго не жить и шутя мог сейчас завестись хоть на Колыму, хоть в Хакасию. Нигде его не держало ни имущество, ни квартира, ни семья — только любил он вольную жизнь да деньги в кармане. А из клиники писали: сами не явитесь, приведём через милицию. Вот какая власть была у ракового диспансера даже над теми, у кого вовсе не рак.

Он поехал. Он мог, конечно, ещё не дать согласия, но Лев Леонидович щупал его шею и крепко ругал за задержку. И Ефрема порезали справа и слева по шее, как режутся ножами блатари, и долго он тут лежал в обмоте, а выпустили, качая головами.

Но уже в вольной жизни не нашёл он прежнего вкуса: разонравились ему и работа и гулянки, и питьё и курьё. На шее у него не мячело, а брякло, и потягивало, и покалывало, и постреливало, даже и в голову. Болезнь поднималась по шее едва не к ушам.

И когда месячишко назад он вернулся опять всё к тому же старому зданию из серого кирпича с добротной открытой расшивкой швов, и взошёл на то же полированное тысячами ног крылечко меж тополей, и хирурги тотчас за него схватились, как за родного, и опять он

был в полосатом больничном и в той же палате близ операционной с окнами, упёртыми в задний забор, и ожидал операцию, по бедной шее вторую, а общим счётом третью, — Ефрем Поддуев больше не мог себе врать и не врал. Он сознался, что у него — рак.

И теперь, порываясь к равенству, он стал и всех соседей убеждать, что рак и у них. Что никому отсюда не вырваться. Что всем сюда вернуться. Не то, чтоб он находил удовольствие давить и слушать, как похрущивают, а пусть не врут, пусть правду думают.

Ему сделали третью операцию, большей и глубже. Но после неё на перевязках доктора что-то не веселели, а буркали друг другу не по-русски и обматывали всё плотней и выше, сращивая бинтами голову с туловищем. И в голову ему стреляло всё сильнее, всё чаще, почти уже и подряд.

Итак, что ж было прикидываться? За раком надо было принять и дальше — то, от чего он жмурился и отворачивался два года: что пора Ефрему подышать. Так, со злорадством, оно даже легче получалось: не умирать — подышать.

Но это можно было только выговорить, а ни умом вообразить, ни сердцем представить: как же так может с ним, с Ефремом? Как же это будет? И что надо делать?

От чего он прятался за работой и между людей, — то подошло теперь один на один и душой повязкой по шее.

И ничего он не мог услышать в помощь от соседей — ни в палатах, ни в коридорах, ни на нижнем этаже, ни на верхнем. Всё было переговорено — а всё не то.

Вот тут его и замотало от окна к двери и обратно, по пять часов в день и по шесть. Это он бежал искать помощи.

Сколько жил Ефрем и где ни бывал (а не бывал он только в главных городах, окраины все прочесал) — и ему и другим всегда было ясно, что от человека требуется. От человека требуется или хорошая специальность, или хорошая хватка в жизни. От того и другого идут деньги. И когда люди знакомятся, то за как зовут сразу идёт: кем работаешь, сколько получаешь. И если человек не успел в заработках, значит — или глупой, или несчастный, а в общем так себе человечик.

И такую вполне понятную жизнь видел Поддуев все эти годы и на Воркуте, и на Енисее, и на Дальнем Востоке, и в Средней Азии. Люди зарабатывали большие деньги, а потом их тратили — хоть по субботам, хоть в отпуск разом все.

И было это складно, это годилось, пока не заболели люди раком или другим смертельным. Когда ж заболели, то становилось ничто и их специальность, и хватка, и должность, и зарплата. И по оказавшейся их тут беспомощности и по желанию врать себе до последнего, что у них не рак, выходило, что все они — слабаки и что-то в жизни упустили.

Но что же?

Смолоду слышал Ефрем да и знал про себя и про товарищей, что они, молодые, росли умней своих стариков. Старики и до города за весь век не доезжали, боялись, а Ефрем в тринадцать лет уже скакал, из нагана стрелял, а к пятидесяти всю страну как бабу перещупал. Но вот сейчас, ходя по палате, он вспоминал, как умирали те старые в их местности на Каме — хоть русские, хоть татары, хоть вотяки. Не пыжились они, не отбивались, не хвастали, что не умрут, — все они принимали смерть спокойно. Не только не оттягивали расчёт, а готовились потихоньку и загодя, назначали, кому кобыла, кому жеребёнок, кому зипун, кому сапоги. И отходили облегчённо, будто просто перебирались в другую избу. И никого из них нельзя было бы напугать раком. Да и рака-то ни у кого не было.

А здесь, в клинике, уж кислородную подушку сосёт, уж глазами еле ворочает, а языком всё доказывает: не умру! у меня не рак!

Будто куры. Ведь каждую ждёт нож по глотке, а они всё кудахчут, всё за кормом роются. Унесут одну резать, а остальные роются.

Так день за днём вышагивал Поддуев по старому полу, качая половицами, но ничуть ему не становилось ясней, чем же надо встречать смерть. Придумать этого было — нельзя. Услышать было — не от кого. И уж меньше всего ожидал бы он найти это в какой-нибудь книге.

Когда-то он четыре класса кончил, когда-то и строительные курсы, но собственной тяги читать у него не было: вместо газет шло радио, а книги представлялись ему совсем лишними в обиходе, да в тех диковатых дальних местах, где протаскался он жизнь за то, что там платили много, он и не густо видал книгочеев. Поддуев читал по нужде — брошюры по обмену опытом, описания подъёмных механизмов, служебные инструкции, приказы и «Краткий Курс» до Четвёртой главы. Тратить деньги на книги или в библиотеку за ними переться — находил он просто смешным. Когда же в дальней дороге или в ожидании ему попадалась какая — прочитывал он страниц двадцать—тридцать, но всегда бросал, ничего не найдя в ней по умному направлению жизни.

И здесь, в больнице, лежали на тумбочках и на окнах — он до них не дотрагивался. И эту синенькую с золотой росписью тоже бы не стал читать, да всучил её Костоглов в самый пустой тошный вечер. Подложил Ефрем две подушки под спину и стал просматривать. И тут ещё он бы не стал читать, если б это был роман. Но это были рассказы маленькие, которых суть выяснялась в пяти-шести страницах, а иногда в одной. В оглавлении их было насыпано, как гравия. Стал читать Поддуев названия и повеяло на него сразу, что идёт как бы о деле. «Труд, смерть и болезнь». «Главный закон». «Источник». «Упустишь огонь — не потушишь». «Три старца». «Ходите в свете, пока есть свет».

Ефрем раскрыл, какой поменьше. Прочёл его. Захотелось подумать. Он подумал. Захотелось этот же рассказик ещё раз перечесть. Перечеёл. Опять захотелось подумать. Опять подумал.

Так же вышло и со вторым.

Тут погасили свет. Чтобы книгу не упёрли и утром не искать, Ефрем сунул её к себе под матрас. В темноте он ещё рассказывал Ахмаджану старую басню, как делил Аллах лета жизни и что много ненужных лет досталось человеку (впрочем, сам он не верил в это, никакие лета не представились бы ему ненужными, если бы здоровье). А перед сном ещё думал о прочтённом.

Только в голову шибко стреляло и мешало думать.

Утро в пятницу было пасмурное и, как всякое больничное утро, — тяжёлое. Каждое утро в этой палате начиналось с мрачных речей Ефрема. Если кто высказывал какую надежду или желание, Ефрем тут же его охлаживал и давил. Но сегодня ему была нехоть смертная открывать рот, а приудобился он читать эту тихую спокойную книгу. Умыться ему было почти лишнее, потому что даже защёчя его были подбинтованы; завтрак можно было съесть в постели; а обхода хирургических сегодня не было. И медленно переворачивая шершавую толстоватую бумагу этой книги, Ефрем помалкивал, почитывал да подумывал.

Прошёл обход лучевых, погавкал на врача этот золотоочкастый, потом струсил, его укололи; качал права Костоглов, уходил, приходил; выписался Азовкин, попрощался, ушёл согнутый, держась за живот; вызывали других — на рентген, на вливания. А Поддуев так и не вылез топтать дорожку меж кроватей, читал себе и молчал. С ним разговаривала книга, не похожая ни на кого, занятно.

Целую жизнь он прожил, а такая серьёзная книга ему не попадалась.

Хотя вряд ли бы он стал её читать не на этой койке и не с этой

шеей, стреляющей в голову. Рассказиками этими едва ли можно было прошибить здорового.

Ещё вчера заметил Ефрем такое название: «Чем люди живы». До того это название было вылеплено, будто сам же Ефрем его и составил. Топча больничные полы и думая, не назвав,— об этом самом он ведь и думал последние недели: чем люди живы?

Рассказ был не маленький, но с первых же слов читался легко, ложился на сердце мягко и просто:

«Жил сапожник с женой и детьми у мужика на квартире. Ни дома своего, ни земли у него не было, и кормился он с семьёю сапожной работой. Хлеб был дорогой, а работа дешёвая, и что заработает, то и проест. Была у сапожника одна шуба с женой, да и та износилась в лохмотья».

Понятно это было всё и дальше очень понятно: сам Семён поджарый и подмастерье Михайла худощавый, а барин:

«...как с другого света человек: морда красная, налитая, шея как у быка, весь как из чугуна вылит... С житья такого как им гладким не быть, этакое заклепа и смерть не возьмёт».

Повидал таких и Ефрем довольно: Карашук, начальник углетреста, такой был, и Антонов такой, и Чечев, и Кухтиков. Да и сам Ефрем не начинал ли на такого вытягивать?

Медленно, как по слогам разбирая, Поддуев прочёл весь рассказ до конца.

Это уж было к обеду.

Не хотелось Ефрему ни ходить, ни говорить. Как будто что в него вошло и повернуло там. И где раньше были глаза — теперь глаз не было. И где раньше рот приходился — теперь не стало рта.

Первую-то, грубую, стружку с Ефрема сняла больница. А теперь — только строгай.

Всё так же, подмостясь подушками и подтянув колена, а при коленях держа закрытую книгу, Ефрем смотрел на пустую белую стенку. День наружный был без просвета.

На койке против Ефрема с самого укола спал этот белорылый курортник. Накрыли его потяжелее от озноба.

На соседней койке Ахмаджан играл с Сибгатовым в шашки. Языки их мало сходились, и разговаривали они друг с другом по-русски. Сибгатов сидел так, чтоб не кривить и не гнуть больную спину. Он ещё был молодой, но на темени волосы прореженные-прореженные.

А у Ефрема ни волосинки ещё не упало, буйных бурых — чаща, не продерётся. И до сих была при нём вся сила на баб. А как бы уже — ни к чему.

Сколько Ефрем этих баб охобачивал — представить себе нельзя. Ещё вначале вёл им счёт, жёнам — особо, потом не утруждался. Первая его жена была — Амина́, белолица татарка из Елабуги, чувствительная очень: кожа на лице такая тонкая, едва костяшками её тронь — и кровь. И ещё непокорчивая — сама ж с девчёнкой и ушла. С тех пор Ефрем позора не допускал и покидал баб всегда первый. Жизнь он вёл перелётную, свободную, то вербовка, то договор, и семью за собой таскать было б ему несручно. Хозяйку он на всяком новом месте находил. А у других, встречных-поперечных, вольных и невольных, и имена не всегда спрашивал, а только расплачивался по уговору. И смешались теперь в его памяти лица, повадки и обстоятельства, и запоминалось только, если как-нибудь особенно. Так запомнил он Евдошку, инженерфву жену, как во время войны на перроне станции Алма-Ата-1 стояла она под его окном, задом виляла и просилась. Их ехал целый штат в Илий, открывать новый участок, и провожали их многие из треста. Тут же и муж Евдошки, затруханный, недалеко стоял, кому-то что-то доказывал. А паровоз первый раз дёрнул. «Ну! — крикнул Ефрем и вытянул руки. — Если любишь — полезай сюда, поехали!». И она уцепилась, вскарабкалась к нему в окно вагона на ви-

ду у треста и у мужа — и поехала пожить с ним две недельки. Вот это он запомнил — как втаскивал Евдошку в вагон.

И так, что увидел Ефрем в бабах за всю жизнь, это привязчивость. Добыть бабу — легко, а вот с рук скачать — трудно. Хоть везде говорилось «равенство», и Ефрем не возражал, но нутром никогда он женщин за полных людей не считал — кроме первой своей жёнки Амины. И удивился бы он, если б другой мужик стал ему серьёзно доказывать, что плохо он поступает с бабами.

А вот по этой чудной книге так получалось, что Ефрем же во всём и виноват.

Зажгли прежде времени свет.

Проснулся этот чистюля с желвью под челюстью, вылез лысой головёнкой из-под одеяла и поскорей напялил очки, в которых выглядел профессором. Сразу всем объявил о радости: что укол перенёс он ничего, думал хуже будет. И нырнул в тумбочку за курятиной.

Этим хлякам, Ефрем замечал, только курятину подавай. На барашку и ту они говорят: «тяжёлое мясо».

На кого-нибудь другого хотел бы посмотреть Ефрем, но для того надо было всем корпусом поворачивать. А прямо смотреть — он видел только этого поносника, как тот глодает курячью косточку.

Поддуев закрылтел и осторожно повернул себя направо.

— Вот, — объявил и он громко. — Тут рассказ есть. Называется: «Чем люди живы». — И усмехнулся. — Такой вопрос, кто ответит? — чем люди живы?

Сибгатов и Ахмаджан подняли головы от пашек. Ахмаджан ответил уверенно, весело, он выздоравливал:

— Довольствием. Продуктовым и вещевым.

До армии он жил только в ауле и говорил по-узбекски. Все русские слова и понятия, всю дисциплину и всю развязность он принёс из армии.

— Ну, ещё кто? — хрипло спрашивал Поддуев. Загадка книги, неожиданная для него, была-таки и для всех нелёгкая. — Кто ещё? Чем люди живы?

Старый Мурсалимов по-русски не понимал, хоть, может, ответил бы тут лучше всех. Но пришёл делать ему укол медбрат Тургун, студент, и ответил:

— Зарплатой, чем!

Прошка чернявый из угла наострил, как в магазинную витрину, даже рот приоткрыл, а ничего не высказывал.

— Ну, ну! — требовал Ефрем.

Дёмка отложил свою книгу и хмурился над вопросом. Ту, что была у Ефрема, тоже в палату Дёмка принёс, но читать её у него не получилось: она говорила совсем не о том, как глухой собеседник отвечает тебе не на вопрос. Она расслабляла и всё запутывала, когда нужен был совет к действию. Поэтому он не прочёл «Чем люди живы» и не знал ответа, ожидаемого Ефремом. Он готовил свой.

— Ну, пацан! — подбодрял Ефрем.

— Так, по-моему, — медленно выговаривал Дёмка, как учителю у доски, чтоб не ошибиться, и ещё между словами думывая. — Раньше всего — воздухом. Потом — водой. Потом — едой.

Так бы и Ефрем ответил прежде, если б его спросили. Ещё б только добавил — спиртом. Но книга совсем не в ту сторону тянула.

Он чмокнул.

— Ну, ещё кто?

Прошка решил:

— Квалификацией.

Опять-таки верно, всю жизнь так думал и Ефрем.

А Сибгатов вздохнул и сказал, стесняясь:

— Родиной.

— Как это? — удивился Ефрем.

— Ну, родными местами.. Чтoб жить, где родился.

— А-а-а... Ну, это не обязательно. Я с Камы молодым уехал и ни-почём мне, есть она там, нет. Река и река, не всё ль равно?

— В родных местах,— тихо упорствовал Сибгатов,— и болезнь не привяжется. В родных местах всё легче.

— Ладно. Ещё кто?

— А что? А что?— отозвался приободренный Русанов.— Какой там вопрос?

Ефрем, кряхтя, повернул себя налево. У окон были койки пусты и оставался один только курортник. Он объедал куриную ножку, двумя руками держа её за концы.

Так и сидели они друг против друга, будто чёрт их назло посадил. Прищурился Ефрем.

— Вот так, профессор: чем люди живы?

Ничуть не затруднился Павел Николаевич, даже и от курицы почти не оторвался:

— А в этом и сомнения быть не может. Запомните. Люди живут: идейностью и общественным благом.

И выкусил самый тот сладкий хрящик в суставе. После чего кроме грубой кожи у лапы и висящих жилок ничего на костях не осталось. И он положил их поверх бумажки на тумбочку.

Ефрем не ответил. Ему досадно стало, что хляк вывернулся ловко. Уж где идейность — тут заткнись.

И раскрыв книгу, уставился опять. Сам для себя он хотел понять — как же ответить правильно.

— А про что книга? Что пишут?— спросил Сибгатов, останавливаясь в шашках.

— Да вот...— Поддуев прочёл первые строки.— «Жил сапожник с женой и детьми у мужика на квартире. Ни дома своего, ни земли у него не было...»

Но читать вслух было трудно и длинно, и, подмощённый подушками, он стал перелагать Сибгатову своими словами, сам стараясь ещё раз охватить:

— В общем сапожник запивал. Вот шёл он пьяненький и подобрал замерзающего, Михайлу. Жена ругалась — куда, мол, ещё дармоеда. А Михайла стал работать без разгиба и научился шить лучше сапожника. Раз, по зиме, приезжает к ним барин, дорогую кожу привозит и такой заказ: чтоб сапоги носились, не кривились, не поролись. А если кожу сапожник загубит — с себя отдаст. А Михайла странно как-то улыбался: там, за барином, в углу видел что-то. Не успел барин уехать, Михайла эту кожу раскроил и испортил: уже не сапоги вытяжные на ранту могли получиться, а только вроде тапочек. Сапожник за голову схватился: ты ж, мол, зарезал меня, что ты делаешь? А Михайла говорит: припасает себе человек на год, а не знает, что не будет жив до вечера. И верно: ещё в дороге барин окачурился. И барыня дослала к сапожнику пацана: мол, сапог шить не надо, а доскорей давайте тапочки. На мёртвого.

— Ч-чёрт его знает, чушь какая!— отозвался Русанов, с шипением и возмущением выговаривая «ч». — Неужели другую пластинку завести нельзя? За километр несёт, что мораль не наша. И чем же там — люди живы?

Ефрем перестал рассказывать и перевёл набрякшие глаза на лысого. Ему то и досаждало, что лысый едва ли не угадал. В книге написано было, что живы люди не заботой о себе, а любовью к другим. Хляк же сказал: общественным благом.

Оно как-то сходилось.

— Живы чем?— Даже и вслух это не выговаривалось. Неприлично вроде.— Мол, любовью...

— Лю-бо-вью?!.. Не-ет, это не наша мораль!— потешались золотые очки.— Слушай, а кто это всё написал?

— Чего?— промычал Поддуев. Угубали его куда-то от сути в сторону.

— Ну, написал это всё — кто? Автор?.. Ну, там, вверху на первой странице посмотри.

А что было в фамилии? Что она имела к сути — к их болезням? к их жизни или смерти? Ефрем не имел привычки читать на книгах эту верхнюю фамилию, а если читал, то забывал тут же.

Теперь он всё же отлистнул первую страницу и прочёл вслух: — Толс-той.

— Н-не может быть!— запротестовал Русанов.— Учтите: Толстой писал только оптимистические и патриотические вещи, иначе б его не печатали, «Хлеб», «Петр Первый». Он — трижды лауреат сталинской премии, да будет вам известно!

— Так это — не тот Толстой!— отозвался Дёмка из угла.— Это у нас — Лев Толстой.

— Ах, не то-от?— растянул Русанов с облегчением отчасти, а отчасти кривясь.— Ах, это другой... Это который — зеркало русской революции, рисовые котлетки?.. Так сю-сюкалка ваш Толстой! Он во многом, оч-чень во многом не разбирался. А злу надо противиться, паренёк, со злом надо бороться!

— И я так думаю,— глухо ответил Дёмка.

9

У Евгении Устиновны, старшего хирурга, не было почти ни одного обязательного хирургического признака — ни того волевого взгляда, ни той решительной складки лба, ни того железного зажима челюстей, которые столько описаны. На шестом десятке лет, если волосы она все убирала во врачебную шапочку, видевшие её в спину часто окликали: «Девушка, скажите, а...?» Однако она оборачивала лицо усталое, с негладкой излишней кожей, с подглазными мешками. Она выравнивала это постоянно яркими окрашенными губами, но краску приходилось накладывать в день не раз, потому что всю её она истирала о папиросы.

Всякую минуту, когда она была не в операционной, не в перевязочной и не в палате — она курила. Оттуда же она улучала выбежать и набрасывалась на папиросу так, будто хотела её съесть. Во время обхода она иногда поднимала указательный и средний пальцы к губам и потом можно было спорить, не курила ли она и на обходе.

Вместе с главным хирургом Львом Леонидовичем, действительно рослым мужчиной с длинными руками, эта узенькая постаревшая женщина делала все операции, за какие бралась их клиника — пилила конечности, вставляла трахеотомические трубки в стенку горла, удаляла желудки, добиралась до всякого места кишечника, разбойничала в лоне тазового пояса, а к концу операционного дня ей доставалось, как работа уже несложная и виртуозно освоенная, удалить одну-две молочные железы, поражённые раком. Не было такого вторника и не было такой пятницы, чтобы Евгения Устиновна не вырезала женских грудей, и санитарке, убиравшей операционную, она говорила как-то, куря ослабевшими губами, что если бы все эти груди, удалённые ею, собрать вместе, получился бы холм.

Евгения Устиновна была всю жизнь только хирург, никто вне хирургии, а всё же помнила и понимала слова толстовского казака Ерощки о европейских врачах: «только резать и умеют. Стало, дураки. А вот в горах дохтура настоящие. Травы знают».

«Только резать»? Нет, не так понимала Евгения Устиновна хирургию! Когда-то им, ещё студентикам, с кафедры объявил прославленный хирург: «Хирургия должна быть благодеянием, а не жестокостью! Не причинять боль, а освободить от боли! Латинская пословица говорит: успокаивать боли — удел божественный!»

Но даже первый шаг против боли — обезболивание, тоже есть боль.

Не радикальность, не дерзость, не новизна привлекали Евгению Устиновну в операциях, а наоборот — как можно большая незаметность, даже нежность, как можно большая внутренняя разумность — и только. И счастливыми считала она те свои предоперационные ночи, когда в полусонный мозг её вдруг подавался, как на лифте, откуда-то неожиданной новый план операции, не тот, который она записала на карточке, а мягче. С проясневшей головой она вскакивала, записывала — а утром рисковала в последний час сменить. И часто это бывали лучшие её операции.

И если бы завтра лучевая, химическая, травная терапия или какая-нибудь световая, цветовая, телепатическая смогли бы спасти её больных помимо ножа, и хирургии грозило бы исчезнуть из практики человечества, — Евгения Устиновна не защищала б её ни дня.

Потому что самые-то, самые-то лучшие операции были те, от которых она вообще сумела отказаться! самые-то благодетельные для больного — те, которые она догадалась и сумела заменить, обойти, отсрочить. И в этом был прав Ерошка! И этот поиск в себе она больше всего хотела бы не потерять.

Но теряла... За тридцать пять лет работы с ножом она привыкала к страданиям. И грубела. И уставала. Уже не вспыхивало этих ночей со сменой планов. Всё меньше виделась особенность каждой операции, всё больше — их конвейерная однообразность.

Одна из утомительных необходимостей человечества — та, что люди не могут освежить себя в середине жизни, круто сменив род занятий.

На обход они приходили обычно втроем-вчетвером: Лев Леонидович, она и ординаторы. Но несколько дней назад Лев Леонидович уехал в Москву на семинар по операциям грудной клетки. Она же в эту субботу вошла в мужскую верхнюю палату почему-то совсем одна — без лечащего и даже без сестры.

Даже не вошла, а тихо стала в дверном проёме и прикачнулась к косяку. Это было движение девичье. Совсем молодая девушка может так прислониться, зная, что это мило выглядит, что это лучше, чем стоять с ровной спиной, ровными плечами, прямой головой.

Она стала так и задумчиво наблюдала за Дёмой игрой. Дёма, вытянув по кровати большую ногу, а здоровую калачиком подвернув, — на неё, как на столик, положил книгу, а над книгой строил что-то из четырёх длинных карандашей, держа их обеими руками. Он рассматривал эту фигуру и долго б так, но его окликнули. Он поднял голову и свёл растопыренные карандаши.

— Что это ты, Дёма, строишь? — печально спросила Евгения Устиновна.

— Теорему! — бодро ответил он, громче нужного.

Так они сказали, но внимательно смотрели друг на друга, и ясно было, что не в этих словах дело.

— Ведь время уходит, — пояснил Дёма, но не так бодро и не так громко.

Она кивнула.

Помолчала, всё так же прислонённая к косяку — нет, не по-девичьи, а от усталости.

— А дай-ка я тебя посмотрю.

Всегда рассудительный, Дёма возразил оживлённей обычного: — Вчера Людмила Афанасьевна смотрела! Сказала — ещё будем облучать!

Евгения Устиновна кивала. Какое-то печальное изящество было в ней.

— Вот и хорошо. А я всё-таки посмотрю.

Дёма нахмурился. Он отложил стереометрию, подтянулся по кровати, давая место, и оголил больную ногу до колена.

Евгения Устиновна присела рядом. Она без усилия вскинула рукава халата и платья почти до локтей. Тонкие гибкие руки её стали двигаться по Дёминой ноге как два живых существа.

— Больно? Больно?— только спрашивала она.

— Есть. Есть,— подтверждал он, всё сильнее хмурясь.

— Ночью чувствуешь ногу?

— Да... Но Людмила Афанасьевна...

Евгения Устиновна ещё покивала понимающей головой и потрепала по плечу.

— Хорошо, дружок. Облучайся.

И ещё они посмотрели в глаза друг другу.

В палате стало совсем тихо, и каждое их слово слышно.

А Евгения Устиновна поднялась и обернулась. Там, у печи, должен был лежать Прошка, но он вчера вечером перелёг к окну (хотя и была примета, что не надо ложиться на койку того, кто ушёл умирать). А кровать у печи теперь занимал невысокий тихий белобрысый Генрих Федерату, не совсем новичок для палаты, потому что уже три дня он лежал на лестнице. Сейчас он встал, опустил руки по швам и смотрел на Евгению Устиновну приветливо и почтительно. Ростом он был ниже её.

Он был совсем здоров! У него нигде ничего не болело. Первой операцией его вполне излечили. И если он явился опять в раковый корпус, то не с жалобой, а из аккуратности: написано было в справке — прибыть на проверку 1-го февраля 1955 года. И издалека, с трудными дорогами и пересадками, он явился не 31-го января и не 2-го февраля, а с той точностью, с какой луна является на назначенные ей затмения.

Его же опять положили зачем-то в стационар.

Сегодня он очень надеялся, что его отпустят.

Подошла высокая сухая Мария с изгасшими глазами. Она несла полотенце. Евгения Устиновна протёрла руки, подняла их, всё так же открытые до локтей, и в такой же полной тишине долго делала накачивающие движения пальцами на шее у Федерату, и, велев расстегнуться, ещё во впадинах у ключиц, и ещё под мышками. Наконец сказала:

— Всё хорошо, Федерату. Всё у вас очень хорошо.

Он осветился, как награждённый.

— Всё хорошо,— тянула она ласково, и опять накатывала у него под нижней челюстью.— Ещё маленькую операцию сделаем— и всё.

— Как?— осунулся Федерату.— Зачем же, если всё хорошо, Евгения Устиновна?

— А чтоб ещё было лучше,— бледно улыбнулась она.

— Здесь?— показал он режущим движением ладони по шее наискосок. Выражение его мягкого лица стало просительное. У него были бледно-белесые реденькие волосы, белесые брови.

— Здесь. Да не беспокойтесь, у вас ничего не запущено. Давайте готовить вас на этот вторник.— (Мария записала.)— А к концу февраля поедете домой и чтоб уж к нам не возвращаться.

— И опять будет «проверка»?— пробовал улыбнуться Федерату, но не получилось.

— Ну, разве что проверка,— улыбнулась в извинение она. Чем она могла подкрепить его, кроме своей утомлённой улыбки?

И оставив его стоять, а потом сесть и думать, она пошла дальше по комнате. По пути ещё чуть улыбнулась Ахмаджану (она его резала в паху три недели назад)— и остановилась у Ефрема.

Он уже ждал её, книжку синюю сбросив рядом. С широкой головой, с непомерно утолщённой, обинтованной шеей и в плечах широкий, а с ногами поджатыми, он полусидел в кровати каким-то неправ-

доподобным коротышкой. Он смотрел на неё исподлобья, ожидая удара.

Она облокотилась о спинку его кровати и два пальца держала у губ, как бы курила.

— Ну, как настроение, Поддуев?

Только и было болтать, что о настроении! Ей поговорить и уйти, ей номер отбить.

— Резать — надоело, — высказал Ефрем.

Она подняла бровь, будто удивилась, что резать — может надоест.

Ничего не говорила.

И он уже сказал довольно.

Они молчали, как в размолвке. Как перед разлукой.

— Ведь опять же по тому месту? — даже не спросил, а сам сказал Ефрем.

(Он хотел выразить: как же вы раньше резали? Что ж вы думали? Но никогда не щадивший никаких начальников, всем лепивший в лицо, Евгению Устиновну он поберёг. Пусть сама догадается.)

— Рядышком, — отличила она.

(Что ж говорить тебе, горемыка, что рак языка — это не рак нижней губы? Подчелюстные узлы уберёшь, а вдруг оказывается, что затронуты глубинные лимфоузлы. Этого нельзя было резать раньше.)

Крякнул Ефрем, как потянувши не в силу.

— Не надо. Ничего не надо.

Да она что-то и не уговаривала.

— Не хочу резать. Ничего больше не хочу.

Она смотрела и молчала.

— Выписывайте!

Смотрела она в его рыжие глаза, после многого страха перешагнувшие в бесстрашие, и тоже думала: зачем? Зачем его мучить, если нож не успевал за метастазами?

— В понедельник, Поддуев, размотаем — посмотрим. Хорошо?

(Он требовал выписывать, но как ещё надеялся, что она скажет: «Ты с ума сошёл, Поддуев? Что значит выписывать? Мы тебя лечить будем! Мы вылечим тебя!..» А она — соглашалась. Значит, мертвяк.)

Он сделал движение всем туловищем, означавшее кивок. Ведь головой отдельно он не мог кивнуть.

И она прошла к Прошке. Тот встал ей навстречу и улыбался. Ничуть его не осматривая, она спросила:

— Ну, как вы себя чувствуете?

— Та гарно, — ещё шире улыбнулся Прошка. — О ци таблетки мэни допомоглы.

Он показал флакончик с поливитаминами. Он уж не знал, как её лучше удобрить? Как уговорить её, чтоб она не задумала резать!

Она кивнула таблеткам. Протянула руку к левой стороне его груди:

— А тут? Покалывает?

— Та грохи ё.

Она ещё кивнула:

— Сегодня выписываем вас.

Вот когда обрадовался Прошка! Так и полезли в гору чёрные брови:

— Та шо вы?! А операции — нэ будэ, ни?

Она качала головой, бледно улыбаясь.

Неделю его щупали, загоняли в рентген четыре раза, то сажали, то клали, то поднимали, водили к каким-то старикам в белых халатах — уж он ожидал себе лихой хворобы — и вдруг отпускали без операции!

— Так я здоров?!

— Не совсем.

— О ци таблетки дуже гарны, га?— Чёрные глаза его сверкали пониманием и благодарностью. Ему приятно было, что своим лёгким исходом он радуется и её.

— Такие таблетки будете сами в аптеках покупать. А я вам ещё пропишу, тоже попьёте.— И повернула голову к сестре: — Аскорбиновую.

Мария строго наклонила голову и записала в тетрадь.

— Только точно три раза в день, точно! Это важно! — внушала Евгения Устиновна. (Внушение было важнее самого лекарства.) — И придётся вам побережться! Вам не надо быстро ходить. Не надо поднимать тяжёлого. Если наклоняться — то осторожно.

Прошка рассмеялся, довольный, что и она не всё на свете понимает.

— Як то — важко́го нэ подымать? Я — тракторист.

— А вы сейчас пока работать не будете.

— А чо́го ж? По бюлетню?

— Нет. Вы сейчас по нашей справке получите инвалидность.

— Инвалидность? — Прошка диковато на неё посмотрел.— Та на якэ мини лыхо инвалидность? Як я на ии жить буду? Я ще молодой, я робить хочу.

Он выставил свои здоровые с грубоватыми пальцами руки, просящиеся в работу.

Но это не убедило Евгению Устиновну.

— Вы в перевязочную спуститесь через полчаса. Будет готова справка, и я вам объясню.

Она вышла, и негнущаяся худая Мария вышла за ней.

И сразу в палате заговорили в несколько глоток. Прошка — об этой инвалидности, на кой она, обговорить с хлопцами, но другие толковали о Федерату. Это разительно было для всех: вот чистая, белая, ровная шея, ничего не болит — и операция!

Поддуев в кровати повернулся на руках корпусом с поджатыми ногами (это вышло — как поворачивается безногий) и закричал сердито, даже покраснел:

— Не давайся, Генрих! Не будь дурак! Начнут резать — зарежут, как меня.

Но и Ахмаджан мог судить:

— Надо резать, Федерату! Они даром не скажут.

— Зачем же резать, если не болит?— возмутился Дёма.

— Да ты что, браток? — басил Костоглотов.— С ума сойти, здоровую шею резать.

Русанов морщился от этих криков, но не стал никому делать замечаний. Вчера после укола он очень повеселел, что легко его перенёс. Однако по-прежнему опухоль под шеей всю ночь и утро мешала ему двигать головой, и сегодня он чувствовал себя вполне несчастным, что ведь она не уменьшается.

Правда, приходила доктор Гангарт. Она очень подробно расспросила Павла Николаевича о каждом оттенке его самочувствия вчера, и ночью, и сегодня, и о степени слабости, и объясняла, что опухоль не обязательно должна податься после первого укола, даже это вполне нормально, что не подалась. Отчасти она его успокоила. Он присмотрелся к Гангарт — у неё неглупое лицо. В конце концов в этой клинике тоже не самые последние врачи, опыт у них есть, надо уметь с них потребовать.

Но успокоения его хватило не надолго. Врач ушла, а опухоль торчала под челюстью и давила, а больные несли своё, а вот предлагали человеку резать совсем здоровую шею. У Русанова же какая бубуля — и не режут! и не предлагают. Неужели так плохо?

Позавчера, войдя в палату, Павел Николаевич не мог бы себе

представить, что так быстро почувствует себя в чём-то соединённым с этими людьми.

Ведь о шее шла речь. У троих у них — о шее.

Генрих Якобович очень расстроился. Слушал всё, что ему советовали, и улыбался растерянно. Все уверенно говорили, как ему поступить, только сам он своё дело видел смутно. (Как они смутно видели своё собственное.) И резать было опасно, и не резать было опасно. Он уже насмотрелся и повыспрашивал здесь, в клинике, ещё прошлый раз, когда ему лечили рентгеном нижнюю губу, как вот сейчас Егенбердиеву. С тех пор струп на губе и раздулся, и высох, и отвалился, но он понимал, зачем режут шейные железы: чтоб не дать продвигаться раку дальше.

Однако, вот Поддуеву два раза резали — и что помогло?..

А если рак никуда и не думает ползти? Если его уже нет?

Во всяком случае надо было посоветоваться с женой, а особенно с дочерью Генриеттой, самой образованной и решительной у них в семье. Но он занимает здесь койку, и клиника не станет ждать оборота писем (а ещё от станции к ним, в глубь степи, почту возят два раза в неделю и то лишь по хорошей дороге). Выписываться же и ехать на совет домой — очень трудно, трудней, чем это понимают врачи и те больные, которые ему так легко советуют. Для этого надо закрыть в здешней городской комендатуре отпускное свидетельство, только что выхлопотанное с трудом, сняться с временного учёта и ехать; сперва в лёгком пальтеце и полуботинках, как он сейчас, ехать поездом до маленькой станции, там надевать полушубок и валенки, оставленные на хранение у незнакомых добрых людей, — потому что там погода нездешняя, там ещё лютые ветры и зима, — и сто пятьдесят километров трястись-качаться до своей МТС, может быть не в кабине, а в кузове; и тотчас же, приехав домой, писать заявление в областную комендатуру и две-три-четыре недели ждать разрешения на новый выезд; и когда оно придёт — опять отпрашиваться с работы, а как раз потает снег, развезёт дорогу и машины станут; и потом на маленькой станции, где останавливаются два поезда в сутки, каждый по минуте, мотаться отчаянно от кондуктора к кондуктору, который бы посадил; и приехав сюда, в здешней комендатуре опять становиться на временный учёт и потом ещё сколько-то дней ждать очереди на место в клинике.

Тем временем обсуждали дела Прошки. Вот и верь дурным приметам! — лёг на плохую койку! Его поздравляли и советовали подчиниться инвалидности, пока дают. Дают — бери! Дают — значит, надо. Дают, а потом отнимут. Но Прошка возражал, что хочет работать. Да ещё, мол, наработаешься, дурак, жизнь длинная!

Пошёл Прошка за справками. Стало в палате стихать.

Ефрем опять открыл свою книгу, но читал строки, не понимая, и скоро заметил это.

Он не понимал их, потому что дёргался, волновался, смотрел, что делается в комнате и в коридоре. Чтоб их понимать, надо было ему вспомнить, что сам он уже никуда не успеет. Ничего не изменит. Никого не убедит. Что самому ему остались считанные дни разобраться в себе самом.

И только тогда открывались строки этой книги. Они были напечатаны обычными чёрными буквочками по белой бумаге. Но мало было простой грамоты, чтоб их прочесть.

Когда Прошка уже со справками радостно поднялся по лестнице, в верхнем вестибюле он встретил Костоглотова и показал ему:

— И печати круглэньки, ось воно!

Одна справка была на вокзал с просьбой без очереди дать билет больному такому-то, перенесшему операцию. (Если не написать об операции, на вокзале больных слали в общий хвост, и они могли не уехать два дня и три.)

А в другой справке — для медицинского учреждения по месту жительства, было написано:

tumor cordis, casus inoperabilis.

— Нэ зрозумію,— тыкал туда Прошка пальцем.— Що такэ написано, га?

— Сейчас подумаю,— шурился Костоглотов с недовольным лицом. Прошка пошёл собираться.

А Костоглотов облёгся о перила и свесил чуб над пролётом.

Никакой латыни он путём не знал, как и вообще никакого иностранного языка, как и вообще ни одной науки полностью, кроме топографии, да и то военной, в объёме сержантских курсов. Но хотя всегда и везде он зло высмеивал образование, он ни глазом, ни ухом не пропускал нигде ни крохи, чтоб своё образование расширить. Ему достался один курс геофизического в 1938 году да неполный один курс геодезического с 46-го по 47-й год, между ними была армия и война, мало приспособленные для успеха в науках. Но всегда Костоглотов помнил поговорку своего любимого деда: дурак любит учить, а умный любит учиться — и даже в армейские годы всегда вбирал, что было полезно знать, и приклонял ухо к разумной речи, рассказывал ли что офицер из чужого полка или солдат его взвода. Правда, он так ухо приклонял, чтобы гордости не ущербнуть—слушал вбирчиво, а вроде не очень ему это и нужно. Но зато при знакомстве с человеком никогда не спешил Костоглотов представить себя и порисоваться, а сразу доведывался, кто его знакомец, чей, откуда и каков. Это много помогало ему услышать и узнать. А уж где пришлось набраться вдосыть — это в переполненных послевоенных бутырских камерах. Там каждый вечер читались в них лекции профессорами, кандидатами и просто знающими людьми — по атомной физике, западной архитектуре, по генетике, поэтике, пчеловодству — и Костоглотов был первый слушатель всех этих лекций. Ещё под нарами Красной Пресни и на нетёсных нарах теплушек, и когда в этапах сажали задницей на землю, и в лагерном строю — всюду он по той же дедушкиной поговорке старался добрать, чего не удалось ему в институтских аудиториях.

Так и в лагере он расспросил медстатистика — пожилого робкого человечка, который в санчасти писал бумажки, а то и слали его за кипятком сбегать, и оказался тот преподавателем классической филологии и античных литератур ленинградского университета. Костоглотов придумал брать у него уроки латинского языка. Для этого пришлось ходить в мороз по зоне туда-сюда ни карандаша, ни бумаги при том не было, а медстатистик иногда снимал рукавичку и пальцем по снегу что-нибудь писал (Медстатистик давал те уроки совершенно бескорыстно: он просто чувствовал себя на короткий час человеком. Да Костоглотову и платить было бы нечем. Но едва они не заплатились у опера: он порознь вызывал их и допрашивал, подозревая, что готовят побег и на снегу чертят план местности. В латынь он так и не поверил. Уроки прекратились.)

От тех уроков и сохранилось у Костоглотова, что *casus* — это «случай», *in* — приставка отрицательная. И *cor, cordis* он оттуда знал, а если б и не знал, то не было большой догадкой сообразить, что кардиограмма — от того же корня. А слово *tumor* встречалось ему на каждой странице «Патологической анатомии», взятой у Зои.

Так без труда он понял сейчас диагноз Прошки:

Опухоль сердца, случай, не поддающийся операции.

Не только операции, но и никакому лечению, если ему прописывали аскорбинку.

Так что, наклонясь над лестницей, Костоглотов думал не о переводе с латыни, а о принципе своём, который он вчера выставлял Людмиле Афанасьевне — что больной должен всё знать.

Но то был принцип для таких видалых, как он.

А — Прощке?

Прощка ничего почти и в руках не нес — не было у него имущества. Его провожали Сибгатов, Дёмка, Ахмаджан. Все трое шли осторожно: один берёт спину, другой — ногу, третий всё-таки с костыльком. А Прощка шёл весело, и белые зубы его сверкали.

Вот так вот, когда приходилось изредка, провожали и на волю. И — сказать, что сейчас, за воротами его арестуют опять?..

— Так шо там написано? — беспечно спросил Прощка, забирая справку.

— Ч-чёрт его знает, — скривил рот Костоготов, и шрам его скривился тоже. — Такие хитрые врачи стали, не прочтёшь.

— Ну, выздоравливайте! И вы уси выздоравливайте, хлопцы! Та до хаты! Та до жинки! — Прощка всем им пожал руки и ещё с лестницы, весело оборачиваясь, весело оборачиваясь, помахиал им.

И уверенно спускался.

К смерти.

10

Только обошла она пальцами Дёмкину опухоль, да приобняла за плечи — и пошла дальше. Но тем случилось что-то роковое, Дёмка почувствовал.

Он не сразу это почувствовал — сперва были в палате обсуждения и проводы Прощки, потом он примерялся перебраться на его уже теперь счастливую койку к окну — там светлей читать и близко с Костоготовым заниматься стереометрией, а тут вошёл новенький.

Это был тёмно-загоревший молодой человек со смоляными опрятными волосами, чуть завойчатыми. Лет ему было, наверно, уже двадцать со многим. Он тащил под левой мышкой три книги и под правой мышкой три книги.

— Привет, друзья! — объявил он с порога, и очень понравился Дёмке, так просто держался и смотрел искренно. — Куда мне?

А сам почему-то оглядел не койки, а стены.

— Вы — много читать будете? — спросил Дёмка.

— Всё время!

Подумал Дёмка.

— По делу или так?

— По делу!

— Ну, ложитесь вон около окна, ладно. Сейчас вам постеляют. А книги у вас о чём?

— Геология, браток, — ответил новенький.

И Дёмка прочёл на одной: «Геохимические поиски рудных месторождений».

— Ложитесь к окну, ладно. А болит что?

— Нога.

— И у меня нога.

Да, ногу одну новичок бережно переставлял, а фигура была — хоть на льду танцевать.

Новенькому постелили, и он, верно, как будто за тем и приехал: тут же разложил пять книг по подоконнику, а в шестую уткнулся. Почитал часок, ничего не спрашивая, никому не рассказывая, и его вызвали к врачам.

Дёмка тоже старался читать. Сперва стереометрию и строить фигуры из карандашей. Но теоремы ему в голову не шли. А чертежи — отсечённые отрезки прямых, зазубристо обломанные плоскости — напоминали и намекали Дёмке всё на то же.

Тогда он взял книжку полегче, «Живая вода», получила сталинскую премию. Книг очень много издавалось, прочесть их все никто не мог бы успеть. А какую прочтёшь — так вроде мог бы и не читать. Но по крайней мере положил Дёмка прочитывать все книги, получившие сталинскую премию. Таких было в год до сорока, их тоже Дёмка не

успевал. В Дёмкиной голове путались даже названия. И понятия тоже путались. Только-только он усвоил, что разбирать объективно — значит видеть вещи, как они есть в жизни, и тут же читал, как ругали писательницу, что она «стала на зыбкую засасывающую почву объективизма». Читал Дёмка «Живую воду» и не мог разобрать, чего у него на душе такая нудь и муть.

В нём нарастало давление ущерба, тоска. Хотелось ему то ли поговорить, то ли пожаловаться? А то просто человечески поговорить, чтоб даже его немножко пожалели.

Конечно, он читал и слышал, что жалость — чувство унижающее: и того унижающее, кто жалеет, и того, кого жалеют.

А всё-таки хотелось, чтобы пожалели.

Здесь, в палате, было интересно послушать и поговорить, но не о том и не так, как хотелось сейчас. С мужчинами надо держать себя как мужчину.

Женщин в клинике было много, очень много, но Дёма не решился бы переступить порог их большой шумной палаты. Если бы столько было собрано там здоровых женщин — занятно было бы, идя мимо, ненароком туда заглянуть и что-нибудь увидеть. Но перед таким гнездилищем больных женщин он отводил глаза, боясь увидеть что-нибудь. Болезнь их была завесой запрета, более сильного, чем простой стыд. Некоторые из этих женщин, встречавшиеся Дёме на лестнице и в вестибюлях, были так опущены, подавлены, что плохо запахивали халаты, и ему приходилось видеть их нижние сорочки то на груди, то ниже пояса. Однако эти случаи вызывали в нём ощущение боли.

И так всегда он опускал глаза перед ними. И вовсе не просто было здесь познаться.

Только тётя Стёфа сама его заметила, стала спрашивать, и он с ней подружился. Тётя Стёфа была уже и мать, и бабушка, и с этими общими чертами бабушек — морщинками и улыбкой, снисходящей к слабостям, только голос мужской. Становились они с тётей Стёфой где-нибудь около верха лестницы и говорили подолгу. Никто никогда не слушал Дёму с таким участием, будто ей и ближе не было никого, как он. И ему легко было рассказывать ей о себе и даже о матери такое, чего б он не открыл никому.

Двух лет был Дёмка, когда убили отца на войне. Потом был отчим, хоть не ласковый, однако справедливый, с ним вполне можно было бы жить, но мать — тёте Стёфе он этого слова не выговаривал, а для себя давно и твёрдо заключил — скурвилась. Отчим бросил её и правильно сделал. С тех пор мать приводила мужиков в единственную с Дёмой комнату, тут они выпивали обязательно (и Дёме навязывали пить, да он не принимал), и мужики оставались у неё разное: кто до полуночи, кто до утра. И разгородки в комнате не было никакой, и темноты не было, потому что засвечивали с улицы фонари. И так это Дёмке опостыло, что пойлом свиным казалось ему то, о чём его сверстники думали с задрогом.

Прошёл так пятый класс и шестой, а в седьмом Дёмка ушёл жить к школьному сторожу, старику. Два раза в день школа кормила Дёмку. Мать и не старалась его вернуть — сдыхалась и рада была.

Дёма говорил о матери зло, не мог спокойно. Тётя Стёфа выслушивала, головой кивала, а заключала странно:

— На белом свете все живут. Белый свет всем один.

С прошлого года Дёма переехал в заводской посёлок, где была вечерняя школа, ему дали общежитие. Работал Дёма учеником токаря, потом получил второй разряд. Не очень хорошо у него работа шла, но наперекор материнскому шалопутству он водки не пил, песен не орал, а занимался. Хорошо кончил восьмой класс и одно полугодие девятого.

И только в футбол — в футбол он изредка бегал с ребятами. И за это одно маленькое удовольствие судьба его наказала: кто-то в суматохе с мячом не нарочно стукнул Дёмку бутсой по голени, Дёмка

и внимания не придал, похромал, потом прошло. А осенью нога разбалывалась и разбалывалась, он ещё долго не показывал врачам, потом ногу грели, стало хуже, послали по врачебной эстафете, в областной город и потом сюда.

И почему же, спрашивал теперь Дёма тётю Стёфу, почему такая несправедливость и в самой судьбе? Ведь есть же люди, которым так и выстилает гладенько всю жизнь, а другим — всё перекромсано. И говорят — от человека самого зависит его судьба. Ничего не от него.

— От Бога зависит, — знала тётя Стёфа. — Богу всё видно. Надо покориться, Дёмушка.

— Так тем более, если от Бога, если ему всё видно — зачем же тогда на одного валить? Ведь надо ж распределять как-то...

Но что покориться надо — против этого спорить не приходилось. А если не покориться — так что другое делать?

Тётя Стёфа была здешняя, её дочери, сыновья и невестки часто приходили проведать её и передать гостинца. Гостинцы эти у тётю Стёфы не задерживались, она угощала соседок и санитарок, а вызвав Дёма из палаты, и ему совала яичко или пирожок.

Дёма был всегда не сыт, он недоедал всю жизнь. Из-за постоянных настороженных мыслей о еде голод казался ему больше, чем был на самом деле. Но всё же обирать тётю Стёфу он стеснялся, и если яичко брал, то пирожок пытался отвергнуть.

— Бери, бери! — махала она. — Пирожок-то с мясом. Потá и есть его, пока мясоед.

— А что, потом не будет?

— Конечно, неужли не знаешь?

— И что же после мясоеда?

— Масленица, что!

— Так ещё лучше, тётя Стёфа! Масленица-то ещё лучше?!

— Каждое своим хорошо. Лучше, хуже — а мяса нельзя.

— Ну, а масленица-то хоть не кончится?

— Как не кончится! В неделю пролетит.

— И что ж потом будем делать? — весело спрашивал Дёма, уже уминая домашний пахучий пирожок, каких в его доме никогда не пекли.

— Вот нехристи растут, ничего не знают. А потом — великий пост.

— А зачем он сдался, великий пост? Пост, да ещё великий!

— А потому, Дёмушка, что брюхо натолочишь — сильно к земле клонит. Не всегда так, просветы тоже нужны.

— На кой они, просветы? — Дёма одни только просветы и знал.

— На то и просветы, чтобы просветляться. Натощак-то свежей, не замечал разве?

— Нет, тётя Стёфа, никогда не замечал.

С самого первого класса, ещё и читать-писать не умел, а уже научен был Дёма, и знал твёрдо и понимал ясно, что религия есть дурман, трижды реакционное учение, выгодное только мошенникам. Из-за религии кое-где трудящиеся и не могут ещё освободиться от эксплуатации. А как с религией рассчитаются — так и оружие в руки, так и свобода.

И сама тётя Стёфа с её смешным календарём, с её Богом на каждом слове, с её незаботной улыбкой даже в этой мрачной клинике и вот с этим пирожком была фигурой как бы не реакционной.

И тем не менее сейчас, в субботу после обеда, когда разошлись врачи, оставив каждому больному свою думку, когда хмурый денёк ещё давал кой-какой свет в палаты, а в вестибюлях и коридорах уже горели лампы, Дёма ходил, прихрамывая, и всюду искал именно тётю Стёфу, которая и посоветовать-то ему ничего дельно не могла, кроме как смириться.

А как бы не отняли. Как бы не отрезали. Как бы не пришлось отдать.

Отдать? — не отдать? Отдать? — не отдать?..

Хотя от этой грызучей боли, пожалуй, и отдать легче.

Но тёти Стёфы нигде на обычных местах не было. Зато в нижнем коридоре, где он расширялся, образуя маленький вестибюльчик, который считался в клинике красным уголком, хотя там же стоял и стол нижней дежурной медсестры и её шкаф с медикаментами, Дёма увидел девушку, даже девчёнку — в таком же застиранном сером халате, а сама — как из кинофильма: с жёлтыми волосами, каких не бывает, и ещё из этих волос было что-то состроено лёгкое шевелящееся.

Дёма ещё вчера её видел мельком первый раз и от этой жёлтой клумбы волос даже моргнул. Девушка показалась ему такой красивой, что задержаться на ней взглядом он не посмел — отвёл и прошёл. Хотя по возрасту изо всей клиники она была ему ближе всех (ещё — Сурхан с отрезанной ногой), — но такие девушки вообще были ему недостижимы.

А сегодня утром он её ещё разок видел в спину. Даже в больничном халате она была как осочка, сразу узнаешь. И подрагивал снопик жёлтых волос.

Наверняка Дёма её сейчас не искал, потому что не мог бы решиться с ней знакомиться: он знал, что рот ему свяжет как тестом, будет мычать что-нибудь неразборчивое и глупое. Но он увидел её — и в груди ёкнуло. И стараясь не хромать, стараясь ровней пройти, он свернул в красный уголок и стал перелистывать подшивку республиканской «Правды» прореженную больными на обёртку и другие нужды.

Половину того стола, застеленного кумачом, занимал бронзированный бюст Сталина — крупнейшей головой и плечами, чем обычный человек. А рядом со Сталиным стояла нянечка, тоже дородная, широкогубая. По-субботнему не ожидая себе никакой гонки, она перед собой на столе расстелила газету, высыпала туда семечек и сочно лускала их на ту же газету, сплёвывая без помощи рук. Она, может, и подошла-то на минуту, но никак не могла отстать от семечек.

Репродуктор со стены хрипленько давал танцевальную музыку. Ещё за столиком двое больных играли в шашки.

А девушка, как Дёма видел уголком глаза, сидела на стуле у стенки просто так, ничего не делая, но сидела пряменькая, и одной рукой стягивала халат у шеи, где никогда не бывало застёжек, если женщины сами не пришивали. Сидел желтоволосый тающий ангел, руками нельзя прикоснуться. А как славно было бы потолковать о чём-нибудь!.. Да и о ноге.

Сам на себя сердясь, Дёмка просматривал газеты. Ещё спохватился он сейчас, что бережа время никакого не делал зачёса на лбу, просто стригся под машинку сплошь. И теперь выглядел перед ней как болван.

И вдруг ангел сам сказал:

— Что ты робкий такой? Второй день ходишь — не подойдёшь. Дёма вздрогнул, окинулся. Да! — кому ж ещё? Это ему говорили! Хохолок или султанчик, как на цветке, качался на голове.

— Ты что — пуганый, да? Бери стул, волокн сюда, познакомимся.

— Я — не пуганый. — Но в голосе подвернулось что-то и помешало ему сказать звонко.

— Ну так тащи, мостись.

Он взял стул и, вавое стараясь не хромать, понёс его к ней в одной руке, поставил у стенки рядом. И руку протянул:

— Дёма.

— Ася, — вложила та свою мягонькую и вынула.

Он сел, и оказалось совсем смешно — ровно рядышком сидят, как жених и невеста. Да и смотреть на неё плохо. Приподнялся, переставил стул вольней.

— Ты что ж сидишь, ничего не делаешь? — спросил Дёма.

— А зачем делать? Я делаю.

— А что ты делаешь?

— Музыка слушаю. Танцую мысленно. А ты, небось, не умеешь.

— Мысленно?

— Да хоть ногами!

Дёмка чмокнул отрицательно.

— Я сразу вижу, не протёртый. Мы б с тобой тут покрутились,— огляделась Ася,— да негде. Да и что это за танцы? Просто так слушаю, потому что молчание меня всегда угнетает.

— А какие танцы хорошие?— с удовольствием разговаривал Дёмка.— Танго?

Ася вздохнула:

— Какое танго, это бабушки танцевали! Настоящий танец сейчас рок-н-ролл. У нас его ещё не танцуют. В Москве, и то мастера.

Дёма не все слова её улавливал, а просто приятно было разговаривать и прямо на неё иметь право смотреть. Глаза у неё были странные — с призеленью. Но ведь глаза не покрасишь, какие есть. А всё равно приятные.

— Тот ещё танец! — прищёлкнула Ася.— Только точно не могу показать, сама не видела. А как же ты время проводишь? Песни поёшь?

— Да не. Песен не пою.

— Отчего, мы — поём. Когда молчание угнетает. Что ж ты делаешь? На аккордеоне?

— Не... — застыживался Дёмка. Никуда он против неё не годился.

Не мог же он ей так прямо ляпнуть, что его разжигает общественная жизнь!..

Ася просто-таки недоумевала: вот интересный попался тип!

— Ты, может, в атлетике работаешь? Я, между прочим, в пятиборья неплохо работаю. Я сто сорок сантиметров делаю и тринадцать две десятых делаю.

— Я — не... — Горько было Дёмке сознавать, какой он перед ней ничтожный. Вот умеют же люди создавать себе развязную жизнь! А Дёмка никогда не сумеет... — В футбол немножко...

И то доигрался.

— Ну, хоть куришь? Пьёшь? — ещё с надеждой спрашивала Ася. — Или пиво одно?

— Пиво,— вздохнул Дёмка. (Он и пива в рот не брал, но нельзя ж было до конца позориться.)

— О-о-ох! — простонала Ася, будто ей в подвздошь ударили.— Какие вы все ещё, ядрёна палка, маменькины сынки! Никакой спортивной чести! Вот и в школе у нас такие. Нас в сентябре в мужскую перевели — так директор себе одних прибитых оставил да отличников. А всех лучших ребят в женскую спихнул.

Она не унижить его хотела, а жалела, но всё ж он за прибитых обиделся.

— А ты в каком классе? — спросил он.

— В десятом.

— И кто ж вам такие причёски разрешает?

— Где разрешают! Бо-о-орются!.. Ну, и мы боремся!

Нет, она простодушно говорила. Да хоть бы зубоскалила, хоть бы она Дёмку кулаками колоти, а хорошо, что разговорились.

Танцевальная музыка кончилась, и стал диктор выступать о борьбе народов против позорных парижских соглашений, опасных для Франции тем, что отдавали её во власть Германии, но и для Германии невыносимых тем, что отдавали её во власть Франции.

— А что ты вообще делаешь? — допытывалась Ася своё.

— Вообще — токарем работаю,— небрежно-достойно сказал Дёмка.

Но и токарь не поразил Асю.

— А сколько получаешь?

Дёмка очень уважал свою зарплату, потому что она была кровная и первая. Но сейчас почувствовал, что — не выговорит, сколько.

— Да чепуху, конечно,— выдавил он.

— Это всё ерунда! — заявила Ася с твёрдым знанием. — Ты бы спортсменом лучше стал! Данные у тебя есть.

— Это уметь надо...

— Чего уметь?! Да каждый может стать спортсменом! Только тренироваться много! А спорт как высоко оплачивается! — везут бесплатно, кормят на тридцать рублей в день, гостиницы! А ещё премии! А сколько городов повидаешь!

— Ну, ты где была?

— В Ленинграде была, в Воронеже...

— Ленинград понравился?

— Ой, что ты! Пассажи! Гостиный двор! А специализированные — по чулкам отдельно! по сумочкам отдельно!..

Ничего этого Дёмка не представлял, и стало ему завидно. Потому что, правда, может быть всё именно и было хорошо, о чём так смело судила эта девчёнка, а захоластно было — во что так упирался он.

Нянечка, как монумент, всё так же стояла над столом, рядом со Сталиным, и сплёвывала семечки на газету не наклоняясь.

— Как же ты — спортсменка, а сюда попала?

Он не решился бы спросить, где именно у неё болит. Это могло быть стыдно.

— Да я — на три дня, только на исследование,— отмахнулась Ася. Одной рукой ей приходилось постоянно придерживать или поправлять расхоловшийся ворот. — Халат напялили чёрт-те какой, стыдно надеть! Тут если неделю лежать — так с ума сойдёшь... Ну, а ты за что попал?

— Я?.. — Дёмка чмокнул. О ноге-то он и хотел поговорить, да рассудительно, а наскок его смущал. — У меня — на ноге...

До сих пор «у меня — на ноге» были для него слова с большим и горьким значением. Но при Асиной лёгкости он уж начал сомневаться, так ли уж всё это весит. Уже и о ноге он сказал почти как о зарплате, стесняясь.

— И что говорят?

— Да вот видишь... Говорить — не говорят... А хотят — отрезать.. Сказал — и с онемённым лицом смотрел на светлое Асино.

— Да ты что!! — Ася хлопнула его по плечу, как старого товарища. — Как это — ногу отрезать? Да они с ума сошли? Лечить не хотят! Ни за что не давайся! Лучше умереть, чем без ноги жить, что ты? Какая жизнь у калеки, что ты! Жизнь дана для счастья!

Да, конечно, она опять была права! Какая жизнь с костылём? Вот сейчас бы он сидел рядом с ней — а где б костыль держал? А как бы — культю?.. Да он и стула бы сам не поднёс, это б она ему подносила. Нет, без ноги — не жизнь.

Жизнь дана для счастья.

— И давно ты здесь?

— Да уж сколько? — Дёма соображал. — Недели три.

— Ужас какой! — Ася перевела плечами. — Вот скучища! Ни радио, ни аккордеона! И что там за разговорчики в палате, воображаю!

И опять не захотелось Дёмке признаться, что он целыми днями занимается, учится. Все его ценности не выстаивали против быстрого воздуха из Асиных губ, казались сейчас преувеличенными и даже картонными.

Усмехнувшись (а про себя он над этим ничуть не усмеялся), Дёмка сказал:

— Вот обсуждали, например — чем люди живы?

— Как это?

— Ну,— зачем живут, что ли?

— Хо! — У Аси на всё был ответ. — Нам тоже такое сочинение давали: «Для чего живёт человек?» И план даёт: о хлопкоробах, о до-

ярках, о героях гражданской войны, подвиг Павла Корчагина и как ты к нему относишься, подвиг Матросова и как ты к нему относишься...

— А как относишься?

— Ну — как? Значит: повторил бы сам или нет. Обязательно требует. Мы пишем все — повторил бы, зачем портить отношения перед экзаменами? А Сашка Громов спрашивает: а можно я напишу всё не так, а как я думаю? Я тебе дам, говорит, «как я думаю!» Я тебе такой кол закачу!.. Одна девчénка написала, вот потеха: «Я ещё не знаю, люблю ли я свою родину, или нет». Та как заквакает: «Это — страшная мысль! Как ты можешь не любить?» «Да наверно и люблю, но не знаю. Проверить надо». — «Нечего и проверять! Ты с молоком матери должна была сосать и любовь к Родине! К следующему уроку всё заново перепиши!» Вообще, мы её Жабой зовём. Входит в класс — никогда не улыбнётся. Ну, да понятно: старая дева, личная жизнь не удалась, на нас вымещает. Особенно не любит хорошеньких.

Ася обронила это, уверенно зная, какая мордочка чего стоит. Она, видно, не прошла никакой стадии болезни, болей, вымучивания, потери аппетита и сна, она ещё не потеряла свежести, румянца, она просто прибежала из своих спортивных залов, со своих танцевальных площадок на три дня на исследование.

— А хорошие преподаватели — есть? — спросил Дёмка, что только она не замолкала, говорила что-нибудь, а ему на неё по-сматривать.

— Не, нету! Индюки надутые! Да вообще — школа!.. говорить не хочется!

Её весёлое здоровье перехлёстывалось и к Дёмке. Он сидел, благодарный ей за болтовню, уже совсем не стеснённый, разнятый. Ему ни в чём не хотелось с ней спорить, во всём хотелось соглашаться, вопреки своим убеждениям: и что жизнь — для счастья, и что ноги — не отдавать. Если б нога не грызла и не напоминала, что он увязил её и ещё сколько вытящит — полголеи? по колено? или полбедра? А из-за ноги и вопрос «чем люди живы?» оставался для него из главных. И он спросил:

— Ну, а правда, как ты думаешь? Для чего... человек живёт?

Нет, этой девчénке всё было ясно! Она посмотрела на Дёмку зеленоватыми глазами, как бы не веря, что это он не разыгрывает, это он серьёзно спрашивает.

— Как для чего? Для любви, конечно!

Для любви!.. «Для любви» и Толстой говорил, да в каком смысле? И учительница вон от них требовала «для любви» — да в каком смысле? Дёмка всё-таки привык до точности доходить и своей головой обрабатывать.

— Но ведь... — с захрипом сказал он (просто-то стало просто, а выговорить всё же неудобно), — любовь — это ж... Это ж не вся жизнь. Это ж... иногда. С какого-то возраста. И до какого-то...

— А с какого? А с какого? — сердито допрашивала Ася, будто он её оскорбил. — В нашем возрасте вся я сладость, а когда ж ещё? А что в жизни ещё есть, кроме любви?

В поднятых бровках так была она уверена, что ничего возразить нельзя — Дёмка ничего и не возражал. Да ему послушать-то надо было, а не возражать.

Она довернулась к нему, наклонилась и, ни одной руки не протянув, будто обе протягивала через развалины всех стен на земле:

— Это — наше всегда! и это — сегодня! А кто что языками мелет — этого не слушаешься, то ли будет, то ли нет. Любовь!! — и всё!!

Она с ним до того была проста, будто они уже сто вечеров толковали, толковали, толковали... И кажется, если б не было тут этой санитарки с семечками, медсестры, двух шашкистов да шаркающих

по коридору больных,— то хоть сейчас, тут, в этом закоулке, в их самом лучшем возрасте она готова была помочь ему понять, чем люди живы.

И постоянно, даже во сне грызущая, только что грызшая Дёмкина нога забылась, и не было у него большой ноги. Дёмка смотрел в распахнувшийся Асин ворот, и рот его приоткрылся. То, что вызвало такое отвращение, когда делала мать,— в первый раз представилось ему ни перед кем на свете не виноватым, ничем не испачканным — достойным перевесом всего дурного на земле.

— А ты — что?.. — полушёпотом спросила Ася, готовая рассмеяться, но с сочувствием.— А ты до сих пор не...? Лопушок, ты ещё не...?

Ударило Дёмку горячим в уши, в лицо, в лоб, будто его захватили на краже. За двадцать минут этой девчёнкой сбитый со всего, в чём он укреплялся годами, с пересохшим горлом, он, как пощаду выпрашивая, спросил:

— А ты?..

Как под халатом была у неё только сорочка, да грудь, да душа, так и под словами она ничего от него не скрывала, она не видела, зачем прятать:

— Фу, да у нас — половина девчёнок!.. А одна ещё в восьмом забеременела! А одну в квартире поймали, где... за деньги, понимаешь? У неё уже своя сберкнижка была! А как открылось? — в дневнике забыла, а учительница нашла. Да чем раньше, тем интересней!.. И чего откладывать? — атомный век!..

11

Всё-таки субботний вечер с его незримым облегчением как-то чувствовался и в палатах ракового корпуса, хотя неизвестно почему: ведь от болезней своих больные не освобождались на воскресенье, ни тем более от размышления о них. Освобождались они от разговоров с врачами и от главной части лечения — и вот этому-то, очевидно, и рада была какая-то вечно-детская струнка в человеке.

Когда после разговора с Асей Дёмка, осторожно ступая на ногу, занывающую всё сильнее, одолел лестницу и вошёл в свою палату, тут было оживлённо, как никогда.

Не только свои все и Сибгатов были в сборе, но ещё и гости с первого этажа, среди них знакомые, как старый кореец Ни, отпущенный из радиологической палаты (пока в языке у него стояли радиевые иголки, его держали под замком, как банковую ценность), и совсем новенькие. Один новичок — русский, очень представительный мужчина с высоким серым зачёсом, с поражённым горлом — только шёпотом он говорил, сидел как раз на Дёмкиной койке. И все слушали — даже Мурсалимов и Егенбердиев, кто и по-русски не понимал.

А речь держал Костоготов. Он сидел не на койке, а выше, на своём подоконнике. и этим тоже выражал значительность момента. (При строгих сёстрах ему б так не дали расслаживаться, но дежурил медбрат Тургун, свойский парень, который правильно понимал, что от этого медицина не перевернётся.) Одну ногу в носке Костоготов поставил на свою койку, а вторую, согнув в колене, положил на колено первой, как гитару, и, чуть покачиваясь, возбуждённый, громко на всю палату рассуждал:

— Вот был такой философ Декарт. Он говорил: всё подвергай сомнению!

— Но это не относится к нашей действительности! — напомнил Русанов, поднимая палец.

— Нет, конечно нет, — даже удивился возражению Костоготов. — Я только хочу сказать, что мы не должны как кролики доверяться врачам. Вот пожалуйста, я читаю книгу, — он приподнял с подоконника раскрытую книгу большого формата, — Абрикосов и Стру-

ков, Патологическая анатомия, учебник для вузов. И тут говорится, что связь хода опухоли с центральной нервной деятельностью ещё очень слабо изучена. А связь удивительная! Даже прямо написано,— он нашёл строчку,— редко, но бывают случаи самопроизвольного исцеления! Вы чувствуете, как написано? Не излечения, а исцеления! А?

Движение прошло по палате. Как будто из распахнутой большой книги выпорхнуло осязаемой радужной бабочкой самопроизвольное исцеление, и каждый подставляя лоб и щёки, чтоб оно благодетельно коснулось его на лету.

— Самопроизвольное!— отложив книгу, тряс Костоглотов растопыренными руками, а ногу по-прежнему держал как гитару.— Это значит вот вдруг по необъяснимой причине опухоль трогается в обратном направлении! Она уменьшается, рассасывается и наконец её нет! А?

Все молчали, рты приоткрывши сказке. Чтобы опухоль, его опухоль, вот эта губительная, всю его жизнь перековеркавшая опухоль— и вдруг бы сама изошла, истекла, иссякла, кончилась?..

Все молчали, подставляя бабочке лицо, только угрюмый Поддуев заскрипел кроватью и, безнадежно набычившись, прохрипел:

— Для этого надо, наверно.. чистую совесть.

Не все даже поняли: это он — сюда, к разговору, или своё что-то. Павел Николаевич, который на этот раз не только со вниманием, а даже отчасти с симпатией слушал соседа-Оглоеда, отмахнулся:

— При чём тут совесть? Стыдитесь, товарищ Поддуев!

Но Костоглотов принял на ходу:

— Это ты здорово рубанул, Ефрем! Здорово! Всё может быть, ни хрена мы не знаем. Вот например, после войны читал я журнал, так там интереснейшую вещь... Оказывается, у человека на переходе к голове есть какой-то кровезомоговый барьер, и те вещества или там микробы, которые убивают человека, пока они не пройдут через этот барьер в мозг — человек жив. Так от чего ж это зависит?..

Молодой геолог, который, придя в палату, не покидал книг и сейчас сидел с книгой на койке, у другого окна, близ Костоглотова, иногда поднимал голову на спор. Поднял и сейчас. Слушали гости, слушали и свои. А Федерату у печки с ещё чистой белой, но уже обречённой шеей, комочком лежал на боку и слушал с подушки.

— ...А зависит, оказывается, в этом барьере от соотношения солей калия и натрия. Какие-то из этих солей, не помню, допустим натрия, если перевешивают, то ничто человека не берёт, через барьер не проходит и он не умирает. А перевешивают, наоборот, соли калия — барьер уже не защищает, и человек умирает. А от чего зависят натрий и калий? Вот это — самое интересное! Их соотношение зависит — от н а с т р о е н и я человека!! Понимаете? Значит, если человек бодр, если он духовно стоек — в барьере перевешивает натрий, и никакая болезнь не доведёт его до смерти! Но достаточно ему упасть духом — и сразу перевесит калий, и можно заказывать гроб.

Геолог слушал со спокойным оценивающим выражением, как сильный студент, который примерно догадывается, что будет на доске в следующей строчке. Он одобрил:

— Физиология оптимизма. По идее хорошо.

И будто упуская время, окунулся опять в книгу.

Тут и Павел Николаевич ничего не возразил. Оглоед рассуждал вполне научно.

— Так я не удивлюсь,— развивал Костоглотов,— что лет через сто откроют, что ещё какая-нибудь цезиевая соль выделяется по нашему организму при спокойной совести и не выделяется при отягощённой. И от этой цезиевой соли зависит, будут ли клетки расти в опухоль или опухоль рассосётся.

Ефрем хрипло вздохнул:

— Я — баб много разорил. С детьми бросал... Плакали... У меня не рассосётся.

— Да при чём тут?!— вышел из себя Павел Николаевич.— Да это же махровая поповщина, так думать! Начитались вы всякой слякоти, товарищ Поддуев, и разоружились идеологически! И будете нам тут про всякое моральное усовершенствование талдыкать...

— А что вы так прицепились к нравственному усовершенствованию?— огрызнулся Костоготов.— Почему нравственное усовершенствование вызывает у вас такую изжогу? Кого оно может обижать? Только нравственных уродов!

— Вы... не забываетесь!— блеснул очками и оправою Павел Николаевич и в этот момент так строго, так ровно держал голову, будто никакая опухоль не подпирала её справа под челюсть.— Есть вопросы, по которым установлено определённое мнение! И вы уже не можете рассуждать!

— А почему это не могу?— тёмными глазницами упёрся Костоготов в Русанова.

— Да ладно!— зашумели больные, примиряя их.

— Слушайте, товарищ,— шептал безголовый с Дёмкиной кровати,— вы начали насчёт берёзового гриба...

Но ни Русанов, ни Костоготов не хотели уступить. Ничего они друг о друге не знали, а смотрели взаимно с ожесточением.

— А если хотите высказаться, так будьте же хоть грамотны!— вылепливая каждое слово по звукам, осадил своего оппонента Павел Николаевич.— О нравственном усовершенствовании Льва Толстого и компании раз и навсегда написал Ленин! И товарищ Сталин! И Горький!

— Простите!— напряжённо сдерживаясь и вытягивая руку навстречу, ответил Костоготов.— Раз и навсегда никто на земле ничего сказать не может. Потому что тогда остановилась бы жизнь. И всем последующим поколениям нечего было бы говорить.

Павел Николаевич опешил. У него покраснели верхние кончики его чутких белых ушей и на щеках кое-где выступили красные круглые пятна.

(Тут не возражать, не спорить надо было по-субботному, а надо было проверить, что это за человек, откуда он, из чьих,— и его вопиюще-неверные взгляды не вредят ли занимаемой им должности.)

— Я не говорю.— спешил высказать Костоготов,— что я грамотен в социальных науках, мне мало пришлось их изучать. Но своим умишком я понимаю так, что Ленин упрекал Льва Толстого за нравственное усовершенствование тогда, когда оно отводило общество от борьбы с произволом от зреющей революции. Так. Но зачем же вы затыкаете рот человеку,— он обеими крупными кистями указал на Поддуева,— который задумался о смысле жизни, находясь на грани её со смертью? Почему вас так раздражает, что он при этом читает Толстого? Кому от этого худо? Или, может быть, Толстого надо сжечь на костре? Может быть, правительствующий Синод не довёл дело до конца?— Не изучав социальных наук, спутал святейший с правительствующим.

Теперь оба уха Павла Николаевича налились в полный красный налив. Этот уже прямой выпад против правительственного учреждения (он не расслышал, правда,— какого именно) да ещё при случайной аудитории усугублял ситуацию настолько, что надо было тактично прекратить спор, а Костоготова при первом же случае проверить. И поэтому, не поднимая пока дела на принципиальную высоту, Павел Николаевич сказал в сторону Поддуева:

— Пусть Островского читает. Больше будет пользы.

Но Костоготов не оценил тактичности Павла Николаевича, а нёс своё перед неподготовленной аудиторией:

— Почему мешать человеку задуматься? В конце концов, к чему сводится наша философия жизни? — «Ах, как хороша жизнь!.. Люблю тебя, жизнь! Жизнь дана для счастья!» Что за глубина! Но это может и без нас сказать любое животное — курица, кошка, собака.

— Я прошу вас! Я прошу вас! — уже не по гражданской обязанности, а по-человечески предостерег Павел Николаевич. — Не будем говорить о смерти! Не будем о ней даже вспоминать!

— И просить меня нечего! — отмахивался Костоглотов рукой-лопатой. — Если *здесь* о смерти не поговорить, где ж о ней поговорить? «Ах, мы будем жить вечно!»

— Так что? Что? — взывал Павел Николаевич. — Что вы предлагаете? Говорить и думать всё время о смерти! Чтоб эта калиевая соль брала верх?

— Не всё время, — немного стих Костоглотов, поняв, что попадает в противоречие. — Не всё время, но хотя бы иногда. Это полезно. А то ведь, что мы всю жизнь твердим человеку? — ты член коллектива! ты член коллектива! Но это — пока он жив. А когда придёт час умирать — мы отпустим его из коллектива. Член-то он член, а умирать ему одному. А опухоль сядет на него одного, не на весь коллектив. Вот вы! — грубо совал он палец в сторону Русанова. — Ну-ка скажите, чего вы сейчас больше всего боитесь на свете? Умереть!! А о чём больше всего боитесь говорить? О смерти! Как это называется?

Павел Николаевич перестал слушать, потерял интерес спорить с ним. Он забылся, сделал неосторожное движение, и так больно отдалось ему от опухоли в шею и в голову, что померк весь интерес просвещать этих балбесов и рассеивать их бредни. В конце концов он попал в эту клинику случайно и такие важные минуты болезни не с ними он должен был переживать. А главное и страшное было то, что опухоль ничуть не опала и ничуть не размягчилась от вчерашнего укола. И при мысли об этом холодело в животе. Оглоеду хорошо рассуждать о смерти, когда он выздоравливает.

Дёмкин гость, безголосый дородный мужчина, придерживая гортань от боли, несколько раз пытался вступить, сказать что-то своё, то прервать неприятный спор, напоминал им, что они сейчас все — не субъекты истории, а её объекты, но шёпота его не слышали, а сказать громче он был бессилён и только накладывал два пальца на гортань, чтобы ослабить боль и помочь звуку. Болезни языка и гортань, неспособность к речи, как-то особенно угнетают нас, всё лицо становится лишь отпечатком этой угнетённости. Он пробовал остановить спорящих широкими взмахами рук, а теперь и по проходу выдвинулся.

— Товарищи! Товарищи! — сипел он, и вчуже становилось больно за его горло. — Не надо этой мрачности! Мы и так убиты нашими болезнями! Вот вы, товарищ! — он шёл по проходу и почти умоляюще протягивал одну руку (вторая была на горле) к возвышенно сидевшему растрёпанному Костоглотову, как к божеству. — Вы так интересно начали о берёзовом грибе. Продолжайте, пожалуйста.

— Давай, Олег, о берёзовом! Что ты начал? — просил Сибгатов.

И бронзовый Ни, с тяжестью воруяча языком, от которого часть отвалилась в прежнем лечении, а остальное теперь распухло, неразборчиво просил о том же.

И другие просили.

Костоглотов ощущал недобрую лёгкость. Столько лет он привык перед вольными помалкивать, руки держать назад, а голову опущенной, что это вошло в него как природный признак, как сутулость от рождения, от чего он не вовсе отстал и за год жизни в ссылке. А руки его на прогулке по аллеям медгородка и сейчас легче и проще всего складывались позади. Но вот вольные, которым столько лет запрещалось разговаривать с ним как с равным, вообще всерьёз обсуждать с ним что-нибудь, как с человеческим существом, а горше того — по-

жать ему руку или принять от него письмо, — эти вольные теперь, ничего не подозревая, сидели перед ним, развязно уютившимся на подоконнике, — и ждали опоры своим надеждам. И за собой замечал теперь Олег, что тоже не противопоставлял себя им, как привык, а в общей беде соединял себя с ними.

Особенно он отвык от выступления сразу перед многими, как вообще от всяких собраний, заседаний, митингов. И вдруг стал оратором. Это было Костоглотову дико, в забавном сне. Но как по льду с разгону уже нельзя остановиться, а летишь — что будет, так и он с весёлого разгона своего выздоровления, нечаянного, но кажется выздоровления, продолжал нестись.

— Друзья! Это удивительная история. Мне рассказал её один больной, приходивший на проверку, когда я ещё ждал приёма сюда. И я тогда же, ничем не рискуя, написал открытку с обратным адресом диспансера. И вот сегодня уже пришёл ответ! Двенадцать дней прошло — и ответ. И доктор Масленников ещё извиняется передо мной за задержку, потому что, оказывается, отвечает в среднем на десять писем в день. А меньше, чем за полчаса, толкового письма ведь не напишешь. Так он пять часов в день одни письма пишет! И ничего за это не получает!

— Наоборот, на марки четыре рубля в день тратит, — вставил Дёма.

— Да. Это в день — четыре рубля. А в месяц, значит, сто двадцать! И это не его обязанность, не служба его, это просто его доброе дело. Или как надо сказать? — Костоглотов обернулся к Русанову. — Гуманное, да?

Но Павел Николаевич дочитывал бюджетный доклад в газете и притворился, что не слышит.

— И штатов у него никаких, помощников, секретарей. Это всё — во внеслужебное время. И славы — тоже ему за это никакой! Ведь нам, больным, врач — как паромщик: нужен на час, а там не знай нас. И кого он вылечит — тот письмо выбросит. В конце письма он жалуется, что боьные, особенно кому помогало, перестают ему писать. Не пишут о принятых дозах, о результатах. И ещё он же меня просит — просит, чтоб я ему ответил аккуратно! Когда мы должны ему в ноги поклониться!

— Но ты по порядку, Олег! — просил Сибгатов со слабой улыбкой надежды.

Как ему хотелось вылечиться! — вопреки удручающему, многомесячному, многолетнему и уже явно безнадежному лечению — вдруг вылечиться внезапно и окончательно! Заживить спину, выпрямиться, пойти твёрдым шагом, чувствуя себя мужчиной-молодцом! Здравствуйте, Людмила Афанасьевна! А я — здоров!

Как всем им хотелось узнать о таком враче-чудодее, о таком лекарстве, не известном здешним врачам! Они могли признаваться, что верят, или отрицать, но все они до одного в глубине души верили, что такой врач, или такой травник, или такая старуха-бабка где-то живёт, и только надо узнать — где, получить это лекарство — и они спасены.

Да не могла же не могла же их жизнь быть уже обречённой.

Как ни смеялись бы мы над чудесами, пока сильны, здоровы и благоденствуем но если жизнь так заклinitся, так сплющится, что только чудо может нас спасти, мы в это единственное, исключительное чудо — верим!

И Костоглотов, сливаясь с жадной настороженностью, с которой товарищи слушали его, стал говорить распалённо, даже более веря своим словам сейчас, чем верил письму, когда читал его про себя.

— Если с самого начала, Шараф, то вот. Про доктора Масленникова тот прежний больной рассказал мне, что это старый земский врач Александровского уезда, под Москвой. Что он десятки лет — так раньше это было принято, лечил в одной и той же больнице. И вот заме-

тил, что хотя в медицинской литературе всё больше пишут о раке, у него среди больных крестьян рака не бывает. Отчего б это?..

(Да, отчего б это?! Кто из нас с детства не вздрагивал от Таинственного?— от прикосновения к этой непроницаемой, но податливой стене, через которую всё же нет-нет да проступит то как будто чьё-то плечо, то как будто чьё-то бедро. И в нашей каждодневной, открытой, рассудочной жизни, где нет ничему таинственному места, оно вдруг да блеснёт нам: я здесь! не забывай!)

— ...Стал он исследовать, стал он исследовать,— повторял Костоготов с удовольствием,— и обнаружил такую вещь: что, экономя деньги на чай, мужики во всей этой местности заваривали не чай, а чагу, иначе называется берёзовый гриб...

— Так подберёзовик?— перебил Поддуев. Даже сквозь то отчаяние, с которым он себя согласил и в котором замкнулся последние дни, просветило ему такое простое доступное средство.

Тут все кругом были люди южные и не то, что подберёзовика, но и берёзы самой иные в жизни не видали, тем более вообразить не могли, о чём толковал Костоготов.

— Нет, Ефрем, не подберёзовик. Вообще это даже не берёзовый гриб, а берёзовый рак. Если ты помнишь, бывают на старых берёзах такие... уродливые такие наросты — хребтовидные, сверху чёрные, а внутри — тёмно-коричневые.

— Так трютовика?— добивался Ефрем.— На неё огонь высекали раньше?

— Ну, может быть. Так вот Сергею Никитичу Масленникову и пришло в голову: не этой ли самой чагой русские мужики уже несколько веков лечатся от рака, сами того не зная?

— То есть, совершают профилактику?— кивнул молодой геолог. Не давали ему весь вечер читать, однако разговор того стоил.

— Но догадаться было мало, вы понимаете? Надо было всё проверить. Надо было многие-многие годы ещё наблюдать за теми, кто этот самодельный чай пьёт. И кто не пьёт. И ещё — поить тех, у кого появляются опухоли, а ведь это — взять на себя не лечить их другими средствами. И угадать, при какой температуре заваривать и в какой дозе кипятить или не кипятить, и по сколько стаканов пить, и не будет ли вредных последствий, и какой опухоли помогает больше, а какой меньше. На всё это ушли...

— Ну, а теперь? Теперь?— волновался Сибгатов.

А Дёма думал: неужели и от ноги может помочь? Ногу — неужели спасёт?

— А теперь?— вот он на письма отвечает. Вот пишет мне, как лечиться.

— И у вас есть адрес?— жадно спросил безголоный, всё придерживая рукой сипящее горло, и уже вытягивал из кармана курточки блокнот с авторучкой.— И написан способ употребления? А от опухоли гортани помогает, он не пишет?

Как ни хотел Павел Николаевич выдержать характер и наказать соседа полным презрением, но упустить такой рассказ было нельзя. Уже не мог он вникать дальше в смысл и цифры проекта государственного бюджета на 1955 год, представленный сессии Верховного Совета, уже явно опустил газету, и постепенно повернулся к Оглоеду лицом, не скрывая и своей надежды, что это простое народное средство вылечит и его. Безо всякой уже враждебности, чтобы не раздражать Оглоеда, но и напоминая всё же, Павел Николаевич спросил:

— А — официально этот способ признан? Он — апробирован в какой-нибудь инстанции?

Костоготов сверху, со своего подоконника, усмехнулся.

— Вот насчёт инстанции не знаю. Письмо,— он потрепал в воздухе маленьким желтоватым листиком, исписанным зелёными чернилами,— письмо деловое: как толочь, как разводить. Но думаю, что ес-

ли б это прошло инстанции, так нам бы уже сёстры разносили такой напиток. На лестнице бы бочка стояла. Не надо было бы и писать в Александров.

— Александров, — уже записал безголосый. — А какое почтовое отделение? Улица? — Он быстро управлялся.

Ахмаджан тоже слушал с интересом, ещё успевая тихо переводить самое главное Мурсалимову и Егенбердиеву. Самому-то Ахмаджану этот берёзовый гриб не был нужен, потому что он выздоравливал. Но вот чего он не понимал:

— Если такой гриб хороший — почему врачи на вооружение не берут? Почему не вносят в свой устав?

— Это долгий путь, Ахмаджан. Одни люди не верят, другие не хотят переучиваться и поэтому мешают, третьи мешают, чтоб своё средство продвинуть. А нам — выбирать не приходится.

Костоглотов ответил Русанову, ответил Ахмаджану, а безголосому не ответил — не дал ему адреса. Он это сделал незаметно, будто недослышал, не успел, а на самом деле не хотел. Привязчивое было что-то в этом безголосом, хотя и очень почтенном — с фигурой и головой директора банка, а для маленькой южно-американской страны даже и премьер-министра. И было жаль Олегу честного старого Масленникова, не досыпающего над письмами незнакомых людей, — закидает его безголосый вопросами. А с другой стороны нельзя было не сжалиться над этим сипящим горлом, потерявшим человеческую звонкость, которою совсем мы не дорожим, имея. А ещё с третьей стороны, сумел же Костоглотов болеть как специалист, быть больным как преданный своей болезни, и вот уже патологическую анатомию почитал, и на всякий вопрос добился разъяснений от Гангарт и Донцовой, и вот уже от Масленникова получил ответ. Почему же он, столько лет лишённый всяких прав, должен был учить этих свободных людей изворачиваться под навалившейся глыбой? Там, где складывался его характер, закон был: нашёл — не сказывай, облупишь — не показывай. Если все кинутся Масленникову писать, то уж Костоглотову второй раз ответа не дожидаться.

А всё это было — не разъяснение, лишь один поворот подбородка со шрамом от Русанова к Ахмаджану мимо безголосого.

— А способ употребления он пишет? — спросил геолог. Карандаш и бумага без того были перед ним, так читал он книгу.

— Способ употребления — пожалуйста, запасайтесь карандашами, диктую, — объявил Костоглотов.

Засуетились, спрашивали друг у друга карандаш и листик бумаги. У Павла Николаевича не оказалось ничего (да дома-то у него была авторучка со скрытым пером, нового фасона), и ему дал карандаш Дёмка. И Сибгатов, и Федерату, и Ефрем, и Ни захотели писать. И когда собрались, Костоглотов медленно стал диктовать из письма, ещё разъяняя: как чагу высушивать не до конца, как тереть, какой водой заваривать, как настаивать, отцеживать и по сколько пить.

Выводили строчки кто быстрые, кто неумелые, просили повторить — и стало особенно тепло и дружно в палате. С такой нелюбовью они иногда отвечали друг другу — а что было им делить? Один у них был враг — смерть, и что может разделить на земле человеческие существа, если против всех них единожды уставлена смерть?

Окончив записывать, Дёма сказал грубоватым голосом и медленно, как, не по возрасту, он говорил:

— Да... Но откуда ж берёзу брать, когда её нет?..

Вздохнули. Перед ними, давно уехавшими из России (кто — и добровольно) или даже никогда не бывавшими там, прошло видение этой непритязательной, умеренной, не прожаренной солнцем страны, то в завеси лёгкого грибного дождика, то в весенних половодьях и увязистых полевых и лесных дорогах, тихой стороны, где простое лесное дерево так служит и так нужно человеку. Люди, живущие в той

стороне, не всегда понимают свою родину, им хочется ярко-синего моря и бананов, а вон оно, что нужно человеку: чёрный уродливый нарост на беленькой берёзе, её болезнь, её опухоль.

Только Мурсалимов с Егенбердиевым понимали про себя так, что и здесь — в степи и в горах, обязательно есть то, что нужно им, потому что в каждом месте земли всё предусмотрено для человека, лишь надо знать и уметь.

— Кого-то надо просить — собрать, прислать, — ответил Дёмке геолог. Кажется, ему приглянулась эта чага.

Самому Костоглотову, который им всё это нашёл и расписал, — однако, некого было просить в России искать гриб. Одни уже умерли, другие рассеяны, к третьим неловко обратиться, четвёртые — горожане куцые, ни той берёзы не найдут, ни тем более чаги на ней. Он сам не знал бы сейчас радости большей: как собака уходит спасаться, искать неведомую траву, так пойти на целые месяцы в леса, ломать эту чагу, крошить, у костров заваривать, пить и выздороветь подобно животному. Целые месяцы ходить по лесу и не знать другой заботы, как выздороавливать.

Но запрещён ему был путь в Россию.

А другие тут, кому он был доступен, не научены были мудрости жизненных жертв — уменью всё стряхнуть с себя, кроме главного. Им виделись препятствия, где их не было: как получить бюллетень или отпуск для таких поисков? как нарушить уклад жизни и расстаться с семьёй? где денег достать? как одеться для такого путешествия и что взять с собой? на какой станции сойти и где потом дальше узнать всё?

Прихлопывая письмом, Костоглотов ещё сказал:

— Он упоминает здесь, что есть так называемые *заготовители*, просто предприимчивые люди, которые собирают чагу, подсушивают и высылают наложенным платежом. Но только дорого берут — пятнадцать рублей за килограмм, а в месяц надо шесть килограмм.

— Да какое ж они имеют право?! — возмутился Павел Николаевич, и лицо его стало таким начальственно-строгим, что любой заготовитель струхнул бы. — Какую ж они имеют совесть драть такие деньги за то, что от природы достаётся даром?

— Не кирпичи! — шикнул на него Ефрем. (Он особенно противно коверкал слова — не то нарочно, не то язык так выговаривал.) — Думаешь — подошёл да взял? Это по лесу с мешком да с топором надо ходить. Зимой — на лыжах.

— Но не пятнадцать же рублей килограмм, спекулянты проклятые! — никак не мог уступить Русанов, и снова проявились на его лице красные пятна.

Вопрос был слишком принципиальный. С годами у Русанова всё определённой и неколебимей складывалось, что все наши недочёты, недоработки, недоделки, недоборы — все они проистекают от спекуляции. От мелкой спекуляции, как продажа какими-то не проверенными личностями на улицах зелёного лука и цветов, какими-то бабами на базаре молока и яиц, на станциях — ряженки, шерстяных носков и даже жареной рыбы. И от крупной спекуляции, когда с государственных складов гнали куда-то «по левой» целые грузовики. И если обе эти спекуляции вырвать с корнем, — всё быстро у нас выправится, и успехи будут ещё более поразительными. Не было ничего дурного, если человек укреплял своё материальное положение при помощи высокой государственной зарплаты и высокой пенсии. (Павел Николаевич и сам-то мечтал о персональной.) В этом случае и автомобиль, и дача были трудовыми. Но той же самой заводской марки автомобиль и того же стандартного проекта дача приобретали совсем другое, преступное, содержание, если были куплены за счёт спекуляции. И Павел Николаевич мечтал, именно мечтал о введении публичных казней для спекулянтов. Публичные казни могли бы быстро и уже до конца оздоровить наше общество.

— Ну, хорошо,— рассердился и Ефрем.— Не кирпичи, а сам поезжай и организуешь там заготовку. Хочешь, государственную. Хочешь, кооперативную. А дорого пятнадцать рублей — не заказывай.

Это-то слабое место Русанов понимал. Он ненавидел спекулянтов, но сейчас, пока это новое лекарство будет апробировано Академией медицинских наук и пока кооперация среднерусских областей организует бесперебойную заготовку — опухоль Павла Николаевича не ждала.

Безголовый новичок с блокнотом, как корреспондент влиятельной газеты, почти лез на койку Костоглотова и сильным шёпотом добивался:

— А адресов заготовителей?.. адресов заготовителей в письме нет?

И Павел Николаевич тоже приготовился записать адреса.

Но Костоглотов почему-то не отвечал. Был в письме хоть один адрес или не было,— только он не отвечал, а слез с подоконника и стал шарить под кроватью за сапогами. Вопреки всем больничным запретам он утаил их и держал для прогулок.

А Дёма спрягал в тумбочку рецепт и, ничего больше не добиваясь, укладывал свою ногу на койку поосторожнее. Таких больших денег у него не было и быть не могло.

Помогала берёза, да не всем.

Русанову было просто неудобно, что после стычки с Оглоедом — уже не первой стычки за три дня, он теперь так явно заинтересован рассказом и вот зависел от адреса. И чтоб как-то умаслить Оглоеда, что ли, неумышленно, а невольно выдвигая то, что объединяло их, Павел Николаевич сказал вполне искренне:

— Да! Что может быть на свете хуже... — (рака? но у него был не рак) — ...этих... онкологических... и вообще рака!

Но Костоглотова ничуть не тронула эта доверительность старшего и по возрасту, и по положению, и по опыту человека. Обматывая ногу рыжей портянкой, сохнувшей у него в обвой голенища, и натягивая отвратительный истрёпанный кирзовый сапог с грубыми латками на сгибах, он ляпнул:

— Что хуже рака? Проказа!

Тяжёлое грозное слово своими сильными звуками прозвучало в комнате как залп.

Павел Николаевич миролюбиво поморщился:

— Ну, как сказать? А почему, собственно, хуже? Процесс идёт медленней.

Костоглотов уставился тёмным недоброжелательным взглядом в светлые очки и светлые глаза Павла Николаевича.

— Хуже тем, что вас ещё живого исключают из мира. Отрывают от родных, сажают за проволоку. Вы думаете, это легче, чем опухоль?

Павлу Николаевичу не по себе стало в такой незащищённой близости от тёмно-горящего взгляда этого неотёсанного неприличного человека.

— Ну, я хочу сказать — вообще эти проклятые болезни...

Любой культурный человек тут понял бы, что надо же сделать шаг навстречу. Но Оглоед ничего этого понять не мог. Он не оценил тактичности Павла Николаевича. Уже вставши во всю свою долговязость и надев грязно-серый бумазеевый просторный бабий халат, который почти спускался до сапог и был ему пальто для прогулок, он с самодовольством объявил, думая, что у него получается учёно:

— Один философ сказал: если бы человек не болел, он не знал бы себе границ.

Из кармана халата он вынул свёрнутый армейский пояс в четыре пальца толщиной с пятиконечной звездой-пряжкой, опоясал им запахнутый халат, остерегаясь только перетянуть место опухоли. И, разми-

ная жалкую дешёвую папироску-гвоздик из тех, что гаснут, не догорев, пошёл к выходу.

Безголосый отступал перед Костоглотовым по проходу между койками и несмотря на всю свою банковско-министерскую наружность так умоляюще спрашивал, будто Костоглотов был прославленное светило онкологии, но навсегда уходил из этого здания:

— А скажите, примерно в скольких случаях из ста опухоль горла оказывается раком?

— В тридцати четырёх, — улыбнулся ему Костоглотов, постороня.

На крыльце за дверью не было никого.

Олег счастливо вздохнул сырým холодным неподвижным воздухом и, не успевая им прочиститься, тут же зажёг и папироску, без которой всё равно не хватало до полного счастья (хотя теперь уже не только Донцова, но и Масленников нашёл в письме место упомянуть, что курить надо бросить).

Было совсем безветренно и неморозно. В одном оконном отсвете видна была близкая лужа, вода в ней чернела безо льда. Было только пятое февраля — а уже весна, непривычно. Туман — не туман, лёгкая мглица висела в воздухе — настолько лёгкая, что не застилала, а лишь смягчала, делала не такими резкими дальние светы фонарей и окон.

Слева от Олега тесно уходили в высоту, выше крыши, четыре пирамидальных тополя, как четыре брата. С другой стороны стоял тополь одинокий, но раскидистый и в рост этим четырёх. За ним сразу густели другие деревья, шёл клин парка.

Неограждённое каменное крыльцо Тринадцатого корпуса спускалось несколькими ступеньками к покато́й асфальтовой аллее, отграниченной с боков кустами живой изгороди невпродёр. Всё это было без листьев сейчас, но густотой заявляющее о жизни.

Олег вышел гулять — ходить по аллеям парка, ощущая с каждым наступом и размином ноги её радость твёрдо идти, её радость быть живой ногой неумершего человека. Но вид с крыльца остановил его, и он докуривал тут.

Мягко светились нечастые фонари и окна противоположных корпусов. Уже никто почти не ходил по аллеям. И когда не было грохота сзади от близкой тут железной дороги, сюда достигал ровный шумок реки, быстрой горной реки, которая билась и пенилась внизу, за следующими корпусами, под обрывом.

А ещё дальше, через обрыв, через реку, был другой парк, городской, и из того ли парка (хотя ведь холодно) или из открытых окон клуба доносилась танцевальная музыка духового оркестра. Была суббота — и вот танцевали... Кто-то с кем-то танцевал...

Олег был возбуждён — тем, что так много говорил, и его слушали. Его перехватило и обвило ощущение внезапно вернувшейся жизни — жизни, с которой ещё две недели назад он считал себя разочтённым навсегда. Правда, жизнь эта не обещала ему ничего того, что называли хорошим и о чём колотились люди этого большого города: ни квартиры, ни имущества, ни общественного успеха, ни денег, но — другие самосущие радости, которых он не разучился ценить: право переступить по земле, не ожидая команды; право побыть одному; право смотреть на звёзды, не заслепленные фонарями зоны; право тушить на ночь свет и спать в темноте; право бросать письма в почтовый ящик; право отдыхать в воскресенье; право купаться в реке. Да много, много ещё было таких прав.

Право разговаривать с женщинами.

Все эти чудесные неисчислимые права возвращало ему выздоровление!

И он стоял, курил и наслаждался.

Доносилась эта музыка из парка, Олег слышал её — но и не её, а как будто Четвёртую симфонию Чайковского, звучавшую в нём са-

мом, — беспокойное трудное начало этой симфонии, одну удивительную мелодию из этого начала. Ту мелодию (Олег истолковывал её так), где герой, то ли вернувшись к жизни, то ли быв слепым и вот прозревающий, — как будто нащупывает, скользит рукою по предметам или по дорогому лицу — ощупывает и боится верить своему счастью: что предметы эти вправду есть, что глаза его начинают видеть.

12

Утром в воскресенье, торопливо одеваясь на работу, Зоя вспомнила, что Костоглолов просил непременно на следующее дежурство надеть то же самое серо-золотенкое платье, ворот которого за халатом он видел вечером, а хотел «взглянуть при дневном свете». Бескорыстные просьбы бывает приятно исполнить. Это платье подходило ей сегодня, потому что было полупраздничное, а она днём надеялась побездельничать, да и ждала, что Костоглолов придёт её развлекать.

И на спеху переменив, она надела заказанное платье, несколькими ударами ладони надушила его, начесала чёлку, но время уже было последнее, она натягивала пальто в дверях, и бабушка еле успела сунуть ей завтрак в карман.

Было прохладное, но совсем уже не зимнее, сыроватое утро. В России в такую погоду выходят в плащах. Здесь же, на юге, другие представления о том, что холодно и жарко: в жару ещё ходят в шерстяных костюмах, пальто стараются раньше надеть и позже снять, а у кого есть шуба — ждут не дождутся хоть нескольких морозных дней.

Из ворот Зоя сразу увидела свой трамвай, квартал бежала за ним, вскочила последняя и с задышкой, красная, осталась на задней площадке, где обвевало. Трамваи в городе все были медленные, громкие, на поворотах надрывно визжали о рельсы.

И задышка и даже колотё в груди были приятны в молодом теле, потому что они проходили сразу — и ещё полней чувствовалось здоровье и праздничное настроение.

Пока в институте каникулы, одна клиника — три с половиной дежурства в неделю — совсем ей казалось легко, отдых. Конечно, ещё легче было бы без дежурств, но Зоя уже привыкла к двойной тяжести: второй год она и училась и работала. Практика в клинике была небогатая, работала Зоя не из-за практики, а из-за денег: бабушкиной пенсии и на один хлеб не хватало, Зоина стипендия пролетала враз, отец не присылал никогда ничего, и Зоя не просила. У такого отца она не хотела одолажаться.

Эти первые два дня каникул, после прошлого ночного дежурства, Зоя не лежбочила, она с детства не привыкла. Прежде всего она села шить себе к весне блузку из креп-жоржета, купленного ещё в декабрьскую получку (бабушка всегда говорила: готовь сани летом, а телегу зимой, — и по той же пословице в магазинах лучшие летние товары можно было купить только зимой). Шила она на старом бабушкином «Зингере» (дотащили из Смоленска), а приёмы шитья шли первые тоже от бабушки, но они были старомодны, и Зоя, что могла, быстрым глазом перехватывала у соседок, у знакомых, у тех, кто учился на курсах кройки и шитья, на которые у самой Зои времени не было никак. Блузку она в эти два дня не дошила, но зато обошла несколько мастерских химчистки и пристроила своё старое летнее пальто. Ещё она ездила на рынок за картофелем и овощами, торговалась там, как жмот, и привезла в двух руках две тяжёлые сумки (очереди в магазинах выстаивала бабушка, но тяжёлого носить она не могла). И ещё сходила в баню. И только просто полежать-почитать у неё времени не осталось. А вчера вечером с однокурсницей Ритой они ходили в дом культуры на танцы.

Зое хотелось бы чего-нибудь поздоровей и посвежей, чем эти клу-бы. Но не было таких обычаев, домов, вечеров, где можно было б ещё

знакомиться с молодыми людьми, кроме клубов. На их курсе и на факультете девчёнок было много русских, а мальчики почти одни узбеки. И потому на институтские вечера не тянуло.

Этот дом культуры, куда они пошли с Ритой, был просторный, чистый, хорошо натопленный, мраморные колонны и лестница, высоченные зеркала с бронзовыми обкладками — видишь себя издали-издали, когда идёшь или танцуешь, и очень дорогие удобные кресла (только их держали под чехлами и запрещали в них садиться). Однако, с новогоднего вечера Зоя там не была, её обидели там очень. Был бал-маскарад с премиями за лучшие костюмы, и Зоя сама себе сшила костюм обезьяны с великолепным хвостом. Всё у неё было продумано — и причёска, и лёгкий грим, и соотношение цветов, всё это было и смешно, и красиво, и почти верная была первая премия, хотя много конкуренток. Но перед самой раздачей призов какие-то грубые парни ножом отсекали её хвост и из рук в руки передали и спрятали. И Зоя заплакала — не от тупости этих парней, а от того, что все вокруг стали смеяться, найдя выходку остроумной. Без хвоста костюм много потерял, да Зоя ещё и раскисла — и никакой премии не получила.

И вчера, ещё сердясь на клуб, она вошла в него с оскорблённым чувством. Но никто и ничто не напомнили ей случая с обезьяной. Народ был сборный — и студенты разных институтов, и заводские. Зое и Рите не дали ни танца протанцевать друг с другом, разбили сейчас же, и три часа подряд они славно вертелись, качались и топтались под духовой оркестр. Тело просило этой разрядки, этих поворотов и движений, телу было хорошо. А говорили все кавалеры очень мало; если шутили, то, на Зоин вкус, глуповато. Потом Коля, конструктор-техник, пошёл её провожать. По дороге разговаривали об индийских кинофильмах, о плавании; о чём-нибудь серьёзном показалось бы смешно. Добрались до парадного, где потемней, и там целовались, а больше всего досталось Зоиным грудям, никому никогда не дающим покоя. Уж как он их обминал! и пробовал другие пути подобраться, Зое было томно, но вместе с тем возникло холодноватое ощущение, что она немножко теряет время, что в воскресенье рано вставать — и она отравила его, и быстренько по старой лестнице взбежала наверх.

Среди Зоиных подруг, а медичек особенно, была распространена та точка зрения, что от жизни надо спешить *брать*, и как можно раньше, и как можно полней. При таком общем потоке убеждённости оставаться на первом, на втором, наконец на третьем курсе чем-то вроде старой девы, с отличным знанием одной лишь теории, было совершенно невозможно. И Зоя — прошла, прошла несколько раз с разными ребятами все эти степени приближения, когда разрешаешь больше и больше, и захват, и власть, и те пронозливые минуты, когда хоть дом бомби, нельзя было бы изменить положения; и те успокоенные вялые, когда подбираются с пола и со стульев разбросанные вещи одежды, которые никак нельзя было бы видеть им обоим вместе, а сейчас ничуть не удивительно, и ты деловито одеваешься при нём.

К третьему курсу Зоя миновала разряд старых дев, — а всё-таки оказалось это не тем. Не хватало во всём этом какого-то существенного продолжения, дающего устояние в жизни и саму жизнь.

Зое было только двадцать три года, однако она уже порядочно видела и запомнила: долгую умоисступлённую эвакуацию из Смоленска сперва теплушками, потом баржей, потом опять теплушками; и почему-то особенно соседа по теплушке, который верёвочкой отмерял полосу каждому на нарах и доказывал, что Зоина семья заняла два лишних сантиметра; голодную напряжённую жизнь здесь в годы войны, когда только и было разговоров, что о карточках и о ценах на чёрном рынке; когда дядя Федя тайком воровал из тумбочки её, Зоину, дольку хлеба; а теперь, в клинике, — эти злонавязчивые раковые страдания, гиблые жизни, унылые рассказы больных и слёзы.

И перед всем этим прижимания, обнимания и дальше — были только сладкими капельками в солёном море жизни. До конца напиться ими было нельзя.

Значило ли это, что надо непременно выходить замуж? что счастье — в замужестве? Молодые люди, с которыми она знакомилась, танцевала и гуляла, все как один выявляли намерение погреться и унести ноги. Между собой они так говорили: «Я бы женился, да за один — за два вечера всегда могу найти. Зачем жениться?»

Как при большом привозе на базар невозможно просить втрое — невозможно становилось быть неприступной, когда все вокруг уступали.

Не помогала тут и регистрация, этому учил опыт Зоинной сменщицы медсестры украинки Марии: Мария доверилась регистрации, но через неделю муж всё равно её бросил, уехал и канул. И она семь лет воспитывала ребёнка одна, да ещё считалась замужней.

Потому на вечеринках с вином, если дни у неё подходили опасные, Зоя держалась с оглядкой, как сапёр между зарытых мин.

И ближе был у Зои пример, чем Мария: Зоя видела дурную жизнь собственных отца и матери, как они то ссорились, то мирились, то разъезжались в разные города, то опять съезжались — и так всю жизнь мучили друг друга. Повторить ошибку матери было для Зои всё равно, что выпить серной кислоты.

Это тоже был тот случай, когда не помогала никакая регистрация.

В своём теле, в соотношении его частей, и в своём характере тоже, и в своём понимании всей жизни целиком Зоя ощущала равновесие и гармонию. И только в духе этой гармонии могло состояться всякое расширение её жизни.

И тот, кто в паузах между проползанием рук по её телу говорил ей неумные, пошлые вещи или почти повторял из кинофильмов, как вчерашний Коля, уже сразу разрушал гармонию и не мог ей по-настоящему нравиться.

Так, потряхиваемая трамваем, на задней площадке, где кондукторша громко обличала какого-то молодого человека, не купившего билет (а он слушал и не покупал), Зоя достояла до конца. Трамвай начал делать круг, по другую сторону круга уже толпились, его ожидая. Соскочил на ходу стыдимый молодой человек. Соскочил пацанёнок. И Зоя тоже ловко соскочила на ходу, потому что отсюда было короче.

И была уже одна минута девятого, и Зоя припустила бежать по извилистой асфальтовой дорожке медгородка. Как сестре, бежать ей было нельзя, но как студентке — вполне простительно.

Пока она добежала до ракового корпуса, пальто сняла, халат надела и поднялась наверх — было уже десять минут девятого, и не сдобрать бы ей, если б дежурство сдавала Олимпиада Владиславовна; Мария б тоже ей с недобрим выражением выговорила за десять минут как за полсмены. Но к счастью дежурил перед ней студент же Тургун, каракапак, который и вообще был снисходителен, а к ней особенно. Он хотел в наказание хлопнуть её пониже спины, но она не дала, оба смеялись, и она же ещё сама подтолкнула его по лестнице.

Студент-студент, но как национальный кадр, он уже получил назначение главврачом сельской больницы и так несолидно мог вести себя только последние вольные месяцы.

Осталась Зое от Тургуна тетрадь назначений да ещё особое задание от старшей сестры Миты. В воскресенье не было обходов, сокращались процедуры, не было больных после трансфузии, добавлялась правда, забота, чтобы родственники не лезли в палаты без разрешения дежурного врача, — и вот Мита перекадывала на дежурящих днём в воскресенье часть своей бесконечной статистической работы, которую она не могла успеть сделать.

Сегодня это была обработка толстой пачки больничных карт за декабрь минувшего 1954 года. Выгнув кругло губы, как бы для сви-

ста, Зоя со щёлком пропускала пальцем по углам этих карточек, соображая, сколько ж их тут штук и останется ли время ей повышивать, — как почувствовала рядом высокую тень. Зоя неудивлённо повернула голову и увидела Костоглотова. Он был чисто выбрит, почти причёсан, и только шрам на подбородке, как всегда, напоминал о разбойном происхождении.

— Доброе утро, Зоенька, — сказал он совсем по-джентльменски.

— Доброе утро, — качнула она головой, будто чем-то недовольная или в чём-то сомневаясь, а на самом деле — просто так.

Он смотрел на неё тёмно-карими глазищами.

— Но я не вижу — выполнили вы мою просьбу или нет?

— Какую просьбу? — с удивлением нахмурилась Зоя (это у неё всегда хорошо получалось).

— Вы не помните? А я на эту просьбу — загадал.

— Вы брали у меня патанатомию — вот это я хорошо помню.

— И я вам её сейчас верну. Спасибо.

— Разобрались?

— Мне кажется, что нужно — всё понял.

— Я принесла вам вред? — без игры спросила Зоя. — Я раскаивалась.

— Нет-нет, Зоенька! — в виде возражения он чуть коснулся её руки. — Наоборот, эта книга меня подбодрила. Вы просто золотце, что дали. Но... — он смотрел на её шею — ...верхнюю пуговичку халата — растегните, пожалуйста.

— За-чем?? — сильно удивилась Зоя (это у неё тоже очень хорошо получалось). — Мне не жарко!

— Наоборот, вы — вся красная.

— Да, в самом деле, — рассмеялась она добродушно, ей и действительно хотелось отложить халат, она ещё не отпыхалась от бега и возни с Тургуном. И она отложила.

Засветились золотинки в сером.

Костоглотов посмотрел увеличенными глазами и сказал почти без голоса:

— Вот хорошо. Спасибо. Потом покажете больше?

— Смотря что вы загадали.

— Я скажу, только позже, ладно? Мы же сегодня побудем вместе?

Зоя сбвела глазами кругообразно, как кукла.

— Только если вы придёте мне помогать. Я потому и запарилась, что у меня сегодня много работы.

— Если колоть живых людей иглами — я не помощник.

— А если заниматься медстатистикой? Наводить тень на плетень?

— Статистику я уважаю. Когда она не засекречена.

— Так приходите после завтрака, — улыбнулась ему Зоя авансом за помощь.

Уже разносили по палатам завтрак.

Ещё в пятницу утром, сменяясь с дежурства, заинтересованная ночным разговором, Зоя пошла и посмотрела карточку Костоглотова в регистратуре.

Оказалось, что звали его Олег Филимонович (тяжеловесное отчество было под стать неприятной фамилии, а имя смягчало). Он был рождения 1920 года и при своих полных тридцати четырёх годах действительно не женат, что довольно-таки невероятно, и действительно жил в каком-то Уш-Тереке. Родственников у него не было никаких (в онкодиспансере обязательно записывали адреса родственников). По специальности он был топограф, а работал землеустроителем.

От всего этого не яснее стало, а только темней.

Сегодня же в тетради назначений она прочла, что с пятницы ему стали делать ежедневно инъекции синэстрола по два кубика внутримышечно.

Это должен был делать вечерний дежурный, значит сегодня — не она. Но Зоя покрутила вытянутыми круглыми губами, как рыльцем.

После завтрака Костоглолов принёс учебник патанатомии и пришёл помогать, но теперь Зоя бегала по палатам и разносила лекарства, которые надо было пить и глотать три и четыре раза в день.

Наконец, они сели за её столик. Зоя достала большой лист для черновой разграфки, куда надо было палочками переносить все сведения, стала объяснять (она и сама уже подзабыла, как тут надо) и графить, прикладывая большую тяжеловатую линейку.

Вообще-то Зоя знала цену таким «помощникам» — молодым людям и холостым мужчинам (да и женатым тоже): всякая такая помощь превращалась в зубоскальство, шуточки, ухаживание и ошибки в ведомости. Но Зоя шла на эти ошибки, потому что самое неизобретательное ухаживание всё-таки интереснее самой глубокомысленной ведомости. Зоя не против была продолжить сегодня игру, украшающую часы дежурства.

Тем более её изумило, что Костоглолов сразу оставил всякие особые поглядывания, и особый тон, быстро понял, что и как надо, и даже ей возвратно объяснил, — и углубился в карточки, стал вычитывать нужное, а она ставила палочки в графы большой ведомости. «Невроблостома... — диктовал он, — ...гипернефрома... саркома полости носа... опухоль спинного мозга...» И что ему было непонятно — спрашивал.

Надо было подсчитать, сколько за это время прошло каждого типа опухоли — отдельно у мужчин, отдельно у женщин, отдельно по возрастным десятилетиям. Так же надо было обработать типы применённых лечений и объёмы их. И опять-таки по всем разделам надо было провести пять возможных исходов: выздоровление, улучшение, без изменения, ухудшение и смерть. За этими пятью исходами Зоин помощник стал следить особенно внимательно. Сразу замечалось, что почти нет полных выздоровлений, но и смертей тоже немного.

— Я вижу, здесь умирать не дают, выписывают вовремя, — сказал Костоглолов.

— Ну, а как же быть, Олег, посудите сами. — («Олегом» она звала его в награду за работу. Он заметил, сразу взглянул.) — Если видно, что помочь ему нельзя, и ему осталось только дожить последние недели или месяцы, — зачем держать за ним койку? На койки очередь, ждут те, кого можно вылечить. И потом инкурабельные больные...

— Ин-какие?

— Неизлечимые... Очень плохо действуют своим видом и разговорами на тех, кого можно вылечить.

Вот Олег сел за столик сестры — и как бы шагнул в общественном положении и в осознании мира. Уже тот «он», которому нельзя помочь, тот «он», за которым не следует держать койку, те инкурабельные больные — всё это был не он, Костоглолов. А с ним, Костоглоловым, уже так разговаривали, будто он не мог умереть, будто он был вполне курабельный. Этот прыжок из состояния в состояние, совершаемый так незаслуженно, по капризу внезапных обстоятельств, смутно напомнил ему что-то, но он сейчас не додумывал.

— Да, это всё логично. Но вот списали Азовкина. А вчера при мне выписали *tumor cordis*, ничего ему не объяснив, ничего не сказав, — и было ощущение, что я тоже участвую в обмане.

Он сидел к Зое сейчас не той стороной, где шрам, и лицо его выглядело совсем не жестоким.

Слаженно, в тех же дружеских отношениях, они работали дальше и прежде обеда кончили всё.

Ещё, правда, оставила Мита и вторую работу: переписывать лабораторные анализы на температурные листы больных, чтоб меньше было листов и легче подклеивать к истории болезни. Но жирно было бы ей это всё в одно воскресенье. И Зоя сказала:

— Ну, большое вам, большое спасибо, Олег Филимонович.

— Нет уж! Как начали, пожалуйста: Олег!

— Теперь после обеда вы отдохнёте...

— Я никогда не отдыхаю.

— Но ведь вы же больной.

— Вот странно, Зоенька, вы только по лестнице поднимаетесь на дежурство, и я уже совершенно здоров!

— Ну, хорошо, — уступила Зоя без труда. — На этот раз приму вас в гостиной.

И кивнула на комнату врачебных заседаний.

Однако после обеда она опять разносила лекарства, и были срочные дела в большой женской. По противоположности с ущербностью и болезнями, окружавшими здесь её, Зоя вслушивалась в себя, как сама она была чиста и здорова до последнего ноготочка и каждой клеточки. С особенной радостью она ощущала свои дружные тугоподхваченные груди и как они наливались тяжестью, когда она наклонялась над койками больных, и как они подрагивали, когда она быстро шла.

Наконец, дела проредились. Зоя велела санитарке сидеть тут у стола, не пускать посещающих в палаты и позвать её, если что. Она прихватила вышивание, и Олег пошёл за ней в комнату врачей.

Это была светлая угловая комната с тремя окнами. Не то чтоб она была обставлена со свободным вкусом — и рука бухгалтера и рука главного врача ясно чувствовались: два стоявших тут дивана были не какие-нибудь откидные, а совершенно официальные — с высокими отвесными спинками, ломавшими шею, и зеркалами в спинках, куда можно было посмотретья разве только жирафе. И столы стояли по удручающему учрежденческому уставу: председательский массивный письменный стол, покрытый толстым органическим стеклом, и поперёк ему, обязательной буквой Т — длинный стол для заседающих. Но этот последний был застелен, как бы на самаркандский вкус, небесно-голубой плюшевой скатертью — и небесный цвет этой скатерти сразу овеселял комнату. И ещё удобные креслица, не попавшие к столу, стояли прихотливой грушковой, и это тоже делало комнату приятной.

Ничто не напоминало тут больницу, кроме стенной газеты «Онколог», выпущенной к седьмому ноябрю.

Зоя и Олег сели в удобные мягкие кресла в самой светлой части комнаты, где на подставках стояли вазоны с агавами, а за цельным большим стеклом главного окна ветвился и тянулся ещё выше дуб.

Олег не просто сел — он всем телом испытывал удобство этого кресла, как хорошо выгибается в нём спина и как плавно шея и голова ещё могут быть откинута дальше.

— Что за роскошь! — сказал он. — Я не попираю такой роскоши... наверно, лет пятнадцать.

(Если уж ему так нравится кресло, почему он себе такого не купил?)

— Итак — что вы загадали? — спросила Зоя с тем поворотом головы и тем выражением глаз, которые для этого подходили.

Сейчас, когда они уединились в этой комнате и сели в эти кресла с единственной целью разговаривать, — от одного слова, от тона, от взгляда зависело, пойдёт ли разговор порхающий или тот, который взрезывает суть. Зоя вполне была готова к первому, но пришла она сюда, предчувствуя второй.

И Олег не обманул. Со спинки кресла, не отрывая головы, он сказал торжественно — в окно, выше неё:

— Я загадал... Поедет ли одна девушка с золотой чёлкой... к нам на целину.

И лишь теперь посмотрел на неё.

Зоя выдержала взгляд:

— Но что там ждёт эту девушку?

Олег вздохнул:

— Да я вам уже рассказывал. Весёлого мало. Водопровода нет. Утюг на древесном угле. Лампа керосиновая. Пока мокро — грязь, как подсохнет — пыль. Хорошего никогда ничего не наденешь.

Он не упускал перечислить дурного — будто для того, чтоб не дать ей возможности пообещать! Если нельзя никогда хорошо одеться, то действительно — что это за жизнь? Но, как ни удобно жить в большом городе, знала Зоя, что жить — не с городом. И хотелось ей прежде не тот посёлок представить, а этого человека понять.

— Я не пойму — что в а с там держит?

Олег рассмеялся:

— Министерство внутренних дел! — что!

Он всё так же лежал головой на спинке, наслаждаясь.

Зоя насторожилась.

— Я — так и заподозрила. Но, позвольте, вы же... русский?

— Да стопроцентный русак! Могу я иметь чёрные волосы?

И поправил их.

Зоя пожала плечами:

— Но тогда — почему ж вас?..

Олег вздохнул:

— Эх, до чего ж несведущая растёт молодёжь! Мы росли — понятия не имели об уголовном кодексе, и что там есть за статьи, пункты, и как их можно толковать *расширительно*. А вы живёте здесь, в центре этого всего края, и даже не знаете элементарного различия между ссыльно-поселенцем и административно-ссыльным.

— А какая же?..

— Я — административно-ссыльный. Я сослан не по национальному признаку, а — лично, как Олег Филимонович Костоглолов, понимаете? — Он рассмеялся. — «Личный почётный гражданин», которому не место среди честных граждан.

И блеснул на неё тёмными глазами.

Но она не испугалась. То есть испугалась, но как-то поправимо.

— И... на сколько же вы сосланы? — тихо спросила она.

— Н а в е ч н о! — громыхнул он.

У неё даже в ушах зазвенело.

— Пожизненно? — переспросила она полушёпотом.

— Нет, именно н а в е ч н о! — настаивал Костоглолов. — В бумаге было написано н а в е ч н о. Если пожизненно — так хоть гроб можно оттуда потом вывезти, а уж навечно — наверно, и гроба нельзя. Солнце потухнет — всё равно нельзя, вечность-то — длинней.

Вот теперь действительно сердце её сжалось. Всё неспроста — и шрам этот, и вид у него бывает жестокий. Он может быть убийца, страшный человек, он может быть тут её и задушит, недорого возьмёт...

Но Зоя не повернула кресла, чтобы легче бежать. Она только отложила вышивание (ещё к нему и не притронулась). И глядя смело на Костоглолова, который не напрягся, не разволновался, а по-прежнему удобно устроен был в кресле, спросила, волнуясь сама:

— Если вам тяжело — то вы не говорите мне. А если можете — скажите: такой ужасный приговор — за что?..

Но Костоглолов не только не был удручён сознанием преступления, а с совершенно беззаботной улыбкой ответил:

— Никакого приговора, Зоенька, не было. Вечную ссылку я получил — по н а р я д у.

— По... наряду??

— Да, так называется. Что-то вроде фактуры. Как с базы на склад выписывают: мешков столько-то, бочёнок столько-то... Использованная тара....

Зоя взялась за голову:

— Подождите.... Не понимаю. Это — может быть?.. Это — в а с так?.. Это — всех так?..

— Нет, нельзя сказать, чтобы всех. Чистый десятый пункт — не посылают, а десятый с одиннадцатым — уже посылают.

— А что такое одиннадцатый?

— Одиннадцатый? — Костоготов подумал. — Зоенька, я вам что-то много рассказываю, вы с этим матерьяльцем дальше поосторожней, а то можете подзаработать тоже. У меня был основной приговор — по десятому пункту, семь лет. Уж кому давали меньше восьми лет — поверьте, это значит — совсем ничего не было, просто из воздуха дело сплетено. Но был и одиннадцатый, а одиннадцатый значит — групповое дело. Сам по себе одиннадцатый пункт срока как бы не увеличивает — но раз была нас группа, вот и разослали по вечным ссылкам. Чтобы мы на старом месте никогда опять не собрались. Теперь — понятно?

Нет, ей было ещё не понятно.

— Так это была... — она смягчила, — ну, как говорится — шайка?

И вдруг Костоготов звонко расхохотался. И оборвал и насупился также вдруг.

— А здорово получилось. Как и моего следователя, вас не удовлетворило слово «группа». Он тоже любил называть нас — ш а й к а. Да, нас была шайка — шайка студентов и студенток первого курса. — Он грозно посмотрел. — Я понимаю, что здесь курить нельзя, преступно, но всё-таки закурю, ладно? Мы собирались, ухаживали за девочками, танцевали, а мальчики ещё разговаривали о политике. И о... С а м о м. Нас, понимаете ли, кое-что не устраивало. Мы, так сказать, не были в восторге. Двое из нас воевали и как-то ожидали после войны кое-чего другого. В мае перед экзаменами — всех нас загребли, и девченок тоже.

Зоя ощущала смятение... Она опять взяла в руки вышиванье. С одной стороны он говорил опасные вещи, которые не только не следовало никому повторять, но даже слушать, но даже держать открытыми ушные раковины. А с другой стороны было огромное облегчение, что они никого не заманивали в тёмные переулки, не убивали.

Она глотнула.

— Я не понимаю... вы всё-таки — д е л а л и - т о что?

— Как что? — он затягивался и выпускал дым. Какой он был большой, такая маленькая была папироска. — Я ж вам говорю: учились. Пили вино, если позволяла стипендия. Ходили на вечеринки. И вот девченок замели вместе с нами. И дали им по пять лет... — Он посмотрел на неё пристально. — Вы — на себе это вообразите. Вот вас берут перед экзаменами второго семестра — и в мешок.

Зоя отложила вышиванье.

Всё страшное, что она предчувствовала услышать от него — оказалось каким-то детским.

— Ну, а вам, мальчикам, — зачем это всё нужно было?

— Что? — не понял Олег.

— Ну вот это... быть недовольными... Чего-то там ожидать...

— Ах, в самом деле! Ну да, в самом деле! — покорно рассмеялся Олег. — Мне это в голову не приходило. Вы опять сошлись с моим следователем, Зоенька. Он говорил то же самое. Креслице вот хорошее! На койке так не посидишь.

Олег опять устроился со всем удобством и покуривая смотрел, прищурившись, в большое окно с цельным стеклом.

Хотя шло к вечеру, но пасмурный ровный денёк не темнел, а светлел. Всё растягивался и редел облачный слой на западе, куда и выходила как раз эта комната углом.

Вот только теперь Зоя по-серьёзному взялась вышивать — и с удовольствием делала стежки. И они молчали. Олег не хвалил её за вышивание, как прошлый раз.

— И что ж... ваша девушка? Тоже была там? — спросила Зоя, не поднимая головы от работы.

— Да-да... — сказал Олег, не сразу пройдя это «да», нето думая о другом.

— А где ж она теперь?

— Теперь? На Енисее.

— Так вы просто не можете с ней соединиться?

— И не пытаюсь, — безучастно говорил он.

Зоя смотрела на него, а он в окно. Но почему ж он тогда не жёнится здесь, у себя?

— А что, это очень трудно — соединиться? — придумала она спросить.

— Для нерегистрированных — почти невозможно, — рассеянно сказал он. — Но дело в том, что — незачем.

— А у вас карточки её нет с собой?

— Карточки? — удивился он. — Заключённым карточек иметь не положено. Рвут.

— Ну, а какая она была из себя?

Олег улыбнулся, прижмурился:

— Спускались волосы до плеч, а на концах — р-раз, и заворачивались кверху. В глазах, вот как в ваших всегда насмешечка, а у неё всегда — немножко грусть. Неужели уж человек так предчувствует свою судьбу, а?

— Вы в лагере вместе были?

— Не-ет.

— Так когда же вы с ней расстались?

— За пять минут до моего ареста... Ну, то есть, май ведь был, мы долго у неё сидели в садике. Уже во втором часу ночи я с ней простился и вышел — и через квартал меня взяли. Прямо, машина на углу стояла.

— А её?!

— Через ночь.

— И больше никогда не виделись?

— Ещё один раз виделись. На очной ставке. Я уже острижен был. Ждали, что мы будем давать друг на друга показания. Мы — не дали.

Он вертел окуроч, не зная, куда его деть.

— Да вон туда, — показала она на сверкающую чистую пепельницу председательского места.

А облачка на западе всё растягивало, и уже нежно-жёлтое солнышко почти распеленилось. И даже закоренело-упрямое лицо Олега смягчилось в нём.

— Но почему же вы теперь-то?! — сочувствовала Зоя.

— Зоя! — сказал Олег твёрдо, но остановился подумать. — Вы сколько-нибудь представляете — что ждёт в лагере девушку, если она хороша собой? Если её где-нибудь по дороге в воронке не изнасилуют блатные — впрочем, они всегда успеют это сделать и в лагере, — в первый же вечер лагерные дармоеды, какие-нибудь кобели нарядчики, пайкодатчики подстроят так, что её поведут голую в баню мимо них. И тут же она будет назначена — кому. И уже со следующего утра ей будет предложено: жить с таким-то и иметь работу в чистом тёплом месте. Ну, а если откажется — её постараются так загнать и припечь, чтоб она сама приползла протиснуться. — Он закрыл глаза. — Она осталась в живых, благополучно кончила срок. Я её не виню, я понимаю. Но и... всё. И она понимает.

Молчали. Солнце проступило в полную ясность, и весь мир сразу повеселел и осветился. Чёрными и ясными проступили деревья сквера, а здесь, в комнате, вспыхнула голубая скатерть и зазолотились волосы Зои.

— ..Одна из наших девушек кончила с собой. Ещё одна жива... Трёх ребят уже нет... Про двоих не знаю...

Он свесился с кресла на бок, покачался и прочёл:

Тот ураган прошёл... Нас мало уцелело...
На переключке дружбы многих нет...

И сидел так, вывернутый, глядя в пол. В какую только сторону не торчали и не закручивались волосы у него на темени! их надо было два раза в день мочить и приглаживать, мочить и приглаживать.

Он молчал, но всё, что Зоя хотела слышать — она уже слышала. Он был прикован к своей ссылке — но не за убийство; он не был женат — но не из-за пороков; через столько лет он нежно говорил о своей бывшей невесте — и видимо был способен к настоящему чувству.

Он молчал, и она молчала, поглядывая то на вышивание, то на него. Ничего в нём не было хоть сколько-нибудь красивого, но и безобразного сейчас она не находила. К шраму можно привыкнуть. Как говорит бабушка: «тебе не красивого надо, тебе хорошего надо». Устойчивость и силу после всего перенесенного — вот это Зоя ясно ощущала в нём, силу проверенную, которую она не встречала в своих мальчишках.

Она делала стежки и почувствовала его рассматривающий взгляд. Исподлобья глянула навстречу.

Он стал говорить очень выразительно, всё время втягивая её взглядом:

Кого позвать мне?.. С кем мне поделиться
Той грустной радостью, что я остался жив?

— Но вот вы уже поделились! — шёпотом сказала она, улыбаясь ему глазами и губами.

Губы у неё были не розовые, но как будто и не покрашенные. Они были между алым и оранжевым — огневатые, цвета светлого огня.

Нежное жёлтое предвечернее солнце оживляло нездоровый цвет и его худого больного лица. В этом тёплом свете казалось, что он не умрёт, он выживет.

Олег тряхнул головой, как после печальной песни гитарист переходит на весёлую:

— Эх, Зоенька! Устройте уж мне праздник до конца! Надоели мне эти белые халаты. Покажите мне не медсестру, а городскую красивую девушку! Ведь в Уш-Тереке мне такой не повидать.

— Но откуда же я вам возьму красивую девушку? — плутовала Зоя.

— Только снимите халат на минутку. И — пройдитеесь!

И он отъехал на кресле, показывая, где ей пройти.

— Но я же на работе,— ещё возражала она.— Я же не имею пра...

То ли они слишком долго проговорили о мрачном, то ли закатное солнце так весело трещало лучами в комнате, — но Зоя почувствовала тот толчок, тот прилив, что это сделать можно и выйдет хорошо.

Она откинула вышивание, вспрыгнула с кресла, как девчénка, и уже растёгивала пуговицы, чуть наклонясь вперёд, торопясь, будто собираясь не пройти, а пробежаться.

— Да тяни-те же! — бросила она ему одну руку, как не свою. Он потянул — и рукав стащился. — Вторую! — танцевальным движением через спину обернулась она, и он стащил второй рукав, халат остался у него на коленях, а она — пошла по комнате. Она пошла как манекенщица — в меру изгибаясь и в меру прямо, то поводя руками на ходу, то приподнимая их.

Так она прошла несколько шагов, оттуда обернулась и замерла — с отведенными руками.

Олег держал халат Зои у груди, как обнял, смотрел же на неё расплывенными глазами.

— Bravo! — прогудел он. — Великолепно.

Что-то было даже в свечении голубой скатерти — этой узбекской невычерпаемой голубизны, вспыхнувшей от солнца — что продолжало в нём вчерашнюю мелодию узнавания, прозревания. К нему возвращались все непутёвые, запутанные, невозвышенные желания. И радость мягкой мебели, и радость уютной комнаты — после тысячи лет неустроенного, ободранного, бесприклонного житья. И радость смотреть на Зою, не просто любоваться ею, но умноженная радость, что он любит её не безучастно, а посягательно. Он, умиравший полмесяца назад!

Зоя победно шевельнула огневатыми губами и с лукаво-важным выражением, будто зная ещё какую-то тайну, — прошла ту же дорожку в обратную сторону — до окна. И ещё раз обернувшись к нему, стала так.

Он не поднялся, сидел, но снизу вверх чёрною метёлкою головы тянулся к ней.

По каким-то признакам, — их воспринимаешь, а не назовёшь, в Зое чувствовалась сила — не та, которая нужна, чтобы перетаскивать шкафы, но другая, требующая встречной силы же. И Олег радовался, что кажется он может этот вызов принять, кажется он способен померяться с ней.

Все страсти жизни возвращались в выздоравливающее тело! Все!

— Зо-я! — нараспев сказал Олег. — Зо-я! А как вы понимаете своё имя?

— Зоя — это жизнь! — ответила она чётко, как лозунг. Она любила это объяснять. Она стояла, заложив руки к подоконнику, за спину — и вся чуть набок, перенесла тяжесть на одну ногу. Он улыбался счастливо. Он вошёл в неё глазами.

— А к зоо? К зоо-предкам вы не чувствуете иногда своей близости?

Она рассмеялась в тон ему:

— Все мы немножечко им близки. Добываем пищу, кормим детёнышей. Разве это так плохо?

И тут бы, наверно, ей остановиться! Она же, возбуждённая таким неотрывным, таким поглощающим восхищением, какого не встречала от городских молодых людей, каждую субботу без труда обнимающих девушек хоть на танцах, — она ещё выбросила обе руки и, прищёлкнув обеими, всем корпусом завилыла, как это полагалось при исполнении модной песенки из индийского фильма:

— А-ва-рай-я-а! А-ва-рай-я-а!

Но Олег вдруг помрачнел и попросил:

— Не надо! Этой песни — не надо, Зоя.

Мгновенно она приняла благопристойный вид, будто не пела и не извивалась только что.

— Это — из «Бродяги», — сказала она. — Вы не видели?

— Видел.

— Замечательный фильм! Я два раза была! — (Она была четыре раза, но постеснялась почему-то выговорить.) — А вам не нравится? Ведь у Бродяги — ваша судьба.

— Только не моя, — морщился Олег. Он не возвратился к прежнему светлому выражению, уже жёлтое солнце не теплило его, и видно было, как же он всё-таки болен.

— Но он тоже вернулся из тюрьмы. И вся жизнь разрушена.

— Это всё — фокусы. Он — типичный блатарь. Урка.

Зоя протянула руку за халатом.

Олег встал, расправил халат и подал ей надеть.

— А вы их не любите? — Она поблагодарила кивком и теперь застёгивалась.

— Я их ненавижу. — Он смотрел мимо неё, жестоко, и челюсть у него чуть-чуть сдвинулась в каком-то неприятном движении. — Это хищные твари, паразиты, живущие только за счёт других. У нас тридцать лет звонили, что они перековываются, что они «социально-близкие», а у них принцип: тебя не... тут у них ругательные слова, и очень хлёстко звучит, примерно: тебя не бьют — сиди смиренно, жди очереди; раздевают соседей, не тебя — сиди смиренно, жди очереди. Они охотно топчут того, кто уже лежит, и тут же нагло рядятся в романтические плащи, а мы помогаем им создавать легенды, а песни их даже вот на экране.

— Какие ж легенды? — смотрела, будто провижились в чём-то.

— Это — сто лет рассказывать. Ну, одну легенду, если хотите. — Они рядом теперь стояли у окна. Олег без всякой связи со своими словами повелительно взял её за локти и говорил как младшенькой. — Выдавая себя за благородных разбойников, блатные всегда гордятся, что не грабят нищих, не трогают у арестантов *святого костыля* — то есть не отбирают последней тюремной пайки, а воруют лишь всё остальное. Но в сорок седьмом году на Красноярской пересылке в нашей камере не было ни одного бобра — то есть, не у кого было ничего отнять. Блатных было чуть не полкамеры. Они проголодались — и весь сахар, и весь хлеб стали забирать себе. А состав камеры был довольно оригинальный: полкамеры урок, полкамеры японцев, а русских нас двое политических, я и ещё один полярный лётчик известный, его именем так и продолжал называться остров в Ледовитом океане, а сам он сидел. Так урки бессовестно брали у японцев и у нас всё дочи́ста дня три. И вот японцы, ведь их не поймёшь, договорились, ночью бесшумно поднялись, сорвали доски с нар и с криком «бан-зай» бросились гвоздить урок! Как они их замечательно били! Это надо было посмотреть!

— И вас?

— Нас-то за что? Мы ж у них хлеба не отбирали. Мы в ту ночь были нейтральны, но переживали во славу японского оружия. И на утро восстановился порядок: и хлеб, и сахар мы стали получать сполна. Но вот что сделала администрация тюрьмы: она половину японцев от нас забрала, а в нашу камеру к битым уркам посадила ещё небитых. И теперь урки бросились бить японцев — с перевесом в числе, да ведь ещё у них и ножи, у них всё есть. Били они их бесчеловечно, насмерть — и вот тут мы с лётчиком не выдержали и ввязались за японцев.

— Против русских?

Олег отпустил её локти и стал выпрямленный. Чуть повёл челюстью с боку на бок:

— Блатарей — я не считаю за русских.

Он поднял руку и провёл пальцем по шраму, будто протирая его — от подбородка по низу щеки и на шею:

— Вот там меня и резанули.

13

Нисколько не опала и не размягчилась опухоль Павла Николаевича и с субботы на воскресенье. Он понял это, ещё не поднявшись из постели. Разбудил его рано старый узбек, под утро и всё утро противно кашлявший над ухом.

За окном пробелился пасмурный неподвижный день, как вчера, как позавчера, ещё больше нагнетая тоску. Казах-чабан с утра пораньше сел с подкрепленными ногами на кровати и бессмысленно сидел, как пень. Сегодня не ожидалось врачи, никого не должны были звать на рентген или на перевязки, и он, пожалуй, до вечера мог так высидеть. Зловещий Ефрем опять упёрся в заунывного своего Тол-

стого; иногда он поднимался топтать проход, трясая кровати, но уже хорошо, что к Павлу Николаевичу больше не цеплялся, и ни к кому вообще.

Оглоед как ушёл, так целый день его в палате и не было. Геолог, приятный, воспитанный молодой человек, читал свою геологию, никому не мешал. И остальные в палате держали себя тихо.

Подбадривало Павла Николаевича, что приедет жена. Конечно, ничем реальным она не могла ему помочь, но сколько значило излиться ей: как ему плохо; как ничуть не помог укол; какие противные люди в палате. Посочувствует — и то легче. И попросить её принести какую-нибудь книжку — бодрую, современную. И авторучку — чтобы не попадать так смешно, как вчера, у пацана карандаш одоужал записывать рецепт. Да, и главное же — наказать о грибе, о берёзовом грибе.

В конце концов — не всё потеряно: лекарства не помогут — есть вот разные средства. Самое главное — быть оптимистом.

Понемногу-понемногу, а приживался Павел Николаевич и здесь. После завтрака он дочитывал во вчерашней газете бюджетный доклад Зверева. А тут без задержки принесли и сегодняшнюю. Принял её Дёмка, но Павел Николаевич велел передать себе и сразу же с удовлетворением прочёл о падении правительства Мендес-Франса (не строй козней! не навязывая парижских соглашений!), в запасе заметил себе большую статью Эренбурга и погрузился в статью о претворении в жизнь решения январского Пленума о крутом увеличении производства продуктов животноводства.

Так Павел Николаевич коротал день, пока объявила санитарка, что к Русанову пришла жена. Вообще, к лежащим больным родственников допускали в палату, но у Павла Николаевича не было сейчас сил идти доказывать, что он — лежачий, да и самому вольготнее было уйти в вестибюль от этих унылых, упавших духом людей. И, обмотав тёплым шарфиком шею, Русанов пошёл вниз.

Не всякому за год до серебряной свадьбы остаётся так мила жена, как была Капа Павлу Николаевичу. Ему действительно за всю жизнь не было человека ближе, ни с кем ему не было так хорошо порадоваться успехам и обдумать беду. Капа была верный друг, очень энергичная женщина и умная («у неё сельсовет работает!» — всегда хвастался Павел Николаевич друзьям). Павел Николаевич никогда не испытывал потребности ей изменять, и она ему не изменяла. Это неправда, что переходя выше в общественном положении, муж начинает стыдиться подруги своей молодости. Далеко они поднялись с того уровня, на котором женились (она была работница на той самой макаронной фабрике, где в тестомесильном цехе сперва работал и он, но ещё до женитьбы поднялся в фабзавком и работал по технике безопасности, и по комсомольской линии был брошен на укрепление аппарата совторгслужащих, и ещё год был директором фабрично-заводской девятилетки) — но не расщелились за это время интересы супругов и от заносчивости не раздуло их. И на праздниках, немного выпив, если публика за столом была простая, Русановы любили вспомнить своё фабричное прошлое, любили громко попеть «Волочаевские дни» и «Мы красная кавалерия — и — про — нас».

Сейчас в вестибюле Капа своей широкой фигурой, со двоянной чернубуркой, ридикюлем величиной с портфель и хозяйственной сумкой с продуктами заняла добрых три места на скамье в самом тёплом углу. Она встала поцеловать мужа тёплыми мягкими губами и посадила его на отвёрнутую полу своей шубы, чтоб ему было теплей.

— Тут письмо есть, — сказала она, подёргивая углом губы, и по этому знакомому подёргиванию Павел Николаевич сразу заключил, что письмо неприятное. Во всём человек хладнокровный и рассудительный, вот с этой только бабьей манерой Капа никогда не могла рас-

статься: если что новое — хорошее ли, плохое, обязательно ляпнуть с порога.

— Ну хорошо, — обиделся Павел Николаевич, — добивай меня, добивай! Если это важнее — добивай.

Но, ляпнув, Капа уже разрядилась и могла теперь разговаривать, как человек.

— Да нет же, нет, ерунда! — раскаивалась она. — Ну, как ты? Ну, как ты, Пасик? Об уколе я всё знаю, я ведь и в пятницу звонила старшей сестре, и вчера утром. Если б что было плохое — я б сразу примчалась. Но мне сказали — очень хорошо прошёл, да?

— Укол прошёл очень хорошо, — довольный своей стойкостью, подтвердил Павел Николаевич. — Но обстановочка, Капелька.. Обстановочка! — И сразу всё здешнее, обидное и горькое, начиная с Ефрема и Оглоеда, представилось ему разом, и не умея выбрать первую жалобу, он сказал с болью: — Хоть бы уборной пользоваться отдельной от людей! Какая здесь уборная! Кабины не отгорожены! Всё на виду.

(По месту службы Русанов ходил на другой этаж, но в уборную не общего доступа.)

Понимая, как тяжело он попал и что ему надо выговориться, Капа не прерывала его жалоб, а наводила на новые, и так постепенно он их все высказывал до самой безответной и безвыходной — «за что врачам деньги платят?». Она подробно расспросила его о самочувствии во время укола и после укола, об ощущении опухоли и, раскрыв шарфик, смотрела на опухоль и даже сказала, что по её мнению опухоль чуть-чуть-чуть стала меньше.

Она не стала меньше, Павел Николаевич знал, но всё же отрадно ему было услышать, что может быть — и меньше.

— Во всяком случае не больше, а?

— Нет, только не больше! Конечно, не больше! — уверена была Капа.

— Хоть расти бы перестала! — сказал, как попросил, Павел Николаевич, и голос его был на слезе. — Хоть бы расти перестала! А то если б неделю ещё так поросла — и что же?.. и...

Нет, выговорить это слово, заглянуть туда, в чёрную пропасть, он не мог. Но до чего ж он был несчастен и до чего это было всё опасно!

— Теперь укол завтра. Потом в среду. Ну, а если не поможет? Что ж делать?

— Тогда в Москву! — решительно говорила Капа. — Давай так: если ещё два укола не помогут, то — на самолёт и в Москву. Ты ведь в пятницу позвонил, а потом сам отменил, а я уже звонила Шендяпинным и ездил к Алымовым, и Алымов сам звонил в Москву, и оказывается, до недавнего времени твою болезнь только в Москве и лечили, всех отправляли туда, а это они, видишь ли, в порядке роста местных кадров взялись лечить тут. Вообще, всё-таки врачи — отвратительная публика! Какое они имеют право рассуждать о производственных достижениях, когда у них в обработке находится живой человек? Ненавижу я врачей, как хочешь!

— Да, да! — с горечью согласился Павел Николаевич. — Да! Я уже им тут высказал!

— И учителей ещё ненавижу! Сколько я с ними намучилась из-за Майки! А из-за Лаврика?

Павел Николаевич протёр очки:

— Ещё понятно было в моё время, когда я был директором. Тогда педагоги были все враждебны, все не наши, и прямая задача стояла — обуздать их. Но сейчас-то, сейчас мы можем с них потребовать?

— Да, так слушай! Поэтому большой сложности отправить тебя в Москву нет, дорожка ещё не забыта, можно найти основания. К тому же Алымов договорился, что там договорятся — и тебя поместят в очень неплохое место. А?.. Подождём третьего укола?

Так определённо они спланировали — и Павлу Николаевичу легчечало на сердце. Только не покорное ожидание гибели в этой затхлой дыре! Русановы были всю жизнь — люди действия, люди инициативы, и только в инициативе наступало их душевное равновесие.

Торопиться сегодня им было некуда, и счастье Павла Николаевича состояло в том, чтобы дольше сидеть здесь с женой, а не идти в палату. Он зяб немного, потому что часто отворялась наружная дверь, и Капитолина Матвеевна вытянула с плеч своих из-под пальто шаль и укутала его. И соседи по скамье у них попались тоже культурные чистые люди. И так можно было посидеть подольше.

Медленным перебором они обсуждали разные вопросы жизни, прерванные болезнью Павла Николаевича. Лишь того главного избегали они, что над ними висело: худого исхода болезни. Против этого исхода они не могли выдвинуть никаких планов, никаких действий, никаких объяснений. К этому исходу они никак не были готовы — и уж по тому одному невозможен был такой исход. (Правда, у жены мелькали иногда кое-какие мысли, имущественные и квартирные предположения на случай смерти мужа, но оба они настолько были воспитаны в духе оптимизма, что лучше было все эти дела оставить в запутанном состоянии, чем угнетать себя предварительным их разбором или каким-нибудь упадочническим завещанием.)

Они говорили о звонках, вопросах и пожеланиях сотрудников из Промышленного Управления, куда Павел Николаевич перешёл из заводской спецчасти в позапрошлом году. (Не сам он, конечно, всё промышленные вопросы, потому что у него не было такого узкого уклона, их согласовывали инженерá и экономисты, а уже за ними самими осуществлял спецконтроль Русанов.) Работники все его любили, и теперь лестно было узнать, как о нём беспокоятся.

Говорили и о его расчётах на пенсию. Как-то получалось, что несмотря на долгую безупречную службу на довольно ответственных местах, он, очевидно, не мог получить мечту своей жизни — персональную пенсию. И даже выгодной ведомственной пенсии — льготной по сумме и по начальным срокам, он тоже мог не получить, — из-за того, что в 1939 не решился, хотя его звали, надеть чекистскую форму. Жаль, а может быть, по неустойчивой обстановке двух последних лет, и не жаль. Может быть, покой дороже.

Они коснулись и общего желания людей жить лучше, всё ясней проявляющегося в последние годы — и в одежде, и в обстановке, и в отделке квартир. И тут Капитолина Матвеевна высказала, что если лечение мужа будет успешное, но растянется, как их предупредили, месяца на полтора-два, то было бы удобно за это время произвести в их квартире некоторый ремонт. Одну трубу в ванной давно нужно было передвинуть, а в кухне перенести раковину, а в уборной надо стены обложить плиткой, в столовой же и в комнате Павла Николаевича необходимо освежить покраской стены: колер сменить (уж она смотрела колера) и обязательно сделать золотой накат, это теперь модно. Против всего этого Павла Николаевич не возражал, но сразу же встал досадный вопрос о том, что хотя рабочие будут присланы по государственному наряду и по нему получают зарплату, но обязательно будут вымогать — не просить, а именно вымогать — доплату от «хозяев». Не то что денег было жалко (впрочем, было жалко и их!), но гораздо важней и обидней высилась перед Павлом Николаевичем принципиальная сторона: за что? Почему сам он получал законную зарплату и премии и никаких больше чаевых и добавочных не просил? А эти бессовестные хотели получить деньги сверх денег? Уступка здесь была принципиальная, недопустимая уступка всему миру стихийного и мелкобуржуазного. Павел Николаевич волновался всякий раз, когда заходило об этом:

— Скажи, Капа, но почему они так небрежны к рабочей чести? Почему мы, когда работали на макаронной фабрике не выставляли

никаких условий и никакой «лапы» не требовали с мастера? Да могло ли нам это в голову прийти?.. Так ни за что мы не должны их развращать! Чем это не взятка?

Капа вполне была с ним согласна, но тут же привела соображение, что если им не заплатить, не «выставить» в начале и в середине, то они обязательно отомстят, сделают что-нибудь плохо и потом сам раскаешся.

— Один полковник в отставке, мне рассказывали, твёрдо стоял, сказал — не доплачу ни копейки! Так рабочие заложили ему в сток ванной дохлую крысу — и вода плохо сходила, и вонью несло.

Так ничего они с ремонтом и не договорились. Сложна жизнь, очень уж сложна, до чего ни тронься.

Говорили о Юре. Он вырос слишком тиховат, нет в нём русановской жизненной хватки. Ведь вот хорошая юридическая специальность, и хорошо устроили после института, но надо признаться, он не для этой работы. Ни положения своего утвердить, ни завести хороших знакомств — ничего он этого не умеет. Вероятно сейчас, в командировке, наделает ошибок. Павел Николаевич очень беспокоился. А Капитолина Матвеевна беспокоилась насчёт его женитьбы. Машину водить навязал ему папа, квартиру отдельную добиваться тоже будет папа — но как доглядеть и подправить с его женитьбой, чтоб он не ошибся? Ведь он такой бесхитростный, его охмурит какая-нибудь ткачиха с комбината, ну положим с ткачихой ему негде встретиться, в таких местах он не бывает, но вот теперь в командировке? А этот лёгкий шаг безрассудного регистрирования — ведь он губит жизнь не одного молодого человека, но усилия всей семьи! Как Шендяпиных дочка в пединституте чуть не вышла за своего однокурсника, а он — из деревни, мать его — простая колхозница, и надо себе представить квартиру Шендяпиных, их обстановку, и какие ответственные люди у них бывают в гостях — и вдруг бы за столом эта старушка в белом платочке — свекровь! Чёрт его знает... Спасибо, удалось опорочить жениха по общественной линии, спасли дочь.

Другое дело — Авиета, Алла. Авиета — жемчужина русановской семьи. Отец и мать не припоминают, когда она доставляла им огорчения или заботы, ну, кроме школьного озорничанья. И красавица, и разумница, и энергичная, очень правильно понимает и берёт жизнь. Можно не проверять её, не беспокоиться — она не сделает ошибочного шага ни в малом, ни в большом. Только вот за имя обижается на родителей: не надо, мол, было фокусничать, называйте теперь просто Аллой. Но в паспорте — Авиета Павловна. Да ведь и красиво. Каникулы кончаются, в среду она прилетает из Москвы и примчится в больницу обязательно.

С именами — горе: требования жизни меняются, а имена остаются навсегда. Вот уже и Лаврик обижается на имя. Сейчас-то в школе Лаврик и Лаврик, никто над ним не зубоскалит, но в этом году получить паспорт, и что ж там будет написано? Лаврентий Павлович. Когда-то с умыслом так и рассчитали родители: пусть носит имя министра, нестигаемого сталинского соратника, и во всём походит на него. Но вот уже второй год, как сказать «Лаврентий Павлыч» вслух пожалуй поостережётся. Одно выручает — что Лаврик рвётся в военное училище, а в армии по имени-отчеству звать не будут.

А так, если шепотком спросить: зачем это всё делалось? Среди Шендяпиных тоже думают, но чужим не высказывают: даже если предположить, что Берия оказался двурушник и буржуазный националист и стремился к власти — ну хорошо, ну судите его, ну расстреляйте закрытым порядком, но зачем же объявлять об этом простому народу? Зачем колебать его веру? Зачем вызывать сомнения? В конце концов можно было бы спустить до определённого уровня закрытое письмо, там всё объяснить, а по газетам пусть считается, что умер от инфаркта. И похоронить с почётом.

И о Майке, самой младшей, говорили. В этом году полиняли все Майкины пятёрки, и не только она уже не отличница, и с доски почёта сняли, но даже и четвёрок у неё немного. А всё из-за перехода в пятый класс. В начальных классах была у неё всё время одна учительница, знала её и родителей знала — и Майя училась великолепно. А в этом году у неё двадцать учителей-предметников, придёт на один урок в неделю, он их и в лицо не знает, жмёт свой учебный план, а о том, какая травма наносится ребёнку, как калечится его характер — разве об этом он думает? Но Капитолина Матвеевна не пожалееет сил, а через родительский комитет наведёт в этой школе порядок.

Так говорили они обо всём, обо всём, не один час, но — вяло шли их языки, и разговоры эти, скрывая от другого, каждый ощущал как не деловое. Всё опущено было в Павле Николаевиче внутри, не верилось в реальность людей и событий, которые они обсуждали, и делать ничего не хотелось, и даже лучше всего сейчас было бы лечь, опухоль приложить к подушке и укрыться.

А Капитолина Матвеевна весь разговор вела через силу потому, что ридикюль прожигало ей письмо, полученное сегодня утром из К* от брата Миная. В К* Русановы жили до войны, там прошла их молодость, там они женились, и все дети родились там. Но во время войны они эвакуировались сюда, в К* не вернулись, квартиру же сумели передать брату Капы.

Она понимала, что мужу сейчас не до таких известий, но и известие-то было такое, что им не поделишься просто с хорошей знакомой. Во всём городе у них не было ни одного человека, кому б это можно было рассказать с объяснением всего смысла. Наконец, во всём утешая мужа, и сама ж она нуждалась в поддержке! Она не могла жить дома одна с этим неразделённым известием. Из детей только, может быть, Авиете можно было всё рассказать и объяснить. Юре — ни за что. Но и для этого надо было посоветоваться с мужем.

А он, чем больше сидел с нею здесь, тем больше томел, и всё невозможнее казалось поговорить с ним именно о главном.

Подходило время ей так и так уезжать, и из хозяйственной сумки она стала вынимать и показывать мужу, что привезла ему кушать. Рукава её шубы так уширены были манжетами из чернобурки, что едва входили в развязленную пасть сумки.

И тут-то, увидев продукты (которых и в тумбочке у него ещё оставалось довольно), Павел Николаевич вспомнил другое, что было ему важнее всякой еды и питья, и с чего сегодня и надо было начинать — вспомнил чагу, берёзовый гриб! И, оживясь, он стал рассказывать жене об этом чуде, об этом письме, об этом докторе (может — и шарлатане) и о том, что надо сейчас придумать, кому написать, кто наберёт им в России этого гриба.

— Ведь там у нас, вокруг К*, — берёзы сколько угодно. Что стоит Минаю мне это организовать?! Напиши Минаю сейчас же! Да и ещё кому-нибудь, есть же старые друзья, пусть позаботятся! Пусть все знают, в каком я положении!

Ну, он сам заговорил о Мине и о К*! И теперь, лишь письма самого не доставая, потому что брат писал в каких-то мрачных выражениях, а только отгибая и отпуская щёлкающий капканом замок ридикюля, Капа сказала:

— Ты знаешь, Папа, трезвонить ли о себе в К* — это надо подумывать... Минька пишет... Ну, может это ещё неправда... Что появился у них в городе... Родичев... И будто бы ре-а-би-ли-тирован... Может это быть, а?

Пока она выговаривала это мерзкое длинное слово «ре-а-би-ли-тирован» и смотрела на замок ридикюля, уже склоняясь достать и письмо, — она пропустила на мгновение, что Паша стал белей беляя.

— Что ты?? — вскрикнула она, пугаясь больше, чем была напугана этим письмом сама. — Что ты?!

Он был откинут к спинке и женским движением стягивал на себе её шаль.

— Да ещё может нет! — она подхватила сильными руками взять его за плечи, в одной руке так и держа ридикюль, будто стараясь навесить ему на плечо. — Ещё может нет! Минька сам его не видел. Но — люди говорят...

Бледность Павла Николаевича постепенно сходила, но он весь ослабел — в поясе, в плечах, и ослабели его руки, а голову так и выворачивала на бок огухоль.

— Зачем ты мне сказала? — несчастным, очень слабым голосом произнёс он. — Неужели у меня мало горя? Неужели у меня мало горя?.. — И он дважды произвёл без слёз плачущее вздрагивание грудью и головой.

— Ну, прости меня, Пашенька! Ну, прости меня, Пасик! — она держала его за плечи, а сама тоже трясла и трясла своей завитой львиной причёской медного цвета. — Но ведь и я теряю голову! И неужели он теперь может отнять у Миная комнату? Нет, вообще, к чему это идёт? Ты помнишь, мы уже слышали два таких случая?

— Да при чём тут комната, будь она проклята, пусть забирает, — плачущим шёпотом ответил он ей.

— Ну как проклята? А каково сейчас Минаю стесниться?

— Да ты о муже думай! Ты думай — я как?.. А про Гузуна он не пишет?

— Про Гузуна нет... А если они все теперь начнут возвращаться — что ж это будет?

— Откуда я знаю! — придушенным голосом отвечал муж. — Какое ж они право имеют теперь их выпускать?.. Как же можно так безжалостно травмировать людей?..

14

Так ждал Русанов хоть на этом свидании приободриться, а получилось во много тошней, лучше бы Капа совсем и не приезжала. Он поднимался по лестнице шатаясь, вцепясь в перила, чувствуя, как всё больше его разбирает озноб. Капа не могла провожать его наверх одетая — бездельница-санитарка специально стояла и не пускала, так её Капа и погнала проводить Павла Николаевича до палаты и отнести сумку с продуктами. За дежурным столиком лупоглазая эта сестра Зоя, которая почему-то понравилась Русанову в первый вечер, теперь, загорядясь ведомостями, сидела и кокетничала с неотёсанным Оглодом, мало думая о больных. Русанов попросил у неё аспирина, она тут же заученно-бойко ответила, что аспирин только вечером. Но всё же дала померить температуру. И потом что-то ему принесла.

Сами собой поменялись продукты. Павел Николаевич лёг, как мечтал: опухоль — в подушку (ещё удивительно, что здесь были мягкие подушки, не пришлось везти из дому свою), и накрылся с головой.

В нём так замотались, заколотились, огнём налились мысли, что всё остальное тело стало бесчувственным, как от наркоза, и он уже не слышал глупых комнатных разговоров и потрясываясь вместе с половицами от ходьбы Ефрема, не чувствовал этой ходьбы. И не видел он, что день разгулялся, перед заходом где-то проглянуло солнце, только не с их стороны здания. И полёта часов он не замечал. Он засыпал, может быть от лекарства, и просыпался. Как-то проснулся уже при электрическом свете, и опять заснул. И опять проснулся среди ночи, в темноте и тишине.

И почувствовал, что сна больше нет, отпала его благодетельная пелена. А страх — весь тут, вцепился в нижнюю середину груди и сжимал.

И разные-разные-разные мысли стали напирать и раскручиваться: в голове Русанова, в комнате и дальше, во всей просторной темноте.

Даже никакие не мысли, а просто — он боялся. Просто — боялся. Боялся, что Родичев вдруг вот завтра утром прорвётся через сестёр, через санитарок, бросится сюда и начнёт его бить. Не правосудия, не суда общественности, не позора боялся Русанов, а просто, что его будут бить. Его били всего один раз в жизни — в школе, в его последнем шестом классе: поджидали вечером у выхода, и ножей ни у кого не было, но на всю жизнь осталось это ужасное ощущение со всех сторон тебя встречающих костистых жестоких кулаков.

Как покойник представляется нам потом долгие годы таким, каким мы последний раз видели его юношей, если даже за это время он должен был стать стариком, так и Родичев, который через восемнадцать лет должен бы был вернуться инвалидом, может быть глухим, может быть скрюченным, — сейчас виделся Русанову тем прежним загорелым здоровяком, с гантелями и гирей, на их общем длинном балконе в его последнее перед арестом воскресенье. Голый до пояса, он подозвал:

— Пашка! Иди сюда! На-ка пощупай бицепсы. Да не брезгуй, жми! Понял теперь, что значит инженер новой формации? Мы не рахитики, какие-нибудь там Эдуарды Христофоровичи, мы — люди гармонические. А ты вот хиловатый стал, засыхаешь за кожаной дверью. Иди к нам на завод, в цех устрою, а? Не хочешь?.. Ха-га!..

Захохотал и пошёл мыться, напевая:

Мы — кузнецы, и дух наш молод.

Вот этого-то здоровяка Русанов и представил сейчас врывающимся сюда, в палату, с кулаками. И не мог стряхнуть с себя ложный образ.

С Родичевым они были когда-то друзья, в одной комсомольской ячейке, эту квартиру получали вместе от фабрики. Потом Родичев пошёл по линии рабфака и института, а Русанов — по линии профсоюза и по анкетному хозяйству. Сперва начали не ладить жёны, потом и сами они. Родичев часто разговаривал с Русановым в оскорбительном тоне, да и вообще держался слишком безответственно, противопоставлял себя коллективу. Бок о бок с ним жить стало невыносимо и тесно. Ну, да всё сошлось, и погорячились, конечно, и дал на него Павел Николаевич такой материал: что в частном разговоре с ним Родичев одобрительно высказывался о деятельности разгромленной Промпартии и намеревался у себя на заводе сколотить группу вредителей. (Прямо так он не говорил, но по своему поведению мог говорить и мог намереваться.)

Только Русанов очень просил, чтоб имя его нигде не фигурировало в деле, и чтобы не было очной ставки. Но следовательно гарантировал, что по закону и не требуется открывать Русанова, и не обязательна очная ставка — достаточно будет признания самого обвиняемого. Даже первоначальное русановское заявление можно не подшивать в том следственного дела, так что обвиняемый, подписывая 206-ю статью, нигде не встретит фамилию своего соседа по квартире.

И так бы всё гладко прошло, если б не Гузун — секретарь заводского парткома. Ему из органов пришла выписка, что Родичев — враг народа, на предмет исключения его из партии первичной ячейкой. Но Гузун упёрся и стал шуметь, что Родичев — наш парень, и пусть ему дадут подробные материалы. На свою голову и нашумел, через два дня в ночь арестовали и его, а на третье утро благополучно исключили и Родичева, и Гузуна — как членов одной контрреволюционной подпольной организации.

Но Русанова теперь прокололо то, что за эти два дня, пока Гузуна уламывали, ему всё-таки вынуждены были сказать, что материал поступил от Русанова. Значит, встретившись с Родичевым там (а раз они пошли по одному делу, так могли в конце концов и встретиться), Гузун скажет Родичеву — и вот почему Русанов так опасался теперь

этого зловещего возврата, этого воскрешения из мёртвых, которого никогда нельзя было вообразить.

Хотя, конечно, и жена Родичева могла догадаться, только жива ли она? Капа так намечала: как только Родичева арестуют, так Катьку Родичеву сейчас же выселить, и захватить всю квартиру, и балкон тогда будет весь их. (Теперь смешно, что комната в четырнадцать метров в квартире без газа могла иметь такое значение. Ну, да ведь и дети росли.) Операция эта с комнатой была уже вся согласована, и пришло Катьку выселять, но она выкинула номер—заявила, что беременна. Настояли проверить—принесла справку. А по закону беременную выселять нельзя. И только к следующей зиме её выселили, а длинные месяцы пришлось терпеть, и жить с ней обок—пока она носила, пока родила и ещё до конца декретного. Ну, правда, теперь ей Капа пикнуть не давала на кухне, и Аве уже шёл пятый год, она очень смешно её дразнила.

Сейчас, лёжа на спине, в темноте посапывающей и похрапывающей палаты (лишь лёгкий отсвет настольной лампы сестры из вестибюля достигал сюда через стеклянную матовую дверь) Русанов бессонным ясным умом пытался разобраться, почему его так взбалмошили тени Родичева и Гузуна и испугался ли бы он, если б вернулся кто-то из других, чью виновность он тоже мог установить: тот же Эдуард Христофорович, инженер буржуазного воспитания, назвавший Павла при рабочих дураком (а сам потом признался, что мечтал реставрировать капитализм); та стенографистка, которая оказалась виновна в искажении речи важного начальника, покровителя Павла Николаевича, а начальник в речи эти слова совсем не так говорил; тот неподатливый бухгалтер (ещё к тому ж оказался и сыном священника, и скрутили его в одну минуту); жена и муж Ельчанские; да мало ли..?

Ведь никого ж из них Павел Николаевич не боялся, он всё смелее и открытее помогал устанавливать вину, даже два раза ходил на очные ставки, там повышал голос и изобличал. Да тогда и не считалось вовсе, что идейной непримиримости надо стыдиться! В то прекрасное честное время, в тридцать седьмом—тридцать восьмом году, заметно очищалась общественная атмосфера, так легко стало дышаться! Все лгуны, клеветники, слишком смелые любители самокритики или слишком заумные интеллигентки—исчезли, заткнулись, притаились, а люди принципиальные, устойчивые, преданные, друзья Русанова и сам он, ходили с достойно поднятой головой.

И вот теперь какое-то новое, мутное, нездоровое время, что этих прежних своих лучших гражданских поступков надо стыдиться? Или даже за себя бояться?

Какая чушь. Да всю свою жизнь перебирая, Русанов не мог упрекнуть себя в трусости. Ему не приходилось бояться! Может быть он не был какой-нибудь особо-храбрый человек, но и случая такого не припоминалось, чтобы проявил трусость. Нет оснований предполагать, что он испугался бы на фронте—просто на фронт его не взяли как ценного, опытного работника. Нельзя утверждать что он растерялся бы под бомбёжкой или в пожаре—но из К* они уехали до бомбёжек, и в пожар он не попадал никогда. Так же никогда он не боялся правосудия и закона, потому что закона он не нарушал, и правосудие всегда защищало его и поддерживало. И не боялся он разоблачений общественности—потому что общественность тоже была всегда за него. И в областной газете не могла бы появиться неприличная заметка против Русанова, потому что или Александр Михалыч, или Нил Прокофьевич всегда б её остановили. А центральная газета не могла бы до Русанова опуститься. Так и прессы он тоже никогда не боялся.

И пересекая Чёрное море на пароходе, он нисколько не боялся морской глубины. А боялся ли он высоты—нельзя сказать, потому

что не был он так пустоголов, чтобы лазить на горы или на скалы, а по роду своей работы не монтировал мостов.

Род работы Русанова в течение уже многих лет, едва ли не двадцати, был — анкетное хозяйство. Должность эта в разных учреждениях называлась по-разному, но суть была всегда одна. Только неучи да несведущие посторонние люди не знают, какая это ажурная тонкая работа. Каждый человек на жизненном пути заполняет немалое число анкет, и в каждой анкете — известное число вопросов. Ответ одного человека на один вопрос одной анкеты — это уже ниточка, навсегда протянувшаяся от человека в местный центр анкетного хозяйства. От каждого человека протянуты таким образом сотни ниточек, а всего их сходятся многие миллионы, и если б ниточки эти стали видимы, то всё небо оказалось бы в паутине, а если б они стали материально-упруги, то и автобусы, и трамваи, и сами люди потеряли бы возможность двигаться, и ветер не мог бы вдоль улицы пронести ключок газеты или осенних листьев. Но они не видимы и не материальны, а однако чувствуются человеком постоянно. Дело в том, что так называемые кристалльные анкеты — это как абсолютная истина, как идеал, они почти не достижимы. На каждого живого человека всегда можно записать что-нибудь отрицательное или подозрительное, каждый человек в чём-нибудь виноват или что-нибудь утаивает, если разобратся дотошно.

Из этого постоянного ощущения незримых ниточек естественно рождается у людей и уважение к тем лицам, кто эти ниточки вытягивает, кто ведёт это сложнейшее анкетное хозяйство. Авторитет таких лиц.

Пользуясь ещё одним сравнением, уже музыкальным, Русанов, благодаря своему особому положению, обладал как бы набором дощечек ксилофона и мог по выбору, по желанию, по соображениям необходимости ударять по любой из дощечек. Хотя все они были равно деревянные, но голос был у каждой свой.

Были дощечки, то есть приёмы, самого нежного, осторожного действия. Например, желая какому-нибудь товарищу передать, что он им недоволен, или просто предупредить, немного поставить на место, Русанов умел особыми ладами здороваться. Когда тот человек здоровался (разумеется, первый), Павел Николаевич мог ответить деловито, но не улыбнуться; а мог, сдвинув брови (это он отрабатывал в рабочем кабинете перед зеркалом), чуть-чуть замедлить ответ — как будто он сомневался, надо ли, собственно, с этим человеком здороваться, достоин ли тот — и уж после этого поздороваться (опять же: или с полным поворотом головы, или с неполным, или вовсе не поворачивая). Такая маленькая задержка всегда имеет, однако, значительный эффект. В голове работника, который был приветствован с такой заминкой или холодком, начинались деятельные поиски тех грехов, в которых этот работник мог быть виноват. И, поселив сомнение, заминка удерживала его, может быть, от неверного поступка, на грани которого работник уже был, но Павел Николаевич лишь с опозданием получил бы об этом сведения.

Более сильным средством было, встретив человека (или позвонив ему по телефону, или даже специально вызвав его), сказать: «Зайдите, пожалуйста, ко мне завтра в десять часов утра». — «А сейчас нельзя?» — обязательно спросит человек, потому что ему хочется скорее выяснить, зачем его вызывают, и скорее исчерпать разговор. — «Нет, сейчас нельзя», — мягко, но строго скажет Русанов. Он не скажет, что занят другим делом или идёт на совещание, нет, он ни за что не даст ясной простой причины, чтоб успокоить вызванного (в том-то и состоит приём), он так выговорит это «сейчас нельзя», чтобы сюда поместилось много серьёзных значений — и не все из них благоприятные. — «А по какому вопросу?» — может быть осмелится спросить

или по крайней неопытности спросит работник.— «Завтра и узнаете»,— бархатисто обойдёт этот нетактичный вопрос Павел Николаевич. Но до десяти часов завтрашнего дня — сколько времени! сколько событий! Работнику надо ещё кончить рабочий день, ехать домой, разговаривать с семьёй, может быть идти в кино или на родительское собрание в школу, и ещё потом спать (кто заснёт, а кто и нет), и ещё потом утром давиться завтраком — и всё время будет сверлить и грызть работника этот вопрос: «А зачем он меня вызывает?» За эти долгие часы работник во многом раскается, во многом опасётся и даст себе зарок не задирать на собраниях начальство. А уж когда он придёт — может и дела никакого не окажется, надо проверить дату рождения или номер диплома.

Так, подобно дощечкам ксилофона, способы нарастали по своему деревянному голосу и наконец самым сухим и резким было: «Сергей Сергеич (это директор всего предприятия, местный Хозяин) просил вас к такому-то числу заполнить вот эту анкету». И работнику протягивалась анкета — но не просто анкета, а из всех анкет и форм, хранящихся в шкафу Русанова, самая полная и самая неприятная — ну, например та, которая для засекречивания. Работник-то, может быть, совсем и не засекречивается, и Сергей Сергеич вовсе о том не знает, но кто ж пойдёт проверять, когда Сергея Сергеевича самого боются как огня? Работник берёт анкету и ещё делает бодрый вид, а на самом деле, если что-нибудь он только скрывал от анкетного центра — уже всё внутри у него скребёт. Потому что в этой анкете ничего не скрыть. Это — отличная анкета. Это — лучшая из анкет.

Именно с помощью такой анкеты Русанову удалось добиться разводов нескольких женщин, мужа которых находились в заключении по 58-й статье. Уж как эти женщины заматали следы, посылали посылки не от своего имени, не из этого города или вовсе не посылали — в этой анкете слишком строго стоял частокोल вопросов, и лгать дальше было нельзя. И один только был пропуск в частоколе: окончательный развод перед законом. К тому же, его процедура была облегчена: суд не спрашивал от заключённых согласия на развод и даже не извещал их о совершённом разводе. Русанову важно было, чтобы развод совершился, чтобы грязные лапы преступника не стягивали ещё не погибшую женщину с общей гражданской дороги. А анкеты эти никуда и не шли. И Сергею Сергеевичу показывались только раз-ве в виде анекдота.

Обособленное, загадочное, полупотустороннее положение Русанова в общем ходе производства давало ему и удовлетворяло его глубоким знанием истинных процессов жизни. Жизнь, которая была видна всем, — производство, совещания, многотиражка, месткомовские объявления на вахте, заявления на получение, столовая, клуб, — не была настоящая, а только казалась такой непосвящённым. Истинное же направление жизни решалось без крикливости, спокойно, в тихих кабинетах между двумя-тремя понимающими друг друга людьми или телефонным ласковым звонком. Ещё струилась истинная жизнь в тайных бумагах, в глубине портфелей Русанова и его сотрудников, и долго молча могла ходить за человеком — и только внезапно на мгновение обнажалась, высовывала пасть, рыгала в жертву огнём — и опять скрывалась, неизвестно куда. И на поверхности оставалось всё то же: клуб, столовая, заявления на получение, многотиражка производство. И только не хватало среди проходивших вахту — уволенного, отчисленного, изъяттого.

Соответственно роду работы бывало оборудовано и рабочее место Русанова. Это всегда была уединённая комната с дверью, сперва обитой кожей и блестящими обойными гвоздями, а потом, по мере того как богатело общество, ещё и ограждённая входным предохранительным ящиком, тёмным тамбуром. Этот тамбур — как будто и простое изобретение, совсем нехитрая штука: не больше метра в глуби-

ну, и лишь секунду-две мешкает посетитель, закрывая за собой первую дверь и ещё не открыв вторую. Но в эти секунды перед решающим разговором он как бы попадает в короткое заключение: нет ему света, и воздуха нет, и он чувствует всё своё ничтожество перед тем, к кому сейчас входит. И если была у него дерзость, своеумудрие — то здесь, в тамбуре, он расстанется с ними.

Естественно, что и по несколько человек сразу к Павлу Николаевичу не вваливались, а только впускались поодиночке, кто был вызван или получил по телефону разрешение прийти.

Такое оборудование рабочего места и такой порядок допуска очень способствовал вдумчивому и регулярному выполнению обязанностей в русановском отделе. Без предохранительного тамбура Павел Николаевич бы страдал.

Разумеется, по диалектической взаимосвязи всех явлений действительности, образ поведения Павла Николаевича на работе не может остаться без влияния на его образ жизни вообще. Постепенно, с годами, ему и Капитолине Матвеевне стали несносны на железных дорогах не только общие, но и плацкартные вагоны, куда пёрлись и в полубубках, и с ведрами, и с мешками. Русановы стали ездить только в купированных и в мягких. Разумеется, и в гостиницах для Русанова всегда бронировался номер, чтоб ему не очутиться в общей комнате. Разумеется, и в санатории Русановы ездили не во всякие, а в такие, где человека знают, уважают и создают ему условия, где и пляж и аллеи отдыха отгорожены от общей публики. И когда Капитолине Матвеевне врачи назначили больше ходить, то ей абсолютно негде было ходить, кроме как в такой санатории среди равных.

Русановы любили народ — свой великий народ, и служили этому народу, и готовы были жизнь отдать за народ.

Но с годами они всё больше терпеть не могли — населения. Этого строптивого, вечно уклоняющегося, упирающегося да ещё чего-то требующего себе населения.

У Русановых стал вызывать отвращение трамвай, троллейбус, автобус, где всегда толкали, особенно при посадке, куда лезли строительные и другие рабочие в грязных спецовках и могли обтереть о твоё пальто этот мазут или эту извёстку, а главное — укоренилась противная панибратская манера хлопать по плечу — просить передать на билет или сдачу, и нужно было услуживать и передавать без конца. Ходить же по городу пешком было и далеко, и слыхком простежки, не по занимаемой должности. И если служебные автомобили бывали в разгоне или в ремонте, Павел Николаевич часами не мог попасть домой обедать, а сидел на работе и ждал, пока подадут машину. А что оставалось делать? С пешеходами всегда можно напороться на неожиданность, среди них бывают дерзкие, плохо одетые, а иногда и подвыпившие люди. Плохо одетый человек всегда опасен, потому что он плохо чувствует свою ответственность, да вероятно ему и мало что терять, иначе он был бы одет хорошо. Конечно, милиция и закон защищают Русанова от плохо одетого человека, но эта защита придёт неизбежно с опозданием, она придёт, чтобы наказать негодяя уже потом.

И вот, ничего на свете не боясь, Русанов стал испытывать вполне нормальную оправданную боязнь перед распущенными полупьяными людьми, а точнее — перед прямым ударом кулака в лицо.

Потому так взволновало его сперва и известие о возврате Родичева. Не то чтобы он или Гузун стали бы действовать по закону: по закону они к Русанову никаких претензий иметь не должны. Но что, если они сохранились здоровыми мужиками и захотят избить?

Однако, если трезво разобраться, — конечно зряшен был первый невольный испуг Павла Николаевича. Ещё, может быть, никакого Родичева нет, и дай бог, чтоб он не вернулся. Все эти разговорчики о в о з в р а т а х вполне могут быть легендами, потому что в ходе сво-

ей работы Павел Николаевич пока не ощущал тех признаков, которые могли бы предвещать новый характер жизни.

Потом, если даже Родичев действительно вернулся, то в К*, а не сюда. И ему сейчас не до того, чтобы искать Русанова, а самому надо оглядываться, как бы его из К* не выперли снова.

А если он и начнёт искать, то не сразу же найдёт ниточку сюда. И сюда поезд идёт трое суток через восемь областей. И, даже доехав сюда, он во всяком случае явится домой, а не в больницу. А в больнице Павел Николаевич как раз в полной безопасности.

В безопасности!.. Смешно... С этой опухолью — и в безопасности...

Да уж если такое неустойчивое время наступит — так лучше и умереть. Лучше умереть, чем бояться каждого возврата. Какое это безумие! — возвращать их! Зачем? Они там привыкли они там смирились — зачем же пускать их сюда, баламутить людям жизнь?..

Кажется, всё-таки Павел Николаевич перегорел и готов был ко сну. Надо бы постараться заснуть.

Но ему требовалось выйти — самая неприятная процедура в клинике.

Осторожно поворачиваясь, осторожно двигаясь — а опухоль железным кулаком сидела у него на шее и давила — он выбрался из закатистой кровати, надел пижаму, шлёпанцы, очки и пошёл, тихо шаркая.

За столом бодрствовала строгая чёрная Мария и чутко повернулась на его шарканье.

У начала лестницы в кровати какой-то новичок, дюжий длиннорукий длинноногий грек, терзался и стонал. Лежать он не мог, сидел, как бы не помещаясь в постели, и бессонными глазами ужаса проводил Павла Николаевича.

На средней площадке маленький, ещё причёсанный, жёлтый-прежёлтый, полусидел высоко подмощенный и дышал из кислородной подушки, плащ-палаточного материала. У него на тумбочке лежали апельсины, печенье, рахат-лукум, стоял кефир, но всё это было ему безразлично — простой бесплатный чистый воздух не входил в его лёгкие, сколько нужно.

В нижнем коридоре стояли ещё койки с больными. Одни спали. Старуха восточного вида с растрепавшимися космами раскидалась в муче по подушке.

Потом он миновал маленькую каморку, где на один и тот же короткий нечистый диванчик клали всех, не разбирая, для клизм.

И наконец, набрав воздуха и стараясь его удерживать, Павел Николаевич вступил в уборную. В этой уборной, без кабин и даже без унитазов, он особенно чувствовал себя неотгороженным, приниженным к праху. Санитарки убрали здесь много раз в день, но не успевали, и всегда были свежие следы или рвоты, или крови, или пакости. Ведь этой уборной пользовались дикари, не привыкшие к удобствам, и больные, доведённые до края. Надо бы попасть к главному врачу и добиться для себя разрешения ходить во врачебную уборную.

Но эту деловую мысль Павел Николаевич сформулировал как-то вяло.

Он опять пошёл мимо клизменной кабинки, мимо растрёпанной казашки, мимо спящих в коридоре.

Мимо обречённого с кислородной подушкой.

А наверху грек прохрипел ему страшным шёпотом:

— Слушай, браток! А тут — всех вылечивают? Или умирают тоже?

Русанов дико посмотрел на него — и при этом движении остро почувствовал, что уже не может отдельно поворачивать головой, что должен, как Ефрем, поворачиваться всем корпусом. Страшная прилепина на шее давила ему вверх на челюсть и вниз на ключицу.

Он поспешил к себе,

О чём он ещё думал?! Кого он ещё боялся!.. На кого надеялся?.. Тут, между челюстью и ключицей, была судьба его.

Его правосудие.

И перед этим правосудием он не знал знакомств, заслуг, защиты.

15

— А тебе сколько лет?

— Двадцать шесть.

— Ох, порядочно!

— А тебе?

— Мне шестнадцать... Ну как в шестнадцать лет ногу отдавать, ты подумай?

— А по какое место хотят?

— Да по колено — точно, они меньше не берут, уж я тут видел. А чаще — с запасом. Вот так... Будет культя болтаться...

— Протез сделаешь. Ты чем вообще заниматься собираешься?

— Да я мечтаю в Университет.

— На какой факультет?

— Да или филологический, или исторический.

— А конкурс пройдёшь?

— Думаю, что да. Я — никогда не волнуюсь. Спокойный очень.

— Ну, и хорошо. И чем же тебе протез будет мешать? И учиться будешь, и работать. Даже ещё усидчивей. В науке больше сделаешь.

— А вообще жизнь?

— А кроме науки — что вообще?

— Ну, там...

— Жениться?

— Да хотя бы...

— Найдё-ошь! На всякое дерево птичка садится... А какая альтернатива?

— Что?

— Или нога, или жизнь?

— Да на авось. А может само пройдёт!

— Нет, Дёма, на авось мостов не строят. От авосья только авоська осталась. Рассчитывать на такую удачу в рамках разумного нельзя. Тебе опухоль называют как-нибудь?

— Да вроде — «Эс-á».

— Эс-а? Тогда надо оперировать.

— А что, знаешь?

— Знаю. Мне бы вот сейчас сказали отдать ногу — и то б я отдал. Хотя моей жизни весь смысл — только в движении, пешком и на коне, а автомобили там не ходят.

— А что? Уже не предлагают?

— Нет.

— Пропустил?

— Да как тебе сказать... Не то, чтобы пропустил. Ну, отчасти и пропустил. В поле завертелся. Надо было месяца три назад приехать, а я работы бросить не хотел. А от ходьбы, от езды хуже натиралось. мокло, гной прорывался. А прорвётся — легче, опять работать хочется. Думаю — ещё подождя. Мне и сейчас так грёт, что лучше бы брючину одну отрезать или голым сидеть.

— А не перевязывают?

— Нет.

— А покажи, можно?

— Посмотри.

— У-у-у-у-у, какая... Да тёмная...

— Она от природы тёмная. Здесь у меня от рождения было большое родимое пятно. Вот оно и переродилось.

— А это что... такие?

— А это вот три свища остались от трёх прорывов... В общем, Дёмка, у меня опухоль совсем другая, чем у тебя. У меня — меланобластома. Эта сволочь не щадит. Как правило: восемь месяцев — и с копыт.

— А откуда ты знаешь?

— Ещё досюда книжку прочёл. Прочёл — тогда и схватился. Но дело в том, что если б я и раньше приехал — всё равно б они оперировать не взялись. Меланобластома такая гадина, что только тронь ножом — и сейчас же даёт метастазы. Она тоже жить хочет, по-своему, понимаешь? Что я за эти месяцы пропустил — в паху появилось.

— А что Людмила Афанасьевна говорит?

— А вот она говорит, что надо попробовать достать такое коллоидное золото. Если его достать, то в паху, может быть, остановят, а на ноге приглушат рентгеном — и так оттянут...

— Вылечат?

— Нет, Дёмка, вылечить меня уже нельзя. От меланобластомы вообще не вылечиваются. Таких выздоровевших нет. А мне? Отнять ногу — мало, а выше — где ж резать? Сейчас идёт вопрос — как оттянуть? И сколько я выиграю: месяцы или годы?

— То есть... что же? Ты значит..?

— Да. Я — значит. Я уже, Дёмка, это принял. Но не тот живёт больше, кто живёт дольше. Для меня весь вопрос сейчас — что я успею сделать. Надо же что-то успеть сделать на земле! Мне нужно три года! Если бы мне дали три года, ничего больше не прошу! Но эти три года мне не в клинике надо лежать, а быть в поле.

Они тихо совсем разговаривали на койке Вадима Зацырко у окна. Весь разговор их слышать мог бы по соседству только Ефрем, но он с утра лежал бесчувственным чурбаном и глаз не сводил с одного потолка. Ещё Русанов наверно слышал, он несколько раз с симпатией взглянул на Зацырко.

— А что ж ты можешь успеть сделать? — хмурился Дёмка.

— Ну, попробуй понять. Я проверяю сейчас новую очень спорную идею — большие учёные в центре в неё почти не верят: что залежи полиметаллических руд можно обнаружить по радиоактивным водам. «Радиоактивные» — знаешь, что такое?.. Тут тысяча аргументов, но на бумаге можно всё что угодно и защитит и отвергнуть. А я — чувствую, вот чувствую, что могу доказать это всё на деле. Но для этого надо всё время быть в поле, и конкретно найти руды по водам, больше ни по чему. И желательно — с повторением. А работа есть работа, на что силы не уходят? Вот, например, вакуум-насоса нет, а центробежный, чтоб запустить, надо воздух вытянуть. Чем? Ртом! И нахлебался радиоактивной воды. Да и запросто мы её пьём. Киргизы-рабочие говорят: наши отцы тут не пили, и мы пить не будем. А мы, русские, пьём. Да имея меланобластома — что мне бояться радиоактивности? Как раз мне-то и работать.

— Ну и дурак! — приговорил Ефрем, не поворачиваясь, невыразительным скрипучим голосом. Он, значит, всё слышал. — Умирать будешь — зачем тебе геология? Она тебе не поможет. Задумался бы лучше — чем люди живы?

У Вадима неподвижно хранилась нога, но свободная голова его легко повернулась на гибкой свободной шее. Он готовно блеснул чёрными живыми глазами, чуть дрогнули его мягкие губы, и он ответил, не обидевшись нисколько:

— А я как раз знаю. Творчеством! И очень помогает. Ни пить, ни есть не надо.

И мелко постучал гранёным пластмассовым автокарандашом между зубами, следя, насколько он понят.

— Ты вот эту книжицу прочти, удивишься! — всё так же не ворячая корпуса и не видя Зацырко, постучал Поддуев корявым ногтем по синенькой.

— А я уже смотрел, — с большой быстротой успевал отвечать Вадим. — Не для нашего века. Слишком бесформенно, незэнергично. А по-нашему: работайте больше! И не в свой карман. Вот и всё.

Русанов встрепенулся, приветливо сверкнул очками и громко спросил:

— Скажите, молодой человек, вы — коммунист?

С той же готовностью и простотой Вадим перевёл глаза на Русанова.

— Да, — мягко сказал он.

— Я был уверен! — торжествующе воскликнул Русанов и поднял палец.

Он очень был похож на преподавателя.

Вадим шлёпнул Дёмку по плечу:

— Ну, иди к себе. Работать надо.

И наклонился над «Геохимическими методами», где лежал у него небольшой листик с мелкими выписками и крупными восклицательными и вопросительными знаками.

Он читал, а гранёный чёрный автокарандаш в его пальцах чуть двигался.

Он весь читал, и уже как бы его здесь не было, но, ободренный его поддержкой, Павел Николаевич хотел ещё больше подбодриться перед вторым уколом и решил теперь доломать Ефрема, чтоб тот не нагонял здесь и дальше тоски. И от стены к стене глядя на него прямо, он стал ему договаривать:

— Товарищ даёт вам хороший урок, товарищ Поддуев. Нельзя так поддаваться болезни. И нельзя поддаваться первой поповской книжечке. Вы практически играете на руку... — Он хотел сказать «врагам», в обычной жизни всегда можно было указать врагов, но здесь, на больничных койках, кто ж был их враг?... — Надо уметь видеть глубину жизни. И прежде всего природу подвига. А что движет людьми в производственном подвиге? Или в подвигах Отечественной войны? Или например Гражданской? Голодные, необутые, неодетые, безоружные...

Странно неподвижен был сегодня Ефрем: он не только не вылезал топать по проходу, но он как бы совсем утратил многие из своих обычных движений. Прежде он берёт только шею и неохотно поворачивал туловищем при голове, сегодня же он ни ногой не пошевелил, ни рукой, лишь вот по книжке постучал пальцем. Его уговаривали позавтракать, он ответил: «Не наелся — не налижешься». Он до завтрака и после завтрака лежал так неподвижно, что если б иногда не моргал, можно было подумать, что его взяло окостенение.

А глаза были открыты.

Глаза были открыты, и как раз чтобы видеть Русанова, ему не надо было ничуть поворачиваться. Его-то, белорылого, одного он и видел кроме потолка и стены.

И он слышал, что разъяснял ему Русанов. И губы его шевельнулись, раздался всё тот же недоброжелательный голос, только ещё менее внятно разделяя слова:

— А что — Гражданская? Ты воевал, что ль, в Гражданскую?

Павел Николаевич вздохнул:

— Мы с вами, товарищ Поддуев, ещё по возрасту не могли тогда воевать.

Ефрем потянул носом.

— Не знаю, чего ты не воевал. Я воевал.

— Как же это могло быть?

— Очень просто, — медленно говорил Ефрем, отдыхая между фразами. — Наган взял и воевал. Забавно. Не я один.

— Где ж это вы так воевали?

— Под Ижевском. Учредилку били. Я ижевских сам семерых застрелил. И сейчас помню.

Да, он кажется всех семерых, взростных, мог вспомнить сейчас, где и кого уложил, пацан, на улицах мятежного города.

Что-то ещё ему очкарик объяснял, но у Ефрема сегодня будто уши залегали, и он не надолго выныривал что-нибудь слышать.

Как он открыл по рассвету глаза и увидел над собой кусок голого белого потолка, так вступил в него толчком, вошёл с неприкрытостью, а без всякого повода, один давний ничтожный и совсем забытый случай.

Был день в ноябре, уже после войны. Шёл снег и тут же подтаивал, а на выброшенной из траншеи более тёплой земле таяла начисто. Копали под газопровод, и проектная глубина была метр восемьдесят. Поддуев прошёл там мимо и видел, что глубины нужной ещё нет. Но явился бригадир и нагло уверял, что по всей длине уже полный профиль. «Что, мерить пойдём? Тебе ж хуже будет!» Поддуев взял мерный шест, где у него через каждые десять сантиметров была выжжена поперечная чёрная полоска, каждая пятая длинней, и они пошли мерить, увязая в размокшей, раскисшей глине, он — сапогами, бригадир — ботинками. В одном месте померили — метр семьдесят. Пошли дальше. Тут копали трое: один длинный тощий мужик, черно заросший по лицу; один — бывший военный, ещё в фуражке, хоть и звёздочка была с неё давно содрана, и лакированный ободок, и лакированный козырёк, а околыш был весь в извёстке и глине; третий же, молоденький, был в кепочке и городском пальтишке (в те годы с обмундированием было трудно, и им казённого не выдали), да ещё спитом на него, наверно, когда он был школьником, коротком, тесном, изношенном. (Это его пальтишко Ефрем, кажется, только сейчас в первый раз так ясно увидел.) Первые два ещё ковырялись, взмахивали наверх лопатами, хотя размокшая глина не отлапала от железа, а этот третий, птенец, стоял, грудью опершись о лопату, как будто проткнутый ею, свисая с неё как чучело, белое от снега, и руки собрав в рукавишки. На руки им ничего не выдали, на ногах же у военного были сапоги, а те двое — в чунях из автомобильных покрышек. «Чего стоишь, раззепай? — крикнул на малюго бригадир. — За штрафным пайком? Будет!» Малюб только вздохнул и опал, и ещё будто глубже вошёл ему черенок в грудь. Бригадир тогда съездил его по шее, тот отряхнулся, взялся тыкать лопатой.

Стали мерить. Земля была набросана с двух сторон вплоть к траншее, и чтоб верхнюю зарубку верно заметить на глаз, надо было наклониться туда сильно. Военный стал будто помогать, а на самом деле клонил рейку вбок, выгадывая лишних десять сантиметров. Поддуев матюгнулся на него, поставил рейку ровно, и явно получилось метр шестьдесят пять.

— Слушай, гражданин начальник, — попросил тогда военный тихо. — Эти последние сантиметры ты нам прости. Нам их не взять. Курсак пустой, сил нет. И погода — видишь...

— А я за вас на скамью, да? Ещё чего придумали! Есть проект. И чтоб откосы ровные были, а не желобком дно.

Пока Поддуев разогнулся, выбрал наверх рейку и вытянул ноги из глины, они все трое задрали к нему лица — одно чернобородое, другое как у загнанной борзой, третье в пушке, никогда не бритое, и падал снег на их лица как неживые, а они смотрели на него вверх. И малой разорвал губы, сказал:

— Ничего. И ты будешь умирать, десятник!

А Поддуев не писал записку посадить их в карцер — только оформил точно, что они заработали, чтоб не брать себе на шею их лихо. И уж если вспоминать, так были случаи покрутей. И с тех пор прошло десять лет, Поддуев уже не работал в лагерях, бригадир тот

освободился, тот газопровод клали временно, и может он уже газу не подаёт, и трубы пошли на другое,— а вот осталось, вынырнуло сегодня и первым звуком дня вступило в ухо:

— И ты будешь умирать, десятник!

И ничем таким, что весит, Ефрем не мог от этого загордиться. Что он ещё жить хочет? И малой хотел. Что у Ефрема сильная воля? Что он понял новое что-то и хотел бы иначе жить? Болезнь этого не слушает, у болезни свой проект.

Вот эта книжечка синяя с золотым росчерком, четвёртую ночь ночевавшая у Ефрема под матрасом, напевала что-то про индусов, как они верят, что умираем мы не целиком, а душа наша переселяется в животных или других людей. Такой проект нравился сейчас Поддуеву: хоть что-нибудь своё бы вынести, не дать ему накрыться. Хоть что-нибудь своё пронести бы через смерть.

Только не верил он в это переселение душ ни на поросячий нос.

Стреляло ему от шеи в голову, стреляло не переставая, да как-то ровно стало бить, на четыре удара. И четыре удара втолакивали ему: Умер.— Ефрем.— Поддуев.— Точка. Умер — Ефрем — Поддуев — Точка.

И так без конца. И сам про себя он стал эти слова повторять. И чем больше повторял, тем как будто сам отделялся от Ефрема Поддуева, обречённого умереть. И привыкал к его смерти, как к смерти соседа. А то, что в нём размышляло о смерти Ефрема Поддуева, соседа,— вот это, вроде, умереть бы было не должно.

А Поддуеву, соседу? Ему спасенья, как будто, и не оставалось. Разве только если бы берёзовую трутовицу пить? Но написано в письме, что пить её надо год, не прерываясь. Для этого надо высушенной трутовицы пуда два, а мокрой — четыре. А посылка это будет, значит, восемь. И ещё, чтоб трутовика не залёживалась, была бы недавно с дерева. Так не чохом все посылки, а в разрядочку, в месяц раз. Кто ж эти посылки будет ему собирать ко времени да присылать? Оттуда, из России?

Это надо, чтоб свой человек, родной.

Много-много людей перешло через Ефрема за жизнь, и ни один из них не зацепился как родной.

Это бы первая жёнка его Амина́ могла бы собирать-присылать. Туда, за Урал, некому и написать, кроме как только ей. А она напишет: «Подыхай под забором, старый кобель!» И будет права.

Права по тому, как это принято. А вот по этой синей книжечке не права. По книжечке выходит, что Амина должна его пожалеть, и даже любить — не как мужа, но как просто страдающего человека. И посылки с трутовицей — слать.

Книга-то получалась очень правильная, если б все сразу стали по ней жить...

Тут наплыло Ефрему в отлегалые уши, как геолог говорил, что живёт для работы. Ефрем ему по книжечке ногтем и постукал.

А потом опять, не видя и не слыша, он погрузился в своё. И опять ему стреляло в голову.

И только донимала его эта стрельба, а то легче и приятней всего ему было бы сейчас не двигаться, не лечиться, не есть, не разговаривать, не слышать, не видеть.

Просто — перестать быть.

Но трясли его за ногу и за локоть, это Ахмаджан помогал, а девка из хирургической оказывается давно над ним стояла и звала на перевязку.

И вот Ефрему надо было за чем-то ненужным подниматься. Шести пудам своего тела надо было передать эту волю — встать: напрячься ногам, рукам, спине, и из покоя, куда стали погружаться кости, оброщенные мясом, заставить их сочленения работать, их тягость — подняться, составить столб, облачить его в курточку и поне-

сти столб коридорами и лестницей для бесполезного мучения — для размотки и потом замотки десятков метров бинтов.

Это было всё долго, больно и в каком-то сером шумке. Кроме Евгении Устиновны были ещё два хирурга, которые сами операций никогда не делали, и она им что-то толковала, показывала, и Ефрему говорила, а он ей не отвечал.

Он чувствовал так, что говорить им уже не о чем. Безразличный серый шумок обволакивал все речи.

Его обмотали белым обручем мощнее прежнего, и так он вернулся в палату. То, что его обматывало, уже было больше его головы — и только верх настоящей головы высывался из обруча.

Тут ему встретился Костоглотов. Он шёл, достав кисет с махоркой.

— Ну, что решили?

Ефрем подумал: а что, правда, решили? И хотя в перевязочной он как будто ни во что не вникал, но сейчас понял и ответил ясно:

— Удавься где хочешь, только не в нашем дворе.

Федерау со страхом смотрел на чудовищную шею, которая, может, ждала и его, спросил:

— Выписывают?

И только этот вопрос объяснил Ефрему, что нельзя ему опять ложиться в постель, как он хотел, а надо собираться к выписке.

А потом, когда и наклониться нельзя, — передеваться в свои обычные вещи.

А потом через силу передвигать столб тела по улицам города.

И ему нестерпимо представилось, что ещё это всё он должен напрыгаться делать, неизвестно зачем и для кого.

Костоглотов смотрел на него не с жалостью, нет, а — с солдатским сочувствием: эта пуля твоя оказалась, а следующая, может, моя. Он не знал прошлой жизни Ефрема, не дружил с ним и в палате, а прямого его ему нравилась, и это был далеко не самый плохой человек из встречавшихся Олегу в жизни.

— Ну, держи, Ефрем! — размахнулся он рукой.

Ефрем, приняв пожатие, оскалился:

— Родится — вертится, растёт — бесится, помрёт — туда дорога.

Олег повернулся идти курить, но в дверь вошла лаборантка, разносившая газеты, и по близости протянула ему. Костоглотов принял, развернул, но доглядел Русанов и громко, с обидой, выговорил лаборантке, ещё не успевшей ушмыгнуть:

— Послушайте! Послушайте! Но ведь я же ясно просил давать газету первому мне!

Настоящая боль была в его голосе, но Костоглотов не пожалел его, а только отгавкнулся:

— А почему это вам первому?

— Ну, как почему? Как почему? — вслух страдал Павел Николаевич, страдал от неоспоримости, ясной видимости своего права, но невозможности защитить его словами.

Он испытывал не что иное как ревность, если кто-нибудь другой до него непосвящёнными пальцами разворачивал свежую газету. Никто из них тут не мог бы понять в газете того, что понимал Павел Николаевич. Он понимал газету как открыто распространяемую, а на самом деле зашифрованную инструкцию, где нельзя было высказать всего прямо, но где знающему умелому человеку можно было по разным мелким признакам, по расположению статей, по тому, что не указано и опущено, — составить верное понятие о новейшем направлении. И именно поэтому Русанов должен был читать газету первый.

Но высказать-то это здесь было нельзя! И Павел Николаевич только пожаловался:

— Мне ведь укол сейчас будут делать. Я до укола хочу посмотреть.

— Укол?— Оглоед смягчился.— Се-час...

Он досматривал газету впробежь, материалы сессии и оттеснённые ими другие сообщения. Он и шёл-то курить. Он уже зашуршал было газетой, чтоб её отдать— и вдруг заметил что-то, влез в газету— и почти сразу стал настороженным голосом выговаривать одно и то же длинное слово, будто протирая его между языком и небом:

— Ин-те-рес-нень-ко... Ин-те-рес-нень-ко...

Четыре глухих бетховенских удара судьбы громыхнули у него над головой— но никто не слышал в палате, может и не услышит— и что другое он мог выразить вслух?

— Да что такое?— взволновался Русанов вовсе.— Да дайте же сюда газету!

Костоготов не потянулся никому ничего показывать. И Русанову ничего не ответил. Он соединил газетные листы, ещё сложил газету вдвое и вчетверо, как она была, но со своими шестью страницами она не легла точно в прежние стобы, а пузырилась. И сделав шаг к Русанову (а тот к нему), передал газету. И тут же, не выходя, растянул свой шёлковый кисет и стал дрожащими руками сворачивать махорочную газетную цыгарку.

И дрожащими руками разворачивал газету Павел Николаевич. Это «интересненько» Костоготова пришлось ему как нож между рёбрами. Что это могло быть Оглоеду «интересненько»?

Умело и делово, он быстро проходил глазами по заголовкам, по материалам сессии и вдруг, и вдруг... Как? Как?..

Совсем не крупно набранный, совсем незначительный для тех, кто не понимает, со страницы кричал! кричал! небывальи! невозможный указ!— о полной смене Верховного Суда! Верховного Суда Союза!

Как?! Матулевич, заместитель Ульриха?! Детистов? Павленко? Клопов? И Клопов!!— сколько стоит Верховный Суд, столько был в нём и Клопов! И Клопова— сняли!.. Да кто же будет беречь кадры?.. Совершенно новые какие-то имена... Всех, кто вершил правосудие четверть столетия— одним ударом!— всех!?

Это не могла быть случайность!

Это был шаг истории...

Испарина выступила у Павла Николаевича. Только сегодня к утру он успокоил себя, что все страхи— пусты, и вот...

— Вам укол.

— Что??— безумно вскинулся он.

Доктор Гангарт стояла перед ним со шприцем.

— Обнажите руку, Русанов. Вам укол.

(Продолжение следует)

ЭДУАРД БАЛАШОВ

*

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Творец, сжигая все, творит.
Его огонь — не бледный голод,
Не рак и не повальный спид,
А стыд, нахлынувший на город.

Не прозаический циклон.
Не фантастический цунами.
Из ночи в день, из яви в сон
Он всюду следует за нами.

Испепеляя времена,
Поверх бездонного зиянья
Пылает вечная вина,
Кружатся птицы воздаянья.

Но все проходит наконец.
На старом доме новый встанет.
И новый, как и все, Творец,
Создав меня, стыдясь, отпрянет.

Взгляд любви

Все что ни есть до капельки вместить,
Располагая сердце на доверье.
Любить, любить, на всех путях любить —
Протягивать упавшим милосердьё.

Вернуть зверей на расстоянье глаз.
Вернуть себе обличье человека.
Любить, да так, чтоб полюбили нас
Все твари предстоящего ковчега.

ЮРИЙ КАРАБЧИЕВСКИЙ

*

КТО БЛИЖЕ В ЭТОТ МИГ

* * *

Колючей памятью Ван Гога
я обречен увидеть сам,
как бьется в панике дорога,
клубясь и дыбясь к небесам.

Я обречен узнать на деле,
как речь больного горяча.
Как мерно кружатся недели,
под нос заклатья бормоча.

А двери нет — глухая вата.
Кричи и пой до хрипоты...
Судьба ль пред нами виновата,
мы ль перед нею не чисты?

Но нам обходится дороже.
Конец — у черного окна,
где только собственная рожа
в толпе кругов отражена.

Дробится, множится тревога,
ни сна, ни лучика, ни зги.
И заколдованы круги,
как в черном небе у Ван Гога.

* * *

В гармонию из хаоса и праха
без Высших сил не выстроить моста.
Что б ни было — Хайяму от Аллаха
являлся свет. И Данту — от Христа.

А я, чужак, пролезший к караваю,
беспечных гимнов первый ученик, —
я здесь во тьме мучительно взываю
к любым богам, кто ближе в этот миг.

РУСЛАН КИРЕЕВ

*

ИГРАЕМ В СНЕЖКИ СРЕДИ НОЧИ

Поздняя проза

Зима была слабой, вялой, уже в феврале понабухали почки, а в марте, в середине марта, зазеленела верба. Из-под снега островками проступила земля, пока еще без единой травинки, сырая, грязная, и скоро освободилась вся, только в укромных уголках, куда не дотягивалось солнце, желтели ноздреватые кучки. К-ов исхитрился даже позагорать в лесу — не раздеваясь, разумеется, в пальто и кепке. Собственно, загорало лишь лицо, купалось в еще не жарких, в еще не припекающих, но уже теплых лучах. Устраивался на пеньке или поваленном дереве, под ногами же был плотный, слежавшийся ковер из прошлогодних листьев, среди которых можно было обнаружить, если приглядеться, спорбленный стебелек будущего цветка Весна! Настоящая весна!

Настоящая? А где бабочки, где пчелы, где трава или одуванчики? Не случайный стебелек, сам напуганный своей дерзостью, а пятнистый цветной ковер? Нету. Потому-то, наверное, чуть-чуть искусственным казалось тепло, оранжерейным. Будто выйдешь сейчас наружу — и опять заметет все, завоюет, запорошит.

Так и случилось. Обманный день первого апреля начался с солнышка, потом небо заволокло, налетел ветер, и в полдень повалил снег. В комнате потемнело. К-ов зажег настольную лампу и, с пером в руке, рассуждал о прозе, которую про себя называл поздней.

Вообще-то, понимал он, рассуждения подобного рода уместней все-таки скорей осенью, нежели весной. Ибо человек, пишущий человек, обычно приходит к поздней прозе на склоне лет, когда в его распоряжении остается не так уж много времени и жаль тратить его на пустяки.

Как правило, это не беллетристика. Это бесхитрое и внешне незатейливое повествование о том, что сам видел и сам пережил. Повествование, да не всякое... «Исповедь» Руссо, например, которая по всем внешним параметрам должна вроде бы служить эталоном поздней прозы, ею тем не менее не является. Слишком замутнена она раздражением, особенно в заключительных главах. Слишком пространен счет обид, который выставляет судьбе и людям памятный автор. В таком состоянии — состоянии войны — ясной и тихой книги не напишешь. Так же как не напишешь ее, упиваясь изошренностью своего глаза. Прустовская эпопея, нанизавшая на автобиографический шампур изумительно сочные куски утраченного времени, — это что ни говори, феномен не столько духовный, сколько эстетический. Что само по себе не недостаток и не достоинство. Качество...

К-ов прекрасно отдал себе отчет в том, сколь высоко можно качество это ставить. Но лично он, восхищаясь тем же Прустом, начинал мало-помалу уставать от буйства красок, от обилия оттенков и цветов. Как всякий пир, этот пир способен вскружить голову, но способен и утомить, в то время как поздняя проза никогда не роскошествует. Лишь необходимым довольствуется она. Минимум фантазии. Минимум фабулы. Ей, поздней прозе, с которой человек, в

общем-то, уходит из жизни, скучно упаковывать себя в прокрустово сюжетное ложе. Скучно рядиться в маски вымышленных героев. Ни интрига, ни живость изложения — качества, столь ценимые в беллетристике, — не являются для жанра, черты которого К-ов набрасывал под снежную круговерть за окном, качествами определяющими.

Что же, спрашивал он себя, является? По-видимому, способность автора ощутить самодостаточность и самооценку мира, не нуждающегося в какой бы то ни было санкции. Высшего ли разума... Философской ли доктрины... Бог если и присутствует в нем, то не как своего рода главный администратор, а на равных со всем остальным — деревом, муравьем, человеком... Ну и собакой, конечно, что, положив морду на лапы, терпеливо ждет, когда хозяин выведет ее на улицу.

К-ов поднялся. В тот же миг она была на ногах и, вся напрягшаяся, взбешенная, неотрывно и страстно смотрела ему в глаза. Он медленно огевалялся, медленно зашнуровывал ботинки, а она следила за ним не шевелясь, и лишь когда он протянул руку за поводком, сорвалась с места. Коготки щелкнули о паркет, она поскользнулась, но не упала (а такое случилось), удержалась и на радостях запрыгала и завертелась еще пуще. К-ов открыл дверь.

Уже не мело, все успокоилось. Легкий пушистый снег высоко лежал на деревьях и заборах, на мусорных бачках, на скамье у подъезда, на детских качелях... Было очень светло — он задрал даже голову: нет ли луны? Луны не было, зато фонари словно прибавили яркости и при этом как бы вытянулись.

Собацьи лапы глубоко и по-детски раскоряченно утопали в снегу, а ополоумевшая от счастья бессловесная тварь еще и нос в нем зарывала, и фыркала, и мотала ушастой головой. Хозяин отпустил ее, а сам медленно огляделся, огин среди возвратившейся зимы, но возвратившейся, понимал он, ненадолго, на день или два. Вот только чувства, которые он испытывал, были скорей надеждой, скорей ожиданием и предвкушением, нежели прощанием.

Чего ждал он? Что предвкушал и на что надеялся? Он был уже немолодой человек (возраст поздней прозы), а сейчас, в зимнем длиннополом пальто и потертой, надетой на лоб шапке, выглядел (если б кто-то мог видеть его) и вовсе стариком, но возвращение снега обогрило его, хотя, выросший на юге, не снег любил он, а солнце, не зиму, а лето. Видимо, сама возможность возвращения веселила дух. Что-то еще, подумал он, да будет в жизни. Пусть недолго, пусть слабо, как эта краткая, на одну ночь зима, но — будет. Еще незнакомая женщина улыбнется ему в окне отъезжающего автобуса... Еще напишется страница, за которую не придется краснеть...

Света в большинстве окон не было, чернели мертво, но некоторые еще горели, а в одном на фоне желтой шторы раз или два мелькнула тень. К-ов осторожно протянул руку к дереву, коснулся пальцем снежного пуховичка, и тот протаял насквозь.

Собака рывком подняла голову. Часть снега слетела с морды, а часть осталась, и это придавало ей озорное, смеющееся выражение. Точно щенок проснулся в старом, большом, больном псе — с одышкой, как у человека, и храпом по ночам. «Ну что?» — сказал хозяин, и собака, возликовав (с нею заговорили!), припала на задние лапы, а хвост бешено заходил туда-сюда.

Сколько лет оставалось им жить на свете? Никто из них не думал сейчас об этом, не боялся и не заботился. Человек зачерпнул горсть снега и бросил в животное. Собака шустро отпрыгнула в сторону, потом в другую, и еще, еще, но все молча (в детстве подобные выкрутасы сопровождался тьяканьем), а он опять сделал снежок и опять швырнул в нее. и тоже молча. Так играли они вдвоем среди ночи, без единого звука, и, наверное, поэтому ему вспомнится позже,

когда, вернувшись домой, разойдутся по своим углам,— вспомнится залитый солнцем голый лес, без бабочек и жуков, без паутины, муравьев, огуванчиков, без шелеста листьев и лягушечьего далекого кваканья. Точно сами себя увидели во сне... Вот только себя в прошлом или себя в будущем? В будущем, когда их обоих уже не будет на свете, лишь безмолвные образы их останутся, беспризорные, разгуливать по земле.

ПОЖАР В ВЕТРЕНУЮ ПОГОДУ НА СКЛАДЕ ДЕКОРАЦИЙ

Первые пять лет, до получения квартиры, жили в доме тестя. Дом тестя был таковым не только по своему юридическому, так сказать, статусу. Тесть строил его. Собственными руками. Весь — начиная с фундамента и кончая крышей, которая сначала была черепичной, а потом, уже при зяте (и при его непосредственном участии), стала железной. Ибо железо, растолковывал хозяин, во много раз легче черепицы, хотя хлопот с ним больше: периодически красить надо.

К-ов в этих делах не смыслил совершенно. Обязанности подручного выполнял, чернорабочего, а архитектором, инженером да и главным исполнителем был этот пузатый чужой старик. Да, чужой, пусть даже официально и породнились.

Как ни странно, это не сблизило их, а, напротив, разъединило. Живя под одной крышей (сперва черепичной, затем железной), убеждались каждодневно, сколь различны они. Один копал, сажал, стругал, сверлил, красил, белил, другой с книжечками в основном возился. Что не мешало им относиться друг к другу с уважением. К-ов восхищался смекалкой и сноровкой тестя, его золотыми руками, а тесть, в свою очередь, гордился втайне ученостью зятя. И тем не менее были они чужими. За одним столом сидели, один ели борщ или одно делали дело (бурили, например, скважину), но все равно в разных мирах жили, и как же далеко отстояли друг от друга эти миры!

В доме с утра до вечера не стихал шум: хозяин двигал что-то, кряхтел, ругался на жену. В поисках тишины зять подымался на чердак, где пристраивался у слухового окна с книгой в руках. Отсюда хорошо просматривался березовый лес — еще молодой, посадка. Едва ли не у самого забора начинался и уходил вдаль, до белого фабричного корпуса, за которым скрывалось по вечерам солнце. Но скрывалось не совсем. С обеих сторон корпуса были окна, и лучи золотисто пробивались сквозь них, отчего огромное здание сплющивалось до одной-единственной стены с пробитыми глазницами. Точно гигантскую декорацию установили за лесом, который в эти минуты тоже казался ненастоящим.

Это было удивительное зрелище. Удивительное и тревожное. Иной, скрытый мир на миг являл себя взору, напоминая о непрочности, зыбкости, недолговечности всего, что нас окружает.

Сравнение с декорацией приходило в голову не случайно: поблизости располагался склад, где киношники держали свою отработанную утварь. Чего только не было тут! Колонны и балюстрады, русские срубы и индейские хижины, беседки прошлого века и космические корабли века будущего...

Окна вспыхивали, едва солнце переваливало за корпус, а стена — та темнела и как бы даже обугливалась. Частью порушенного целого казалась она — не важно, что в здании еще гудели станки и ходили люди. Следы обреченности уже проступили. Недвижимо и бесшумно сидел чердачный наблюдатель на выступе бревна — настолько бесшумно, что хозяин дома, поднявшись однажды, не сразу заметил его. Вздрогнул от неожиданности, крякнул — тут и К-ов, очнувшись, увидел тестя.

Некоторое время глядели друг на друга не узнавая. (А может, правда не узнавая?) «Фу, черт! — буркнул старик. — Напугал меня!» И, почесываясь, двинулся в темноту.

Молодой тоже испугался, увидев возникшего перед ним человека. Понял, разумеется: хозяин, отец жены (кто же еще!), но в то же время — неведомое какое-то существо, от внезапной близости которого перехватило дух.

Вообще говоря, разных загадочных и суверенных существ вокруг роилось множество. К-ов убеждался в этом, когда сидел на скамейке под старой яблоней, а рядом пульсировала хоть и не сразу заметная, но, если приглядеться, интенсивная и обильная, многообразная жизнь. Жучки, муравьи, бабочки, зависшие в дымчатом ореоле мушки, тяжелые пчелы, легкие, на длинных лапах пауки и паучки совсем крошечные... Эти последние упорно штурмовали небо; незримая паутина, по которой взбирались они, вдруг тонко вспыхивала на солнце.

Человек внимательно наблюдал. Боялся: сорвутся и упадут, — но никакой иной тревоги, смутной и тяжелой, не подымалось в его душе. А ведь как отличались от него эти летающие, ползающие, барахтающиеся существа! Не подымалось в силу как раз отличия, в силу полного несходства между ним и каким-нибудь мотыльком, на крылышках которого ошеломленно рассматриваешь многоцветные узоры.

Как ни удивительно (пришел к выводу К-ов), но пугает именно сходство. И чем полнее оно, чем ближе друг к другу индивидуумы, тем жутче от сознания, что сходство-то сугубо внешнее, а за ним — провал, пропасть...

Напряженно всматривался он в человека, что, щекотая и почесываясь, хлопотал по ту ее сторону. Иногда прерывался, конечно, пил на террасе чай (из блюдечка, громко отхлебывая), смотрел телевизор или с тем же К-овым гонял шары на бильярдном столе, собственноручно смастеренном, к восторженному изумлению знакомых.

Изумляться было чему. Массивный стол на резных ножках, с пружинящими бортами и ювелирно выделанными лузами если и отличался от фабричного, то в лучшую сторону. Но дело не в качестве даже. Двухспальная королевская кровать, скажем, заслуживала не меньших похвал, но кровать вещь привычная, а вот кто в наше время делает бильярды? Никто... Второго такого энтузиаста К-ов, во всяком случае, не встречал.

Что, может, заядлым игроком был его неутомимый тесть? Ничего подобного. Просто с незапамятных времен пылился в мастерской комплект шаров, то ли подаренный кем шутки ради, то ли купленный по дешевке. Вот и решил — не пропадать же добру! — изготовить все, что к шарам этим полагалось. И изготовил. Стол, четыре или пять киев, полочку с круглыми отверстиями, а также небольшую доску для писания мелом.

Тем же принципом — не пропадать добру! — руководствовался, затеяв бурение скважины для отвода грунтовых вод. В погребе появлялись эти коварные воды, где зимовали картошка и капуста, яблоки, бутылки с соком, а также емкости с самодельным вином из крыжовника и красной смородины. В данном случае, однако, не это все было «добром», пропадать которому нежное (к весне, когда ненадолго и в ничтожном количестве подступала вода, погреб опустошался уже), а лежащие вдоль забора трубы.

Прежде они валялись, брошенные, возле склада декораций. У старика сердце кровью обливалось. Останавливался, постукивал носком ботинка и, точно музыку, слушал с вдохновенным лицом долго не затихающий звон. «Какой металл! Сто лет в земле пролежит!»

В конце концов трубы оказались на участке среди зарослей малины. Здесь они, подобно бильярдным шарам, долго ждали своего часа и наконец дождались. Хозяин нашел-таки им применение. (Спа-

сибо грунтовыми водам!) К-ов в то время давно уже жил отдельно, в городской тесной квартире, но, призванный на помощь, добросовестно выполнял традиционную роль подсобного рабочего. «Давай!» — раздавалась команда, и он проворно перебирал ладонями в рукавицах позванивающую цепь лебедки.

Сперва бур шел легко, хоть и похрустывал камушками, потом началась глина, толстый, вязкий, бесконечный слой, пройти который требовалось непременно, чтобы добраться до песка. Дело застопорилось. Задыхаясь, мастер карабкался со своим брюхом по лестнице. проверял, не заклинило ли таль (К-ову столь ответственное дело не доверялось). спускался, снова карабкался...

В кармане лежала трубочка валидола. Сев на перекладину и сунув таблетку в рот, приходил минутку-другую в себя. «Может, хватит на сегодня?» — предлагал осторожно зять. Лучше б не предлагал! Старик сердился: как это хватит, пять метров прошли, пустяк остался... А было ему уже под семьдесят, уже сверстники умирали один за другим. Похороны, сороковой день, снова похороны и снова сороковой...

Однажды К-ов застал его в мастерской за изготовлением... Он даже ушам своим не поверил. «Чего?» — переспросил. «Гроба.— повторил тесть.— Матрена умерла, а гробы у них там из толя делают. Деревя нет». Там — это за сто с лишним километров отсюда, в районном городишке, куда свежеструганый, некрашенный, великолепный гроб отправился на крыше замызганных «Жигулей».

Перед этим тесть долго осматривал и охлопывал его. Гордился делом рук своих и, кажется, жалел, что такую славную штуку заруют в землю. «Мог хоть пять лет еще простоять. Хоть десять!» «Где простоять?» — недоумевал зять. «Да вон,— кивал хозяин на свежескрашенную крышу.— На чердаке. У отца два их было. Себе и матери». Но следовать примеру родителей не спешил, собственным не обзаводился гробом. хотя все чаще и чаще заговаривал о том, что зятюку следовало б присмотреться к хозяйству. А то случится, что и... Главное, внушал, не запускать. Красить вовремя крышу (о крыше почему-то особенно пекся), следить за насосом и, если забарахлит, менять муфту. Их, муфт резиновых, полно в мастерской. Под верстаком лежат, слева...

Не по себе делалось К-ову, когда слышал такое. Отмахивался да отшучивался, но — удивительная вещь! — старик в эти минуты не казался таким безнадежно чужим, на том конце пропасти.

Оба были людьми неверующими, но неверующими по-разному. Один вообще не думал о подобных вещах — какой там Бог, чепуха все это, вон гусениц на яблоне полно, обрабатывать надо,— другой, напротив, размышлял об этом постоянно. Из головы не выходили слова, на которые наткнулся в одном из чеховских писем, уже поздних за три года до смерти писал. Нужно, писал, верить в Бога — нужно! — а если веры нет, то искать, искать, искать одиноко...

Отчаяние слышалось К-ову в этом трижды повторенном «искать» Уж не полагал ли Антон Павлович, что найти все равно не удастся? Видимо, полагал. Во всяком случае, спустя год, в другом письме, прямо говорит, что человечеству-де потребуются еще десятки тысяч лет чтобы познать истину настоящего Бога.

А до тех пор? До тех пор, выходит, жить в неведении и пустоте? Верить на слово?..

Ни рационалист К-ов, ни прагматичный тесть его верить на слово не умели. Один логикой орудовал, другой так и норовил все вокруг руками пощупать. Хлебом не корми, дай только разобрать вещь, разложить аккуратненько внутренности, а после заново собрать все. Ну ладно, если насос или велосипед, а то ведь и за сложную технику брался. Раз забарахливший импортный магнитофон раскурочил, неделю колдовал, сопя и чертыхаясь, кроя японцев на чем свет стоит

(хотя магнитофон не японский был, европейской какой-то марки), но починил-таки, и машина с тех пор работала безупречно. Какая уж тут вера! Ему и так хорошо было, пустота не пугала — ни вверху, ни сзади, ни впереди, то есть после него уже, вот только б красили своевременно крышу да муфту меняли.

Именно дом защищал от ужаса и произвола слепых небес, где даже в самой глубине, оказывается, нет всевидящих глаз. Дом! Только дом... И когда однажды в ветреный осенний день на складе декораций вспыхнул пожар, и пламя вскинулось до небес — тех самых, незрячих, — и клочья живого липкого огня неслись в направлении его деревянного жилища, а пожарных все не было и не было, — то здесь уж старик перетрухнул не на шутку.

Треск, уханье, а время от времени — пушечная прямо-таки канонада. В воздух взлетали створки шкафов, у которых никогда не было ни боковин, ни днища, античные лепные фонтаны, откуда ни разу не била вода, золоченые кареты, так и не познанные дорожной тряски. Ажурный мостик прокувыркался в россыпи искр, потом — мост железнодорожный с могучими опорами из картона. Целая цивилизация гибла на глазах, но цивилизация не взыгрывалась, а некое подобие ее, фантом, форма, давно и напрочь утратившая содержание. Поднялась и словно бы зависла на миг церквушка, вернее, ее фанерный силуэт с куполом и крестом, уже объатым пламенем. В какой-то миг К-ову почудилось, будто видит он vzdыblенную фабричную стену — ту самую, с золотистыми окнами...

Порывы ветра далеко относили огненные снаряды. Некоторые падали на участок, на перекопанные грядки и клумбы с отцветающими астрами. А пожарники все не ехали. И тогда старик, запыхавшийся, с всклокоченными волосами, отшвырнув лопату, которой забивал угодливую в парник головешку, принялся торопливо разматывать слипшийся, задубевший — давно не поливали — шланг. К-ов бросился на помощь. Вдвоем растянули кое-как, и хозяин врубил насос. Шланг зашевелился, медленно оживая. Очень медленно...

Тесть тряс его и раскачивал. Рубаха расстегнулась, по белому пузу катился пот. Наконец выплеснулась первая порция воды, но струя тут же опала; прошла долгая секунда, прежде чем она распрямилась и окрепла. Старик направил ее на дом. «Форточку! — заорал. — Форточку закрой!» К жене обращался, но та стояла, прижимая к груди допотопные дамские сумочки и ничего не разумея, кроме одного: документы здесь, с нею.

Зять кинулся в дом, задраил окна, на которых уже сверкали брызги. Когда вернулся, тесть со шлангом карабкался по лестнице вверх: струя была слишком слабой, чтобы достать до свежекрашеного резного карниза. «Давайте я!» — крикнул К-ов, но разве мог хозяин доверить кому-либо спасительную кишку! «Ведрами! — орал. — Ведрами! Из бочки!»

К-ов понял. Огромная железная бочка с водой, предназначенной для полива картошки, стояла в отдалении, у грядок с вывороченной пожухшей ботвой, и он двумя ведрами бегом таскал ее оттуда, выплескивал с размаху на стены. Так и поливали — один сверху, другой снизу, — пока не подкатили наконец пожарные и не задушили огонь белой громогласящей пеной.

Все, опасность миновала. Выключив насос, хозяин грузно опустился на перевернутую лейку. Устало ощупал карманы мокрых штанов. «Валидол?» — догадался зять, тоже весь мокрый. Полетел в дом, принес спасительную трубочку. Выковыряв таблетку, положил на доверчиво подставленную ладонь.

Отец жены медленно сунул ее под язык. Дряблая, в седой щетине шея тяжело провисла, ко лбу желтый листок прилип, а на макушке торчал, как у ребенка, пепельно-серый хохолок.

От склада, еще недавно хранившего в своем чреве то, что люди

доверчиво принимали за подлинную жизнь, несло гарью. Старый человек утомленно прикрыл глаза, а молодой смотрел на него с бьющимся сердцем и — узнавал. Себя узнавал, свою сиротливость и беспомощность, однако страха не было в душе. Сходство не пугало, как прежде. Ибо сейчас это было иное совсем сходство, не то, что раньше, не близко увиденное, как тогда на чердаке, а словно бы схваченное чьим-то зорким глазом с головокружительной высоты. С той самой высоты, куда безуспешно пытались взлететь в огненных протуберанцах фанерные подобию земных предметов.

КОЛЕНЬКА СВИНЦОВ НА БЕРЕГУ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ

Если ехать от курортного городишка Кушадасы в сторону величественного и мертвого, еще не до конца раскопанного Эфеса, то слева от шоссе, на обочине которого безнадзорно желтеют бутылки и банки с медом (безнадзорно, потому что продавцов не видать, однако стоит машине остановиться, как они тут как тут), — слева от шоссе высятся за чинарами сложенная из гигантских, цилиндрической формы камней буровато-серая колонна. Это памятник Герострату. Так, во всяком случае, окрестил его Коленька Свинцов. Тому самому Герострату, что, желая якобы увековечить свое имя, спалил храм Артемиды, одно из семи чудес света.

Слово я к о б ы также принадлежит Свинцову. Коли, рассуждал он, построчка, которую возводили три поколения архитекторов, а потому о какой гармонии может идти речь, тем не менее вошла в историю как шедевр зодчества, то заслуга в том не столько архитекторов, сколько эфесского подвижника Герострата. Именно он придал храму черты высшей соразмерности. Сущее — дом ли, книга ли, человек — никогда не бывает безупречным. Оно становится таковым, лишь когда исчезает с лица земли. В этом смысле всякая гибель созидательна. Чтобы достичь совершенства, надо умереть. Одним словом, рассыпавшаяся на части, но после благовоейно собранная колонна — единственное, что сохранилось от «чуда», — может по праву называться памятником человеку, который завоевал привилегию остаться в сознании потомков. И он, Коленька Свинцов, желал бы памятник этот посмотреть. «Так видели же! — удивлялся гид. — Когда проезжали». «Я хочу вблизи посмотреть», — настаивал капризный турист, и группа вздыхала тяжело, но спорить не спорила. Бесплезно... Как облупленного знали Коленьку: он был такой же достопримечательностью института, как, скажем, Эфес — достопримечательностью Турции, поездку в которую с превеликим трудом выбили у «Интуриста» профсоюзные институтские лидеры.

Работал Коленька ассистентом на кафедре русской литературы. Давно бы защититься мог: диссертация лежала готовая — или почти готовая, — но все тянул, все откладывал. «А зачем?» — спрашивал, и никто почему-то не решался ответить, а он, скрючившись на стуле («Узлом завязался», — пустил кто-то острогу), худой, кожа да кости, темный лицом, смотрел на собеседника в деланно-послушном ожидании. Дурака валял! Не знал будто, зачем защищаются люди. Зачем карьеру делают или обзаводятся, скажем, семьей.

Когда-то у него тоже была жена, но недолго совсем, развелись, и в течение многих лет жил вдвоем с матерью. Она тяжело болела, и он ухаживал за ней так, как редко какой сын ухаживает за стариками родителями. Потом мать умерла, и он сразу постарел, осунулся, совсем есть перестал. На обед в институтской столовой брал какой-нибудь гарнир — один гарнир, без основного блюда, — да и тот, поковырившись, брезгливо отставлял в сторону.

Зато сигарету не вынимал изо рта. Создавалось впечатление, будто знаток Гоголя (именно о Гоголе была злополучная диссертация) сознательно морит себя подобно кумиру своему и духовному наставнику.

Но при этом хорохорился и странные отпускал шуточки — не в гоголевском вовсе духе. Откроеет, к примеру, дверь и, картинно опершись на трость (а потертый пиджак висит как на жерди, а шея тонка и морщиниста, а под глазами синячищи), вопрошает пьющих чай лаборанток: «Что, девочки! Прельщаю я вас как мужчина?» «Прельщаешь, Коленька,— охотно поддакивали ему.— Очень даже прельщаешь». «Тот же! — подымал он указательный палец, такой же, как хозяин его, сторбленный и тонкий.— Женщины чуют мужскую стать».

С ним весело соглашались, чайку предлагали, и он не отказывался. Есть не ел, но чаю выдувал много, и чаю крепкого: чашка, щербатая, без ручки, обмотанная, чтоб не обжигало, изоляционной лентой, была вся черной. Раз кто-то из женщин вымыл ее, дочиста оттер содой, Коленька же, увидев, аж позеленел весь. «Герпеть не могу,— процедил,— когда трогают мои вещи».

То был единственный случай, когда он допустил по отношению к прекрасному полу неджентльменский тон. Зато с мужской частью института, особенно с начальством, пребывал в состоянии постоянной войны. Во все дырки лез, учил и наставлял, строчил проекты, как реорганизовать работу факультета, института да и высшее образование в целом.

Больше всех доставалось декану. Прямо-таки третировал его — и публично и в приватном порядке, тет-а-тет,— когда же тот, придравшись к какой-то оплошности, уволил бузотера, то Николай Митрофанович Свинцов подал в суд. С полгода тянулась волянка, причем женщины, все как одна, были за Коленьку, хотя особенно не афишировали, боясь немилости руководства.

Суд Коленьку восстановил. Для другого хорошим бы уроком стал инцидент, затих бы, утомился, но Коленька Митрофанович (так ласково звали его лаборантки) упрямо продолжал самоубийственную вражду. Самоубийственную, поскольку начальство только и ждало случая, чтобы избавиться от скандалиста. Если до тех пор, конечно, его не приберет к рукам старуха с косою, в объятия которой он столь целенаправленно и бесстрашно лез...

Собственно, одной ногой уже там был. Земные радости не прельщали аскета, телевизора и того не имел («Я,— говорил,— не смотрю этой пакости!»), но вот возможность прокатиться в Турцию неожиданно воодушевила его. Не во Францию, не в Италию («Туда не хочу»,— махал вялой ладошкой, хотя т у д а и не звал никто), а именно в Турецкую Республику. Так и именовал впоследствии: Турецкая Республика,— чем сразу заслужил симпатию гида.

В гостинице, как положено, жили по двое. На пары разбивали еще в Москве, и вся мужская часть группы заклинала: только, ради бога, не со Свинцовым. А Свинцов? Свинцов ухмылялся щербатым ртом и просил поселить с кем-нибудь из дам, желательно помоложе. Уж он-то не ударит в грязь лицом.

Поселили с К-овым. Со стороны последнего, как расценивали другие, с признательностью пожимая добровольцу руку, это был шаг благородный, но сам он в своем внезапном согласии угадывал едва ли не промысел. Чем-то Коленька притягивал его. Чем-то волновал и заставлял о себе думать. Чем? Уж не своим ли тихим, медленным и убежденным саморазрушением, залогом и условием грядущего совершенства? К-ову ледащий соблазн этот был ох как ведом... Случались минуты (темные минуты), когда выйти на балкон боялся. Но и не выходя все так ясно и жутко рисовал себе... На одиннадцатом этаже жил беллетрист К-ов, а внизу, под балконом, жались между дорогой и окнами хилые палисаднички, огороженные проволокой с черными металлическими штырями...

Понял бы его Коленька Свинцов? Возможно б, и понял, но одобрить не одобрил и даже, пожалуй, назвал бы пошляком. Раз уже было так. Повесился сорокалетний доцент, близкий товарищ К-ова, и в ти-

шине, которая наступила после испуганных женских ахов, раздалось вдруг: «Какой пошляк!»

Это Свинцов сказал. Даже женщины, которые все прощали блаженному, на сей раз посмотрели на него с осуждением. О покойном-то! Совсем спятил... Коленька не смутился, однако. Запахивая поплотнее старую, еще матерью штопанную куртку, прибавил: «Разве так это делают!»

К-ову слова эти запали крепко. И слова и — главное! — тон; тон человека, который видит истину — давно видит, ясно, а потому искренне удивлен, что от кого-то она, оказывается, сокрыта...

В Анкару прилетели в полдень. До вечера бродили по городу — уже из последних сил, со слипающимися глазами, — когда же К-ов дорвался наконец до постели, сон покинул его. Стоило прикрыть веки, как начиналось мельтешение. Автомобили на горбатых улицах — сплошным потоком, непонятно как выреливающие, только стекла вспыхивают на солнце да высовываются из окон волосатые руки, грозя кому-то... Мотоциклисты в белых и красных шлемах, продавцы обсыпанных тмином лепешек, старухи в парандже, торговцы цветами и просто цветы — на тесных газончиках посреди улицы, — жирные усачи у мангалов, одной рукой пестующие шампур, другой настраивающие транзистор. Вот только звуков не слышать — ни ошалелых автомобильных гудков, ни транзисторной однообразной на европейский слух музыки, ни трелей полицейских, ни унылых криков лепешечников. Вся эта какофония там осталась, в сиянии дня, первого дня на турецкой земле («Турецкой! — замороженно твердил про себя К-ов. — Турецкой!»), в ночь же вползли неслышной вереницей лишь зрительные образы. Толпясь, кружили перед дисциплинированно зажмуренными глазами, и был только один способ остановить эту изнурительную карусель: поднять веки. Что и делал К-ов. Карусель пропадала, зато, материализуясь, надвигался лежащий на соседней койке человек, такой же неслышный и такой же другой, из другого мира, как и сгинувшие только что призраки.

В тревоге прислушивался К-ов. Ни дыхания, ни скрипа кровати... И вдруг, проломив тишину, ворвался протяжный, надрывный какой-то крик, потом еще один и еще, и не друг за другом, а одновременно, в разных концах, далеко и близко. Совсем близко, под самым окном, и очень далеко — этот долетал, ослабленный, с запозданием, когда ближний начинал выводить новую руладу. Казалось, весь город, только что распростертый в тяжелом и чутком сне, внезапно пробудился и жалобно многоголосо завыл, в страхе запрокинув к небу бескровные лица.

То была мусульманская служба. Потом К-ов привык к ней, а натренированный глаз без труда различал на белых минаретах громкоговорители, откуда лилась, записанная на пленку, молитва — и ранним утром, и поздним вечером, и днем, конечно, но днем она тонула в гомоне восточного города, поэтому в первые часы не обратил внимания, когда же голоса имамов, очищенные от дневного шума, ворвались в гостиничный номер, путешественник от неожиданности и страха (да, страха!) сел на кровати.

Силует другой кровати вырисовывался в темноте неподвижно и как-то плоско, будто на ней не было никого. Имамы смолкли — К-ов уловил даже слабый щелчок аппаратуры, но не понял, что это. Подтянул одеяло, кашлянул. Надавил рукой на пружинящий матрас, но тот не отозвался. Соседнее ложе по-прежнему не подавало признаков жизни. Тогда он, слотнув, произнес чуть слышно: «Спишь?»

Теперь тишина была еще глубже, чем до молитвы, и в этой гулкой тишине отчетливо и спокойно прозвучало: «Я никогда не сплю».

С облегчением перевел напарник дух. Суть сказанного не имела значения, главное — здесь (будто мог испариться куда-то!), главное — жив (будто мог умереть в одночасье! А впрочем, мог), главное — не

потерял рассудка от затопивших город трагических песнопений. А что не спит — так ведь и он тоже не спит. Слово «никогда» прошло мимо сознания, но прошло не бесследно, отпечаталось, и все последующие ночи, вслушиваясь напряженно в безмолвную кровать, одновременно вслушивался и в ту удаляющуюся — «Я никогда не сплю» — фразу.

То есть как это никогда? Чушь, бессмыслица, но — странное дело! — чем дальше углублялся в непонятную, ошеломляюще красивую страну, тем больше убеждался К-ов, что Коленька сказал правду. Путешествие к концу подходило, но хоть бы раз услышал дыхание спящего рядом человека!

А страна и впрямь была красивой, особенно субтропики Эгейского моря, к которому долго пробирались сквозь горы, то ярко-зеленые, то голые, с осыпающейся породой. Все ждали: вот сейчас, сейчас засинеют вдали античные воды. Было начало ноября, купальный сезон давно кончился, но это для изнеженных капиталистов кончился он, наши же готовы были влезть хоть в восемнадцать, хоть в семнадцать, хоть в шестнадцать градусов. Гид сулил, что ниже шестнадцати в это время не бывает.

Гид ошибся. Море до десяти остыло — даже самые отважные и самые закаленные, попробовав рукой ласковую на вид воду, вздохнули сокрушенно и отошли прочь. Только один разделся до трусов — желтые, с голубыми разводами, они смотрелись на тощем теле гигантскими панталонами — и, сжавшись весь так, что его уже и не увидеть было среди массивных булыжников, прокрался на цыпочках в древнее море.

То, конечно, был Коленька Свинцов. Никто не удивился особенно — от Коленьки всего ждали, — но забеспокоились: свалится, черт такой, с воспалением легких, возись потом с ним — в чужой-то стране! Кто-то буркнул даже, что если так уж не терпится уйти в лучший мир, то необязательно переться для этого в Турцию.

Бог миловал: Коленька не то что воспаления легких — даже насморка не схватил. Хотя мало что в студеной воде искупался, а еще и проторчал полночи на балконе.

К-ов обнаружил его там уже под утро, проснувшись от холода. Натянув одеяло, глянул привычно на соседнюю кровать — пусто. На сей раз действительно пусто, не померещилось. И тут-то увидел на балконе завернутую в одеяло фигуру с огоньком сигареты. А еще увидел в небе над Коленькиной головой опрокинутый (а не полустоящий, как у нас) лунный серпик с яркой звездой посерединке. Не удержавшись, встал, тоже закутался в одеяло и вышел на балкон.

Город спал. Фонари освещали пустую набережную и уходили равномерно в воду, в недвижимую черную глубину, откуда подымались потом на катерки и большой стоящий на рейде паролод. Вплотную к морю подступали горы. На их фоне слабо белели столбики минаретов, окруженные, как свитой, черными кипарисами. «Красота спасет мир», — подумал, а потом и вслух сказал К-ов, пораженный открывшимся внезапно новым смыслом затасканной фразы. Безрелигиозный, линейный, обезбоженный мир спасет красота — это имел в виду Достоевский? Не это... Ибо получается, что красота не в содружестве с Богом, а в месте него. С подобным Достоевский не согласился бы никогда. К-ову хотелось поговорить об этом, но Коленька, докурив, без единого звука скользнул в комнату.

Невидимый с балкона, пульсировал маяк — розоватый отблеск выхватывал из мрака склон горы и стоящие под ее прикрытием скелеты яхт с длинными голыми мачтами. Приземистый зверек неопасливо, по-хозяйски перебежал дорогу. Крыса? К-ов еще раз окинул взглядом звездное небо с чужим лунным серпиком и пошел досыпать. День предстоял напряженный: Эфес, значилось в программе, потом — храм Иоанна Богослова, что, оказывается, заканчивал в этих краях свою долгую, уже после Учителя, жизнь, потом — домик девы Марии на Со-

ловьиной горе... Заснуть, однако, удалось не скоро. «Красота,— произнес вдруг Коленька,— не спасет мира.— И, помолчав, прибавил старческим, скрипучим каким-то голосом: — Красота уничтожит его».

Тогда-то впервые и услышал К-ов о принципиальной недостижимости совершенства.

Достичь, впрочем, идеала можно, но одним лишь способом: уничтожить то, что к нему приближается. Уничтожить! Думаешь, вопрошал Николай Митрофанович, Гоголь не понимал этого? Еще как понимал! Погибший второй том безупречен — в отличие от уцелевшего первого. Вот и Вергилий на смертном одре наказывал сжечь «Энеиду», но его не послушались. А какой бы шедевр был! «„Энеида“ и так шедевр»,— осторожно возразил К-ов. Коленька захихикал: «Ну да... С ее оборванными строками».

О Герострате в ту ночь не было сказано ни слова, но когда на другой день по дороге из Эфеса к Иоанну Богослову привередливый турист потребовал остановить автобус и выпустить его, дабы мог рассмотреть хорошенько памятник «четвертому зодчему» (первые три — те возводили храм), то К-ов ничуть не удивился.

Николая Митрофановича оставили, и автобус, урча, полез наверх, к последнему пристанищу того, кто возлежал в час прощального ужина на груди Учителя.

К-ов об этой ночной трапезе думал часто. Ему казалось, все было совсем не так, как изображается на знаменитых фресках. Да и в самом тексте тоже... Неужто провидец и впрямь понукал изменника? Неужто бросил: что делаешь, делай скорее? Куда спешил? Зачем? Или Коленька Свинцов прав: измученный незавершенностью своей чело- век (пока еще человек) алкал гармонии?

На облепленном сувенирными лавками пяточке автобус остановился. Дальше пешком пошла. Дорога круто подымалась между белых камней, в которых шныряли ящерицы.

Странно, но ветра наверху почти не было. К-ов подождал, пока словоохотливый гид ответит группу, и медленно огляделся. Не здесь ли, подумалось ему, и диктовал старец Иоанн свои грозные откровения? Не здесь ли пророчил конец грешному, несовершенному, но стремящемуся к совершенству миру?

Позже, уже дома, перечитывая Апокалипсис, К-ов вспомнит, как сидел, свесив ноги, на нагретой солнцем каменной кладке, что огораживала святилище, а далеко внизу расстилалась библейская земля в зелени садов и черепичных крышах. Подобно черным штырям торчали, маня, пики кипарисов.

Видел он и вздымающуюся над игрушечными тополями Геростратову колонну. Как муравьи, копошились вокруг человеческие фигурки. Где-то среди них был Коленька Свинцов.

ПЕРВЫЕ ДНИ БАБЫ РЕГИНЫ ПОСЛЕ АРЕСТА СЫНА

Вообще-то у нее было два сына: удачный и неудачный, или б л у д н ы й, если говорить языком притчи, о которой и сама баба Регина и ее дети имели, по-видимому, весьма смутное представление. Понаслышке знал ее и К-ов, когда же прочел впервые, то ему и в голову не пришло воспринять этот евангельский сюжет не то что как реальность, но даже как отражение реальности. Безымянные какие-то люди, безымянная страна, безымянное время... Какое отношение имеет все это к грубому, с запахами и звуками миру, по которому расхаживала босиком голосистая баба Регина? Впрочем, мир этот тоже ушел в прошлое, бесплотным и бесшумным стал, как легенда, внутри которой непостижимым образом находился он сам.

Беспокойно всматривался стареющий К-ов в этого вихрастого мальчика. Некую словно бы вину угадывал за ним, и связано это было с

бабой Региной. Вину за что? Никогда ведь не обманывал ее, никогда не обижал, да и тогда, в прошлом, в легенде, не было никакой вины, это он помнил точно. А после уже не встречались. Не знал даже, жива ли. Может, жива — женщина была крепкая. Крепкая не только физически, но и духом тоже.

Во дворе побаивались ее. Что думала, то и говорила, в глаза резала правду-матку, ни для кого не делая исключения. В том числе и для собственных сыновей.

Старшего, впрочем, костить не за что было: работающий, тихий, услужливый... Вот разве что не в поле трудился, как его библейский предшественник, а на ниве народного просвещения: химию преподавал, науку загадочную. Почти Менделеев... Младший так и звал его — Менделеев, что свидетельствовало о некоторой иронии, но иронии доброй.

Сам он, низкорослый, жилистый, с прыщавым личиком, работал пожарником. Однажды, рассказывали, предотвратил катастрофу на нефтебазе, где загорелось что-то, в другой раз, подобно Дубровскому, вытащил из пламени кошечку.

Было между ним и Дубровским и еще кое-какое сходство. Тоже шайкой заправлял, хотя на большую дорогу не выходили, в городских резвились переулках. Не всякая мать распространялась бы о таком, но баба Регина, старуха прямая и справедливая, называла вещи своими именами. «В тюрьму сядешь, гад! — пророчила громогласно. — В тюрьму! И от меня, заруби на носу, не жди писем. Вот она, рука, нехай отсохнет, если напишу!»

Неизвестно, писала ли она, когда сел, но он писал. И матери писал, и брату. Рассудительные, чуть наивные послания, с отступлениями о благородстве и добропорядочности. Под статью содержанию был и почерк. Каждая буква выводилась отдельно и нет-нет да украшалась какой-нибудь завитушкой. На свободе люди не пишут так.

Но самое удивительное было не это. Самое удивительное заключалось в том, что он, живущий в неволе, жалел брата. Не завидовал (хотя и завидовал тоже: «В море купаешься! Счастливчик!»), а жалел. Вспоминал, как сам издевался в школе над учителями, — и сочувствовал бедному Менделееву. «Скажи обалдуям своим: скоро вот вернется младший братишка и потолкует с вами. По душам! Аликом, скажи, зовут. Сын бабы Регины. Должны знать... Меня в городе все знают».

Менделеев, прочитав, отдавал письма матери, а уж та делала их достоянием соседей. С молодых лет привыкла нараспашку жить. Да и как спрячешься, если комната одна, а кухня и коридор общие, не говоря уж о расположенных во дворе коммунальных удобствах.

Мужа ее, Аликиного отца, К-ов помнил смутно. Был еще другой муж, отец Менделеева но погиб на фронте, а с новым прожила недолго: без руки вернулся с войны, но и одной, левой, вытворял такое, что милиция наведывалась что ни день в гости. Пока совсем не забрала бузотера, и он пропал, сгинул... Баба Регина, однако, напоминала о нем младшему сыну часто: «По стопам папочки хочешь, да?»

Не помогало. Не останавливал Алика печальный пример родителя. А может быть, даже и вдохновлял? Ибо раз прыщички на лице покраснели, глаза кровью налились и губы, приоткрывшись, выпустили: «Не трожь отца!»

Баба Регина опешила. То был единственный случай, когда сын повысил на нее голос. Вернее, понизил — до гусяного какого-то шепота, обычно же отмахивался да отшучивался: «Ну перестань, мама! Поглядь-ка лучше рубашку».

Франт был тот еще. Кондукторов не хватало, и она по две смены вкалывала на своем трамвае, зато сына одевала с иголки. Младшего... Старший сам себя содержал. Учился и работал, не пил, не курил, с девицами не гулял, а по вечерам, оставшись один, играл на скрипочке. Потом женился. Не на вертихвостке, как с гордостью говорила мать,

к тому времени вышедшая наконец на пенсию, а на женщине положительной, с квартирой.

Баба Регина не могла нарадоваться на первенца. Счастливейшей матерью была б, кабы не младший. Угораздило ж родить такого олуха — это в сорок-то без малого лет! «Зачем? — вопрошала соседей, с интересом внимающих ей. — А затем, что — во!» И по лбу, по лбу себя так, что крупная голова ее звенела и упруго раскачивалась.

Алик хмурился, шмыгал носом, но ничего, помакивал. Понимал: мать права, — и даже письма из тюрьмы подписывал: твой непутевый сын. Или, когда Менделееву писал, — брат. Твой непутевый брат... Однако жалел «путевого» — жалел! — и дело тут, догадывался К-ов, не в одних лишь школьных сорвиголовах, с которыми грозился поговорить, освободившись, и даже не в них вовсе, а в чем-то другом.

Странный пробел обнаружил К-ов в притче о блудном сыне. Не только ведь с отцом встретился тот после долгих скитаний, когда родитель, бросившись на шею гуляке, и лучшее платье ему, и перстень на исхудалую руку, и упитанного телка, — не только с отцом, но и с братом-трудягой, а всеохватная книга о встрече этой почему-то умалчивает.

К-ов хорошо помнил, как держала себя баба Регина в первые дни после ареста сына. Никто не удивлялся тогда ее самообладанию, потому что особого самообладания не замечали. Наоборот! Так и клокотала вся от праведного гнева. Допрыгался, черт! А ведь она предупредила! О-о, как предупредила она! Теперь, шалопут, кусает локоток, да поздно. «Погодка-то, погодка! — И воздевала глаза к цветущей вишне, под которой собрались дворовые кумушки. — Люди весне радуются, а он...»

«Может, обойдется еще?» — несмело молвил кто-то. Баба Регина, словно ожидавшая этого, тотчас оборотилась к непрошеному адвокату. «Не надо! — покачала перед носом защитника грозным пальцем. — Не надо, чтоб обходилось. Что заслужил, то и получи... Сама скажу, если спросят: судить мерзавца! Судить беспощадно!»

Так разорялась посреди весеннего двора босая, простоволосая женщина, у которой судьба отобрала сперва одного мужа, потом другого, а теперь и сына еще, так присягала громогласно справедливости, а на седую голову ее падали, кружась, белые лепестки.

К-ов взирал на нее с восхищением. Кажется, слегка даже завидовал Алику: какая мамаша у человека! Хотя быть на месте Алика не желал бы...

Вечером вышла из дома разнаряженная, с матерчатой розой на груди. В парикмахерскую отправилась, где ей сделали завивку, потом — в кино, на последний сеанс, о чем также известила двор. «Изумительный фильм! Их трое, а он один, да еще шпага сломалась...» Заинтригованный К-ов принялся гадать, что за картину смотрела, но ни в одном из кинотеатров города — а было их раз-два и обчелся — ничего подобного не шло. Тогда он подстерег бабу Регину у колонки, где она полоскала белье, и, набравшись духу, приблизился. «Какое кино?» — не поняла она. «Вы смотрели, — залепетал он. — Позавчера... шпага еще сломалась».

Она нахмурилась. То ли завивка изменила ее, то ли просто никогда не видел так близко Аликину мать, но вдруг почудилось любителю приключенческих фильмов, что перед ним не мать Алика, не баба Регина, а незнакомая старуха. «Шпага?» — переспросила. Кажется, и она тоже не узнавала соседа — так напряженно и тревожно вглядывалась. Над запекшимся ртом белели седые редкие усики, а у носа бородавка торчала.

Внезапно подхватила одной рукой таз с бельем, другой крепко взяла К-ова за локоть и потащила к себе. Он подчинился. Ни единого вопроса не задал, лишь косился опасливо на большие ноги с толстыми желтыми ногтями.

Прошлавав по длинному коридору, толкнула коленкой дверь. «Заходи!» — приказала и выпустила наконец локоть. С тазом возилась — или не с тазом уже, с другим чем-то? — а он неприкаянно стоял у порога.

Ширма делила комнату на две неравные части. Та, что побольше, пестрела наклеенными на стену фотографиями легковых машин. Не наших, из иностранных журналов... К-ов понял, что здесь жил Алик. Что-то, однако, удивило его, но что — сообразить не успел: баба Регина принялась угощать тортом. Не магазинным — собственной выпечки. Чуть ли не в лицо совала тарелку, на которой лежал щедрый розовый кус, а рядом — чайная ложечка: «Ешь! Садись и ешь!»

На высокой табуретке устроился он, возле печи, аккуратно застеленной клеенкой. С наступлением тепла она, видимо, превращалась до холодов в обеденный стол. Гость ел, а хозяйка, сотворившая сие чудо (потом, задним уже числом, К-ов поймет, сколь вкусно было это многоэтажное цветное сооружение), — хозяйка, поджав губы, немо смотрела на него старыми глазами. И вдруг подмигнула.

Ошеломленно замер он с набитым ртом. Стучали ходики, за запахнутым окном чирикали воробьи. Тут и другое веко дернулось, рот скривился, и мелко-мелко задрожали усики.

Ни жив ни мертв сидел К-ов. Что-то мягко шлепнулось под рукой. На блюде покосился перепуганный сладкоежка. Рядом с полуразрушенным треугольником лежал выпавший из ложечки шматок торта. В то же мгновенье потянулось, нарастая, детское какое-то поскуливание. Баба Регина? К-ов, только что слышавший ее кондукторский рык, не верил собственным ушам. «Паразит! — разобрал он. — Негодяй... Собака...» Еще что-то, уже не ругательства, уже про весну. Про ту самую весну, что ломилась в окно буйным теплом, запахами ломилась и звуками. «Редисочка пошла...»

Сколько дней минуло после ареста? Три? Четыре? Не больше четырех, а ей небось мерещилось — вечность. Малолетка К-ов не ощущал этой вечности, как не ощущал вкуса торта, как не понимал, что именно удивило его в комнате (ширма; твердила направо и налево, что Алик всерьез загремел, надолго, а ширму не убирала), но придет час, когда он узнает, сколь длинны бывают одни-единственные сутки. Тянутся, как ни заполняй их — вроде бы до отказа — делами, как ни бегай по кинотеатрам и парикмахерским, как ни твори по ночам сказочные лакомства... Отчего не творить? Мир, что ли, провалился в тартарары? Разверзлась земля под ногами? Ничего подобного. Торжествует справедливость, и она, как честный человек, рада этому.

Ей верили. Восхищались ее стойкостью — другая б на месте бабы Регины лезла из кожи вон, выгораживая сыночка, — смеялись в ее присутствии и звонко разгрызали молодую редиску, не подозревая, как страшно отзывается в сердце матери этот весенний хруст. Лишь один различал сквозь гул и треск холодных пространств как бы тихие позывные. Не под их ли аккомпанемент и писались те поразившие мальчика-соседа тюремные письма?

Пройдет время, мальчик вырастет и тоже пристрастится водить пером. Не над письмами, правда, будет корпеть, над другим, но так ли уж существен жанр? Главное — расслышать голос...

Отложив беспомощное перо, в отчаянье ловит сочинитель книг таинственную речь. Увы! Слова замирают подобно тем автомобильчикам на стене, он отчетливо видит их, но звук не доходит. Точно уши заложило... Слова замирают — и чужие слова и свои собственные — на костенеющем языке. Мычишь, глухонемой утешитель, а босая женщина — там, вдалеке, — напряженно и с надеждой вслушивается.

БОЛГАРСКИЙ ДОМИК ШЕСТЬ ДРОБЬ ВОСЕМЬ

Отчетливо видел, как в сопровождении чаек подплывают к поселку, как хрипатый матрос бросает канат на пристань, а потом с грохотом выдвигает дощатый трап. Трап покачивается вверх-вниз, но дочь — ничего, она ведь опытный путешественник. Решительно ступает на хлипкий мостик. В руке — и это он тоже видел — авоська со спасательным поясом. Пористые белые сегменты трутся друг о дружку, издавая сухой, шуршащий, сугубо летний звук... Словом, начало рассказа было готово, садись и пиши, но дело застопорилось самым неожиданным и не литературным отнюдь образом: героиня запротестовала. Лицо красное, слезы на глазах... С такой враждебностью, с таким презрением она, кажется, не смотрела на него ни разу. «Предатель! — читал он в ее взгляде. — Предатель!»

К-ов растерялся. Ну ведь это, принялся объяснять, рассказ, литературное произведение, кому в голову придет, что родную дочь описывает! Да и не ее вовсе, просто взял некоторые мотивы. Ситуацию взял. Больно уж необычна, нестандартна, он не читал подобного... Она не слушала. Всхлипывала и вздрагивала, терла нос скомканным платочком. И тогда он — а что оставалось делать! — пошел на попятную. Хорошо, сказал, не буду. Слышишь? — не буду.

Платок замер; зажатые между пальцев, белели кружавчики. «Честное слово?» — произнесла она, и таким взрослым, таким женским — именно женским! — была сипловатый от влечения и слез голос. «Честное слово», — поклялся он и обещание сдержал. Ни строчки не было написано, но это на бумаге, в голове же история болгарского домика, как он условно окрестил ее про себя, складывалась потихоньку в единое и связное целое. И не беда, что многих кусочков недоставало, — на помощь фантазия приходила. Пробелы заполнялись мало-помалу, и даже выветился финал: рассказ заканчивался на той же пристани, где и начинался. Они не уезжали еще, нет, впереди была целая неделя беспечной курортной жизни. Уезжали другие — юная пара, которая, не подозревая ни о чем, стала причиной страданий, и восторгов, и слез, и смеха, и сладких снов, и первой бессонницы... Из-за которой пятнадцатилетняя девочка жертвовала даже купаньем. Сопками жертвовала...

Здесь, наверно, паслись на длинных веревках козы и всегда был хоть маленький, но ветерок, что делало это место идеальным для запуска воздушных змеев. Их и запускали тут — кто самодельных, кто фабричного производства. (Из-за границы привозили.) Эти последние напоминали гигантских мотыльков. Заходящее солнце ярко освещало их, а над ними, всегда почему-то в одну сторону, медленно тянулись то поодиночке, то небольшими стайками темные, усталые живые птицы, такие невзрачные по сравнению с птицами искусственными.

Прошлый раз, три года назад, важные обладатели импортных мотыльков иногда давали дочери К-ова подержать игрушку. Нить водило туда-сюда, она подрагивала в руке и вдруг исчезала. Растворялась в солнечном свете. Змей парил сам по себе, вольно и независимо, как птица, и девочка боялась, что он, как птица, улетит к скалам. А мать с отцом сидели поодаль на теплой, жесткой, сухой земле вполоборота к ярко-синему, ровному внизу морю, по которому полз белый кораблик, растирали в ладонях твердые бугристые стебельки южных трав с их пронзительным ароматом. Казалось, дочь, подобно желтому, с черными пятнышками мотыльку, тоже сама по себе, отдельно от них, и это тешило родительскую гордость, однако нутром ощущали натяжение, напряжение связывающей их незримой нити.

Лишь через три года оборвалась она. Ровно через три, в этих же местах, встречу с которыми они так предвкушали среди долгой стужи.

Нить оборвалась, и легкое дитя их понесло, подбрасывая и кувыркая, а они, тяжелые, остались на месте. На своем бугорке сидели, растярали и нюхали травы да изредка поглядывали, теперь уже без особого интереса, на хвостатые геометрические фигуры в небе.

С чего началось все? Конечно, с домика, с болгарского домика, где жили три года назад. Сейчас их в корпус поселили, двухэтажный, из белого камня, что считалось классом выше. А ей не понравилось. Домик, твердила, лучше. Они расценили это как каприз, как детскую наивность — не ценит комфорта, глупенькая! — и лишь после сообразили, что то был симптом повзреления.

Один из симптомов... Тот же, например, спасательный пояс можно ведь было и не брать вовсе, давно плавать выучилась, но ей хотелось, чтобы пояс с ней поехал. И вообще чтобы все было как тогда. И домик (она помнила его номер — шесть дробь восемь), и дальний, у окна, стол, и золотозубая официантка... Все как тогда, словно время замерло, остановилось, а она вперед ушла, убежала, и все-то у нее теперь будет иначе. Все! Это предчувствие нового, это ожидание необыкновенных и значительных событий переплелось с радостью возвращения — первого в ее жизни возвращения в детство. Значит, детство и вправду кончилось, но, оглядываясь, она не грустила, как грустят взрослые (совсем взрослые), а веселилась и праздновала душой.

Сунув пояс под кровать, где он пролежал, забытый, до самого отъезда, переделалась и выпорхнула — пусть родители разбирают вещи. Быстро по аллейке шла, между южных деревьев, уже начавших желтеть от зноя и засухи.

Ноги сами свернули к болгарским домикам, и в первый момент молодая курортница не узнала их. Как теремки стояли: маленькие, цветные и почему-то очень близко друг от друга. Будто кто-то большой и сильный аккуратно сдвинул их, нагнувшись, могучими ладонями. Три года назад, во всяком случае, не теснились так и разноцветья, как теперь, не было. Все — одинакового зеленого цвета; посторонний вряд ли мог отличить один от другого, а она хоть бы раз перепутала! Но это тогда, а сейчас, растерявшись, не сразу отыскала свой. Спасибо номер помог: шесть дробь восемь. Цифры крупно желтели на голубом веселеньком фоне.

Проходя мимо, скользнула взглядом по распахнутому окошку, но увидела лишь графин с небольшой белой розой. Графин был такой же, как и тогда (или, может быть, тот самый?), и на том же стоял месте. Возвращаясь в знойные часы с пляжа, жадно пила из него... А вот сливовое дерево с синими от пыльцы, будто зрелыми, а на самом деле зелеными еще плодами. Она вспомнила, как исподтишка срывала по яголке каждые два-три дня — вдруг поспели! — но так и уехала, не попробовав.

Навстречу шла тетенька в белом халате. В руке — ведро, а из ведра веник торчит... Юная москвичка мгновенно узнала ее и радостно, звонко поздоровалась. Женщина скользнула по ней равнодушным взглядом, ответила негромко, и они разминулись. Одна заканчивала жить, другая начинала, но все-таки это было не самым началом, не первым кругом, а уже вторым. Вторым! Ее переполнял восторг у з н а в а н и я — новое, доселе неведомое ей чувство. Разве подозревала когда-либо, что таким родным может быть обыкновенное сливовое дерево! Или казенный, из грубого стекла графин, замечательно превращенный в вазу для цветов...

На другой день благоухала уже не белая, а красная роза, а еще через день — опять белая. «Позавчерашняя небось», — усмехнулся К-ов, с которым она пока что делилась своими наблюдениями. (Потом лишь мать будет ее доверенным лицом.) «И ничего не позавчерашняя! Та меньше была». Самой же рисовалось (домысливал беллетрист), как на рассвете, когда поселок еще спит, к домику подкрадывается некто в джинсах, встает на дыпочки у распахнутого окна и дрожащей

рукой просовывает в графин колючий стебель. Поселок спит, но не весь, не весь, и едва взлохмаченная голова исчезает, с кровати неслышно подымается белая тонкая фигура, неслышно скользит босиком к окну и склоняет над прохладным, с тугими лепестками цветком прекрасное лицо. Да, прекрасное — пятнадцатилетняя фантазерка ни на миг не сомневалась в этом, и когда наконец увидела ту, что жила, тоже с родителями, в их бывшем домике, то существо это показалось ей самым совершенством.

Реалист К-ов не находил этого. Обыкновенная девушка, в меру милая, в меру живая, с хорошей фигуркой, на что, впрочем, не он обратил внимание, а его пляжный знакомец. Языком причмокнул, седобородый жуир, отпустил, не скупясь, два-три сугубо мужских словечка.

Их услышала дочь К-ова. Услышала и возненавидела бородача — мгновенно, люто, «на всю жизнь». Прежде внимания не обращала — мало ли с кем общаются родители! — теперь же говорила о нем брезливо и хлестко.

К-ов, посмеиваясь, защищал бородача. Человек как человек, не хуже и не лучше других, но она свое ладила: мерзкий, мерзкий!

Отца забавляла ее наивная нетерпимость. Разомлевший под южным солнцем, благодушествующий, не распознал опасности. Бородач ведь действительно был не хуже и не лучше других. А может, даже и лучше... Конечно, лучше, если вообразить всех, с кем ее рано или поздно столкнет жизнь.

Обитательница домика была года на три или четыре старше своей тайной поклонницы. «Девушка с розой» — так мысленно звал ее К-ов, хотя никаких цветов в руке у нее не видел ни разу, только в графине. Зато много раз видел того, кто цветы эти, по-видимому, дарил. Не украдкой приносил ранним утром, когда все еще спят, а дарил открыто. Всюду вместе были — юная счастливая пара, затерявшаяся среди множества ей подобных.

Впрочем, это для других затерявшаяся, дочь выхватывала их взглядом мгновенно. И в густой толпе на набережной. И у кромки моря. И в самом море, где плавали вместе, совсем вроде бы неразличимые с берега... Внимательно и ревниво следила за ними, и если они смеялись, она тоже смеялась, если хмурились — хмурилась и она, а когда случались короткие разговоры и они не только не разговаривали, но и демонстративно держались на расстоянии друг от друга, ходила точно в воду опущенная. «Что с ней?» — недоумевал К-ов. Жена, которой под большим секретом доверялись самые жгучие тайны, шептала в ответ: «Поссорились».

Сперва он никак не мог взять в толк, какая связь между ссорой посторонних совсем людей и его дочерью «Она ведь не знает даже, как зовут их». «Знает», — сказала жена, растирая пальцами пахучие листики. Огромный солнечный диск скользнул — буквально на глазах — за горную гряду, и сразу угасло все, посерело, только искусственный мотылек играл в небе оранжевым брюшком. Громче и жалобней заблеял привязанный к колышку белый козленок. Других забрали уже, увели домой, а об этом забыли, что ли... Доверчиво бросался он навстречу каждому, кто проходил мимо. Он-то бросался, но веревка не пускала. За шею дергала — куда, дескать, — и он затихал, подавшись вперед на тонких ножках, только голова недоуменно поворачивалась вслед удаляющемуся человеку.

Одна ссора была особенно долгой. Обычно мирились к вечеру, а тут нет. Она в домике сидела без света (родители, установила зоркоглазая наблюдательница, в кино ушли), а он отправился, вырядившись в белые штаны, на дискотеку и танцевал с другой.

Дочь потрясло это. С окаменевшим лицом явилась домой, легла, отвернувшись к стене, но не спала долго и все сморкалась, сморкалась...

Отец знал, что означает этот внезапный насморк. Он тоже не спал, думал, а когда на другой день, привычно и необременительно томясь в по-курортному длинной очереди за газетами, которые должны были привезти с минуты на минуту, увидел их на лодочной станции (кавалер, в плавках и рубашке, сталкивал в воду морской велосипед), то, не дождавшись газет, поспешил к дочери.

Она сидела, одетая, на краешке чужого топчана, подымала, и роняла, и снова подымала серый кругляш. Он подождал немного и осторожно коснулся худенького плеча. Без интереса повернула она голову. Что хорошего могли сообщить ей!

Молча показал он глазами на море. Дочь, все так же без интереса, проследила за его взглядом и не увидела ничего примечательного. «На велосипеде», — подсказал он. Но и тут не сразу разглядела, лицо еще несколько мгновений оставалось скучным — и вдруг ожило, засветилось. Вся вперед подалась, как тот козленок, когда пришла наконец хозяйка.

Велосипед медленно удалялся от берега. Влюбленные лениво крутили педали, ни о чем не подозревая. Не догадываясь, что есть у них свой ангел-хранитель. Да-да, ангел-хранитель, который незримо опекает их. Они, например, беспечные, в море бултыхаются, а чужая девочка, любуясь ими, ни на миг не выпускает из поля зрения их беспризорные вещи. Вдруг польстится какой-нибудь злоумышленник! Ах, как бросилась бы она на выручку! Спасла б, сложила аккуратно и вернулась бы, удовлетворенная, на пункт наблюдения.

Увы, на пляже злоумышленники не промышляли. Зато в столовой отыскался один, похитил со стола где сидели влюбленные, солонку. Они-то не заметили, до солонки ли им, а она дождалась, пока столовая опустеет, и вернула украденное на место.

В другой раз им не хватило билетов в кино. Дочь тут же объявила, что фильм неинтересный, лучше у моря погулять, и не одной — ей надоело одной, — с родителями. Она, видите ли, о родителях соскучилась. «Ну пожалуйста, папочка!» К отцу обращалась, не к матери, ибо мать и без того поняла все и уже доставала билеты, чтобы уступить их прелестной обитательнице болгарского домика.

Ни она, ни ее друг ничего не замечали. Конечно, взгляд их не раз и не два скользил по голенастой, с отрешенным лицом девочке (при них она напускала на себя этакую серьезность), но не выделял ее среди других и лишь в последний день, в последний час, в минуту последнюю удивленно задержался.

Уже на причале были они, с вещами, а она и с родителями, которые, впрочем, держались на расстоянии. Мокрые волосы дарителя роз блестели на солнце: искупался, пока катера ждали, причем не просто искупался, а, нырнув в маску — только пятки сверкнули, — достал со дна камушек. Там, на дне, он переливался и пульсировал точно живой, теперь же уменьшился и поугас. Умер... Но и мертвому ему предстояло все равно ехать за тридевять земель и валяться забыто в какой-нибудь тумбочке. Месяц ли, год — до тех пор, пока его с удивлением не обнаружат однажды. «А это еще, — спросят, — что?» И никто не вспомнит, откуда, собственно, взялся сей непрезентабельный голыш и для чего пылится тут. В помойку его! В мусоропровод! Но это когда еще будет, а пока что вдохновенный ныряльщик держит его, как драгоценность, на раскрытой ладони. И вдруг спохватывается: маска! Забыл маску на пляже... Бежать порывается, но катерок уже рядом, уже брошен канат, похожий на заплетенную туго косу, уже трап установлен. «А! — машет рукой немелочной юноша. — Пусть остается». И, пропустив вперед даму, подхватывает вещи.

Народ напирает — каждый спешит занять место получше, — и лишь девочка в пляжном сарафане пробирается сквозь толпу на берег. С ног шлепанцы соскакивают, она подхватывает их и босая мчит-ся по раскаленному асфальту.

Маска лежит себе целехоньякая. Синяя, в трещинах резина высохла, но на стекле еще сверкают капельки моря. Девочка хватает ее — и назад, к причалу, огибая неспешных, разморенных жарой курортников... Успела! Она на катере, но катер не отошел, и она отчаянно машет маской. Только машет — по имени окликнуть не поворачивается язык. Оба недоуменно таращат на нее глаза, и тогда она выдыхает: «Ваша!»

Прижавшись к борту, тянет он руку. Загадочная благодетельница тоже тянет свою — вот сейчас, сейчас коснутся друг друга, но море дышит, и судно то вверх уходит, то проваливается вдруг.

Трап с грохотом задвигают. Встав на цыпочки, девочка делает последнее отчаянное усилие, и маска — в руках хозяина. «Спасибо!» — кричит он. Кричит, потому что полоска воды между ними уже расширилась, катер удаляется.

Спасительница маски все не может отдышаться. В одной руке — шлепанцы, другой машет на прощанье, и такое счастливое, такое сияющее лицо... Катер удаляется, скоро на его место причалит другой, с пассажирами, людской поток подхватит ее, закрутит, понесет с пирса. Кто-то на босую ногу наступит... Кто-то толкнет... Какой-нибудь молодящийся бородач окинет с головы до ног плотоядным взглядом... А она, не подозревая об опасностях, которые подстерегают ее, будет идти и улыбаться и думать об уплывших. Те тоже некоторое время будут думать о ней, растерянно плечами пожимать, но так и не догадуются, кто охранял их все эти счастливые дни своей любовью и своей чистотой..

Об этой как раз любви и намеревался написать беллетрист К-ов, но дочь, услышав — уже осенью, уже в Москве, — ударилась в слезы. «Предатель! — читал он в ее взгляде. — Предатель!» Торопливо отступил он, слово дал — честное! — что писать не будет, когда же год спустя она это слово великодушно вернула ему, поскольку теперь то летнее приключение казалось ей всего-навсего забавным казусом, пусть папа опишет его, если хочет, то сочинитель книг с удивлением почувствовал: нет, не хочет. Лирический аспект этой истории не волновал его больше. О другом была тайная мысль его и тайная боль. У того, угадывал он, кто сам ангел-хранитель, своего ангела нет. Откуда взяться ему? Небо-то одно... Небо одно — и для птиц и для воздушных змеев. И для ангелов тоже.

ИННА ЛИСНЯНСКАЯ

*

ЗЕМНЫЕ ДЕТИ

Встреча

1

Захотелось в лесу мне немного пустыни,
А верней — апшеронских зыбучих песков,
Там мне легче гадать о единственном сыне —
Ангел смерти его отлучил от сосков.

Я его молоком лишь оплакать успела,
Этой осенью стукнет ему тридцать три,
Там распятыя не будет, не будет Успенья,
Но, Господь, нам свиданье одно сотвори!

Я премного виновна, мне ад уготован,
И, конечно же, сына не встречу я там.
Чем он занят в раю? Чем в раю очарован?
Допусти на часок меня к райским вратам.

2

Неужто и в загробности
Все тот же вид на море,
И комнаты подробности,
И койка в коридоре?

Не все-то жить утратами,
Оплакивать потери...
Мы встретились и рады мы,
Ты — в люльке против двери

Смеешься ртом беззубеньким,
Как все грудные дети,

Мой маленький, мой глупенький
В голубеньком конверте.

Бросает луч полосочку,
И катит Каспий гулко.
Сосет младенец сосочку,
А я — мундштук окурка.

— За тридцать лет, мой маленький,
Ты почему не вырос?
— Я тосковал по маменьке
И потому не вырос.

Руфь

Следует долг за любовью,
Но сэкономлю слова,—
Твердо идет за свекровью
Руфь, молодая вдова.

Сладко ль идти на чужбину,
Знают лишь Бог да она,
Бьются пожитки о спину,
Ноет плечо и спина,

И образуется ранка —
Груб сыромятный ремень.

Смутлая моавитянка
Жарит на ужин ячмень.

А за спиною — кумиры
И дорогая родня.
Но милосердием мирры
Пахнет зерно ячменя.

До Вифлеема не близко,
Нет при дороге воды,—
Горсточка зерен да искра —
Искра грядущей звезды...

Обнаженная

Б. Бургеру.

Не сразу она с наготою свыкалась
 Внутри полотна.
 Смеркалось в окне — в картине смеркалось
 Напротив окна,
 И тело, которое в свете витало
 Тому полчаса,
 Сейчас вечеряющим облаком стало,
 В котором глаза
 Пустой чернотой обещали сиянье
 Полуночных звезд,
 А рот увлажнялся, и жизни дыханье
 Туманило холст.

Сентиментальный триптих

1

Три розы чайные раскрылись и окрепли —
 Недолгую их жизнь, как собственную, длю:
 Срезаю все шипы и надрезаю стебли
 И аспирином их и сахаром кормлю.

А тот, кто подарил мне вспльчивые розы,
 Все уголья души разворошил во мне,
 Живущей так давно в бреду кухонной прозы,
 В чаду очередей и прочей толкотне.

А тот, кто подарил, еще совсем ребенок,
 Еще не знает он, что скоро я уйду
 В такую новизну забвенья и потемок,
 Где пышут розами лишь уголья в аду.

2

Как хорошо, что тот, кто мне принес
 Три чайных розы, с глаз моих исчез,
 Оставив в памяти лишь память роз
 О ножницах и нежности в обрез.

Как хорошо, что срезала шипы,—
 Иначе бы остались лишь они
 От лепестковой крохотной толпы
 И от ее чуть слышной воркотни.

Как хорошо, что молодой пиит,
 Владеющий одическим пером,
 Уже нигде меня не навестит —
 Ни дома, ни в больнице, ни потом...

3

Молчанье музыки во мне так долго длилось,
 Что розы на окне, казалось бы,— пустяк,
 Но с ними что-то тайное случилось
 И подало мне музыкальный знак.

О, мальчик мой, даритель мой случайный!
 Когда-нибудь в твой возмужалый сон
 На цыпочках войду той розой чайной,
 И ты запишешь поминальный звон.

АНДРЕЙ ВОЛОС

*

РАССКАЗЫ

Курица

Машина и на четвертый день не пришла. Михеев случайно зашиб камнем куропатку. Ее зажарили и съели.

— Надо было суп сварить,— с сожалением сказал Платоныч.— Там хоть навар...

Потом они собрались и пошли в кишлак покупать курицу.

Я таскал дрова. Их уже хватило бы на верблюда. Потом развалил очаг и сложил новый—из гладких плит известняка, будто из кирпичей.

Курица была белая и грязная.

— Зато жирная,— сказал Михеев, вытаскивая из палатки топор.

— Да,— сказал Платоныч.

— Да,— сказал я.

— Ну,— сказал Михеев,— держи.

И протянул топор Платонычу.

— Нет,— сказал Платоныч.— Это Лешке.

Я возразил.

— Что,— сказал Михеев,— курицу не можешь зарезать?

Курица лежала со связанными лапами и слабо кудахтала.

— Нет,— сказал я.— Платоныч, ты же барана резал!

— Так то барана...— сказал Платоныч.

— Врал,— сказал Михеев и перехватил топор поудобнее.

Платоныч отвернулся, а я закрыл глаза.

— Нет,— сказал Михеев.— Ну ее к черту.

И положил топор рядом.

Мы сели и закурили.

— Ну и цирк,— сказал я.

Платоныч молчал.

— Ну и ну,— сказал Михеев.— Ну и мужики.

— Да,— сказал я.— Жирная, сволочь.

Платоныч не выдержал и, демонстративно свистя, ушел за палатку.

— Вот паразит,— сказал Михеев.— Баранов он резал...

— Да,— сказал я.

— Ладно,— сказал Михеев и встал.— Тащи винтовку.

Я принес винтовку.

— Ни черта не попадешь,— озабоченно сказал Михеев.— У нее ствол раздут.

Я развязал курицу. Платоныч вылез из кустов и встал в стороне, сунув руки в карманы. Я сделал петлю и накинул ей на лапу.

— К камню привяжи,— сказал Михеев.

— Ага,— сказал Платоныч.— Чтоб не улетела. Обжалованью не подлежит. Ужас.

Я отнес курицу к склону, аккуратно поставил на землю и привязал к камню. Курица кудахтнула и завертела головой.

— Ну,— сказал Михеев, когда я вернулся,— ложись, а то рикшетом убьет.

Мы залегли за камни. Михеев долго целился. Потом выстрелил и разнес камень.

— Осторожно,— сказал Платоныч.— Ты ей глаз выбьешь.

— Иди к черту,— сказал Михеев.

Я пошел и привязал ее к другому камню.

— Целься в голову,— сказал я, вернувшись.— А то ведь в ключья.

Михеев выстрелил. Курица беспокойно бегала кругами и кудахтала.

— Дайте ей валидолу,— сказал Платоныч.

— Иди к черту,— сказал Михеев.

— Целься в голову,— сказал я,— а то вдребезги...

Михеев выстрелил. Курица захлопала крыльями.

— У нее ствол раздут,— сказал я.— Левее бери.

Михеев выстрелил.

— Бородино,— сказал Платоныч.— Давай в шттыки, Михеев!

Михеев еще выстрелил.

— В Большуане за три патрона можно кабана выменять,— сказал Платоныч.

Михеев выстрелил.

— Ствол раздут,— сказал я.— Правее попробуй.

— Чтоб я так жил,— сказал Платоныч.

Курица села на землю и закатила глаза.

Михеев выстрелил.

— Не попал,— сказал я.

— Коррида,— сказал Платоныч из-за своего камня.— Родео.

Михеев встал и отнес винтовку в палатку.

— Баррикады разбирать? — спросил Платоныч.

Мы немного покурили. Сигареты тоже кончались.

— Пойдем к Ахмеду,— сказал Михеев.— Покормит.

Я связывал курице лапы, чувствуя, какая она под перьями горячая. Глаз у нее был сумасшедший.

— Живая,— сказал я.

Михеев полез в командирский вьючник и вытащил бутылку водки.

— Правильно,— сказал Платоныч.— Зуб за зуб.

Ахмед стоял с отарой двумя километрами выше по реке. Залаяли два пегих волкодава.

— Брось камень,— сказал Михеев.

Платоныч бросил, и псы кинулись за крутящимся по земле булыжником. Ахмед, прижав руки к груди, вышел из-под навеса. Мы по очереди поздоровались.

— Ахмед,— сказал Михеев, садясь на кошму,— у нас курица.

— Э, бача! — крикнул Ахмед.

Из-под навеса выбежал мальчик.

— Сын? — спросил Платоныч.— Как зовут?

— Насрулло,— ответил Ахмед и улыбнулся.

Мальчик схватил курицу, взял у отца нож и побежал к реке. Через минуту стало видно, как летят по ветру перья.

— Да...— задумчиво сказал Михеев.— Выпьем.

Ахмед поставил на кошму пиалки и блюдо с мясом. Мальчик вытер руки о штаны и принес лепешки.

— Выпьем,— сказал Михеев.

Я взялся за пиалу.

— Ахмед! — сказал Платоныч со смехом.— Говорят, в каждой чаше вина есть капля яду...

— Э! — сказал Ахмед и укоризненно покачал головой. Он поставил пиалу, обмакнул пальцы и стряхнул на землю. — Капля яда ушел!

Мы выпили. Водка была горячая и пахла йодом. Я откинулся на спину. Ветер нес серый дым. Солнце падало прямо в ущелье, в реку.

— Вот, — говорил Платоныч, — чтоб я так жил! В Архангельске в семидесятом году «ЗИМ» покупал...

— Врешь, — сказал Михеев.

Платоныч замахал руками.

Ахмед, обхватив руками колени и чуть покачиваясь, смотрел куда-то вправо, в долину. Солнце падало в ущелье, лиловыми пятнами расплывались тени.

Когда мы собрались уходить, он принес от очага горячий сверток.

— Курица, — сказал Ахмед. — Завтра горы пойдешь, кушать будешь.

В стороне лаяли псы, стоня отару.

Бобрик, или Жизнь Балаклаева

Быль

Вы спросите: что же такое абсурд?
А я скажу: не знаю.

С. Крапивин.

В шестнадцать лет не только тело, но и сама жизнь еще столь подвижна во всех своих сочленениях, что любой толчок может стать причиной решительного поворота судьбы.

Для Балаклаева в свое время таким толчком явился совершенный, казалось бы, пустяк — такой, на который иной человек и внимания бы не обратил: журнальный портрет одного молодого, но уже набравшего известность артиста. Артист стоял на сцене, за спиной лучились прожекторы, в правой руке он держал микрофон, левая была брошена в искрящийся воздух. Рот широко раскрыт — должно быть, фотограф щелкнул на последних тактах песни когда голос взвивается финальным форте. И, что самое главное, он был причесан под бобрик.

Балаклаев неожиданно запнулся, проходя мимо киоска, помедлил и вдруг почувствовал, как похолодело в груди.

Бобрик! Вот в чем дело!

Купив журнал, он побрел куда глаза глядят.

Время от времени Балаклаев отрывал от фотографии суженный взор и озирался. День был сереньким. Тротуары кое-где подсохли, и по ним, более или менее ловко обходя лужи, безостановочно сновали люди. Женщины несли полные авоськи мимо казавшихся пустыми магазинов, надменно смотрели друг на друга. Мужчины тоже казались насупленными, глядели тускло. У большинства были давно не стриженные длинные волосы косичками, и почти у всех поблескивали от этого засаленные воротники бежевых плащей.

Балаклаев вздыхал и снова обращался к фотографии. Значит, можно быть вот таким — надеть бежевый плащ, точно такой же, как у других, отрастить вот такие патлы, насупиться и всю жизнь затем торопливо скакать по тротуарам, кое-как выбирая местечко посуше. Но можно быть и таким — знаменитым, в сиянии прожектора, видимым с любой точки. И с бобриком.

В ту пору он был еще ребенком. Поэтому выбрал второй вариант и самый короткий путь к его реализации.

В парикмахерской он показал мастеру журнал. Тот вяло пощелкал ножницами, словно не зная, что с ними делать.

Балаклаев повторил свою просьбу.

— Покороче, что ли? — с сомнением спросил мастер.

— Чтобы торчало, — ответил он.

Тот еще раз покосился на обложку, пожал плечами и приступил. Так началась великая борьба Балаклаева, борьба, которой была отдана вся жизнь без остатка и которая в конце концов привела его на порог смерти.

Мы верно начали это кратенькое жизнеописание. Выбор — вот естественное начало всякого движения. Но чем продолжить, чтобы, подойдя к концу, рассказ не показался анекдотом? Анекдот неуместен здесь: анекдот смешон, а в жизни Балаклаева было мало смешного, напротив, было много грустного. Откуда же тогда это опасение? Вот откуда: стороннему человеку может представиться, будто жизнь Балаклаева свелась в итоге к тому незатейливому парадоксу, который, кажется, нарочно выдуман каким-нибудь балагуром, чтобы смешить людей. У них, у балагуров, всегда в запасе сотни подобных историйц. Где они их откапывают? Как запоминают в таких количествах? И откуда эта способность сделать любое, даже самое трагическое, заблуждение лишь поводом для очередного взрыва хохота в каком-нибудь прокуренном тамбуре или купе, где люди смеются и утирают слезы, в то время как поезд протяжно и гулко несет их куда-то в темноту, в дождливую ночь, слабо разреженную жалким светом окон, бегущим по мокрому откосу словно по откосу вечности?..

Годы спустя, глядя на себя в зеркало и осторожно трогая пальцем едва заметные морщинки, еще пока даже не легшие, а как бы выскивающие себе удобное местечко — тут? или чуть правее, на щеке? — Балаклаев не раз и не два вспоминал, как в тот день, усевшись в кресло, показав мастеру фотографию и приготовившись стать другим, он испытал вдруг острое чувство начала: почудилось, будто волосы зашевелились, тронутые ветром, таким едким сквозняком — ну как если бы раскрылась дверь, которой раньше не было. И вдруг ему стало страшно, захотелось вскочить и уйти, бросив все как есть. Что это было? Может быть, пахло запахом поражения — вечной парикмахерской, застоявшимися ароматами одеколонов и мыла?.. Он проводил пальцем по щеке, где появилась новая морщина, поворачивал голову, чтобы свет лег наискось, выделив неровности кожи, и тогда можно было бы убедиться в том, что да, увы, не мерещится, а уже есть... а вот и еще одна... а вот еще. Парикмахер оказался дурак дураком, отважным неумехой — состриг с головы почти все, что на ней было, попытался уложить эти огрызки, жесткие, как стерня, не смог, но виду не подал, залил весь лоб лаком и вот, ухарски крикнув, сдернул простынку таким жестом, как если бы она была загаженной скатертью, а Балаклаев — ресторанным столом; осыпал с ног до головы отходами производства и выпалил независимо: «Два тридцать, пожалуйста!..» Балаклаев встал, отдал деньги еще с колотящимся сердцем, еще пребывая в полной иллюзии, будто стал таким, каким хотел быть, но уже в коридоре прозрел, уперся в зеркало, откуда смотрел на него чем-то удивленный, а оттого еще более взъерошенный юноша; у него был толстый нос, такие же толстые губы; оголившиеся мясистые уши плебейски топырились. Пораженный всем этим, Балаклаев осторожно потрогал прическу. Ему стало неприятно — показалось, что коснулся чего-то чужого. Вышел на улицу, где ветер стал холодить шею. Во всех киосках красовался артист, и не было ровно ничего общего между ним и Балаклаевым, угрюмо глядящим сквозь переливчатое стекло.

Как ни странно, за эти несколько часов он так много построил в себе, что теперь, когда все закачалось и рухнуло, чувствовал едкую пустоту. Таинственные пути, приводящие юношей к тому или иному повороту! Совершенно опустошенный и разбитый брел он по улице, но все случившееся представало сейчас перед ним в ином свете! Артист! Известность его не стоила и гроша. Он ведь был почти безголос,

брал подвижностью, напыщенной выразительностью интонаций, подпускал подчас, напрягшись и побагровев, дрожащий басок в конце куплетов, удачно заглушаемый на жалком излете грохотом оркестра, перевалившего в припев. Такая слава не стоила труда, не стоила даже того, чтобы ради нее ходить в парикмахерскую. Он протрезвел, смотрел вокруг иначе, бежевые плащи выглядели привычно и надежно, и не было ничего унижительного в том, чтобы надеть когда-нибудь такой. Черт с ними, с прожекторами. Его занимало другое. Он замедлял шаг и рассматривал отражение. Как же это у него вышло? Ерошил волосы. Неторопливо шагал дальше. Так? А если так? Или вот так? Или так?..

За углом он едва не столкнулся с Кешкой Финогеновым.

— Что это у тебя с головой? — первым делом спросил тот, подозрительно разглядывая Балаклаева.

И когда Балаклаев, помявшись, открылся, Кешка сказал наставительно:

— Так нет же! Надо же не так! Надо башку распарить как следует, а потом косынкой завязывать на ночь. Недельку-другую потратишь — и готово! Ну, привет!

И пропал так же необъяснимо, как и появился.

А Балаклаев теперь знал, что нужно делать.

Время ахнуло, замахало какими-то справками заявлениями, листами с фиолетовыми штампами, и опомнился он уже студентом. Школа отступила, съезжилась и тихо легла в альбом в виде большой глянцево-фотোগрафии, на которой, сгрудившись в несколько рядов и весело глядя в просветленный объектив из дымки грядущего забвения, застыли соученики и учителя.

Много лет спустя, уже почти сплошь седой, он со странным чувством отсутствия всматривался в этот пожелтевший слой прошлого. Всякий раз ему стоило некоторого труда разыскать в горах бледных лиц свое собственное, донельзя искаженное повернувшимся вспять временем. И всякий же раз, найдя, невольно удивлялся тому, что искал так долго: ведь это лицо выходило из ряда вон, оно одно в этой толпе казалось озаренным лучом дальнего света; только эти глаза были так широко и ожидающе распахнуты, и в них можно было прочесть нечто такое, чего, как ни ищи, не углядишь в других. Как странно! Как далеко! Да, большие глаза, и гладкая, еще не знавшая бритвы кожа, и лоб кажется высоким оттого, что волосы взъерошены и стоят дыбом...

Как странно, как странно это! Как быстро, как безвозвратно уходит многое, если не все! Да, ничего не осталось, а посмотришь — и кажется, что вот он сам, а в следующем ряду физик Подобед, желчный человек чрезмерного роста. По классу он расхаживал, заложив руки за спину, словно на тюремной прогулке, отчего походил на надомленную жердь. В конце урока его обычно било током или грузом мятника, и, быть может, от этого он был так мрачен и ядовит. Отвечать ему было трудно и боязно, поскольку требовательность Подобеда достигала таких высот, с которых закон Ома был неотличим от принципа Ломоносова — Лавуазье. На выпускном экзамене он ехидно спросил у Балаклаева, протянув к нему сложенные двумя корабликами ладони и несколько раз сделав движение, от которого воздух между ними стал чавкать и свистеть: «Что это?», Балаклаев похолодел, сделал вид, что задумался, наморщил лоб. «Ну? — спросил учитель, повторяя демонстрацию и вопрос. — Что это? Молчишь? А? — И затем расплылся в улыбке, заперхал: — Сжатие это, сжатие! Иди, иди! Не знает ничего! Тройку... так и быть... Сжатие!»

Вот математичка Марьяванна, путавшая косинус с сенокосом; а вот физрук Мамаев, он же преподаватель военной подготовки и труда, подавшийся вперед из ряда жилистым телом атлета и бойца словно для того, чтобы прямо сейчас сорваться с места и пойти колесом

вокруг присутствующих. При взгляде на него Балаклаеву непременно вспоминалась баскетбольная площадка во дворе школы, две ржавые погнутые стойки с ржавыми же кривыми кольцами, протолкнуть мяч в которые не было никакой возможности, а с левого края трава под облезлым тополем. Бывали дни, как он смутно помнил, когда он отчего-то сидел в этой траве, солнечные зайчики то и дело попадали в глаза, хотелось зажмуриться, а тело одолевала ласковая истома, под воздействием которой он начинал представлять себе, что мог бы стать муравьем и наравне с другими, наравне с какими-то жуками и яркими «солдатиками» преодолевать громадные пространства между укосинами трухлявой скамьи. Да, может быть, это было бы и лучше — стать муравьем и блуждать по великанским сплетениям коленчатых травинок, преодолевать бурелом, учиненный чьей-то случайной ступней, шевелить усиками над какой-нибудь соразмерной добычей — и навсегда забыть тоску и прохладу школьных коридоров, легкую лому в зубах от поскрипывания мела, непримиримо зэкающую англичанку Матильду, биологичку Ксению, к приходу которой кто-нибудь непременно писал на доске неприличное слово, касающееся избегаемых ею тем размножения и пола...

Впрочем, может быть, и среди муравьев попадают такие, которым мало ощущать себя равноправно включенными во всеобщую бедотню и тем безразлично удовлетворяться; может быть, и среди них есть такие, что замедляют шаг, стараясь, впрочем, чтобы это не слишком бросалось в глаза остальным, и с недоумением озирают свой обширный муравьиный мир, удивляясь, для чего в нем наворочено столько разных и по большей части лишенных какого-либо смысла явлений; и тогда в их маленьких хитиновых головках рождается некоторое стремление, самим фактом своего существования отличающее этих муравьишек от всех других...

Он откладывал фотографию и вздыхал. Память позволяла вынуть из себя великое множество иных фотографий, плотно прилегающих друг к другу. Эта иллюзорная стопа завершалась свеженьким, влажным, только что отпечатанным снимком, на котором он почти сплошь седой и испытывающий странное чувство отсутствия со слабой улыбкой непонимания всматривается сию минуту в давнюю фотографию. Начиналась же самым первым кадром, сильно траченным и мятым, на котором юный Балаклаев, вняв дельному совету Финогенова, бесстрашно берется за рукоятку крана горячей воды. И все они без исключения были нанизаны, словно чеки в булочной, на совершенно прямую спицу, на ясный луч идеи, вспыхнувший однажды и уже не гасший до самого конца.

В юности трудно мерить время годами: за спиной их еще мало, все они плотным гуртом толкнутся впереди, призывно белея в солнечном тумане многообещающей будущности.

Время все капало и капало, дело захватывало его все больше и больше. Оно оказалось не таким легким и простым, требовало все новых и новых усилий. Постепенно забирая себе его жизнь оно отнимало ее у всего остального. Характер его незаметно менялся. Сначала очень легкий, а потом все более чувствительный холодок стал отделять его от друзей Балаклаев мучился этим, суетился, пытался стать для них лучше и полезней. Но ничего не выходило, и кое-кто из них вопреки его желаниям относился к нему все хуже: должно быть, это были те, кто любил его всех больше, и теперь, чувствуя, как он уходит и становится чужим, пережигали ревность на презрение.

То и дело, казалось Балаклаеву, читает он во взглядах, слышит в интонациях, чувствует запрятанное в сотах и излучинах отношений одно и то же краткое сожаление: «Эх, и за что же ты всех нас так не любишь!..»

Скоро он навсегда простился с ними и на проводах напился, стал слезлив, все пытался поговорить, растолковать, что любит их всех, что он хороший, просто есть нечто большее, чем он; что он чувствует некую избранность, некий зов, неумолчно звенящий в затылке; что пусть бы они простили ему это мизерное отличие — ведь во всем остальном он такой же жалкий, мелкий человечешко, точно так же не способный, в сущности, ни к какому более или менее серьезному делу; точно так же ищет, где глубже и тише, где вкуснее, слаще; точно так же готов почти на любое предательство, на измену... «Я вас не люблю?! — допотал он, шатаясь по квартире с рюмкой в руке и подсаживаясь то к одному, то к другому; язык заплетался, никто ничего не понимал, только хлопали по плечам свойским жестом: ничего, мол, проспиться. — Я вас не люблю?! Да за что же мне вас, родные, не любить?! Это вы, вы меня не любите! Как — за что? Да за то, что иной! За то, что у меня есть цель! За то, что жизнь наполнена смыслом!..»

Утром его растолкали, проводили, зеленеющего, на сборный пункт, а к вечеру Балаклаев уже скреб алюминиевой ложкой по дну миски, поживаясь оттого, что погоны на плечах вызывали ощущение двух плоских ладоней.

Армейская жизнь показалась ему длинным сумбурным сном, заключенным в скобки двух зеркально симметричных событий. С одной стороны, он, Балаклаев, затравленно озираясь и хлюпя разбитым носом, после недолгого упрямства взбирается-таки на тумбочку и, чувствуя, как озноб покрывает мурашками голые ноги, едва ли не до колен закрытые форменными сатиновыми трусами, левой ладонью накрывает макушку, правую же, сделав дощечкой, подносит к виску и произносит гундосо под насмешливо-одобрительными взглядами стариков: «Товарищ вы... выключатель... Раз... разрешите вас вы... выключить...» «А ну-ка бодрей!» — рывкает ему свирепый краснорожий Зулейкин, сделав такое движение, будто сейчас встанет с койки, и Балаклаев, вздрогнув и дико кося налитым кровью от страха и ненависти глазом, повторяет едва не в крик: «Товарищ выключатель! Разрешите вас выключить!..»; и после этого, робко протянув руку, щелкает им, вслед за чем казарма погружается во тьму, разреженную лишь лампой на столе дневального. А с другой — его собственный голос, когда он хриплым и высокомерным баском требовал отчетливости обращения от какого-то жалкого, едва только не ходящего ходунком от волнения новобранца, влезшего уже на тумбочку, но все никак не способного сообразить, чего же от него хотят... Как все, стоящее в скобках, этот период его жизни являл собой что-то вроде ненужной подробности, которую можно с легкой душой опустить, и вольность эта ничуть не скажется на полноте смысла.

Единственное, что особо следует отметить в связи с этим временем, это то, что прошло оно по отношению к делу Балаклаева совершенно бесплодно: он не продвинулся ни на шаг вперед; более того, был отброшен назад. Снова в гражданской одежде, он сидел на скамье в каком-то грязном сквере, вытянув ноги поперек аллеи, и мрачно размышлял. Нужно было начинать почти с самого начала.

Вздыхнув, он упрямо тряхнул головой, встал и пошел по направлению к универмагу. Сначала так сначала! Ему нужна была новая косынка.

Потом он устроился на работу и сразу как-то осел, прирос, заостенел в однообразном распорядке. Время потекло быстро-быстро, словно вода из крана. Через год или два он уже только с большим трудом мог представить себе, что жил когда-то по-другому — был ребенком, школьником, студентом...

Собственно говоря, у него было две жизни.

Первая протекала в опасном мире безответственной некомпетентности. Парадоксальным было не то, что в этом беспорядочном мире

все только и говорили, что о наведении порядка, а то, что мир этот сделался таким именно в результате искреннего желания его упорядочить. То и дело можно было услышать, что он идет уверенной поступью. Но Балаклаеву казалось порой, что поступь эта похожа на поступь одного из тех грандиозных доисторических существ, у которых расстояние от мозга до ступней было так велико, а нервные импульсы передавались так медленно, что существа эти способны были уверенно ступить еще долго после того, как им откусят голову.

То и дело случалось нечто непредвиденное, встречаемое всеми с чувством законного изумления. Балаклаев здесь и сам являлся необязательным и кособоким элементом, фальшивым, не имеющим верной резьбы винтом большой расхлябанной машины, вихляющейся во всех своих узлах и работающей неизвестно по каким законам и для чего. Единственное, что он мог и для чего был нужен, это безостановочно перекладывать с места на место пыльные пачки входящих и исходящих. Иногда он путал их местами или заклеивал не в те конверты; тогда незамедлительно начинали путаться такие же, как он, разводя руками и беспрерывно чертыхаясь, озабоченные их лица становились все озабоченнее, а путаница, ширясь и охватывая все большее количество винтиков, достигала к вечеру размеров средней океанской волны. Однако, поскольку путали все, всё и всегда, мир этот бушевал, подобно дикому морю, непрестанно, и те жалкие возмущения, что время от времени исходили от Балаклаева, на фоне этих бурь были совершенно незаметны.

День тянулся медленно и хоть и медленно, но безвозвратно уносил с собой то время, что Балаклаев мог бы с пользой для себя потратить там, в другом мире. В этом жить ему было скучно, безрадостно; раз и навсегда налаженный кем-то (пусть плохо налаженный), он ехал и ехал, содрогаясь на бесконечных ухабах, и нес с собой Балаклаева, и было бесполезно пытаться прищипорить его или остановить. Здесь он ничего не мог, здесь от него ничто не зависело. Даже если бы он и попробовал оказать на его законы то или иное влияние, все его усилия растворились бы в бесконечном и хаотичном движении. Ничего такого сделать он и не пытался, поскольку душа его была занята другим. Подчас мир этот начинал раздражать его так сильно, что хотелось бросить все эти входящие и исходящие, махнуть на все рукой, уехать куда-нибудь... в дальнюю область, что ли... поступить там работать... лесником, что ли... обходчиком... каким-нибудь таким вольным человеком... и не знать больше этой тоски. Но намерения его никогда не осуществлялись, да и рождались-то в виде смутных мечтаний, не более того.

В конце дня он вставал из-за стола, надевал бежевый плащ и выходил на улицу. Путь домой был далек. Сначала он шел по широкой улице, мимо обувных мастерских и магазинов. В витринах стояла молочная посуда, заполненная мукой, солью или даже попросту белыми, свернутыми в трубочку бумажками. Кичливые манекены, яростно улыбаясь и застыв в таких позах, словно их застали в бане голыми, выставляли напоказ пиджаки и платья... Самого Балаклаева одежда не любила — ежилась, словно чуя чужака, несогласно топырилась при каждом движении, а к тому времени, когда более или менее привыкала, уже снашивалась, и ее приходилось за ветхостью выкидывать на помойку. Затем он спускался в метро, и поезд уносил его под землей далеко на окраину, в квадраты и углы плоских домов, построенных кем-то с таким расчетом, чтобы выглядеть пригодными для жилья с высоты птичьего полета — может быть, именно отсюда наблюдателю открылась бы некоторая гармония в их каменных рядах; с высоты же человеческого роста они выглядели бесконечными близнецами, хаотически и гулко вставшими друг за другом в очередь под туманным небом...

И с каждой минутой, с каждым шагом, приближающим его к дому, он все отчетливее ощущал дуновение жизни, струящееся к нему из его второго мира. Здесь все было иначе, все по-другому. Здесь Балаклаев, и только он, был за все в ответе. Казалось, в руках у него — целое поле, отданное ему в безраздельное пользование, и только от него зависело, каким окажется урожай!.. С благоговением пахаря он ерошил перед зеркалом седеющие волосы. О, это был мир живой и прекрасный, мир, полный смысла и событий!..

Наломавшись на своей ниве, он допоздна не мог уснуть, а просыпался потом с головной болью — бог ее знает отчего: то ли бессоница была виновата, то ли косынка во сне резала лоб... Щурясь и моргая спросонья, подходил к зеркалу, осторожно стягивал ее со лба, слыша, как гулко сердце отвечает надежде. Ему казалось, что цель не за горами. Он торопил время, подгонял дни, дни сливались в годы.

Может быть, именно из-за этой спешки, а может быть, оттого, что, преодолевая все трудности выбранного пути, ему приходилось жить в постоянном напряжении всех сил, Балаклаев как-то очень быстро старел, ссыхался. Он сам замечал это. Вот, например, артист. Казалось бы, они должны были идти вровень — даже если не брать во внимание тот факт, что когда Балаклаев был безусым мальчишкой, артист уже завоевал некоторую известность, — а в действительности Балаклаев стремительно опережал его: артист давно перестал быть молодым, но с каждым годом становился все более и более молодым, Балаклаев же необратимо старел. В конце концов он нашел объяснение этому парадоксу. Он, Балаклаев, шел наперекор природе, пережигая себя в этой жесткой борьбе; артист же всю свою жизнь безразлично пользовался тем, что получил от нее в самом начале. Должно быть, колодец был не бездонным, артист уже вычерпал из него большую часть и потому с годами пел все хуже и хуже. Ему не хватало умения — скорее всего он никогда ничему не учился и не имел привычки работать со своим талантом, пестуя его, как саженец, чтобы вырастить гений. Он умел плыть по течению — и только. Балаклаев смотрел, как он скачет по сцене, пытаясь скачками этими заменить силу голоса и технику звукоизвлечения, и чувствовал одновременно презрение, жалость и обиду за столь бездарно потраченную им, артистом, жизнь. Если бы он приложил к себе десятую долю той воли и тех усилий, что выказывал Балаклаев, он стал бы певцом с большой буквы, слава его была бы оправданна и объяснима. Впрочем, он и так становился все более знаменитым, и только привывкой слушателей, какой-то инерцией признания да еще, пожалуй, тематикой песен мог недоумевающий Балаклаев объяснить его неуклонный рост: артист был уже лауреатом всех мыслимых и немыслимых премий, орденоносцем, заслуженным (давным-давно), а теперь еще и народным...

Через два дня на третий у него брали интервью, и Балаклаев с гримасой безразличного интереса смотрел на него, сидящего обычно в самом центре какого-нибудь пустого зрительного зала, — влоборота, развалившись с лендой, снисходительно и вольно бросив правую руку на спинку кресла и помахивая левой так, словно откатывал ото рта использованные фразы. Говорил он всегда одно и то же — о планах на будущее (планы обычно тоже не менялись — все поездки да конкурсы), затем о трудностях творческой жизни... о признании... о том, что искусство принадлежит народу... и не в том смысле, что деятель искусства должен подладиться под народ, а в том, что народ должен признать своим деятеля искусства... вот так. Подчас разговор касался личных сторон — жена была у этого мерзавца, дети какие-то, — и Балаклаев всегда настораживался, надеясь услышать то, что его в артисте по-настоящему интересовало... но об этом ни артист никогда не заикался, ни корреспондент речи не заводил. В завершение беседы корреспондент сообщал, сопровождая слова жестяной улыбкой,

что сейчас по многочисленным просьбам телезрителей (телезрители перечислялись поименно) будет артистом исполнено то-то и то-то, а сам артист слушал его с выражением такого удивления на лице, словно ни о чем подобном они предварительно не договаривались. Дослушав до конца, он сдержанно кивал, откашливался и вдруг преобразался — молодежато подпрыгивая и вихляясь, высказывал на сцену, вертел штуром микрофона, будто намереваясь метнуть наподобие аркана. Вступала музыка, потом и он сам, и тогда музыка переставала попевать за его торопливыми фиоритурами. Подчас камера выхватывала дирижера, который взмахивал руками так, словно спешил стряхнуть с пальцев какую-то вязкую гадость. Затем снова переезжала на артиста — он содрогался, пел, вокруг него сияли прожекторы, и под самый конец, исполнив все необходимые пиано и напрягшись для финального форте, он снова становился неотличим от того человека, что был изображен на фотографии двадцатилетней давности.

Когда начинали показывать что-нибудь другое — поезд, сошедший с рельсов по вине необученного машиниста, или поле пшеницы, загубленное агрономом, — Балаклаев выключал телевизор и задумчиво шел в ванную.

Та глубокая внутренняя сосредоточенность, что была свойственна Балаклаеву, объяснялась не столько головной болью (как ни крути, полдня он проводил из-за нее в подавленном состоянии, воспринимая мир словно сквозь мелкую сеточку), сколько не прекращающейся и бурной работой фантазии. Действительно, если человек, будучи полностью поглощен чем-то одним, имеющим для него главное значение, хочет всю остальную жизнь отложить на потом, оставить в запас, в складе, где она до поры до времени должна храниться во всем своем многообразии, то у него, конечно, это не получится. Жизнь на потом не откладывается. Будучи теснима им, она, словно вода, все равно найдет дырочку. Когда ее изгоняют из реальности, она волей-неволей переключивается в сознание и именно там учиняет свои хоты и воображаемые, но тем более фантастические пиры.

Люди с таким отрешенным, устремленным в инобытие взглядом, как правило, одиноки.

Был одинок и Балаклаев.

Счастливики уступчивы, и ничто не мешает им заискивать перед фортуной, добиваясь ее расположения. Балаклаев же со временем стал самолюбив и мнителен и при мысли о том, чтобы добиться чьей-нибудь дружбы или любви, впадал то в тихую панику, заставляющую его бежать общества, то в необъяснимую надменность, с высот которой даже не различал, кажется, мужчина перед ним или женщина. По-видимому, он полагал, что так зримо представляемый им путь — ослепительная прямая, уводящая замороженный взор все дальше и дальше, — так же отчетливо должен быть виден всякому. И следовательно, только злонамеренность мешает разглядеть в нем, Балаклаеве, то, что отличает его от большинства людей, то, за что его можно любить беззаветно и преданно. Чувствуя это, он еще больше мрачнел, находя даже в самых безобидных для себя вещах серьезный повод замкнуться и обидеться. Кроме того, он никогда не был особенно речист, с годами появилась привычка смотреть исподлобья, в компаниях, куда он попадал все реже и реже, выглядел так, словно только случай может помешать ему если не воткнуть вилку в бок собеседнику, то уж, по крайней мере, вскочить и, свалив стул, хлопнуть дверью на полуслове. В его присутствии обычно смолкали, а если разговор возобновлялся и Балаклаев с грехом пополам вступал в него, многим, плохо знающим его жизнь, частенько было невдомек, отчего он так холодно цедит слова, после каждого надуваясь и выдер-

живая томительная пауза, приличествующая, пожалуй, лишь официальной речи по поводу объявления войны.

Больше всего не везло с женщинами.

Балаклаев не был богатым человеком. Правда, ему было известно, что он может попытаться повысить уровень благосостояния и на это есть три способа: во-первых, подниматься по служебной лестнице; во-вторых, подрабатывать в свободное время преподаванием какого-либо предмета отстающим ученикам или ремонтируя автомобили; и, наконец, в-третьих, воровать. Однако карьера его не интересовала — у него были свои ступени, по которым он неуклонно поднимался все выше и выше, подрабатывать не было ни времени, ни навыков, воровать же было противно, да и украсть-то ему было нечего — кроме, пожалуй, все тех же входящих и исходящих, которые, как было понятно всем, никакой ценности не представляют.

Короче говоря, он был небогат, даже беден, и если бы не то обстоятельство, что бедность эта охватывала самые разные слои населения, ее следовало бы называть нищетой.

Сам он, правда, давно свыкся с ней и даже находил свою прелесть — ограничивая во всем, нищета оставляла много времени для главного. А женщины любили цветы и конфеты в золотых бумажках, и ни одна из них не обладала способностью смотреть на рваные колготки так же философски, как смотрел на них Балаклаев. Кроме того, они страстно желали ездить на такси и подчас вынуждали таки Балаклаева поднять при виде ядовито-зеленого глаза тяжелую, словно свинцом налитую руку: сам он так давно не пользовался таксомотором, что это стало морально-нравственным принципом.

Да и вообще, как он с огорчением понимал, женщины более благоволяли ко всякого рода балалаечникам, таким развинченным затейникам, способным весь свой век порхать по жизни от одного к другому, ни на чем толком не задерживаясь. И наоборот, люди, выбравшие для себя что-то раз и навсегда, с упорством преодолевающие путь трудный, но прямой, оказываются ими пренебрегаемы. Действительно, если время от времени та или иная в силу тех или иных причин и обращала на Балаклаева серьезное внимание, то очень скоро понимала, что человек этот уже полностью захвачен чем-то другим. Некоторые из них даже еще не успевали понять, чем именно, как уже поспешно ретировались. «Как! — думал он долгими ночами, ворочаясь в косынке на сбитой постели. — Да что же в конце концов делает человека человеком?! Разве не настойчивость в достижении выбранной цели? И что еще можно уважать, если не способность идти до конца? И что еще в человеке может быть привлекательным, если не это?..» Но разве им объяснишь!..

Впрочем, не надо думать, будто жизнь его вовсе была лишена своих простых и прекрасных радостей. Случались и у Балаклаева романы такие, что хоть пожарных вызывай. Однако все слишком горючее плохо пригодно для жизни, и поэтому женился Балаклаев совсем просто и довольно скоро после знакомства, начавшегося так легко и чудесно, что он, никогда прежде не избегавший надзора судьбы, решил вдруг, будто что-то переменялось и если счастье возможно, значит — вот оно!

Ее звали странным, немножко собачьим именем Дина, да и прической она была немного похожа на собачку — из-под вьющихся каштановых волос, падающих на лоб, всегда блестели веселые глаза. Некоторое время она присматривалась к Балаклаеву, и часто в мерцающей полутьме кинотеатра он, случайно повернув к ней голову, обнаруживал, что Дина смотрит отнюдь не на экран, а на него и губы ее при этом тронуты легкой улыбкой. Он начинал испытывать нежность и преданность и, снова повернувшись к экрану, с радостью чувствовал, как Дина, наклонив голову, кладет ее на его плечо, в котором в этот момент концентрировались все существующие в чело-

веческом теле способности осязания. Она прижималась щекой к плечу, но не сразу, а поначалу несколько раз попробовав его мягкость и надежность — так будет ли удобно и тепло? а так? Казалось, она примеряется к нему, и Балаклаев с тревогой ждал, чем же все это кончится — успешной ли будет эта примерка? ответил ли он тем требованиям, которые хоть и негласно, но уже очевидно предъявляла к нему Дина? Ему было бы страшно жаль, если бы этого не случилось. Незаметно она становилась все ближе и ближе, дела пошли нештучные, и тогда он вдруг впал в смятение, в растерянность — ему стало казаться, что он не вправе претендовать на ее любовь, поскольку вместе с любовью она должна будет отдать ему всю свою верность — верность не только ему самому, но и его пути. Это был его путь, она могла лишь идти следом, и он не был уверен, что такое положение всегда будет казаться ей счастьем. Но Дина, словно прочитав его мысли, простым и эффективным способом подвела черту под сомнениями, принявшись раза два в неделю стирать его косынку, словно признавая тем самым значимость дела Балаклаева и обязуясь в преданности ему. Делала она это неумело, но тщательно, а со временем появился навык и даже некоторый артистизм. Постирала, она аккуратно развешивала ее на кухонной веревочке, причем по-бабьи вздыхала, задирая руки и балансируя на шаткой табуретке. Потом она тяжело спрыгивала, говорила с улыбкой: «Горе мне с тобой!» — и гладила его влажной ладонью по щеке. У Балаклаева щипало глаза, и он понимал, что сделает для нее все, что она попросит.

Так жизнь Балаклаева вступила в новую фазу.

Надо сказать, ему повезло с женой. Дина могла оказаться женщиной капризной, глупой, мнительной, ревнивой, бездельной или еще бог весть какой. Должно быть, эти свойства в ней, как и во всякой женщине, присутствовали, но в таких пропорциях, что рождали характер в высшей степени пригодный для семейной жизни: покладистый, а где нужно, то и настойчивый, мирный, но и лютый там, где шла речь об интересах семьи.

На втором году жизни у них родился мальчик.

Балаклаеву казалось, что время побежало в десять раз быстрее. Он был и так уж не молод, во всяком случае не так молод, чтобы тешить себя некоторыми свойственными молодости иллюзиями. Морщины, седина, холодный самоутраченный взгляд много повидавшего человека — от всего этого уже никуда не деться и никаким, даже самым мощным, усилием уже не внушить себе мысль, будто жизнь бесконечна. А тут еще время покатило, побежало, часы стали тикать в десять раз чаще, словно норовя отнять у него последнее. Но его эта спешка ничуть не огорчала. Он понимал, что иначе и быть не может: ведь всему тому, что он переживал сейчас, следовало происходить постепенно на протяжении куда более длительного времени, а теперь оно должно случиться под самый занавес. Да, он дождал до седых волос один, точнее — один на один с самим собой, один со своим замыслом, со своими борениями; и вот оказалось, борения эти могут (и могли бы!) происходить столь же успешно на фоне кастрюль, пеленок, тут и там разбросанных бигуди, заколок, игрушек и всех этих милых сердцу пустяков, как происходили на фоне прежнего сумбурного безлюдья. Он шагнул в завершающую треть жизни, не будучи обременен ничем, кроме одиночества, и в этой последней трети неожиданно обрел все: ему поневоле приходилось теперь жить за троих! Он должен был успеть испытать все, что дается человеку, и с жаром занимался этим, разрываясь между женой, ребенком, зарабатыванием денег и самим собой, своим делом. Он испытывал только одно чувство — счастье. Может быть, были и другие — какие-то огорчения, обиды, как без них; но все растворялось в главном.

Ночью, когда жена и сын спали, Балаклаев часто лежал в темноте с открытыми глазами, и мысли перекликались в его голове, слов-

но встречные поезда. Он что-то вспоминал, о чем-то думал; если бы он или кто-нибудь смог связно изложить эти обрывчатые сполохи, получилось бы что-то вроде молитвы, в которой Балаклаев, обращаясь к неведомому и не признаваемому им Богу, просил благополучия и покоя. «Господи Боже Ты мой,— прозвучала бы эта молитва, будучи облеченной в человеческие слова.— Ты дал мне странную жизнь, не похожую на все другие, те, что вижу я вокруг. Должно быть, это испытание, ниспосланное Тобой на мои слабые плечи. Почему именно я должен жить этой жизнью, почему Ты не отдал ее кому-нибудь другому, а мне не дал бы его ровное, рассеянное, ни к чему не направленное существование? Должно быть, у Тебя были на то свои соображения, и мне ли, пылинке ли на Твоей ладони, судить о Твоих помыслах? Но прошу Тебя: если уж Ты в мире безразличия и растерянности выбрал меня нести такую ношу, то вдобавок к ней дай хотя бы немного покоя! Пусть жизнь семьи моей окажется сытой и благополучной; пусть минуют нас все те нелепые несчастья, что подстерегают здесь каждого и всех. Пусть, если будет у нас второй ребенок, не уронит его пьяная акушерка, не заразят какой-нибудь смертельной дрянью в полуразрушенном от древности роддоме; пусть найдется в аптеке нужное лекарство, если мы заболеем, пусть иглы у шприцев окажутся кипячеными, чтобы не умерли мы от желтухи или чего почище; пусть мальчик мой по дороге из школы не свалится в появившийся среди дороги котлован с кипятком и не сварится в нем заживо; пусть не попадутся бритвы в твороге; пусть поезд не сойдет с рельсов и самолету хватит керосина; пусть не рухнет эскалатор, когда на нем стоит Дина, пусть газ взорвется в подземном переходе, когда она уже минует его; пусть будем мы живы и здоровы, Господи!.. Я чувствую, что для того, чтобы мир этот стал пригодным для жилья, понадобится много-много жизней, подобных моей; я прожил свой век так, как хотел Ты, и пусть другие проживут их так же. Если у Тебя не найдется желания, чтобы вдохнуть в этот мир смысл и порядок, он, должно быть, увянет, как цветок, лишенный воды и воздуха,— но пусть это случится не на моих глазах, пусть мои близкие будут живы и здоровы, Господи! Я знаю, что просить за всех бесполезно: ведь Ты лучше меня знаешь, что, если родители всегда будут по незнанию, по неосторожности или безразличию делать все то, что они делают сейчас, если они будут безрассудно есть колбасу с суперфосфатом и пить молоко с антибиотиками, дети их детей родятся с тремя, но совершенно безмозглыми головами; и это будет еще не самое худшее из того, что происходит обычно при конце мира!.. Воля Твоя, и если этого нельзя избежать, значит, оно должно случиться; но пусть жена моя и сын мой будут живы и здоровы!..» Он лежал и смотрел в темноту, беззвучно шевеля губами, и никто не смог бы прочитать по ним эти слова.

Время текло и текло, мальчик рос, весна сменялась осенью, случилось множество всяких смешных, приятных или огорчительных мелочей, но каждое утро, осторожно стягивая косынку со лба, Балаклаев видел в зеркале рядом с собой Дину, которая озабоченно и заинтересованно следила за его движениями. Потом она вздыхала, качала головой и вот наклонялась, чтобы поцеловать в щеку. Отражение ее уплывало, и Балаклаев, проводивший перед зеркалом еще несколько минут, слышал, как она гремит на кухне посудой.

Вечером, когда они снова собирались в дом, Дина и сын следили за тем, чтобы не пропустить передачи со знаменитым артистом. Балаклаев вставал в дверном проеме, прислонившись к косяку, и внимательно смотрел фрагмент концерта. Артист пел под старые фонограммы — должно быть, голос у него окончательно пропал. Техникой он так и не овладел. Он разевал рот и частенько делал это невпопад по отношению к музыке и собственному, когда-то записанному на

пленку голосу. С годами он утратил подвижность и теперь только притопывал ногами. Однако бобрик был по-прежнему пушист, а шелюра не редела.

— Ужас! — говорила Дина. — Этому козлу медведь на ухо наступил!

Сведя в одной фразе сразу двух представителей четвероногих, она возмущенно поворачивалась к Балаклаеву. Она смотрела на него, а потом снова на артиста, а потом снова на Балаклаева. И в глазах ее надежда сменялась разочарованием, а разочарование — надеждой.

Балаклаев усмехался, подходил к ней, целовал в затылок. Потом задумчиво шел в ванную.

Все вместе они прожили десять лет, простучавших так торопливо, словно какой-то сорванец на бегу провел палкой по штакетинам короткого забора.

Решительный перелом наступил в конце осени, когда уже сыпал понемногу снег, мешаясь на газонах с палой листвой.

Казалось бы, наученный горьким опытом ошибок и преждевременных радостей, оборачивающихся злой досадой, он и теперь должен был долго сомневаться, не верить себе, ждать подтверждения... Но нет, ничего такого не было. Однажды утром он, поднявшись с постели и подойдя к зеркалу, вздрогнул и широко раскрыл глаза. Показалось, кто-то сказал в самое ухо раздельно и мрачно: «Кончено, Балаклаев!»

Ликования не было — только усталость да еще, пожалуй, чувство освобождения, словно исполнил наконец какой-то очень важный долг.

Он смотрел на себя в зеркало, пытаюсь понять, что же теперь делать, как себя вести. Должно быть, ему нужно было выглядеть победителем. Он усмехнулся: какая чушь! Карабкаясь к вершине, всегда представляешь, как будешь на ней плясать от счастья. А вот поднялся — и молчишь, потому что дальше только небо.

Что же делать ему теперь? Как жить? Он попытался представить свою новую жизнь — и не смог. Воображение отказывало. Всегда прежде оно по его желанию могло унести его и назад, в прошлое, и вперед, к той поре, когда он достигнет цели. Теперь он достиг ее. Прошлое было как на ладони, будущего он представить не сумел: воображение буксовало, словно упершись в глухую стену.

Он присел на краешек ванны, чувствуя ко всему странное, никогда раньше не переживавшееся безразличие. Капала вода из крана, дробилась, а потом плоской лепешкой ползла по крутому скату раковины.

Нужно было как-то сообщить Дине. Он был уверен, что она-то обрадуется по-настоящему.

Войдя в комнату, он потоптался у стола, протянул руку к газете, потом с усилием и как бы невзначай выдал:

— Да, кстати... Что-то я хотел сказать... м-м-м... Ах да! Как ты думаешь... э-э-э... тебе не кажется?..

Криво усмехаясь, он поднял глаза и встретил ее сияющий взгляд. Дина молча кивала, потом смахнула невольно брызнувшие слезы.

— Подожди, подожди... — забормотал он, и ей показалось, что в бормотании этом слышен какой-то страх. — Подожди... Ведь уже бывало так... А потом раз — и ничего нету... Бывало ведь!..

— Нет, — сказала она торопливо, в меру своего понимания найдя те слова, которые, как ей казалось, должны были его успокоить. — Я думаю, что все!

Балаклаев смотрел на нее, стараясь улыбаться той бодрой и многообещающей улыбкой, что свойственна победителям. Он не должен был обрушивать на жену эти тайные, темные страхи, которых она все равно не смогла бы понять.

— Отлично! — сказал он. — Приехали!

— Боже мой! Боже мой! — тихо шептала Дина, прижав ладони к щекам.

Он прочитал в ее глазах немой вопрос и ответил на него, как должен был ответить победитель.

— Ах, Дина! — сказал Балаклаев. — Я так счастлив!

Но больше он не в силах был выдерживать ее взгляда. Отвернулся к окну. Щеки горели. Он дернул шпингалет, толкнул. Морозный воздух потек в комнату. Балаклаев выглянул наружу. Ветер холодил шею. Ему вспомнился точно такой же холодок — много-много лет назад, в тот день, когда он, испытав первое поражение, вышел из парикмахерской. Сколько их было потом!.. И вот теперь...

— Не простудись, — нежно сказала Дина.

Да, она была по-настоящему счастлива. Глаза ее лучились. Она принялась было собирать посуду со стола и вдруг подумала: чем она занята! в такой день! Его нужно было отметить чем-то, как-то закрепить... Чтобы он навсегда остался здесь, с ними, а не утек бы в прошлое, как все остальные... И вдруг ее осенило.

— Пойдем сфотографируемся! — предложила она, легко коснувшись его плеча.

Он вдохнул еще этого морозного, сладкого, пахнущего прелой листвою воздуха, в котором дыхание рождало белые клубы. Пожал плечами, с сожалением закрыл форточку. Сфотографироваться? Что ж, можно и сфотографироваться... А все-таки жаль, чертовски жаль!

Простудился он, видимо, именно возле окна. Ночью стал покашливать, был жар. Утром завернуло круче — метался в бреду, повторяя странные, никем прежде не слышанные слова. Вечером Балаклаева свезли в больницу.

Жизнеописание подходит к концу, и, как всякое полное жизнеописание, оно должно закончиться похоронами.

И опять эти не случайные случайности! Все что угодно могло оказаться случайно, кроме одного: жизнь Балаклаева была исчерпана, она выбросила прямой и совершенно ровный стебель, на верхушке которого распустился заповеданный цветок. Теперь уже ничто не могло удержать ее на земле: она была выпита до дна, она дошла до той точки, за которой все равно не сумела бы выразиться полнее и ярче, а потому и дальнейшее движение было бессмысленным. Закономерность должна была облечься в какую-нибудь случайность: это мог быть автомобиль, ненароком вылетевший из-за угла, или, положим, дрогнувшая рука неловкого провизора, по незнанию всыпавшего в капли от насморка смертельный яд... Так или иначе, тот хаос, который был пронзен жизнью Балаклаева, словно боевой стрелой, должен был теперь в отместку взять свое.

И он взял.

Случайность, в которую облеклась закономерность, выглядела так: недоучка доктор, ошибочный диагноз, потерянный день. Когда отек легких достиг полного развития, врачи спохватились и сделали все что могли.

Завотделением так и сказал заплаканной, едва на ногах стоящей Дине: что же вы плачете, мы сделали все что могли.

И развел руками.

С тех пор прошло десять лет, но по-прежнему на одном из отдаленнейших кладбищ города раз или два в месяц можно встретить эту пару. Женщина выглядит прежде времени постаревшей, молодой человек, поддерживающий ее под левую руку, довольно высок ростом. Это, как вы, должно быть, и сами догадались, Дина и ее сын, Балаклаев-младший.

Хорошо, если день погожий. Тогда на листьях деревьев, на гранитной крошке аллеи и на гладких плоскостях тех ритуальных сооружений, мимо которых они идут, происходит бесконечная игра света и тени. Порой зайчик попадет в глаза, и хочется зажмуриться. В такую погоду Дина всегда вспоминает первые дни их знакомства с Балаклаевым, когда жизнь казалась легким праздничным занятием, специально приспособленным для счастья. Если же, как это часто бывает в наших широтах, небо хмурится, по нему плывут низкие облака, а свет сумеречен и вязок, Дине вспоминаются дни совсем иные — дни болезни, несчастья, дни, с которых начались эти печальные хождения.

Они сворачивают направо там, где центральную аллею пересекает одна из побочных, и идут дальше, негромко переговариваясь и глядя по сторонам.

Впрочем, Дина по сторонам почти не смотрит. Со дня смерти Балаклаева мир стал ей окончательно понятен, она не ждет ничего хорошего и не переменит своего мнения о нем, даже если и увидит нечто новое. Сын тоже погружен в себя. Надо сказать, он уже нашел свое дело, оно занимает его почти целиком, и в то время, когда Дина, опершись об ограду, искренне и горько плачет, стараясь, впрочем, не вторгнуться громкими звуками в лиственную тишину обступившего их зеленого приюта, юноша, машинально поддерживающий ее под руку, размышляет о вещах не столько скорбных, сколько вечных. То, что для матери является главным содержанием жизни (разумеется, после забот о нем, о сыне), для него лишь более или менее обременительная обязанность, ставшая привычной. Отца он помнит смутно, так, словно время развешивает между ними все больше и больше каких-то полупрозрачных кисей: с годами остается лишь неясный контур, абрис, рисуемый более воображением, нежели памятью. Мать часто пускается в рассказы, но ему кажется, что и она представляет его себе не вполне ясно: раз от разу что-нибудь да переменится в ее воспоминаниях, события и причины меняются местами, словно играя в чехарду.

Подметая внутри ограды, поменяв цветы в склянке и, если позволяет погода, посидев некоторое время на скамье, они так же неторопливо идут назад, и так же сын поддерживает мать под левую руку. Шагая к воротам, они негромко переговариваются. О чем? Да обо всем — о здоровье Дины, о деле сына, о жизни, которая трудно поддается перед человеком, выбравшим себе прямую дорогу. Пожалуй, единственное, что никогда не всплывает между ними, это личность знаменитого артиста.

Кстати говоря, портрет его и по сию пору висит рядом с портретом Балаклаева-старшего, сделанным по настоянию Дины накануне роковой болезни. И всякий, даже совершенно случайный человек, взглянув на них, отметит про себя поразительное сходство.

Так почему же они никогда не заговаривают о нем?

Потому что Дине не хотелось бы, чтобы то, что знает она, стало известно сыну.

Однако сын тоже знает — и тоже благодаря совершенно случайному стечению обстоятельств. Жизнь часто показывает карточные фокусы, сводя в одной колоде тех, кому бы никогда не следовало встречаться. «Да не может быть!» — воскликнул он первым делом, услышав, что артист, смолоду страдавший ранней лысиной, всю жизнь носит парик — ведь на сцене выглядеть поросшим. Но, поразмыслив, пришел к выводу, что единственное, что он может сделать в этой ситуации, это постараться не проговориться матери.

Оберегая друг друга, они, должно быть, никогда больше не заговорят о нем. Между тем артист все поет. Просто вечный какой-то, — меланхолично думает Дина, глядя на экран. Сын тоже порой взглянет на него, но думает в такие минуты о другом. Его не оставляет

мысль: интересно, а отец знал или не знал? Почему-то ему кажется, что — да, знал. Следя за тем, как артист ковтыляет по огромной сцене, с трудом вытягивая за собой шнур микрофона и изредка покрикивая в него, Балаклаев-младший размышляет о предметах далеких, отстраненных, не каждый день встречающихся в жизни, похожих своим холодным светом на звезды и так же таящих в себе невероятный жар: о совершенстве, о путях достижения цели, о том даже, может быть, что достичь цели можно только тогда, когда она совершенно недостижима. Он целует мать в щеку и уходит в другую комнату заниматься делом.

Музыка стихает, появляются два служителя, уведут еле волочащего ноги артиста за кулисы, и занавес закрывается.

Махмалев и Голованов

Голос Витька Голованов спалил лет семь или восемь назад, хвятив уксусной эссенции вместо водки. С тех пор он хрипит, словно вот-вот залает, но все к этому давно привыкли и не обращают внимания. Только те, кто заглядывает в столовую Управления впервые, бывают поначалу немного ошеломлены. Сдвинув на ухо колпак, всегда принимающий на его голове вид чего-то вроде бескозырки, Витька спрашивает голосом, могущим принадлежать разве что карьерной камнедробилке:

— Мясо будете?

— А что, мясо есть? — оторопело осведомляется новичок, мгновенно проникшийся уверенностью, что вслед за таким вопросом нужно ждать удара половником по голове.

— Щас наловим... — хрипит Витька и впрямь начинает возить ложкой в плоском судке, стоящем на пару.

Мясо, если по-честному, давно кончилось, но Витьке хочется угодить человеку. Минуты через три он загоняет в угол и затем вылавливает из соуса пяток волоконцев, самый вид которых вызывает мысль о разложении, и стряхивает их одно за другим на синюю горку картофельного пюре.

— Пожалуйста, — рычит он. — Компот будете?

— Буду, буду... — торопливо соглашается новичок, отводя глаза в сторону. Мяса ему не хочется, а попросить у этого хрипатога чего-нибудь другого он боится — пырнет еще ножом, чего доброго; кто знает, на что способен человек с таким голосом в минуту раздражения. Вздохнув, он молчком тянет поднос к кассе.

А Витька уже обслуживает следующего. При этом он совершает массу лишних движений, выдающих в нем непрофессионала, — держит черпачок наперевес, всякий раз помахивает им, словно примеряясь, щурит глаз, а плюхнув пюре на тарелку, непременно с выражением легкого изумления на своем широком скуластом лице посмотрит на него и отнимет немного, стряхнув в бак, а потом снова добавит и только после этого начинает ровнять, пытаясь придать пюре тот волнистый вид, какой свойствен ему на фотографиях в поваренной книге, но пюре только размывается по всей тарелке, не подчиняясь движениям; да и сам этот черпачок в его руках выглядит странно: судя по ширине запястий и пальцев, по плоским широким ногтям, судя по борцовской Витькиной шее и покатым плечам, ему больше подошла бы полновесная совковая лопата, нежели эта поварская лопаточка, которой все равно он может совершать не более изящные движения, чем те, которые совершал бы совковой лопатой, ломом или, на худой конец, монтировкой. В разгар обеденного времени, когда к раздаточной выстраивается гадящая очередь, Витька вспотеваает от спешки и усердия. Пот на его наморщенном лбу собирается такими крупными

каплями, что кажется, будто эти капли подвержены каким-то иным законам поверхностного натяжения. Новичкам от этого еще одна забота — они с волнением следят за каплями, пытаются понять, сорвалась ли уже одна из них в тарелку или еще нет; что же касается постоянных посетителей, для них вопрос решенный — нет, не сорвалась и никогда не сорвется.

В столовой Управления ничего не готовят, да здешняя кухня и не приспособлена для этого: нет ни плит, пышущих жаром в раскрасневшиеся лица, ни огромных алюминиевых баков, в которых беспрестанно кипела бы вода, ни веселых запахов, спиральными дымами рвущихся из-под крышек. Иногда под вечер, когда уже вся посуда помыта, Шестаков пришлет экспедитора Почечкина с просьбой пожарить яичницу. Тогда Мила недовольно погремит сковородой, поставит ее на газ, и от сковороды вкусно запахнет горячим маслом. Но вообще-то еду привозят из подрядившегося ее поставлять близлежащего ресторана. Остается только раздать да вымыть тарелки за поевшими. Ресторан жулит, порции мизерные, цены высокие, и уже давно эту систему раскатали бы по бревнышку, если бы из ресторана не подбрасывали порой для успокоения публики дефицитные полуфабрикаты — мясо духовое или гуляш. В такие дни женщины Управления гадают возле дверей и пишут списки.

Ездить в ресторан за полными бачками и отвозить пустые — обязанность Витьки. Это не нравится ни ему, ни Караулову, чью машину всегда используют для этих поездок, однако делать нечего, потому что, кроме него, в столовой есть только Мила да бабка Клава. Мила — заведующая, бабка — старая. В общем, ни ту, ни другую таскать бачки не заставишь. Да дело не в бачках, а в том, что с Карауловым Витька вечно препирается, и тот всякий раз по возвращении грозит пожаловаться, плюется и ругает Витьку самыми черными словами. А на следующий день снова как ни в чем не бывало садится за руль, чтоб везти хрипатога, — и опять Витька доводит его до иступления. И сам-то при этом понимает, что лучше бы помолчать, а все равно хрипит Караулову в ухо.

Точно так же можно было бы помолчать, когда в столовую приходит Почечкин за обедом Шестакову. Сам Шестаков не спускается с третьего этажа.

— Пришел! — хрипит Витька с нешуточным недовольством в голосе. — Все холуйничаешь!

Почечкин, потирая белые руки с длинными нервными пальцами, по-птичьи наклоняя голову, присматривается к тому, что делается в судах.

— Ну! — рычит Витька и одним движением половника устраивает вихрь и бульканье в бачке с мутным рассольником.

— Первого давай, — недовольно и немного расслабленно говорит Почечкин, махнув пальцем в сторону рассольника. — Погуще давай первого!

— Погуще! Как всем! Что ему, из другого места привозят, что ли!

— Ты много не болай, — вяло советует Почечкин, принимая тарелку. — Ты знай накладывай... Что там на второе-то?

— Не видишь?! — зверьим голосом возмущается Витька. — Глаза разуй!

Почечкин женственно склоняет свой длинный, отягощенный дряблым животиком стан и косится в жаровню, поводя мучнисто-белым с краснотой на конце носом.

— Котлеты, что ли? — брезгливо спрашивает он. — Котлет он не ест... Что еще?

— А что еще? Что еще? Ты бы еще позже пришел! Я тут буду разносолы разводить!

Но в конце концов выгребает откуда-то из-под котлет прибереженный кусок мяса, плюхает в тарелку.

Другой бы прямо выхватил из рук, но Почечкин не из таких. Взяв протянутую тарелку, он оглядывает мясо со всех сторон. Потом подносит к носу и нюхает.

— Что! — возмущается Витька. — И это не так! Ну поставь тогда, другие съедят! И пусть сам приходит, нечего других посылать! То же — барин!

— Вчерашнее, что ли? — спрашивает Почечкин.

— Ты луку поел? — в свою очередь спрашивает Витька. — Или так...? Ты что, не видишь?

— Ладно, ладно...

Немного отключив зад словно в приступе радикулита и ступая так осторожно, словно в суповой тарелке не рассольник, а жидкий нитроглицерин, который может всякую минуту взорваться, Почечкин шагает к дверям, а Витька еще что-то хрипит ему вслед. По-видимому, Почечкин старается отнести его речи к разряду шуток, да так, в сущности, и есть — ни к Почечкину злых чувств Витька не питает, ни тем паче к Шестакову, с которым и на рыбалку в свое время ездил, и от милиции тот его не раз избавлял...

И с Карауловым они отнюдь не враги, а если бы Витька не говорил тому под руку, и вовсе были бы друзьями. Но Витька молчать не может, хоть всякий раз и зарекается. Сев в машину, он нервно поводит носом, словно унюхав что-то необыкновенное. Между тем пахнет здесь тем же, чем всегда пахнет в битых разрезных «уазиках», — бензином и шоферской грязью. Караулов поворачивает ключ, стартер начинает скулить и ахать, и Витька уже что-то хочет сказать, но прикусывает язык. Наконец двигатель схватывает, и Караулов, сделав постное и немного трагическое лицо, начинает тыркать ногой педаль акселератора, то прибавляя, то убавляя обороты. Педаль скрипит тонким голосом, выхлывается и прихлопывает.

Витька изо всех сил старается смотреть в окно и думать о том, как сейчас они приедут к ресторану, как он вытащит бачки и поставит их возле задних дверей... Как похлопает себя по карману, проверяя, на месте ли накладные, а потом войдет внутрь, поднимется по ступенькам... Там его уже тоже знают, встречают кивками... Но уши сами собой ловят каждый звук, сопутствующий езде на автомобиле. Вот Караулов выжал педаль сцепления, толкнул рычаг переключения передач. Вот машина покачнулась, тронулась... Витька поворачивает голову и хрипит:

— Жжешь, жжешь ты сцепление, Константиныч!

— Ничего, — флегматично отвечает Караулов, — не сожгется.

Он смотрит в стекло сощурившись, словно плохо видит. Но это просто привычка. Видит Караулов хорошо, хоть ему через пяток лет на пенсию. Привычка и то, что он беспрестанно работает рулем — крутит его то вправо, то влево, то вправо, то влево, словно машина идет не по прямой ровной дороге, покрытой новехоньким асфальтом, а по грунтовке, где приходится лавировать между ухабами.

— Эх, Константиныч, что ж ты никак не поймешь-то! — взрывается вдруг Витька. — Что ж ты обороты-то не дотягиваешь! Не слышишь?!

— Дотягиваю, дотягиваю... — спокойно отвечает Караулов.

— Нет, не дотягиваешь! — хрипит Голованов. — Не дотягиваешь! Тебе бы еще на низшей поддать, а ты уже тык — и переключился! Вот у тебя машина и захлебывается!

— Ладно, не захлебнется, — говорит Караулов, поглядывая в зеркальце.

— Тебе все ладно! Я же слышу!

— А ты не слушай.

Караулов щелкает указателем поворота, притормаживает.

Витька, играя желваками, следит за каждым его движением. У него напряженное, страдающее лицо. Он молчит, но напряжение все

равно передается Караулову. Караулов начинает ерзать на сиденье и вот правда совершает небольшую ошибку: светофор уже вспыхнул разрешительным зеленым, а он все ерзает. Сзади слышится чей-то нетерпеливый сигнал. Караулов спохватывается, втыкает передачу, машина лягушкой прыгает с места...

Витька хрипит. Караулов огрызается.

На обратном пути, уже подъезжая к Управлению, Караулов, добрая душа, все-таки не выдерживает, бросает руль и кричит плаксивым голосом, размахивая руками перед Витькиным лицом:

— Чтoб ты костью подавился, сучок ты намазанный! Чтo ты ко мне пристал? Ездить я не умею?! Ты умеешь ездить, водило! Ты уже наездился! Будешь ты молчать или не будешь?! Вот вернут тебе права, тогда и покажешь, как ты едешь! Чтo привязался, гад? Сейчас же к Шестакову пойдю! Махмалеву скажу — не поеду с ним больше! Пусть хоть кого дает!..

Пофыркивая, «уазик» подкатывает к воротам Управления, въезжает во двор, подпрыгнув и заскрипев на вековой колдобине, которую все собираются забетонировать. Останавливается у торцового входа. Витька распахивает дверцу, соскакивает на землю, обходит машину, дергает задние двери... Бачки тяжелые. Караулов, бормоча под нос последние на сегодня матюки и проклятия, сует в зубы папиросу, выставляет локоть в окно.

Тычком, швырком, стиснув зубы, гремя и топяя, Витька тащит бачок в кухню, грохает на кафель, хрипит весело:

— Жратва приехала!

Пропади все пропадом! Тут он временно, это ясно... Шестаков и уговорил: что, мол, тебе идти куда-то, давай вон пока при столовой. Засмеялся еще — место хлебное. Человек, мол, как раз нужен. А не понравится — хоть в столорку, хоть на стройучасток... Хоть при гараже слесарить. Тьфу!

Вот этот, с борщом, самый тяжелый... Витька вполголоса матерится, стаскивая бачок на землю, с натугой ставит на асфальт. Тяжелые бачки... Да дело-то не в бачках! Права у него отобрали за пьянку, и еще два с лишним года ему здесь горбатиться... Да дело ведь не в том, что горбатиться, что он, работы не видел! А просто не может Витька без машины, не может! Ну хоть башкой об стенку стучись — так хочется, так скучает!

Конечно, ко всему постепенно привыкает человек, иначе бы все уже давно свихнулись. И Витька привык, не то что первое время. Так и катится день за днем, так и катится. Все одно и то же — бачки, тарелки, беготня туда-сюда в четырех стенах. День проколготишься, к вечеру что-нибудь придумается. Можно с дружками из гаража посидеть, с тем же Карауловым толчок сердцу дать. А то Милка к себе позовет, или есть еще Люська Гальянова, но к той ездить далеко — через весь город. Так все и идет, так и катится, да и пусть скорее катится, скорее бы прокатилось. Три года — долго. Кто-то давным-давно рассказывал Витьке байку, как попали в тюрьму цыган и русский. Цыган спрашивает: «Тебе сколько сидеть?» «Три месяца». «Ой как долго!» — говорит цыган. «А тебе сколько?» — спрашивает русский. «Три года». «Так что ж ты говоришь, что мне долго?» «Потому что тебе, — говорит цыган, — сидеть день — ночь, день — ночь, день — ночь... А мне зима — лето, зима — лето!..»

Бывает, что череда друг на друга покожих дней вдруг нарушается. Происходит это без видимых причин. Просто с самого утра все не так, не по его, все через силу, торчком. Кажется, будто что-то жмет в груди, горчит, не дает вздохнуть свободно... Такая тоска подкатывает — просто некуда деваться! Целый день Витька все собирается то одно сделать, то другое, да так, промаявшись до самого вечера, ничего толком и не делает — ни к Милке не едет, упирается, ни к Люське Гальяновой, ни в гараж не идет: что там, в гараже-то, хорошего?!

И домой тащиться неохота — дома тоже одна радость, что соседские дети в коммунальном коридоре визжат. Уже темно, а в Управлении погасли все окна, когда он наконец сует в карман припасенную бутылку водки и медленно идет по коридору к выходу. Если на вахте дядя Сережа, Витька еще с ним полчаса посидит, поговорит со стариком о том о сем.

У дяди Сережи личико маленькое, старушечье, да и весь он невелик — едва выглядывает из-за барьера. Перед ним на столе телефон, амбарная книга, карандаш, а сам он теперь до утра будет представлять в пустом Управлении власть, и ответственность заставляет его морщить лоб и поджимать губы.

— А я ей говорю,— хрипит Витька, облокотившись о барьер и низко наклоняясь к дяде Сереже,— пошла ты вон, что ты мне мозги компостируешь!.. Верно?

Он глубоко затягивается, шумно выдыхает дым, смотрит на дядю Сережу порозовевшими и немного выкатившимися от водки глазами.

— Бабы есть бабы,— строго, даже немного недовольно говорит дядя Сережа — от Витьки тянет спиртным, и он тоже бы выпил, а то какой разговор насухую, да нельзя на посту. Кроме того, ему хочется и свое рассказать — был ведь, слава богу, и он молодым, и ему бабы плешь проедали, да еще как проедали, заслушаешься! — а Витька, гад, как стакан примет, так слова не дает сказать, молчи да молчи!

— Нет, ну верно? — настаивает Витька.

— Ну! — говорит дядя Сережа.— А моя, слышь, когда еще в Коломне жили...

Он вдруг закатывается мельчайшим смехом, словно опилки сыплет. Grimаса строгости пропадает, вся физиономия морщится, он безвольно машет рукой.

— Да подожди ты со своей Коломной! — хрипит Витька.— Наслушался я про твою Коломну! Коломна! — передразнивает он.— Ты мне скажи: должен я ей что-нибудь или не должен? Смотри! — Витька протягивает дяде Сереже свою тяжелую ладонь, на которую тот с некоторой опаской смотрит.— Я ей в чем препятствую? Нет, не препятствую. Пожалуйста! Генка твой с зоны придет — живите, дело твое. Верно? Это — р-раз! — Он загибает мизинец.

— Конечно, — рассудительно кивает вновь построжевший дядя Сережа.— Зона есть зона.

— Я в твои дела не лезу! Сколько ты выписала, сколько получила, сколько сдала, сколько у тебя осталось, сколько ты Вальковскому отстегнула, сколько домой унесла — меня это не касается! Мое дело бачки привезти! Верно? Это — два!

— Что ж,— осторожно замечает дядя Сережа,— жизнь есть жизнь...

Он вдруг задумывается и перестает слушать Витьку, не видит, как тот загибает перед его носом все новые и новые пальцы. Раньше он был молодым, они жили в Коломне, и Мариша проедала ему плешь; а теперь он живет здесь, Мариша померла четыре года назад, а он старый, и все время болит правый бок: и связать все это воедино нет никакой возможности, и нет никакой возможности все это хоть как-нибудь объяснить, кроме разве что этой покатоной фразы.

— Да,— повторяет дядя Сережа совершенно невпопад,— жизнь есть жизнь...

— Ну заладил! — хрипит Витька.

У него тоже что-то вдруг погасло в душе, словно выключилось. Он разгибает пальцы, машет рукой.

— Ладно, пойду я... Не ночевать же тут, а?

Дядя Сережа не отвечает, морщит лоб, вздыхает.

— Двери закрой...

— Что?

— Двери закрой, говорю, тетеря!

Дядя Сережа поднимается, идет вместе с Витькой к выходу. Сквозь толстые стекла видно, как трепещут лужи под дождем, как холодно блестит мокрый асфальт под светом ртутного фонаря. Витька поднимает воротник, кивает и выходит под дождь, а дядя Сережа, у которого впереди длинная-длинная ночь, провожает его взглядом.

В сущности, единственный человек, которого Голованов искренне не любит и который отвечает ему столь же искренней неприязнью, это Махмалев.

Почему они друг друга не жалуют — понять совершенно невозможно, тем более что чувства эти обоими скрываются или, по крайней мере, не выставляются напоказ. Жить не последний день, а судьба к тому привела, что они связаны, если так можно выразиться, производственными отношениями и поставлены в зависимость один от другого.

Когда-то Махмалев тоже сидел за баранкой и даже что-то вроде дружбы между ними было — особенно в ту дальнюю пору, когда у обоих были «шестидесят шестые». Потом ушел на пенсию Николай Палыч Кривошейко, возивший Шестакова, и Махмалев пересел на «Волгу». Тут он получил второй класс и начал подумывать, не поступить ли в техникум, пока еще не старый, как вдруг случилась в Управлении еще одна подвижка, на «Волгу» Шестаков посадил какого-то паренька только что из армии, а Махмалева вознес туда, где он находится поныне.

Может быть, Махмалев думает, что Голованов ему завидует. По идее, это очень может быть. Голованов как рулил на своем «шестидесят шестом», так и рулит (сейчас-то он при столовой, но это временно), а Махмалев теперь вон где.

Сам он о прошлом никогда не упоминает — что его ворошить. Жизнь у него ныне совершенно другая, не шоферская. Говорит Махмалев решительно, смотрит прямо, ходит тоже очень прямо, подняв голову. На лбу у него лежит глубокая складка, появляющаяся у людей, как правило, в результате глубоких раздумий и множества забот. И одевается Махмалев не так, как обычно одеваются шоферы. Он носит шерстяной коричневый костюм, причем пиджак двубортный, с длинными лацканами; оттого, что он Махмалеву чуть узковат и обтягивает фигуру, впечатление бывает двойственное: так посмотришь — вроде что-то гвардейское: эти борта, эти накладные карманы, эта расширяющаяся грудь; а так посмотришь — что-то неуловимо лакейское: эти фалды, эта подтянутость официанта... Кроме того, в холодную погоду Махмалев надевает черное кожаное пальто, которое, ничего не скажешь, идет ему, подлецу, и берет в левую руку кейс — когда выходит на улицу. Ну, казалось бы, ничего шоферского — кейс, костюм и кожаное пальто; но то ли то, как жует он пожелтевшими зубами сигарету, как тощит щеки, вытягивая дым, а затем неуловимым движением фокусника сглатывая его, словно сизый пузырь, отчего тот пропадает где-то внутри и затем почти не появляется наружу; то ли походка, при которой верхняя часть тела выглядит деревянной, а нижняя, напротив, излишне разболтанной и подвижной; то ли, в конце концов, кирпичный, словно выжженный многолетним солнцем цвет лица и мешки под глазами, неопровержимо свидетельствующие о том, что Махмалев не избавился еще от некоторых привычек, свойственных шоферам, — в общем, непонятно, что именно, но все-таки как глянешь на то, как немного косолапо ставит Махмалев ногу, как воротит шею, топырит грудь и придерживает пальцем крышку кейса, чтобы ненароком не вывалилось содержимое, так и подумаешь: вон идет шофер, надевший пальто, пиджак — и с кейсом.

Так или иначе, Махмалев теперь — человек аппарата. Разумеется, аппарат свой, доморощенный, управленческий, немногочисленный — так себе аппаратшко по сравнению с каким-нибудь более

или менее серьезным, сложным, разветвленным и таинственным аппаратом; но такой ли, сякой ли, а все-таки аппарат, никуда не денешься.

В рамках этого аппарата Махмалев занимает своего рода номенклатурную ячейку. Первого попавшегося на его место не возьмут — и Шестаков должен санкционировать, и заместитель по хозяйственной части заинтересован. Самого его недели три мурыжили, все было непонятно — годится, не годится... Но в конце концов последние зубья последних необходимых шестерен зацепились, сами шестерни содрогнулись и чуточку поддались. Шестаков поставил последнюю визу, и теперь Махмалев уже который год начальствует в административно-хозяйственном отделе.

Административно-хозяйственный отдел — самый маленький в Управлении, и это является причиной бесконечных сожалений Махмалева. Под его командой вносят свой соизводительный вклад четыре вахтера, три уборщицы, кладовщица, грузчик и персонал столовой. Последние — то есть Милка Королькова, бабка Клава и хрипунец Голованов — то и дело выкобениваются, словно они сами по себе, а не под началом Махмалева, что его несказанно раздражает.

В общем, негусто народу. Махмалев чувствует в себе ярко выраженную командную жилку (да и другие тоже чувствуют, ведь иначе не утвердил бы его Шестаков), а жилка эта содрогается в нем почти попусту. Ну что, в самом деле, швабры, склад, еще эта столовая... Ну вот бог даст, ввяжется на следующий год Шестаков, как грозился на партхозактиве, в строительство нового здания, тогда, глядишь, штат у Махмалева будет побольше — вахтеров нужно будет еще, опять же уборщиц... Под это дело какого-нибудь человечка вроде заместителя он себе выбьет... Провести его кладовщиком, да и дело с концом... Это уж будет посolidнее заведение... Хотя, с другой стороны посмотреть, все то же самое, только что в большем количестве — швабры, вахта, столовая еще эта... Нет, не тот масштаб, не тот.

Если спросить, Махмалев, видимо, не сможет ответить, какой масштаб его бы вполне устроил. Внимательно сощурившись, неслышно постукивая острием финского карандаша по обложке блокнота фирмы «SPACE» — в прошлом году пришли такие в комплектах оргтехники, — он поглядывает то на одного, то на другого из собравшихся на общее совещание к Шестакову начальников отделов и служб. До него очередь дойдет не скоро — если вообще дойдет. Если дойдет, он чинно привстанет, скажет, что спросят. Но пока не спрашивают.

Шестаков терзает недовольными вопросами Гольденсона. Да вот его хотя бы и взять... Или Примерова. Такие же люди, как он, Махмалев. Не какого-нибудь там другого сорта — о семи головах. Да и Скоробеев, зам по хозяйственной, тоже ничем не выделяется.

Махмалев переводит взгляд с одного на другого. Для него загадка: почему, несмотря на очевидное их равенство, он, Махмалев, всего лишь начальник АХО, в то время как другие, ничем от него не отличающиеся, ворочают делами куда крупнее? И людей у них в подчинении больше и весу... Нет, непонятно!

Взгляд замирает на кончике карандаша, Махмалев задумывается, погружается если не в размышления, то в мечты. Лицо у него в такие минуты немного расслабляется, пропадает решительное выражение, которое он всегда напускает, хоть оно и не нужно почти никогда; ну что там, в самом деле, решать, какая особая решимость нужна при установке очередности вахт или подписании складских требований, — нижняя губа немного мягчеет и оттопыривается, придавая лицу Махмалева, отмеченному печатями многих тягот, пороков и страстей, свойственных жизни человека, перевалившего за сорок, какое-то затененно-нежное, детское, как будто немного обиженное выражение... Смутные, не во всех подробностях различимые образы проплывают перед глазами. Махмалеву видятся люди, расположенные прямо в воз-

духе, в пространстве, безо всякой опоры висающие над его головой; вокруг них — легкое сияние и медленное движение каких-то полупрозрачных масс, неспешно циркулирующих, увеличивающихся или уменьшающихся в объеме. Порой от одной массы отделяется кусок и плавно перелетает к другой, слепаясь с ней намертво; тогда фигура человека, вокруг которого кружится, неторопливо поворачиваясь то одним, то другим боком, эта увеличившаяся масса, начинает подниматься выше, а тот, от массы которого ломоть ускользнул, чуть припускается. И сам он — один из этих людей, и сколько хватает глаз, все забито этими людьми и вращением вокруг них, и сколько ни смотри вверх, все равно — даже и на самой недостижимой высоте виден человек, рост которого отсюда скраден расстоянием, и кружащие возле чудовищно большие, похожие на кучевые облака комья...

— Что со спиртом? — брюзгливо спрашивает Шестаков.

Махмалев не вздрагивает, не вскидывает глаза и не приоткрывает рот, как сделал бы на его месте всякий иной человек, выведенный из глубокой задумчивости неожиданным вопросом.

— А что со спиртом? — переспрашивает он так, словно именно об этом сейчас и думал. — С утра Гучков машину дал, поехали за спиртом...

— Дотянули... — ворчит Шестаков. — ВЦ уже стонет, прозят машины останавливать...

— Все по норме, Викентий Сергеевич, — осторожно пожимает плечами Махмалев. — По календарному времени...

— Знаю я ваши нормы, — обрывает его Шестаков. — Ладно. У кого что? Тогда все, свободны.

Махмалев поднимается, одним из первых выходит в коридор. Обычно народ еще минут десять толчется возле шестаковского предбанника, пока секретарша Люда не замашет руками — мол, удушили дымом, давайте, давайте отсюда! И Махмалев эти десять минут проводит, как правило, здесь — послушать, самому словечко молвить, перекинуться новостями, которых в другом месте не услышишь, да и по делу, если что нужно, тоже можно договориться. Правда, есть в этих сборищах и неприятная сторона — то и дело кто-нибудь хохочет, и всякий раз Махмалева тянет оглянуться, посмотреть: не над ним ли смеются? Черт их знает, тут такие весельчаки собираются, что того и гляди провезут мордой по полу... Поэтому всегда он испытывает легкое облегчение, когда Люда начинает махать руками и кричать: ну задушили, задушили своим вонючим дымом!

А сейчас он, и вовсе не задержавшись ни на минуту, решительно шагает по коридору быстрой походкой человека, потерявшего счет заботам. Сейчас ему не приходится прилагать никаких усилий, чтобы придать физиономии озабоченное выражение. «Знаю я ваши нормы!»

Кто-то встречный здоровается с Махмалевым, но он, не заметив, сворачивает на лестницу. Он ничего не видит впереди, потому что перед глазами стоит Шестаков и повторяет как заведенный: «Знаю я ваши нормы! Знаю я ваши нормы! Знаю я ваши нормы!»

Что это? Недовольство им, Махмалевым? Подозрение? Или так, походя, рикошетом — всем сестрам по серьгам? «Знаю я ваши нормы!»

Его неприятно передергивает. Всякий раз, когда Махмалев слышит сердитые нотки в голосе Шестакова, он ощущает, будто земля заколебалась под ногами, и испытывает такой же панический, слепой ужас, какой выгоняет из нор ядовитых змей накануне землетрясения. Умом-то он все хорошо понимает — всякое бывает, люди нервничают, срывают друг на друге зло, повышают голос. Но все равно — стоит Шестакову покоситься в его сторону и недовольно буркнуть, как Махмалев оцепеневает. Мир, еще три минуты назад казавшийся обжитым и прочным, как бетонная плита, оказывается вдруг чем-то вроде стеклянного шара, тошнотворно неустойчиво балансирующего на стальной

игле. Миг — и он с грохотом разлетится по асфальту!.. «Знаю я ваши нормы!..» Это вверх трудно, ни фигу не пролезешь, а вниз-то ой как легко — катышком; махнули пером по бумаге — и Махмалев уже просыпался, и вот он уже экспедитор вместо Почечкина, благо тому через полгода на пенсию! А не хочешь экспедитором — неволить не будут, молодым везде у нас дорога, давай на «шестьдесят шестой», располагайся, стоит наготове! «Волга» занята, чего нет — того нет, а «шестьдесят шестой» свободен, только рули!..

«Знает он наши нормы!..»

Что касается норм, то ведь не Махмалев их выдумал. Еще надо разобраться, кто такие нормы выдумал. Он как впервые столкнулся с этим делом, так и ахнул. Пять литров, семь, десять! Пять литров в месяц! Это где же в здании Управления может поместиться такая машина, что требует пяти литров?! Это же двадцать бутылок, даже если пополам разводить! Человеку хватит! Специально просил ребят из экономического отдела показать. «Вот», — говорят. «Где?» — «Да вот же, на столе стоит!» Фитюлька! Зеленый телевизор, жужжит, и цифры по нему какие-то бессмысленные бегут! Пять литров! Ну он только посмотрел на них возмущенно, как на сумасшедших, и ушел, тряся головой... А ничего не поделаешь — норма!

Впрочем, пять они, конечно, не получают. Только расписываются. Получают три. Никто прав не качает, все понимают: их много, а склад один, спирт нужно экономить, спирт — валюта, на спирт все можно купить. Взбодрить слесарей — стакан, они за стакан до утра в говне ковыряться будут. Пять литров — роль бумаги для множительной. Канистра двадцатилитровая — это уже крупные дела, это сам Шестаков куда-то увозит. Черт его знает куда. Может, министру в подарок. Может быть, мастерам платить, что дачу строят... Нет, ну каков! Как требовать — так никаких разговоров, чтоб была канистра, и все тут! А как чуть не подрассчитали, так сразу вон что — «знаю я ваши нормы!».

И вдруг на подходе к дверям кабинета Махмалева прошибла такая мысль, что едва ноги не подкосились: может, ему Виктория кашнула?

Махмалев инстинктивно горбится, оборачивается, дергает плечом, тычет раза два ключом в замок, попадает с третьего... Фу, да что такое, в рот пароход, что, в самом деле... Нет, не может быть! Да и с чего бы? Виктория свои три литра получает — и все, и не грехи. Три литра! Трех литров ей во как хватает! Он ведь мог бы ей и приказать. Кладовщица ты или кто? Все, давай отпирай, если начальник велит! А ведь нет — все по-хорошему, по-человечески. На, бери, пользуйся. Три литра — это немало. Для кладовщицы-то... Да он сам никогда больше десяти не брал! Ну, было однажды — двенадцать, что ли... Да вот летом еще, когда с ремонтом возился, пятнадцать... И еще потом три добавочно. Ну, это же нужно было, понятное дело — ремонт...

Сев за стол, Махмалев немедленно начинает тыкать кнопки селектора. Вот что-то хрюкает в телефоне.

— Зина? — кричит Махмалев так, что по всему этажу прокатывается эхо. — Кто это?

— Я, — говорит Зина голосом робота.

— Гучков у себя?

— Что?

— Гучков, говорю, у себя?

— В мастерских.

— В мастерских... Зина, Зина, подожди!.. Машина пришла, что за спиртом посылали?

— Нет, не пришла.

— Как придет, сразу мне прозвони, я разгрузку организую! Сразу, поняла?

— Поняла,— металлически твердо отвечает голос Зины, изуродованный селектором.— Сразу.

В половине пятого к Махмалеву врывается Клубков и начинает срать с порога, выкатив глаза:

— Долго я буду там торчать? Сколько можно держать, ну! Я Гучкову сказал, что это на весь день! Спешка, спешка, потом стоишь полдня, чего-то ждешь! Сколько стоять-то! Мне еще масло сливать ехать! И туда, и сюда, и пообедать успел — и никто не чешется! А?!

— Тихо, тихо... — машет руками Махмалев.— Ты приехал? А что же Зина-то мне ничего... Сейчас, сейчас... Иду, иду...

Он спешит было к дверям, запинается, поворачивается к столу, набирает по селектору номер.

— Зина!

— Гучков,— дребезжит из телефона.

— Гучков? А Зина, Зина-то где?

— Нету. В мастерских.

— Тьфу!

В кузове «сто тридцать первого» три двухсотлитровые бочки.

— Клубков! Клубков! Я же просил, чтобы канистрами брать! Кто их тут сгружать будет!

— Не было канистрами... Спасибо, бочки дали.

Тельфера возле склада нет, а ведь как нужен! Махмалев несколько секунд стоит в раздумье, потом поворачивается к Гарику:

— Вот что... Ты пока тут действуй. Кузов открыть, слезки какие-нибудь придумать. От столярки две доски притащи потолще. Давай. А я пойду Голованова приведу, что ли... Как их скатывать-то...

Клубков равнодушно стоит в стороне, потом лезет в кабину, разворачивает газетку. Его дело маленькое, он — водила.

В столовой пусто.

— Голованов! — кричит Махмалев.— Голованов!

Он цокает каблуками остроносых туфель по кафелю к кухонному отделению. Там шумит вода, что-то брякает.

— Мила! Где твой кухарь?

Мила полная, розовощекая. Халат на ней свежий, крахмальный. Глаза серые, губы яркие. Носик вот немного подкачал — толстый. Махмалев все подбивал под Милу клинья, норовил побеседовать с ней наедине о проблемах снабжения и сбыта. Да так все разговорами и кончалось. Не по ней, видно.

— Что ж это сразу — мой? — рассеянно-томно переспрашивает Мила.— Такой же мой, как и ваш, Теодор Степанович.

— Ну, ты если захочешь, любой твой будет! — говорит Махмалев, подмигнув.

— Да зачем? — удивляется Мила.— От вашего брата одни неприятности.

— А удовольствия? — со значением спрашивает Махмалев.

— Да ну, какие удовольствия... Пять минут удовольствия, зато стирки на полдня. Да потом еще нажрется как свинья да непременно драться...

— Да ну! — восклицает Махмалев и заявляет с пафосом: — Вот я никогда не бью нежного женского тела!

— Знаете, видно, как с ним обращаться,— холодно замечает Мила.

Махмалев топчется.

— Где Витька-то? Крикни его, работка есть на две секунды...

— Какая еще работка? — настораживается Мила.— Он мне нужен, никакой работки!

— Ну-ну! — строжеет Махмалев.— Что еще такое — нужен, не нужен! Говорю русским языком — на пять минут! Бочки скатить.

— Он при кухне работать должен, а не бочки скатывать! У него

тут своих бочек хватает! Нечего его тыркать во все дырки! Грузчик есть, пусть и скатывает! — Мила упирает руки в боки, распрямляется, крахмальные складки халата расходятся на груди.

— Да тяжелые бочки-то, тяжелые! — пробует миром поладить Махмалев и тут же срывается:— Что ты мне тут командуешь? Где, спрашиваю, Голованов?

Витька слышит весь разговор, сидя в кухне на стуле и размышляя, пойти помочь Махмалеву или не ходить. За день он уморился. Работа не тяжелая, да суетливая какая-то — туда, сюда, то, се... Да был бы еще человек какой другой — уже бы встал и пошел. А Махмалева-то и видеть не хочется. Он поднимается и выходит из кухни.

— Чего? — хрипит Витька.— Какие бочки?

— Бочки! — отвечает Махмалев обрадованно.— Спирт! Три бочки! Пойдем, минутное дело!

— А я не пускаю! — упирается Мила.— У него здесь работа есть! Есть у тебя работа?

Работы у Витьки сейчас уже никакой, разве что вытащить два ведра мусору.

— Ну есть...— хрипит он.

— Вот и все! Никуда он не пойдет!

— Да вы что?! — ревет Махмалев.— Вы что мне дурь гоните?! Давай вали к машине, я тебе говорю!

Витька уже и сам хотел одернуть Милу да идти к машине, но тут его заедает.

— Не пойду никуда! — хрипит он с напором.— Тоже мальчика нашел! У меня и здесь работы навалом!

— Не пойдешь! Ну я тебе...

— Не пойду! — хриплым криком вставляет Витька.

— Я тебе покажу! Я вам покажу! Я что, не вижу, как вы полными сумками тащите отсюда? Не вижу?! Я вам испорчу удовольствие обоим! Найду, за что уцепиться!

— Ищи, ищи! — хрипит Витька.— Поройся в дерьме-то!

— И поищу! — повторяет Махмалев, отступая к дверям.— И пороюсь!

— Давай, давай! Ты же любишь! Тебе и саки пить — как компот! — яростно выкрикивает Голованов.

Махмалев окаменевает на секунду, раскрыв рот и вытаращив глаза. Рот закрывается. Глаза принимают нормальный размер.

— Сволочь,— говорит он и хлопает дверью.

Криво усмехаясь, Витька смотрит на захлопнувшуюся дверь, поворачивается, делает несколько шагов.

— Он у меня сам еще поползает! — шумит Мила.— Начальничек!

— Замолчи ты!..— хрипит Витька.— Связался с тобой!

Мила замолкает — будто шнур выдернули.

Тяжело ступая, Витька возвращается на кухню, шнур по дороге табуретку, мирно стоящую у стены. Нащупывает на поясище узел фартука. Затянулся, не развяжешь. Да чтоб тебя!.. В голове скачут слова и фразы. Сволочь?! Сам ты сволочь! Нет чтоб по-человечески! Прет, как танк! При, при!... Сам и напросился!..

— Ну-ка развяжи мне тут,— хрипит Витька.— Не видишь?

Мила послушно касается пальцами узла, сопит в ухо. Витька поворачивает голову к окну. Прет, как танк! Если бы не пер, ничего бы и не было... За окном ветер, свет. И вдруг за одно-единственное мгновение он вспоминает целый ворох людей, слов, предметов, движений, и все отчетливо — в подробностях, в красках, до хлебных крошек на газете, до карандашной толщины горизонтальных солнечных лучей, пролезавших в отверстия гулкой металлической стены и пластавших в сумраке дымный воздух. Они сидели втроем — Николай Палыч ставил, потому что уходил на пенсию, и Махмалев ставил, потому что получал ключи от «Волги», а Витька Голованов тог-

да была своя для обоих. Вот выпрыгнуло и беззвучно рассмеялось морщинистое подмигивающее лицо Николая Пальча и вслед за ним такое же смеющееся, только свежее, молодое, крепкозубое лицо Махмалева; блеснули стаканы; а вот уже как будто сразу после этого Махмалев вбежал, бормоча белыми прыгающими губами: «Сбил, сбил!..» — схватил пол-литровую банку из-под огурцов и, чуть только отвернувшись, стал правой рукой рвать ширинку... Пролетело именно такими высверками, сполохами, вспышками прошлого пятнадцатилетней давности. Рассказать кому — и не поймет. А дело-то ведь было как. Они сидели втроем, выпивали, потом зашел Гучков, сначала шикнул, потом махнул рукой. Велел только Махмалеву перегнать его «шестьдесят шестой» на яму. Тот весело утер рот, поднялся, сунув руку в карман за ключами. «Думал, уж все, не сяду, — сказал он. — Нет, еще разочек заведу родимого...» Гучков вышел первым. «Ты разливай, разливай, — сказал Махмалев, выходя за ним. — Сейчас приду».

Однако выпить ему тем вечером уже не пришлось. На проезде стоял грузовик Голованова, и, для того чтобы развернуться, Махмалева пришлось подать задом в ворота Управления, выехать из них на четверть кузова. Все он делал по правилам — сигналил и смотрел в зеркало заднего вида. Мужик сам сунулся под борт. Удара Махмалев не слышал, просто толкнуло что-то в сердце, и он, вбив педаль тормоза так, что машина присела и заглохла, комом вывалился из кабины. Человек лежал под задним бортом, скребя ногой по масляному асфальту, и смотрел на него вытаращенным синим глазом. Махмалев попятился. Он не успел подумать ни о суде, ни о тюрьме, только мгновенно провернулось: вот тебе и пересел на «Волгу»! Тогда-то он и вбежал к ним — бледный, трясущийся, схватил банку. Витька и Николай Пальч оторопело смотрели. Николай Пальч в свое время и толковал им, молодым, об этом способе — помочиться и выпить, и никакая экспертиза не покажет...

Витька швырнул фартук в угол, взял ведра.

Возле склада в кузове «сто тридцать первого» Гарик, налегая всем своим худосочным телом, пытается перекантовать одну бочку к краю. Махмалев машет снизу, командует. Ну, Гарику, этому малахольному, любая команда — как об стенку горох. Он знай напирает. Надо не так. Наклонил, провернул, поставил. Наклонил, провернул, поставил. Она бы сама пошла, только направляй. Волосы отрастил, а мозгу мало. Зато гонору хоть отбавляй. Говорят, он стишки в газете печатал. Ну, это не стишки писать, тут думать надо.

Витька неторопливо шагает к мусорным бакам, посматривая в сторону склада. Вот Махмалев крикнул что-то матерное, подошел к кабине, сказал что-то Клубкову. Должно быть, спирту посулил. Не иначе. Клубков сразу вылез, потом снова сунулся в кабину, взял рукавицы. Задрал ногу на колесо, кулем стал переваливаться в кузов. Перевалялся. Теперь уже оба машут, оба командуют — один сверху, другой снизу. Гарик этот придурочный пожал плечами безразлично, вихляясь узким телом, подошел к заднему борту и не прыгнул, а двинулся по положенной на край доске — пошел балансируя, ну и сковырнулся, разумеется, сиганул в сторону. Ему бы еще в песочнице на детской площадке развлекаться, а он уже вон что — грузчиком работает.

Клубков начинает кантовать бочки. Трюх, трюх, трюх — одна уже на самом краю, только толкни — сама пойдет. Трюх, трюх, трюх — вторая. Сейчас он и третью переставит. Точно, переставил. Теперь, значит, набок ее и на доску — а те внизу пусть держат.

Витька вываливает мусор в бак. Клубков завел бочку бочком на доску, Махмалев и Гарик упираются снизу, она на них едет, они ее кое-как сдерживают, приспускают... Ниже, ниже. Доехали. Бочка на земле. Махмалев катит ее к дверям склада, а Клубков уже вторую

наладил. Махмалев первую бросает. Гарик уперся — едва не своротил всю систему: навалился с одного края, бочка чуть у Клубкова из рук не вывернулась. Матерится. Вот Махмалев подоспел, тоже уперся. Поехали. Ниже, ниже...

Ведро легкие, пустые. Витька шагает к зданию, смотрит все туда же — в сторону склада.

С третьей совсем не заладилось — пошла боком, вовремя не подправили, вот она стала заваливаться в сторону Гарика. Клубков что-то кричит. Махмалев повис с другой стороны, Гарик, изогнувшись, как вопросительный знак, и вытаращив глаза на худом лице, тянет ее — да не туда. Ведро катятся по земле. Витька скачками бежит к машине, хрипя что-то, а бочка уже совсем завалилась, балансирует, то есть ее заставляют балансировать, но неловко. Клубков перемахивает через кузов, Витька тоже уже почти подбежал, а бочка валится, медленно кренясь в сторону Гарика всеми двумястами литрами своего содержимого и жестким металлом внешних ободов.

— Бросай! — хрипит Витька. — Бросай!

А Гарик этот то ли не понимает, то ли понимает, но оцепенел, то ли все просто так быстро происходит, что ему не успеть, — вцепился в бочку и валится вместе с ней, словно надеясь еще удержать эти двести литров в рифленом железе. Кой черт удержать, у него небось уже после первых двух руки молоком налились! Доска подпрыгивает, и все рушится с матом, грохотом и жалким вскриком этого несчастного Гарика.

Тяжело, с кряканьем врезавшись углом в асфальт, бочка мгновение медлит, а потом неторопливо сковыривается набок, чуть откатывается и замирает. Не лопнула. Что ей сделается, их с самолетов бросают. Гарик тоже лежит — не под бочкой, слава богу, она его отгеснила в падении, оттолкнула в сторону, но согнувшись в такой позе, что хочется хватать за плечи и трясти. Мгновенное оцепенение проходит, все движутся, вскрикивают, Махмалев делает шаг, наклоняется, садится на корточки.

— Гарик! Гарик! Что ты? Что ты? Где болит?

Гарик шевелится, начинает привставать, жалко улыбаясь — мол, все в полном порядке, ребята. Физиономия совершенно белая, усики на ней кажутся нарисованными. Махмалев помогает ему подняться. Гарик опирается левой рукой о кузов — ноги у него ходят ходуном, только что не стучаются всякий раз коленными чашечками. Он ошеломлен и испуган, он морщится и вздыхает и озирается так, будто спал с вечера, а теперь проснулся и не может понять — куда вчера спяну занесло?..

— Болит? — истерически напряженно спрашивает Махмалев. — Болит что-нибудь?

Гарик молчит, только поеживается. Он уже пришел в себя. Тень испытанного ошеломления покидает зрачки, выражение бессмысленной оторопи изглаживается с лица, уступая место какому-то новому, сознательному. Он смотрит на Клубкова, который стоит за спиной Махмалева. Клубков делает ему какой-то знак, и вот Гарик нерешительно пожимает плечами, а потом снова сморщивается, вздыхает, поднимает левую руку и очень осторожно проводит ладонью по безвольно висящей правой. И через небольшую паузу говорит неуверенно:

— Болит.

И еще через секунду добавляет твердо:

— Перелом.

Махмалев цепенеет, осознав, что случилось самое страшное.

— Болит, значит? — повторяет он зачем-то, со смешанным выражением испуга и ненависти глядя на висящую руку. Снова под ногами — бездна! Да как же это?.. Бочка покатилась, поехала, а тут этот... Нет бы в сторонку сразу! Как же это? Она покатилась, а он тут стоит,

и вот сломана рука, производственная травма, акт, за актом — бездна.— Ты пошевели, пошевели! — говорит он жалобно.— Может, еще не совсем, а?

— В больницу надо везти,— откашлявшись, говорит Клубков уверенным баском.— Щас заведуся...

Но кабины не открывает и вообще не двигается с места — стоит где стоял.

— В больницу! — эхом отзывается Махмалев.

— Я могу не говорить...— произносит Гарик.

Мозг Махмалева, мечущийся в поисках выхода, тянет лыко в строку и воспринимает другое: я не могу говорить! — слышит Махмалев.

— Голова?! — спрашивает он, мертвея.— По голове?!

— Что по голове? — недоумевает совсем уже розовый Гарик.— Нет, не по голове. Рука сломана, говорю,— растолковывает он, осторожно, но несколько продавцовским жестом похлопывая себя по правому плечу.— Но я ведь могу сказать, что не на работе... Мало ли! Выходил из троллейбуса, зацепился... Шел, упал, очнулся — гипс!

Гарик всхлипывает. Он всегда так смеется — со всхлипом.

Клубков тоже улыбается, а Махмалев переводит взгляд с одного на другого. Такие дуновения опаляют сейчас его душу, таким ледяным холодом тянет из пропасти, мгновенно развершейся в шаге от него, что он не замечает ничего, кроме единственного: может не говорить!

— Да! Да! — повторяет Махмалев, кивая Гарику.— Гипс! Упал! А?

— Степаныч, да отлей ты ему пару литров — и дело с концом! — находит вдруг время вставить Клубков.— Он и не скажет! Не скажешь, Гарик?

Гарик зажмуривается и трясет головой — мол, даже под пыткой.

— Пару литров? — словно не веря, переспрашивает Махмалев.— А? Да? Пару литров?.. Сейчас! Сейчас!.. Гарик, а? Правда, что тебе! Скажешь, что упал! А? Это же такое дело-то, бывает ведь... Запнулся где — и готово... А?

Гарик с достоинством кивает.

Через двадцать минут Махмалев вручает у себя в кабинете двухлитровую банку со спиртом прилежно вздыхающему и поглаживающему плечо Гарику, и тот выходит. Махмалев садится за стол. Все? Все. Но на душе у него неспокойно. Он сидит, курит, руки не могут найти себе места. Не скажет. Не скажет? Кто его знает! Спросят как следует — скажет как миленький. Ой узнают! Для него самого тайна эта представляет сейчас такую ценность, что кажется — точно будут пытать Гарика, будут! Как же это? Бочка поехала. Поехала, сволочь, а он подвернулся, раскустай!.. Не удержал! Перед глазами Махмалева, словно в дурном сне, снова и снова падает на землю бочка со спиртом — и всякий раз чуть иначе, чем на самом деле, потому что всякий раз Гарик успевает отскочить невредимый. Бочка катится и катится, катится и катится — вот по доске, по доске, по доске, потом ловко так кувырк — и уже на асфальте, и потом ее быстро-быстро в склад, и все расходятся: Гарик, весело улыбаясь, идет по своим делам, Клубков, улыбаясь так же радужно, лезет в кабину и заводится, чтобы отъехать, и Голованов, который, кстати, все видел, сволочь, тоже идет к себе в кухню, и все целы и невредимы... Как же это, а? Какой-то сантиметр, какой-то миг — и все не так, все по-другому: рука сломана, Клубков везет Гарика в больницу, и еще неизвестно, что он там скажет, и Голованов, сволочь такая, все видел... Вечно он тут как тут, когда не надо. Как же это все получилось? Бочка покатилась, поехала. Поехала, значит, а этот малахольный под нее подвернулся... Вот она поехала, поехала по досочке... Как же это получилось?..

Махмалев вскакивает, потому что уже нет терпению сидеть, и вскакивает очень вовремя. Из его окон виден двор, и по двору идут

сейчас не кто иные, как Гарик и Клубков. Сумерки, но еще видно: Гарик несет в левой руке авоську — там двухлитровая банка, завернутая в газету. А правой он машет, размахивает; правой он крутит и вертит, жестикулирует, вот по коленке себя хлопнул; засмеялся, стало быть, всхлипнул! Обманул, гад! Не сломана у него рука, не сломана! Обманул!

Но вместо огорчения и обиды Махмалев чувствует неизъяснимое блаженство. Он снова садится в кресло, снова закуривает. Последняя сигарета здесь. Пора домой. Управление опустело.

Через несколько минут Махмалев щелкает замочками кейса, топчется, надевая пальто, потом выходит в коридор и тут сталкивается с Шестаковым, спустившимся по лестнице.

— Домой, Викентий Сергеевич? — осторожно и приветливо осведомляется Махмалев.

Шестаков смотрит на него так, словно не может узнать.

— А, Махмалев... Спирт привезли?

— Сгрузили, Викентий Сергеевич,— мелко кивает он и добавляет зачем-то: — Согласно норм.

Шестаков вскидывает было брови — видно, силится понять, как это можно сгрузить согласно норм,— но потом говорит, устало трясая головой:

— Ну молодец, молодец...

Шестаков рассеянно отворачивается, а Махмалев чувствует вдруг, как в душе начинают звенеть колокольцы. Он бодро идет к остановке — кожаное пальто немного поскрипывает, кейс при каждом взмахе отрезает широкий и гладкий ломоть воздуха. Он думает о чем-то неясном; перед глазами снова движения каких-то висящих в воздухе людей, каких-то масс, плавно оборачивающихся вокруг них, беспрестанное движение масс и людей — переходы, подвижки; может быть, это механизм власти, может быть, нечто совсем другое.

А Витька хрипит что-то дяде Сереже, но мимолетное появление Махмалева заставляет его замолчать. Он смотрит Махмалеву в спину, а перед глазами опять прокатывается бочка — вот она покати-лась по доске, правильно, что по доске; вот начинает коситься, вот заваливаться; ее бы вот так подтолкнуть, упереться плечом; и она вы-правляется, снова согласно катится по доске, перебегаёт на асфальт...

— Ладно,— хрипит он,— пойду я... Двери будешь закрывать?

Дядя Сережа с кряхтением встает, бредет за ним к выходу, гремит за спиной ключами.

Витька спускается по ступеням, переминается, глядя в сторону ворот, а потом решительно поворачивает вправо. В груди у него теснит и давит, и кажется, будто не можешь глубоко вздохнуть.

Спотыкаясь в полумраке о какие-то железки, он пробирается за гараж, где в укромном закутке стоит возле забора старый вахтовый «ЗИС». Теперь-то одно название что «ЗИС», только рама да будка, а когда-то он был на ходу, переваливался по непролазным лесным и таежным дорогам, с упрямством трактора месил колесами глину и песок. В кузове-будке сидели на продольных скамьях люди, нещадно курили, на ухабах прыгали до самого потолка, матерясь и проклиная полевую жизнь. Потом машина окончательно сносилась, ее списали и бросили здесь, отвинтив предварительно все, что можно было отвинтить, и до сих пор это отвинченное лежит где-нибудь в углу гаража грудой никому не нужного хлама. Остались рама, будка, колеса и даже резина на ободах — совершенно лысая. Все это трухлявое, облупившееся, проржавевшее, и задний бампер прочно оббит повиликой.

Но в будке есть маленькая печка — она никому не была нужна, ее не свинтили, и даже труба торчит над крышей, и днем на ней непременно сидит воробей.

Витька набирает в темноте возле столярки каких-то обрезков, чурбачков, потом долго сопит, возится, чиркает спичками и сует клоч бумаги, а когда уж занимается по-настоящему, садится на кирпичи, глядя прямо в зев печки, отчего по его широкому лицу перебегают розовый свет, и от этого оно кажется моложе и чище.

Какое-то счастливое отчаяние охватывает Витьку, и, чтобы перешибить это холодящее чувство, он торопливо нашаривает за печкой стакан, дует в него, потом срывает зубами пробку, льет, пытаясь определить по звуку, сколько налил, но всегда немного промахивается, отчего бежит прохлада на пальцы, и в два глотка выпивает, почувствовав только, как загорелось в животе.

Пламя прыгает, колеблется, деревяшки потрескивают, а те, что уж почти сгорели, розово светятся раковистыми надломами. Витька ставит на пол стакан, пристраивает возле него бутылку, закуривает. Дым слоистыми волокнами тянется в зев. Смешивается с древесным, с искрами, и они в тесноте и жаре, во тьме и гуле долго и стремительно летят своим кромешным путем по трубе, чтобы в конце концов вырваться, свободно взмыть и тут же исчезнуть...

Потом он допивает водку, соловееет и долго сидит возле меркнувших угольев, иногда вздыхая и что-то хрипло бормоча. Он погружается в беспорядочные воспоминания, среди которых появляются и мечты,— впрочем, они так похожи друг на друга, что почти неотличимы. Он слышит гул, голоса и хлопанье дверцы, ему представляются бесконечные дороги, по которым можно веками гнать машину, развилки и скрещения равноправных трасс, какие-то поселки, небольшие города, гулкие мосты и опасные повороты, на которых одни слетают под откос и гибнут, а другие, жестко сощурившись, могут промчатся по самому краю, чувствуя только легкую дрожь рулевого колеса,— и все это крепкое, отчетливое, навеки вбитое в шоферскую память, с тем чтобы потом, когда понадобится, быть использованным с толком и пользой, а сейчас мелькающее впустую. Он видит голую белую степь и заметенную грунтовку, а потом леса и дальние переправы, километровые вереницы молчащих машин под холодным тусклым небом; перед глазами вспыхивают и пролетают, словно он опять проносится мимо, какие-то совсем неприметные стоянки, заправки, столовые, женские лица сменяют одно другое, и каждое кажется нежнее и покорнее предыдущего, и щемит сердце, что когда-то утром уехал, а не остался.

Последние угли гаснут, в будке становится темно и неудобно. Разговаривая сам с собой и пошатываясь, Витька выбирается наружу, не забыв спрятать стакан. Бутылку он швыряет в темноту, и она негромко разбивается.

ТАТЬЯНА ЕФИМЕНКО
(1890—1918)

*

И ТЕНЬ ЛЕТИТ ЗА ТЕНЬЮ

Опубликовав в № 11 нашего журнала за 1989 год стихи никому, как нам казалось, сегодня уже не известной Татьяны Ефименко, мы с удивлением и радостью обнаружили, что память об этой трагически погибшей молодой поэтессе каким-то чудесным образом неизгладилась из памяти поколений. Мы получили несколько писем, авторы которых не только благодарят редакцию за открытие еще одного русского поэта. В письмах содержатся и поправки к нашей публикации, и ряд пусть скудных, гадательных, но по-своему ценных сведений о судьбе и личности этой безвременно ушедшей души. Одно из писем, наиболее критическое и, как нам показалось, наиболее основательное, мы решили предложить вниманию читателей. Всех остальных наших корреспондентов мы благодарим за любовь к поэзии и за те догадки и сведения, которыми они поделались с нами. Особенно хотелось бы отметить историка Андрея Ершова из Москвы и Константина Григорьевича Глуценко — бывшего горного инженера, а ныне любителя-краеведа из Донецка.

Татьяна Ефименко, издавшая одну книгу («Жадное сердце»), а потом на долгие годы забытая, надеемся, еще возвратится в русскую культуру. В нашу прошлогоднюю публикацию вошли стихи Т. Ефименко, никогда не печатавшиеся. Но учитывая интерес к этой поэзии, мы хотим представить читателям еще несколько стихотворений поэтессы из ее единственной книги, вышедшей в 1916 году крошечным тиражом (всего 500 экземпляров), а также письмо литературоведа Ирины Гитович.

* * *

Бёсны бывали душисты, лета беспокойны и жарки.
Память об этом, как эхо в далеком своем повторенье.
Осени мудрой я вижу везде золотые подарки:
В доме моем изобилье, в сердце моем примиренье.

Старости ласковой голос, ее указания я слышу.
Меньший ли смысл в моей жизни нынче, чем дальней весной?
Сад полон фруктов, а лозы покрыли и стены и крышу,
Выросли дети и внуки — жизни, зажженные мною.

Ропотом дней не встревожу; пускай появляются разом
Смерть и зима; разукрасьте кедром костер мой и елкой.
Если весь круг нашей жизни исполнен по Божьим указам,
Смерть будет тихой и сладкой, память же светлой и долгой.

1913.

* * *

Вот мы друзья. Мы любви отдались. Почему ж
Наши сердца в крови?
Единоборство навеки враждующих душ
Сильней и глубже любви.

Кольцами мы обменялись. Ты ревность прогнал.
Ты мне себя подарил.
Все же когда раздается по полю ночному сигнал,
Мы слышим его — дикари.

Нежностью лжем мы. Желанье одно: побороть,
 Омочить губы в крови.
 Пальцы сжимаются в ласках — и ранена плоть.
 Это сильней любви.

1913.

* * *

Мы можем быть вдвоем, смотреть с балкона в поле
 За белою стеной.
 Мы можем отворить сундук с семьею моли
 И с старой стариной.

Мы можем взять сервиз с гирляндой лиловой,
 Опаловый на свет,
 Или гулять в саду, или дремать в столовой,
 Уставши от бесед.

И если это все вам нравится немного,
 Теченье тихих дней,—
 Ни слова о любви, ни взгляда, ни намека,
 Ни помысла о ней.

Я только снов хочу. Любви объятья грубы,
 Назойливы слова.
 И лишь прощаясь, вас я поцелую в губы,
 И то едва-едва.

1912.

* * *

Я не могу роптать на тебя, Боже,
 Ты дал мне так много.
 Ясна моя дорога.
 Ты посадил весной барвинки
 на моей тропинке,
 а осенью рябины.
 В школе меня не бранил учитель,
 любовь моя была не мучительная,
 ясна моя дорога,
 Ты дал мне многое.
 А между тем мне чего-то недостает.
 Плачет сердце мое —
 какое-то к нему прикоснулось острие.
 Утренние золотые зори, вечерние кровавые,
 облака в голубых оправках,
 березы в зеленых шарфах,
 жилистые дубы, легкие цветы —
 этого достаточно для святых,
 или больных, или усталых,
 а для меня мало.

1915.

Любви

Я видела тебя мельком в лугах в апреле,
 Ты шла за мной вдали,
 Но смеха твоего серебряные трели
 Меня не увлекли.

Я видела тебя сидящей в летнем парке,
 Где день уже потух.
 Твой взгляд искал меня, и губы были ярки,
 И низкий шепот глух.

И в третий раз теперь мы встретились: ты в доме,
 Твой сладкий запах тут
 В измятой простыне, в духах, в раскрытом томе,
 В мёчтах, что тайно жгут.

Ты здесь... Осенний дождь шумит... Тебя я вижу...
 В кругу от лампы лик
 Бледней, чем смерть сама, измученней и тише,
 И вот следы вериг.

Хочу, хочу тебя. Целую маску злую,
 Скорей глаза зажмурь.
 И синее пятно и шрамы ног целую —
 Следы дорог и бурь,—

И пальцы гибких рук, привлёкших к изголовью,
 К лицу, лицо мое,
 И рот, смешавший вкус плодов душистых с кровью
 В любовное питье.

1912.

* *

От камней дышит сыростью,
 Их солнце не прогрело,
 Цветы смешные выросли
 У темного предела.

И лестница привешена
 От купола сквозная.
 Душа моя утешена,
 А чем — сама не знаю.

Плетусь я за прохожими,
 И дня так пыльно пламя,
 А над церквями Божьими
 Леса стоят углами.

Наш двор, колодец вычищен,
 Там цветик и прохлада.
 На зов никто не выскочит,
 И звать совсем не надо.

1915.

* *

За поредевшей рощей, что вечер, ярче пламя
 Осеннее зари.
 Зажги камин, чтоб отблеск качался над полями,
 И двери затвори.

Тепло. И пахнет сладко с окна лежалой грушей.
 Позволь мне рядом сесть,
 Сюда, на край дивана. Лежи, болтай и слушай,
 Когда желанье есть.

Но лучше будем молча — чтоб не сказаться в тоне —
 Смотреть на ту межу,
 И если ты позволишь, ладонь к твоей ладони
 Я крепко приложу.

Заря в квадратах окон минутно вспыхнет шире,
 И в сумраке сплошном
 Останемся мы скоро, мы двое, в этом мире
 Осеннем и ночном.

Когда, сжимая пальцы, к тебе склонюсь я ниже
И с запахом плода
Смешавшееся сладко дыхание услышу,
Уйдешь ли ты тогда?..

1912.

* *

К воротам путь короткий,
Обнесен сад стеной.
Калеки за решеткой —
Печальный рай земной.

Гудящей цепи звенья
Распались надо мной,
И тень летит за тенью,
Белея, в мрак ночной.

Пускай переиначит
Судьба полет часов,
Осенний ветер плачет,
Печальный слышу зов.

Земля дрожит от воя,
Меж скал блуждает чад,
Кто те, что сзади, двое
Прекрасные молчат?

И Данте в путь знакомый
Опять ведет меня,
За серых скал изломы,
Сквозь страшный лес огня.

Глазам, лишенным блеска,
Ваш отдан тусклый взгляд,
И что для Вас, Франческа,
Круги замкнувший ад.

В поту, упав на землю,
На острую межу,
Далеким крикам внемлю,
Далекий вихрь слежу.

А я должна вернуться
В мой тихий рай земной,
Где розы сонно гнутя
За пыльной стеной.

1915.

Золушка

Я как книжка в красном переплете,
Где такая крупная печать.
Никогда из шкафа не возьмете —
В тридцать лет не сказки же начаты!

Но храню печально и упрямо
Золотистый пепел лепестков.
На страницах почернели шрамы
От загнутых вами уголков.

И за красно-синим кавалером
Стертый замок смотрит как слепой.
Правда, время ведь должно быть серым,
А мечта о принце — голубой.

В темной кухне Золушка босая,
На обедки жадно смотрит кот;
Но ведь с детства я наверно знаю:
Белый принц за Золушкой придет.

1915.

НЕОБХОДИМЫ УТОЧНЕНИЯ

Хорошо, что именно «Новый мир», считающийся самым авторитетным среди толстых журналов, первым опубликовал в № 11 1989 года подборку стихов забытой ныне поэтессы 10-х годов Татьяны Ефименко. Но крайне досадно, что первый ее выход к читателю — через семьдесят один год после смерти — не обошелся без накладок.

В первом абзаце предисловия — в связи с обстоятельствами трагической гибели поэтессы — упомянута ее мать. Она названа известнейшим русским египтологом. Употребление превосходной степени воспринимается обычно как факт личной осведомленности пишущего в том, чем именно упомянутый человек такой известности достиг. Следовало бы назвать имя матери Татьяны — Александра Яковлевна Ефименко. Может быть, оно помогло бы избежать ошибки, потому что А. Я. Ефименко не была египтологом, но действительно была очень известным и в России и за ее пределами ученым, профессором Бестужевских курсов, автором популярных учебников и многих трудов по истории России и особенно Украины («Южная Русь», «Дворянское землевладение в Южной Руси», «1812 год. Чтение для народа, народных и городских школ», «История Украины и ее народа», «Учебник русской истории», «Элементарный учебник русской истории» и др.). От Египта, как видим, все это далековато.

Может быть, это мелочь. Но, думается, А. Я. Ефименко сделала для нашей культуры немало и заслужила, чтобы при упоминании ее имени была соблюдена хотя бы точность. Что же касается ее дочери, имя которой сегодня возвращается истории поэзии, то в ее жизни А. Я. Ефименко, как, может быть, никто другой, сыграла колоссальную роль. И для понимания поэтической судьбы Татьяны Ефименко и ее стихов обстоятельства ее крепчайших связей с Украиной — а эти связи и возникли благодаря научным интересам родителей — очень важны. Ну хотя бы тем, что многое определили в характере ее поэтического восприятия. Чтобы в этом убедиться, надо лишь внимательно прочитать те самые цгалийские тетради, о которых сообщает публикатор.

Откуда же возник «египтолог»? Очевидно, вот откуда. Сама Татьяна в последние годы жизни занималась у профессора, потом академика, Б. А. Тураева историей Египта и даже стала писать рассказы для детей на эти темы. Некоторые из них опубликованы, а рукопись одного из таких рассказов хранится в ЦГАЛИ. (Кстати, и в этих занятиях дочь была добросовестной последовательницей матери — той принадлежит книга рассказов «На Украине», выдержавшая чуть ли не десять изданий.)

Т. П. и А. Я. Ефименко погибли 18 декабря 1918 года. В одну ночь были вырезаны бандой семь человек. Предполагается, что бандой петлюровцев. Вряд ли это могли быть свои, окрестные крестьяне — мать и дочь Ефименко в тех местах хорошо знали и относились к ним с большим уважением. Они много лет подолгу жили в соседней Писаревке, селе в нескольких верстах от хутора Любочка, где произошла эта трагедия (именно в Писаревке написаны многие стихи петербургского-петроградского десятилетия 1907—1917 годов)... «...усадьба сгорела, семья погибла, а вот архив Татьяны Ефименко — пять толстых тетрадей <...> — все это в значительной части уцелело и хранится в ЦГАЛИ», — пишет автор предисловия. Здесь все требует уточнения. Погибли Татьяна и ее мать. Кто были остальные пять человек — неизвестно. Но другие члены семьи Ефименко, то есть два старших брата поэтессы, жили давно уже отдельно, своими семьями, и к этой трагедии никакого отношения не имели. Сгорела не усадьба, а небольшой домик на хуторе, принадлежавшем известному на Харьковщине земцу Колокольцеву и его жене, директорше гимназии в городе Волчанске. Они дружили семьями, и когда А. Я. и Т. П. Ефименко оказались на Украине, где думали пережить это смутное время (сначала, видимо, в Киеве — есть и такие свидетельства), Колокольцевы предложили им кров. После этой трагедии Колокольцевы, по слухам, спешно эмигрировали. Есть предположение, что они могли увести и какие-то рукописи Татьяны.

Когда в 1969 году архив Т. П. Ефименко ее родственница передавала в ЦГАЛИ, никто не догадался выяснить, каким образом он сохранился. Может быть, это часть того, что было оставлено в Петрограде, в квартире Ефименко на Гатчинской улице, или передано кому-то на сохранение. А может быть, как раз то, что Татьяна взяла с собой: экземпляр единственной своей книги «Жадное сердце», вышедшей тиражом в 500 экземпляров, несколько собственных любительских фотографий и деловых писем с адресами редакций (в частности, сообщение о присуждении ей второй премии на конкурсе лирики имени Надсона, которую она получила в 1913 году) и, конечно, стихи. Тетрадей со стихами не пять, а семь — начиная с 1907 года, когда семья переехала из Харькова в

Петербург, и кончая октябрем 1917 года, когда Ефименки, видимо, уехали на Украину. Есть еще в этом цгалийском фонде разрозненные черновики и набело переписанные стихи, предназначавшиеся, видимо, для отсылки в редакции. Пять или семь тетрадей осталось от поэта, о котором мы толком ничего не знаем, — это существенная разница.

Стихи в тетрадях датированы. И потому предположение публикатора о том, что «утрачена, кажется, только тетрадь со стихотворениями 1914 года», — просто стилистическая фигура. Человеку, работавшему с цгалийским фондом Ефименко, не было нужды что-то предполагать: фонд имеет опись, и, приступая к работе, нельзя не знать, что шестая (в порядке хронологии) тетрадь имеет даты: 25 ноября 1913 — 24 января 1915.

Очень интересны сведения о том, что Татьяну Ефименко считали последовательницей Ал. Кондратьева. Жаль только, что публикатор не указывает источника. Жаль потому, что другие сохранившиеся свидетельства связывают ее имя главным образом с Кузминым. Но в основном читателей стихов Ефименко — и старшего поколения, наиболее эстетически консервативного, и младшего (о чем можно судить по упомянутой рецензии А. Лозины-Лозинского и статье Дм. Крачковского) — больше всего удивляла именно отдельность существования Татьяны Ефименко в поэзии тех лет. А она действительно оставалась в ней как бы на полях. Даже лично ее почти ничто, видимо, с кругом молодых поэтов Петербурга-Петрограда не связывало. Не случайно, наверное, ее имя не упоминается ни в одной переписке, ни в чьих воспоминаниях. Когда Ефименко погибла, писавшие о ней даже не знали точно ее возраста. Ей было двадцать восемь лет, а ее считали гораздо моложе. Самое забвение ее имени связано в немалой степени именно с такой — имеющей свои биографические и психологические причины — отдельностью, а не с мистикой. Здесь одна, увы, жесткая реальность, в которой мы никак не разберемся.

От ошибок и неточностей, к сожалению, не застрахован никто, что не делает их менее огорчительными — хотя бы потому, что любая ошибка вызывает опасность дальнейшего ее, неконтролируемого, тиражирования. Досадно и то, что они допущены Е. Витковским, чье имя казалось гарантией профессионализма.

Ирина ГИТОВИЧ.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

А. ТВАРДОВСКИЙ

*

НАБРОСКИ И ЧЕРНОВИКИ

Подобно многим и многим отечественным писателям, судьба А. Твардовского сложилась так, что и ему не удалось закончить до конца все задуманное. В замыслах остались и проза («Пан Твардовский») и многообразная лирика. О ней свидетельствуют наброски разных годов, оставшиеся в столе писателя, составившие целую книгу. Часть их — наиболее законченная или определившаяся по содержанию — предлагается читателю.

Записанные на клочках самой разной бумаги, а то и на пригласительном билете, на библиотечной карточке, на оборотной — чистой — стороне старой рукописи, эти пометы писательских намерений могли бы своим видом оттолкнуть читателя-эстета, но не читателя Твардовского.

Капля воды — она от воды. Незаконченные стихи Твардовского — это все же Твардовский.

М. Исаковскому

Нет, мы многих счастливее
В нашем сборном ряду,
Пусть иные ретивее,
Громче дуют в дуду.

Слава — штука лукавая,
Нам не нужно ничьей.
Бог с ней — с бедною славою
Рифмачей-кумачей,

Усачей-лимузинщиков,
Потребительских душ,
Патриотов-алтынщиков
И новейших кликуш.

24 января 1946.

Кто ты? Откуда? Кто ты сам?
Чем отличился, кем отмечен?
Какие города построил,
Какие реки запрудил?
Какие города построил
И в правом защитил бою?
Нет, мне не безразлично,
Что сделано тобою лично.
Какие книги написал ты,
Да нет, какие хоть прочел.
В каком краю тебя любили
За справедливые дела?
Зачем, с чего ты повсеместно

Распространен и вознесен?
 Неизвестно.
 Зачем нам в дни торжеств народных
 Твой фас одуловатый?

В чем разгадка?
 Где величаво и укротно
 За дверью тамбурной двойной
 Сидишь ты.
 Зачем я должен по газетам
 Знать, что ты позавтракал?
 1953 (?)

Рабочему карандашу
 Служить за штопор не пристало.
 Ведь я не пью, когда пишу!
 (И потому пишу так мало.)

Тогда как на полке прогретый,
 Где жар — водички не проси,
 Быть может скажешь, что поэты
 Еще родятся на Руси.
 1955.

* * *

Ах, вы знаете все так отлично:
 Что типично, а что не типично,
 Что первично, что в мире вторично,
 Что статично, а что динамично.
 1958.

* * *

К одной устремляются
 Светлой вершине —
 Герой на трамвае,
 Писатель в машине.
 Герой в общежитии,
 Автор — в квартире.
 Герой на целинных,
 Писатель в столице.
 По части питейной —
 Закон непреложный:
 Герою нельзя,
 А писателю — можно.
 В любви —
 Герой однолюб,
 А писатель — простите...
 1958.

* * *

Как-то было в октябре —
 Гости из Отдела:
 — Коммунизм на дворе,
 За тобой лишь дело.—

Тетке странно, что за ней
 Спрос такой суровый.
 — За тобою. А точнее —
 За твоей коровой.
 Рассуди, подумай, мать,
 В перспективу глядя,
 Для чего ее держать?
 — Молочишка ради...
 — Рассуди, раскинь умом
 Ясно —————
 Тяжело тебе самой...
 — Нелегко, понятно,
 Запастись сенца серпом..
 — За коровий этот хвост
 Нечего держаться:
 Запах от нее дурной,
 Воздух загрязненный,
 близко, рядом — центр районный.
 — А как с детьми,
 В смысле молочишка?
 — Обязательство возьми на
 На себя — и крышка.

1961.

* * *

Трехногий одноглазый пес,
 Глухой на оба уха,
 Всего осталось: глаз да нос,
 А сколько силы духа.

1965.

* * *

В дальний угол шалаша,
 Где притертая солома,
 Забывается душа,
 Чтоб одной побыть ей дома.

Зарядил осенний дождь,
 Занавесил стежки сада.
 Никуда ты не пойдешь,—
 Под тулуп — твоя отрада.

Угол с вечера угрей,
 Не витай задаром где-то
 У зацапанных дверей
 Станционного буфета.

К тем разболтанным дверям,
 На ночь глядя, путь не близкий —
 По картофельным полям,
 По тропе, как мыло, склизкой.

И не те уже года,
 И не выдумка простуда.
 Ничего еще — туда,
 А оттуда — ох, как худо

Добираться, не резон:
 Мало ль мокла ты и зябла.
 Отдохни, сдобряя сон
 Винным духом поздних яблок.

1966.

.

Агитпункт,
 Нарпит,
 Соцбыт,
 Нарсуд,
 Главлит

(— и во век

Не станет словом слово «жэк».
 Спец... Загс... Что делать с ними?
 Они пронизывают жизнь.
 Без них, как ты ни ершишь,
 Не обойтись.

В них что-то есть,
 Что принижает нашу честь:
 зарплата.

1968.

.

Там уйма войск, хоть нет войны,
 И впредь до заварушки
 Молчат стволы, зачехлены,
 Недвижны все игрушки.
 Хоть нет войны, но есть мокреть
 И непогодь собачья.
 И столько войск укрыть, согреть
 И накормить — задача.
 Хоть нет войны, но служба есть
 И без войны не сладко
 С поста продрогшему залезть
 В промокшую палатку.

Не приведи, господь, нести
 Ту службу за границей...

1968.

.

Пушкин — имя молодое.
 Лет пятьсот назад оно
 Громом огненного боя
 На Руси возглашено.
 Пушки Грозного Ивана
 И Великого Петра,
 Пушки Пугачева,
 Бородина (Пушки Бородина).
 Это имя

_____ в себя вобрав
 Мирный шум родных дубрав,
 И оно в иные поры

Выстрелом Авроры
 Возвестило —————
 Имя света, имя мира,
 Имя жизни на земле...

1969.

* * *

Когда выйдешь за порог
 Да в ночную завихруху,
 Заслонив ладонью ухо,
 И крупа, не то горох
 Рубанет в лицо и руку,
 Ах, как мне в ночи рябой,
 Когда я да непогода,
 Да тропа — за сбоем сбой,
 Ах как люблю мне с тобой
 Ненадежной той тропой
 Пробираться, друг-природа.

1969.

* * *

Как и когда — не стоит наперед
 Догадываться, — так или иначе,
 Когда ей нужно, смерть сама придет
 И со своею справится задачей.

Что будет после? Странная мечта,
 Претензия без всяких оснований.
 Да то же, что и до. Картина точно та,
 Что и была до нашей жизни с вами.

Мы помним ли несчетные года,
 Когда нам было бесконечно худо?
 Да нет же, не хотели мы оттуда,
 Не захотим, наверно, и сюда.

1969.

* * *

Не впасть бы мне в чрезмерную гордыню
 (Соблазн велик — всем прочим неровня)
 По поводу забот, с какими ныне
 Стремится Власть окоротить меня.

4.VII.70 г.

* * *

Мне сладок был тот шум сонливый*
 И неусыпный полевой,
 Когда в июне, до налива,
 Смыкалась рожь над головой.

* В этой редакции стихотворение печатается впервые. Автором сделана вставка — предпоследняя строфа. Предполагал он дать произведению заголовок «Шумело море», но печатались стихи без заглавия.

И трогал душу по-другому,
И я не вдруг к нему привык,
Невнятный говор или гомон
В вершинах сосен вековых.

Но эти памятные шумы,
Иной порой, в краю другом,
Как будто отзвук давней думы,
Мне в шуме слышались морском.

Распознавалась та же мера
И тоны музыки земной.
Все это жизнь моя шумела,
Что вся была еще за мной.

И пусть она идет на убыль,
Уже не в гору, а с горы,
Я не скажу, что мне не любы
Ее предвестья той поры.

Все, все, что мне тогда вещала,
И обещала мне она,
Прослушать хочется сначала,
Как песню, даром что грустна.

1965.

ПРИМЕЧАНИЯ

М. Исаковскому. Чистовая запись стихотворения, посвященного Михаилу Васильевичу Исаковскому (1900—1973) — близкому другу Твардовского с 20-х годов и Смоленщины, вплоть до 70-х годов и Москвы.

Кто ты? Откуда? Кто ты сам?. Запись, очевидно, следует отнести к 1953 г., когда Г. Маленков был назначен на пост Председателя Совета Министров. Что речь идет именно об этом лице — свидетельствует примечание автора, сделанное в более позднее время: «Неизвестного числа и года, но очень памятный мне набросок примерно под впечатлением фигуры Маленкова». Однако запись наводит на размышления, выходящие за ее рамки: многие ли из тех, кто занимал потом руководящие партийные и государственные посты, могли заявить, что соответствуют системе координат Твардовского?

Рабочему карандашу... Поэзия удали. русской лихости, выразившихся в прежние времена в таких рискованных формах, как кулачные бои, попойки (кто кого перепьет), бани, где в дикой жаре парились с помощью веников, подсказали безбоязненные строки эпиграммы на самого себя — любителя хорошей бани, крепкого пара.

Только не будем забывать, что тем же «карандашом» написаны строки «На Ангаре» («Дали»), где впервые в поэзии так воодушевленно передана патетика трудового соревнования в наши дни.

Ах, вы знаете все так отлично... Закончив (7 сентября 1957 г.) главу «На Ангаре», Твардовский 9 сентября уже набрасывает в тетради сюжет «Московского утра». После некоторого перерыва работа возобновилась (24 января 1958 г.) в Ялте, и здесь же была закончена первая редакция стихотворения. Когда автор предложил его «Правде», где в последнее время регулярно шли его стихи, то услышал вопрос: «Для кого это написано?»

Не явится ли набросок репликой Редактору вообще, которую автор предполагал превратить в эпиграмму или сатирическую миниатюру?

К одной устремляются светлой вершине... Набросок относится к периоду работы над поэмой «Теркин на том свете» и стихотворением «Московское утро». И хотя Твардовский легко переводил стихи из одного размера в другой, текст этого наброска по многим свойствам ближе к «Московскому утру». Стихи далее не развивались.

Как-то было в октябре... Начиная с 1959 г. в тетрадах появляются записи по поводу ужесточения мер к сельским владельцам коров. Вот одна такая запись.

«Вчерашний ходок из деревни Устье Ярославского (сельского) района по вопросу об Указе о коровах в действии. Персональный пенсионер, бывший фронтовик, четверо детей, пенсия 375 рублей. (Это в прежнем исчислении.— М. Т.) Без коровы не жизнь. «А потом еще окажется, что этот закон — ошибка. Ошибка, скажете, была,— вот ведь что еще может быть. «Загрязнение»? Это значит, в деревне жить, а в город с...ть ездить на бульвар? Не дело, братка». Боек, речист, законы знает. К властям ни малейшего уважения, не то что трепета. Мой телефонный разговор с зам. председателя облисполкома Кузьменко (чиновник, уверявший меня, что Устье в четырех километрах от Ярославля, а даже по карте больше двадцати). Все сутки думаю, думаю — ничего не придумаю. Опять то же самое: экономически не можем, действуем административно, властью, принуждением.

Паровое отопление в домах установить не можем, а печное запрещаем». Это последнее заключение — ссылака на собственное произведение — «Новогоднюю басню» (см. «Сочинения». М. 1978, т. 3, стр. 134).

Трехногий одноглазый пес... Эпиграмма о собаке, доставшейся в дачу к дому, которым обзавелся Твардовский на Пахре в дачном писательском кооперативе.

Пес был стар, прожил года два и тихо умер: пришел с улицы в прихожую — ближе к людям и затих. Закопали мы его — доходягу — на нашем участке.

В дальний угол шалаша... Этот набросок карандашом имеет вариант вполне самостоятельного значения.

В тетради 25 октября 1966 г. появляется запись: «Где-то был набросок „В самый угол шалаша“», а 1 ноября заносится чистовая запись стихотворения:

В самый угол шалаша,
Где остывшая солома,
Забирается душа,
Чтоб одной побыть ей дома.
Отдышаться от затей
И обязанностей ложных,

От пустых речей, статей

И хлопот пустопорожних.
И не видеть их лица —
Резвых слуг любой эпохи:
Краснобая-подлеца,
Молчаливого пройдохи,
Полномочного скота,
Групповода-обормота,
Прикрепленного шута

И внештатного сексота...
Дайте, дайте в шалаше,
Удрученной злым недугом,
Отдохнуть живой душе
И хотя б собраться с духом.

1966.

Сопоставление этого стихотворения с наброском на листках (это о нем вспоминал автор) тотчас выявляет их разноликость. Более ранний набросок (на листках) — срез состояния некой «Души» в тяжелую минуту ее существования; стихи из тетради — срез состояния среды, большой эпохи.

Стихи эти настолько дополняют друг друга, что их следует печатать рядом, как поэтическую диалогию.

Текст с «листочков» печатается впервые. Стихи из тетради опубликованы посмертно («Известия», 25 июня 1988).

А г и т п у н к т, н а р п и т... Интересно задуманная тема позволяет почувствовать отношение Твардовского к некоторым проблемам языка — не только средству общения, но категории эстетической, духовной.

В более ранней записи (22 февраля 1964 г.) депутат Верховного Совета РСФСР Твардовский после очередного приема избирателей, большинство которых обращалось по поводу жилищных неурядиц, отметил: «...жилоплощадь — жуткое слово, которое я ненавижу еще во времена моей бесквартирной молодости и избегал его».

По-видимому, не только в себе самом, но и у своих посетителей почувствовал он казенный смысл и отчуждение этого слова от понятия человеческого жилья.

Там уйма войск, хоть нет войны... В рабочей тетради писателя существует запись (от 29 августа 1968 г.) о событиях в Чехословакии, вызвавших появление этих стихов: «Страшная десятидневка.

Что делать мне с тобой, моя присяга,
Где взять слова, чтоб рассказать о том,
Как в сорок пятом нас встречала Прага
И как встречает в шестьдесят восьмом.

Записывать? Все без меня записано. Встал в четыре, в пять слушал радио — в первый раз попробовал этот час. Слушал до шести, курил, плакал, прилабывал чай... Еду в Москву мыться и, собрав все силы, оформлять отпуск.

Через несколько дней (4 сентября 1968 г.) в тетрадь заносится копия письма в Союз писателей на имя К. В. Воронкова: «Дорогой Константин Васильевич! Письмо писателям Чехословакии подписать решительно не могу, т. к. его содержание представляется мне весьма невыгодным для чести и совести советского писателя.

Очень сожалею. Ваш А. Твардовский.

Отправляю с ожидающим посылным — шофером от К. В.».

Пушкин — имя молодое... Тема стихотворения, как видно по повторяемости набросков, берет начало от фамилии поэта. Конкретным поводом замысла послужила статья академика С. Б. Веселовского «Род и предки А. С. Пушкина в истории», прочитанная Твардовским в это время и позже опубликованная в «Новом мире» (1969, № 1).

Вот запись, оставленная А. Т. по прочтении этой статьи:

«Находка для журнала — «Род Пушкина в русской истории» академика Веселовского, автора «Опричнины». Чудесные коренные русские слова в основе русских фамилий. Оказывается: загоска (зегзица), а не татарин Загоска в основе известной фамилии; или чичера — непогода, дождь со снегом, — Чичерин. Фамилия Пушкин — молодая — со времени понятия об огнестрельном оружии на Руси — XIV — XV вв». (8 сентября 1968 г.)

Наиболее объемный набросок к стихам о Пушкине, представленный здесь, дополнен ремаркой автора: «Тут бы хороша мысль (где-то записано), что одно дело, когда тебя не будет, другое — когда ничего не будет, даже Пушкина под пеплом планеты».

Когда выйдешь за порог... Запись наброска дополнена пояснением автора: «Это я уже вообразил себя обсоновавшимся (предложение Маши) внизу, в кабинете из-под гаража, занятом пока молодыми (а их в мою навстречу. Там и солярий, и бабка — все рядом) и выходящим своим черным ходом на прогулку перед сном, а может и еще зачем».

Для полной ясности это пояснение хочется дополнить. Мое предложение переселить А. Т. со второго этажа на первый было вызвано случаем его падения с лестницы и последовавшей травмой.

Ради увеличения площади прихожей лестница на второй этаж была сконструирована столь экономно, была так узка и крута, что требовалась хорошая спортивная выучка, чтобы спускаться по ней, забывая осторожность. А. Т. об осторожности нередко забывал.

Однако же как разошлись пояснение автора и смысл стихотворения, в котором и следа нет бытового мотива. Стихи в некотором роде о преодолении «друга-природы», коварно предложившего человеку некие неблагоприятные условия. Человек их принимает и как будто успешно и даже весело преодолевает. При всем этом нельзя не почувствовать некоего тревожного фона «ночной завирухи», когда происходит это преодоление.

Как и когда — не стоит наперед... Тема «ухода», «сбора вещичек», исчезновения «из глаз» вещного мира рано возникает в стихах Твардовского. См., например, стихотворение 1934 г. «Я иду и радуюсь...». Можно сказать, что мотивы, от-

мечавшие пребывание человека на земле, любимой любовью полной, всеобъемлющей,— сопровождалась и дополнялись мотивами о неизбежном расставании с нею:

Не знаю, как горел бы жар
Моей привязанности кровной,
Когда бы я не подлежал,
Как все, отставке безусловной...

1957.

Суровейший и углублявшийся взгляд поэта, много вобранный из жизни народа и собственной судьбы, воспринимал мир уже не так мажорно, как в молодые годы. Именно в минуту горечи и недоумения, когда на добрый порыв или за труд, отданный людям, отвечают холодностью, а то и вовсе устранением с дороги,— мог возникнуть набросок, ни одной строки которого в дальнейшем не коснулся авторский карандаш. Набросок по трагичности высказывания о понятиях «человек и мир» — единственный в своем роде среди листков, записей в рабочих тетрадах да и всего опубликованного автором. Всегда и в главном творчество поэта оставалось выражением любви к миру, преданности человеку. И если сопоставить это его признание с высказываниями его лирики,— заключение будет однозначным: именно жизнеутверждающее начало наиболее полно и характерно выражает духовную сущность поэта Твардовского и его творчества.

Не впасть бы мне в чрезмерную гордыню.. Снятый с поста редактора, дождался Твардовский дня своего шестидесятилетия (21 июня 1970 г.), и здесь Власть показала себя, скромно наградив писателя орденом Трудового Красного Знамени. Мог ли миновать Твардовский сравнения с такими работниками своего же цеха, как А. Сурков, Н. Тихонов, К. Федин, которым уже были присвоены звания Героев Социалистического Труда *. Он был достаточно опытен, чтобы в таком акте не увидеть демонстрации властями своих прерогатив.

ШУМЕЛО МОРЕ

Первую поездку к морю, вместе со смоленским поэтом С. Фиксиным, Твардовский совершил в 1928 году. Стихи о море, написанные тогда, более или менее отразили литературные представления, а не впечатления восемнадцатилетнего поэта, впервые увидевшего новое чудо природы. И понадобилось время, чтобы море встало в его стихах в один ряд с любимыми картинами родной Смоленщины.

Вторая поездка к морю в 1935 г. уже заронила что-то. Поэт жил в чудесном уголке юга — окрестностях Хосты — подчищал и переписывал «Страну Муравию» перед сдачей ее журналу «Красная новь». Тогда же появилась в тетради запись о море: «Шум моря очень похож на шум большого леса, соснового бора, только глуше и медлительней». (3 августа 1935 г.)

Познание мира, начавшееся на хуторе Загорье, с уходом поэта в город ширилось и росло. К «полевым», «сопловым» шумам теперь присоединялись иные «тоны музыки земной». Начав обучение в Смоленске, продолжив и закончив в московском институте, Твардовский заложил основы дальнейшего самообразования, которое, не прерываясь, сопровождало его писательскую жизнь. И это было главной основой расширения кругозора жизни и углубления мира духовного. Не потому ли шум моря не затерялся среди иных звуков жизни, но естественно вошел в привычные слуху поэта напевы русской равнины — ее лесов и полей? И не потому ли после многолетнего отрыва от последней записи и занятый другой работой, он все же замечает и отмечает его? «Вчера, когда уже начался этот дождь южной зимы, погулял близ участка и у моря. Море «жахаёт», а сосны то шумят порывами, то моknут...» (Пищуца, 5 декабря 1962 г.)

А через год, 3 декабря 1963 г., в плане предстоящей работы намечены: «Стихи из записной книжки» (в голове): 1. Береза у ворот Кремля. 2. Шум моря, сосен, хлеба.

А это жизнь моя шумела,
Что впереди еще было,
А это время мое шумело впереди
мое большое...

* В 70-х годах такого звания были удостоены писатели А. Софронов, Н. Грибачев, В. Полевой, В. Кожовников, С. Сартаков.

На следующий день в тетрадь вносится результат первой попытки осуществить замысел:

Тот шум торжественно-сонливый
Доныне в памяти живой,
Как молодая, до налива,
Ходила рожь над головой.

Он был сродни совсем другому,
Как в несравнимой вышине
В вершинах сосен смутный гомон
Шумел, вещал о чем-то мне.

И эти два родные шума
Иной порой, в краю ином,
Как будто отзыв давней думы
Я расповнял еще в одном.
(шум моря)

А это жизнь моя шумела,
Что впереди еще была.

(4 декабря 1963.)

Набросок дополнен авторским примечанием: «Совсем разучился. Но лиха беда начало». И опять перерыв.

Но вот наступает момент: необходимо появиться в печати. Эта причина, при существовавшей новомирской «колготне» (словечко А. Т.), становилась в последние годы серьезным побуждением к собственной работе поэта, хотя имелись в виду, в первую очередь, интересы журнала. В таких случаях вырuchали «заготовки».

«Нашел в клеенчатой тетради», — отмечает Твардовский 13 июня 1965 г. перенос последнего наброска в новую тетрадь. Но что-то помешало ему тут же начать работу. Он вернулся к ней через две недели: «Сегодня «доводил» кое-как опять старый набросок», — записал он 30 июня 1965 г., заканчивая стихотворение. Оно было напечатано в «Новом мире» (1965, № 9). На этом работа не закончилась. Сличение текста из рабочей тетради, здесь приведенного, с публикациями в «Новом мире» и Собрании сочинений (М. 1978, т. 3, с. 150) выявляет новые текстологические изменения.

И самое существенное, что следует отметить в последней авторской редакции — это появление новой строфы, отсутствующей, однако, в новомирской публикации и в прижизненном (пятитомном) издании сочинений поэта (М. 1966—1971). По-видимому, тогда автор решил воздержаться от признания, способного вызвать преждевременное и нежелательное ему сочувствие читателя. Но сохранив строфу в чистовой записи, он тем самым оставил за собой право на публикацию ее в будущем.

Итак, от первой записи до окончания стихов прошло 30 лет — целая жизнь. Не часто такие сроки уделяют одному стихотворению. Да ведь на самом деле и было не так. За эти же годы созданы поэмы: «Василий Теркин», «Дом у дороги», «За далью — даль», «Теркин на том свете»; книга очерков и рассказов; критические статьи, многие сотни писем из дома и редакции. Сказать, очевидно, следует, что стихи написаны жизнью — морем ее событий, фактов, потрясений и обновлений — всем тем, что сопутствовало писателю в эти годы жизни. В стихах о шумах земли, казалось бы, таких пейзажных — принятие мира в его расширяющемся, динамичном облике: от сонливых тонов жизни хуторской к шумам мирского моря-океана и раздумьям зрелого человека, обогащенного опытом собственного пути.

И хотя жизнь, когда-то поманившая в дорогу, не сбылась в той мере, как обещали ее предвестья, человек не отверг прошлого, не отрекся от пережитого. Ни капли ожесточения, нитья, жалоб на судьбу, которыми охотно делятся поэты, не найти в строках стихотворения. Подобное исключение личных претензий к жизни предполагает единство с жизнью народной.

Стихи отразили образ любимого мира и образ самого поэта. Вот почему, минуя хронологический порядок, заключают они подборку набросков.

Вступительное слово, публикация и примечания М. И. ТВАРДОВСКОЙ.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

*

О ТВАРДОВСКОМ

Что значит такое явление, как «большой» писатель? «Большой» поэт? А то и значит, что мы уже не можем представить литературу без него, без его имени.

«Мы» — это не только знатоки, специалисты-литературоведы, но и мы — читатели, те, кто не имеет к литературе прямого отношения, те, кто «просто читатель», за плечами которого сотня-другая прочитанных книг и только, но все равно он не понаслышке знает «большого» писателя, у него есть о нем свое собственное мнение, есть убеждение в том, что и дети его и внуки будут знать этого писателя.

Это так, но вот в чем дело: интерес к творчеству того или иного писателя, если даже речь идет об отечественном или мировом классике, не остается постоянным, интерес этот то снижается, то вновь возрастает, причем — без видимых причин.

И все-таки эти причины есть, существуют. Не знаю, насколько я прав, но мне кажется, что интерес к творчеству Твардовского и его влияние на нас заключается в его поэтическом языке.

Ни в прозе, ни в поэзии многих десятилетий я не знаю более русского языка, чем язык Твардовского.

Мне скажут: Есенин!

Я скажу: это так, но язык Есенина — это песенный язык, во всяком случае — напевный, те его произведения, в которых лирической напевности нет, и в нашей памяти, в нашем слухе тоже не задержались.

Борис Пастернак — это высокой изысканности язык русской интеллигенции, настолько высокой, что ее не сразу и заметишь, она нигде не выдаст себя, нигде даже и не напомнит о Бальмонте.

Р-революционный Маяковский — это, как и всякая революционная акция, антипод истории и традиции, всей вековой гаммы звуков и поэтических понятий, отнять у Маяковского «анти» — что от него останется?

Павел Васильев — это фольклор, это столько же сам язык, сколько необузданная стихия языка. И когда вот так мы пройдемся по русской поэзии методом исключения пусть и великих, и выдающихся, и даже гениальных ее творений, что в результате останется?

А вернее всего, что Твардовский и останется, его язык — русский, без каких-либо прилагательных, о котором и сказать-то что-то, как-то его определить, чем-то охарактеризовать до сих пор почти что невозможно, не скоро еще дойдет до определений такого рода лингвистика, не скоро и читатель объяснит то свое чувство, которое этот язык в нем вызывает. Что-то слышится родное...

А что именно слышится-то? Вот так и бывает, так и случается: самое-то родное оказывается самым трудным для объяснения. А нынче я, читая Твардовского, если что и могу подтвердить, так это его любовь к Бунину и Ахматовой, некоторое его равнодушие к песенному Есенину (у самого Твардовского почти ничего не переложено на музыку), какое-то особое его чувство к русской прозе, десятки, если не сотни страниц которой он знал наизусть, например, таких прозаиков, как Пришвин или Соколов-Микитов.

Мне кажется, что Твардовский в свое время спас русский язык, спас, выстрадал его в событиях 30-х годов, в событиях Отечественной войны, в событиях послевоенного времени.

События — самая большая опасность для традиций, в том числе и для традиций языка, когда события переполняют эпоху, человек ищет новые слова, чтобы выразить их и себя в них, он перестает доверять известным ему словам, а ищет слов иностранных, делает ставку на словотворчество, и в этот-то критический момент и должен появиться поэт (не прозаик, а именно поэт), который, не выдумывая новых слов, создает из слов известных такие ряды, такие сочетания, так сумеет использовать и нашу память и нашу догадливость, что мы только удивимся сами себе: вот мы какие, как мы, оказывается, можем понимать жизни!

Вот и в наши дни явился бы к нам поэт такой же мощи... именно нынче, как он нам нужен такой, как нужен,— а есть ли надежда?

Повторю еще раз: это прекрасно, что существуют самые разные русские языки, а значит, и разные мышления у нас тоже есть, что они были и дай им Бог возможность еще и еще быть, однако в каждом здании есть камень, может быть, и не очень заметный, но краугольный, тот, который в равной степени и красив и необходим, и современен и традиционен, к которому — вот уж истинно! — ни прибавить, ни убавить нельзя, невозможно!

И наконец: разве не столь же грандиозную работу проделал Твардовский не только на пользу, но и на мировую славу русской литературы в прозе? Как редактор?

Одно только имя — Александр Солженицын — не об этом ли говорит?!

А сколько еще имен так называемой военной литературы прошло через его руки, руки главного редактора?

Сколько явилось благодаря Твардовскому имен, не Бог весть как уважительно и поныне называемых «деревенщиками»?

Где, в какой еще литературе XX века была такая же волна, такой же подъем?

Так же глубоко, чисто, искренне было сказано о том или ином народе, о судьбе народной?

Если даже это и было прощание с традиционным понятием «народ», оно было достойным и вполне в том духе, который воплощал в себе поэт Твардовский.

* * *

Вот вам и свобода — гласность с нами, день и ночь, раскрепощение личности полное, подумываем уже и о том, как бы это раскрепощение лимитировать, недалеко ведь и до греха, когда ни в чем нет никаких границ.

А личностей в литературе что-то не видать. Раньше больше их было, в период проклятого застоя.

Твардовский был. Маршак был. Симонов был. Фадеев был. А в той или иной степени в противоположность каждому из них был еще и Солженицын.

Это все личности творческие — во-первых, личности как таковые — во-вторых.

Ну вот разве кто-нибудь мог сомневаться в том, что Симонов очень храбрый человек?

Я был в Китае, в тех местах, где в составе 8-й армии бывал и Симонов. Около десяти лет прошло, но китайцы с изумлением все еще говорили о бесстрашии Симоны.

Или в том, что Твардовский человек талантливый и благородный, есть сомнения?

Одного из них смещали с поста главного редактора «Нового мира», другого на этот пост назначали, но разве это бросало хоть какую-нибудь тень на отношения между ними? Никакой. Они как были близкими людьми (близкими, но не то чтобы душа нараспашку), так и оставались ими во все времена. Или вот, скажем, Алексей Сурков, будучи секретарем Союза писателей, снимал с поста Александра Твардовского. Не сам по себе снимал, а выполнял «указание».

А несколько времени спустя я наблюдал их встречу. И что же? Никаких обид со стороны Александра Трифоновича я так и не заметил, разве одна-другая его шуточки, на которые Сурков, махнув рукой, отвечал очень просто:

— Брось, Саша, о чем разговор?

И Саша бросил...

Странно теперь все это и непонятно: как так могло быть? Что это были за личности в «закрепощении», когда мы, такие нынче свободные, допреж всего вдрызг разрутились между собой и в грош друг друга не ставим?

У меня то и дело происходит смена понятий: то мне кажется, я знаю, что та-

кое личность, и непонятно, что есть человечество; а то и наоборот, кажется, что человечество — это что-то простое, массовое, цвет кожи разный, а замашки, а корысть у всех одинаковые, зато личность — загадка всех загадок.

Ну, бывает, конечно, когда не понимаешь ни того, ни другого, когда понятия есть, а понимания их нет, как и не бывало никогда. Одна только вечная загадка жизни, и ничего больше.

Но что бы я ни думал на этот счет, одной из самых значительных и удивительных личностей навсегда осталась для меня личность Твардовского, при всех ее известных мне слабостях, при всем том, что заметил в ней пронзительным взглядом Солженицын. (Отмечу: любя и даже, на мой взгляд, почитая, отметил, хотя, конечно, очень сурово, с бесконечной и как бы даже вневременной требовательностью.)

Вот напечатает мы к концу года в «Новом мире» «Бодался теленок с дубом», и перед читателем возникнет эта необыкновенная и невероятная для всех предыдущих времен да и для нынешнего времени картина и проблема отношений Твардовский — Солженицын. А мне, редактору, придется, наверное, это как-то прокомментировать. Дело очень существенное, потому что это не только отношение двух писателей, но и состояние литературы. Состояние не только литературы, но и общества того времени.

Думается в связи с этим, что личность никогда не существует одна, а всегда еще и общество, в котором она возникает и погибает, с которым она контактирует и которое отрицает, которому жертвует себя даже и в том случае, если не ставит его ни в грош, не ценит его, презирает его, а то — болезненно ищет его признания. Это тоже бывает. Отнюдь не редко.

Но и теперь одно могу сказать: воздействие личности Твардовского на окружающих его людей было огромным и очевидным, он был притягателен уже по одному тому, что хотел жить по правде и не скрывал этого желания, в то время как большинство людей его скрывало, не зная, где правда, а где — неправда.

До сих пор никак не отвечаю на вопрос: а может быть, заблуждения тоже могут быть великими? И даже — благородными? Разумеется, до тех пор, пока время не разоблачит их до конца?

* * *

Встреч с Твардовским у меня было множество, почти исключительно деловых, как говорится, на платформе «автор — редактор».

Редактором он был удивительно чутким, но не без трогательных симпатий к некоторым авторам, прежде всего бытописательского направления. (Фантазии он ведь доверял значительно меньше.)

И только однажды, зато в течение почти полных четырех дней, мы общались «просто так», ради того только, чтобы пообщаться.

Некоторые к тому подробности, весьма характерные для начала послехрущевского, то есть брежневского периода.

Я в то время — 1964—1965 годы — очень сильно болел, лежал и в московских больницах и в новосибирских, а к моменту моего выздоровления редакция «Нового мира» решила мой город навестить, меня проведать.

Не так просто это было сделать — нужно было чье-то официальное приглашение, а кто же станет приглашать опальный «Новый мир»?

Нашлась-таки одна организация — областное управление «Союзпечати», которое возглавляла, не помню уже фамилии, солидная такая пожилая женщина.

Мне позвонили из «Нового мира», попросили с ней связаться.

При встрече она мне сказала:

— Никого не спрашивала! Взяла и пригласила. Меня уже к Первому вызывали: как так? Почему не посоветовалась?

— А — вы?

— А я: «имею право!» — и весь тут ответ. А что? Я старая коммунистка. К тому же выхожу на пенсию. Мне сам Первый не указ!

Я упоминаю «первого» не без умысла: сейчас он займет в моем рассказе свое место, сыграет свою роль.

Да-да, я увидел его на аэродроме, когда поехал туда, чтобы встретить Твардовского. Он тоже кого-то встречал тем же московским рейсом, но, конечно же, не «Новый мир».

Он подозвал меня и сказал:

— А я знаю, кого вы встречаете!

— Ну конечно, знаете! — согласился я.

— А если уж так, задам вам вопрос: вы написали рассказ, называется «На Иртыше». Написали?

— Повесть! — поправил я.

— Дела на меняет. Там написано, как мужиков раскулачивали и ссылали. Написано ведь?

— Есть и это. Как было, так и написано.

— Как было? По-разному, вот как. Я на Урале работал, приехал на шахту, спустился под землю, мне говорят: «А здесь одни раскулаченные, под землей работают!» Я говорю: «Ну и что? Они тоже люди!» И стал с ними разговаривать. С полчаса я с ними разговаривал, и ничего. Никто не высказывался против Советской власти и вообще ничего такого. А вы, писатели, все пишете, все пишете, все выдумываете. Вы мне вот что скажите, но только честно, как на духу: это Твардовский научил вас написать рассказ «На Иртыше»?

— Нет, он меня ничему не учил.

— Не поверю! Все сам от начала до конца и написал? Безо всяких указаний от главного редактора?

— Безо всяких...

Первый долго еще убеждал и меня, и себя, и окружающую его свиту, что все это ерунда, без указаний главного редактора произведения не пишутся, но я стоял на своем: пишутся! И тогда разговор кончился совершенно неожиданным образом — Первый взял меня за пуговицу, повертел ее и сказал:

— Молодец! Молодец — своих не выдает! А вот вы, — он ткнул пальцем в кого-то из своего окружения, — вы бы меня за эти десять минут десять раз продали! Уж это точно!

Прилетел самолет.

Первый встретил предсовмина РСФСР (им тогда был Воронов), я — новоириццев: Твардовского, Кондратовича, Лакшина и Брайнина.

Твардовский выглядел молодцом, веселый, бодрый, улыбался:

— Встретили Залыгина, он стоит на своих собственных, голова на месте — пусть пишет, не будем его отрывать от дела и полетим обратно!

Дорогой я рассказывал своим друзьям только что происшедший разговор с Первым, Твардовский страшно хохотал: «Запишите этот разговор, а то — забудете! Запишите, когда-нибудь опубликуете!» (Вот когда довелось опубликовать — кто бы мог подумать?!)

Потом он сказал:

— Знаменитый у вас в Новосибирске Первый! Очень он знаменит!

Так оно и было: во многих партийных акциях наш Первый участвовал весьма активно, начиная с 1928 года он ведь был на руководящих должностях и в Пензе, и в Риге, и в Перми, и в Тюмени, и в Калининске.

Еще Твардовский сказал:

— Пойдем к нему на прием!

— Не пойду! Мне-то зачем?

— Одному может, и незачем. А со мной — обязательно!

Твардовский партийный ритуал знал до тонкостей.

Через день-другой мы с ним были в огромном кабинете Первого. Разговор не клеился, и Первый спросил:

— А где же вы живете-то, Александр Трифонович? Где остановились?

— В гостинице напротив. «Советская», «Сибирская» — я даже и не запомнил.

— Почему же так? У нас резиденция вполне приличная. От города недалеко, место красивое.

— Так ведь вы четверых туда не пустите, не положено, а один я не хочу.

Первый помолчал и еще спросил:

— Ну а питаетесь-то вы где? Где обедаете?

— Сегодня у Сергея Павловича вот обедаем, пельменями обещал угостить нас и водочкой, а вообще-то мы предпочитаем на вокзал ходить. Удобно — вокзал в самом центре!

— Куда-куда?

— На вокзал.

— Обедать???

— Обедать...

— Ну почему же так? Ну хотя бы в обкомовскую нашу столовую заходил.
А то — на вокзал. Да почему же?

— Интересно!

— Чего же интересного?

— Как чего! Народишко туда-сюда болтается, шумит, разговаривает — не стесняется. Слушаешь — заслушаешься!

— Ну и о чем же идет там разговор? На вокзале?

— Да как вам сказать-то, Федор Степанович... Больше всего идут разговоры о Советской власти. Сильно матерят нынче Советскую власть. Но учтите — так научились материть, что посадить нельзя!

Тут последовала пауза. Описать ее я не берусь. А когда спускались вниз по обкомовской лестнице, Твардовский спросил:

— Ну и как? Мне кажется, я очень интеллигентно разговаривал?

И такое серьезное было у него выражение лица, светлое выражение, будто он стихотворение какое-нибудь задумывал.

Когда Твардовский заболел, заболел смертельно, я навещал его на даче в Пахре. О том, как он в ту жестокую пору выглядел, будучи парализован и лишен дара речи, — написано много, не буду это повторять.

А вот попрощаться мне с ним удалось один на один и не торопясь — об этом расскажу. Очень кратко.

Когда Александр Трифонович умер, мне, как было условлено, позволил Владимир Яковлевич Лакшин, сообщил, что работники редакции едут в морг Куницевской больницы, чтобы и я ехал туда же.

Я схватил такси, не очень-то точно зная, куда и как ехать, водитель меня успокоил:

— Знаю, знаю. Не в первый раз!

Приехали к воротам, там — пусто, ни одной машины.

Я спросил у вахтера: никто не приезжал прощаться с Твардовским?

— Приезжали! — был ответ. — Только их не пустили.

— Почему?

— А слишком их много. Речи еще начнут произносить. Надгробные. Это запрещено.

— Ну а мне одному — нельзя ли пройти?

— Одному, пожалуй что, и можно... Пройдите вот в морг, в подвал, там вареной картошкой пахнет: дежурный, высокий такой студент, картошку в котелке варит. Вы его найдете, бумажку какую-нибудь дадите, он вас в верхний зал проведет.

Студента я нашел, в верхний зал он меня провел, сказал:

— Сколько хотите, столько и сидите. Я не тороплюсь.

Зал красный, стулья вдоль стен — красные, красный гроб на красном постаменте.

Вот она и кончилась, жизнь мальчика с хутора Загорье Починковского района Смоленской области. Часа четыре думалось мне рядом с мертвым Твардовским — лицо поэта, мыслителя, жителя XX века, гражданина СССР.

Прекрасное при всем том было лицо.

А о чем мне думалось — этого повторить нельзя. Есть такие моменты, которые мысленно и хотя бы приблизительно повторить нельзя, невозможно.

Хоронили Твардовского на Новодевичьем кладбище, могила его — поблизости от могилы Никиты Хрущева.

Знаменитое надгробие работы Эрнста Неизвестного привлекало внимание — Новодевичье кладбище «закрытое», немногие там бывали, немногие этот бюст видели.

И вот еще что как сейчас помнится: в тот момент, когда гроб должны были опустить в могилу, вдруг возник над ним Солженицын и Твардовского перекрестил.

Солженицына на Новодевичье пропускать не хотели, но ему помогли, он прошел.

И вот — перекрестил.

* * *

В начале нынешнего, 1990 года мы, семь человек из редакции «Нового мира», поехали в Смоленск, в Смоленскую область — навестить родной хутор Твардовского.

Не знаю, как говорить о земле Смоленской, сколько раз уже о ней говорено, но и замолчать нельзя: триста деревень вместе с жителями было сожжено фашистской армией в этой области, тысяча двести групповых захоронений на земле этой... Древняя русская земля, издавна страдальческая, издавна — бедная. Вот и думаешь: будь Твардовский откуда-нибудь из Сибири — был бы он тем Твардовским, которого знает мир?

Наверное, не был бы.

Тут явление самой жизни иное, потому что от жизни ни на минуту не отступает вопрос: быть — не быть? И не только сегодня, веками так же, сама древность была здесь подвержена этому вопросу: чей будет язык, чье будет государство, кто возьмет верх в городе Смоленске — люди или чума?

Верх взяли люди. В числе десяти.

И может быть, самое удивительное, что жизнь была здесь как жизнь, естественной для народа, без сомнений на право своего существования, с бесконечной привязанностью к земле, с умением жить на земле именно так, как она того требовала.

Отсюда и вышел, здесь рожден был поэт Твардовский, усвоив хрупкость земли этой, ее нежность и суровую трагедию.

Хутор Загорье был сожжен, остатки его были растащены местными жителями, один какой-то кол остался, рядом с которым и снялся Александр Трифонович в шинели еще во время войны — известная фотография.

А потом из далекой сибирской ссылки чудный рукоделец и мастеровой младший брат Иван Трифонович вернулся на пепелище и восстановил всю усадьбу до последнего гвоздика и сам поселился рядом в побеленном домике.

Не чудо ли совершенно другим Твардовским, Иваном, красавцем мужчиной, сказочным русским Левшой? Дом, в доме стол, стулья, полати — все точь-в-точь, как было...

Что должно быть еще на крестьянской усадьбе?

Первое дело — хлев, жилье для скотины — и вот он рядом, небольшой и аккуратный.

Баня должна быть, так вот она баня.

Колодец нужен — вот он колодец.

Хозяин был кузнецом — вот она и кузня.

Что нужно для жизни — все есть, ничего не опущено, не забыто.

И ничего нет такого, без чего жить можно, на что не стоит тратить силы и время, лучше потратить их ради собственной души — почитать книги, поиграть на скрипке, помолиться Богу.

Мы забыли уже не только о земле, не только о колодцах — о естественности самой жизни забыли, она для нас арена и сцена, на которую мы каким-то образом когда-то попали, а теперь, хочешь не хочешь, надо играть, изображать самих себя. И еще, и еще раз вспоминаю я поэта Твардовского и стихию его — стихи... Поэт, а значит, и артист: он жизнь не играл, он ею жил. Как мог, как умел и как не умел.

Выступила наша редакционная группа в местном клубе имени Александра Твардовского, на его личные средства построенном. Присутствующих человек сто. Рассказали мы о своем журнале.

И вот еще что было нами решено и объявлено: «Новый мир» будет шефствовать над музеем Твардовского, сформирует для него библиотеку (мы этим делом нынче заняты, заканчиваем его), если нужно, поможем музею средствами издательского кооператива «Центр — «Новый мир».

Немного, а все-таки что-то будем делать. В память об Александре Трифоновиче Твардовском.

О Ч И Р К И И М А Ш И Х Д Н Е Й

П. ПЭНЭЖКО

*

ПОЕЗДКА В ЗАГОРЬЕ

Земельный вопрос на хуторе и в его окрестностях

Ие представляю другой земли, где бы мог родиться Александр Твардовский. Только здесь, на Смоленщине, обильно политой кровью и потом предков и современников, должен был воспринять этот поэт. И опять же не в поместьях, которые к тому времени лежали в руинах. И не в доведенной до сумасшествия новым бытом городской коммуналке. Не в доме пьяного от власти сельского предрика. И не в избе активиста, пустоту которой наполняет одно лишь классовое чувство хозяина. Он поправляет коптящий фитилек лампы и выводит: «В с. Сельцо Бежицкого уезда образовалась кулацкая группа, которая производит борьбу против мероприятий соввласти, в нее входят — три члена партии и два комсомольца»¹.

Есть что-то знаменательное в том, что появление Александра Твардовского на свет совпало с первой реформой русской деревни XX века — Столыпинской, и что родился он в семье одного из первых хуторян этих мест, человека начитанного и мастеровитого. Трифон Гордеевич брал ссуду в Крестьянском поземельном банке, вкладывая ее в землю и строения с дальним взглядом. Сам хотел стать крепким хозяином и детей вывести в люди. Всех угодий гектаров двадцать да кузница. Земля, правда, незавидная, и мир уступил ее без боя. А обычно однодеревенцы ломали землемерам инструменты, доходило до поджогов, чтобы только не дать хуторянину выделиться из общины. Для успеха дела правительству приходилось присылать драгун.

Откуда такое сопротивление? От бедной, голодной жизни. Средней семье даже при трех лошадях, двух коровах и прочей живности зачастую выпадало идти в «кусочки», потому что хлеб кончался задолго до нового урожая. Мир кусочки давал и в другом-прочем иногда помогал. За миром в богатеи не выбьешься, но и с голоду не пропадешь. Поэтому за мир надо держаться. А тут «столыпинцы» землю забирают. Это ж грабеж. И кто? Свои же врагами народа стали, свои выходцы на хутора.

Скажи тогда, что через восемь десятилетий придет сверху новая реформа с такой же арендой и хуторами и подобным же образом ее встретит обновленный совхозно-колхозный мир — кто бы поверил?

Не тронул Трифона Твардовского и новый передел земли в семнадцатом году, послеоктябрьская крестьянская реформа «снизу». А ведь на Смоленщине, как и повсюду, острине этой реформы направлялось вовсе не только против богатых хозяев и помещиков. В исторических хрониках того времени есть и такие характерные сообщения: «12 января организовалось 700 солдат, вооруженных пулеметами, которые готовы были провести против Велико-Бурлуцкой волости наступление, так как в районах этой волости частных имений более, чем во всех других волостях уезда, а население этой волости не желает поделиться землей со смежными волостями...»

И только в год «великого перелома» на хутор Твардовских обрушились те же беды, от которых стонала вся Смоленщина. Что тогда происходило в деревнях на месте нынешнего совхоза «Починковский», мы не знаем, но вряд ли события сильно отличались от всего того, о чем сообщалось из других мест:

«Ужаснейшие безобразия творятся в Мещовском районе, Сухинического округа, Западной области.

Есть хозяйства ниже средняцких у которых выгребли весь хлеб до зерна хлебозаготовители. А что делается с хлебом, так жутко сказать. В Мещовске хлеб ссыша-

¹ Здесь и далее цитируются материалы из книги «Неуслышанные голоса. Документы Смоленского архива. Книга первая. 1929». Составитель С. Максудов. Анн Арбор. «Ардис». 1987.

ют прямо под навесы без всяких стен. По хлебу ходят коровы, свиньи и люди грязными ногами. Тяжело и больно смотреть мужику как взятый у него за бесценок хлеб совершенно не производительно в грязь затаптывается и скотами поедается. Отнимают у мужика хлеб говорят — для Красной Армии, для рабочих, а вместо этого просто в грязь его топчут. Ужели нет у нас в Республике никого, кто бы мог прекратить эти безобразия? И разве нельзя было записанные в добровольном порядке хлебные излишки забронировать за записавшими их хозяевами, чтобы в нужную минуту предложить подвести к месту назначения. Не подготовили ни места, ни тары словом ничего, а двинули тысячи обозов с хлебом который и ссыщается можно сказать под открытым небом, — несмотря на наступившую осень.

Это — вредительство, а не хлебозаготовки. Тысячи пудов гниют. Десятки тысяч рабочих семейств можно было прокормить за счет гниющего совершенно напрасно хлеба.

Где та бережливость и экономия, о которых говорил Ленин?

Здесь мы видим только одно издевательство над хлебом, мужиком и мужицким трудом. Многие крестьяне вывезли буквально все, до последнего зерна, и на их то глазах, по их хлебу ходит скот, топчет хлеб в грязь, а дома совершенно без куска хлеба осталась семья.

Ужели в интересах Революции полнейшее разорение и обнищание крестьянских хозяйств» (из анонимного крестьянского письма Сталину и Рыкову, а также в «Правду», «Бедноту» и «Крестьянскую газету»).

Заметим, что с этой первой госхлебозаготовки во все последующие шестьдесят лет проблема сохранности урожая существенно не улучшилась. Видимо, она заложена в самой природе подобного отъема хлеба у крестьянина. Единственное существенное изменение за прошедший отрезок времени: у земледельца пропала охота переживать потери и по-хозяйски работать.

Не знаю, читали ли в те годы отец и старшие сыновья Твардовских смоленскую газету «Наша Деревня», но их реакция на прессу вполне могла быть созвучна и такому письму: «Да здравствует, да процветает Редакция. Это я так желаю потому что она так часто кричит во все горло убить кулака, изжить кулака, не дать кулаку распространения, не пустить Кулака в Совет, наложить на него тяжелое бремя, высшей меры налог, задавить его самообложением и страхованием и сделать его хуже крепостного помещика крестьянина. Вот до чего дожилась российский трудовой крестьянин и все 10 лет несет такое ИГО; крепостной крестьянин только знал одного помещика, работал ему, он не платил податей и более никого не боялся, а теперь в Советской Республике много стало помещиков, каждый Сельсоветчик, а председатель — то настоящий прежний царь: Я, что хочу, то с тобой и сделаю, захочу тебя задавить — задаваю; захочу помиловать — помилую, вот как в Советской власти, вот каковы Ваши Красные помещики: равенство и братство — завет ЛЕНИНА, память вечная ему, разве ЛЕНИН Вам так заповедал угнетать своих верноподданных... Превозглашаете любить друг друга, а на деле, так вы любите убить кулаков, уничтожить кулаков, которые Вас кормят, поят, одевают, снабжают армию, поднимают дух государства, то их нужно уничтожить. Вы сами рисуете, что в этот год от уплаты налогов уловить 35% бедняков, а возложить это все на кулаков. Да правильно ли это, вот-то безбожие. Вещь такая, что если председатель на меня зол, то он защищая себя и своих присных, налагает на меня, давит меня и уничтожает меня: потому что я его не пою самогонкой, не кормлю колбасами, то он что хочет, то и делает со мною. Если я и пожалуюсь будто высшему начальству, мне веры нет: раз председатель написал и сказал, — то крест. Вот какова Советская власть, то разве это правда».

Первым от такой безысходности покинул Загорье отец Твардовских. Надеаясь, что с исчезновением кормильца хоть несколько налог семье скостят, он же тем временем поможет семье издалека. Но власть не смягчилась. И тогда подался искать заработка старший Константин с пятнадцатилетним Иваном. А еще через два года на хутор пожаловал председатель сельсовета в обществе двух соседей в качестве понятых, побросали семью с кое-каким скарбом в сани, и начался долгий путь Твардовских в изгнание. И скажи тогда Ивану Трифоновичу, что он единственным из всех Твардовских вернется сюда спустя более полувека, чтобы восстановить родное пепелище в мельчайших деталях, вплоть до обстановки, иконок в красном углу и карточек родственников на стене, — ни высланные, ни выславшие и представить себе не смогли бы такую возможность.

Тогдашняя перестройка деревни «сверху» разнесла хутор по бревнышку. Ны-

нешняя, все такая же «сверху», по бревнышку его восстановила. И стоит он теперь памятником всему тому, от чего полвека назад вожди мирового пролетариата увели смоленскую деревню, и смотрит глазами своих музейных окон через Дорогу на новые порядки захламленных дворов и улиц Сельца, центральной усадьбы совхоза «Починковский», в таком соседстве также приобретший значение символическое.

Видимо, апофеоз этого движения сосредоточен в кабинете директора совхоза Петра Владимировича Шатыркина, который помещается под сенью ленинского бюста таких размеров, что им незорно по революционным праздникам сельскую площадь украсить. Уже больше десяти лет Петр Владимирович занимает свой кабинет. И у совхозного парторга Зои Алексеевны Лобченковой в кабинете тоже стоит бюст, хоть и поменьше размером.

С крыльца дома Твардовских открывается широкая панорама Сельца и хорошо просматриваются два двухэтажных дома городского типа — первый и последний рыбок совхоза «Починковский» к урбанизации быта. Впрочем, рыбок во многом условный, как и все здесь. Дома без канализации и водопровода, отопление печное. На лестничных клетках ни одного целого стекла, на ступеньках следы большого количества пернатых гостей. Это уже не запустение, а разруха...

На память приходят слова Александра Трифоновича, посетившего Загорье в годы войны, чтобы «найти место, где был наш двор и сад, где росли деревья, посаженные стгом и мною самим. Не нашел вообще ни одной приметы того клочка земли, который, закрыв глаза, могу представить себе весь до пятнышка и с которым связано все лучшее, что есть во мне. Более того — это сам я как личность. Эта связь всегда была дорога для меня и даже томительна».

Поэт так и не осуществил родившийся в дни войны замысел написать «повесть не повесть» — «Поездку в Загорье». Наверное, для этого надо было преодолеть в себе «Страну Муравью», включая признание, «что Горький научил его писать стихи». Несомненно одно: автобиографическую повесть «Страницы пережитого», где как будто про себя говорить очень не «про себя», а про самое главное, удалось создать младшему брату Ивану. Как говорят: и пером и топором. И не знаешь, чему удивляться. Этому ли воссозданному в мельчайших деталях отчету хутору или же стремлению выславной — «кулацкой» семьи во что бы то ни стало вернуться на родную Смоленщину. Пусть все постройки давно растащены по бревнышку, пусть в любой момент грозит донос и арест.

Ничем сторона не богата,
А мне уже тем хороша,
Что там наудачу когда-то
Моя народилась душа.

Впервые Иван Трифонович услышал эти стихи брата в кабинете советского консула в Стокгольме.

— Мне казалось, что я слышу его голос. Никто так не читает его стихи, как он сам, на собственный лад. Заметьте, что смоленская речь очень отличима от диалектов других областей...

Во время войны, находясь в финском плену, Иван Трифонович выучил шведский настолько, чтобы «сойти за эстонца», бежал в Швецию нанялся в работники, стал прекрасным столяром и плотником, получил паспорт, но как только представилась возможность, сразу явился в наше консульство. И надо же было случиться совпадению, чтобы как раз в это время туда пришел очередной номер «Огонька» со стихами брата. Но тернист русскому человеку путь на родину. Отплыли от шведского берега, приплыли к... чукотскому И надолго. Вывезли Твардовских из Загорья, когда Ивану миновало семнадцать. Вернуться же он смог лишь человеком за семьдесят. Детей унесла голодные военные годы. Доживают они теперь век с женой Марией Васильевной, тоже «спецпереселенкой» предвоенных лет.

Это люди поразительной моральной силы. И рядом живут другие, у которых этой силы, наверное, поменьше. Районка «Сельская новь» сообщает о рабочей музей Н. Пантюховой, судимой за тунеядство, которая попала в медвытрезвитель. О рабочем совхоза «Починковский» В. Карповичусе, совершившем кражу бора у пенсионера из деревни Сельцо. Один поехал за водкой да на тракторе перевернулся. Другой же в аналогичном состоянии остался цел и невредим, обрушивши на коров бетонные потолочные перекрытия, когда маневрировал с поднятым кузовом. Третий покушался поджечь своего соседа-бригадира. Четвертый повздорил с сожительницей

из деревни Бесищево (!) и оказался в больнице с телесными повреждениями... Ежегодная районная хроника.

Но вот случай с дояркой В. Ивашковой на какое-то время даже привыкших ко всему починковцев подвигал. Женщина приехала в совхоз с тремя детьми, из которых старшему было двенадцать, младшему шесть. Ей дали квартиру из трех комнат в уже упомянутом двухэтажном доме, детей прикрепили к столовой на бесплатное питание. Однако новая доярка не оценила такого отношения. Вскоре выяснилось, что она не только производственными, но и материнскими обязанностями не привыкла себя обременять, а вся жизнь ее — не что иное, как погоня за удовольствиями. Но поскольку в Сельце и окрестных деревнях с этим дело плохо (начальство даже вино запретило сюда завозить), приходилось искать их на стороне, подолгу отлучаться из хозяйства. Понятно, что дояркам это не нравилось, да и директор П. В. Шатыркин оказался не в восторге. Наконец терпение общественности лопнуло. Ивашкову выгнали с работы, велели съезжать с совхозной квартиры, а чтобы она не дай бог не вздумала использовать свое материнство и не пыталась оставить за собой жилплощадь, на нее подали в суд о лишении родительских прав.

С Петром Владимировичем Шатыркиным мы зашли в квартиру Ивашковой. Там и сям раскиданы обломки мебели, кое-какие детские вещицы, разбитые елочные игрушки. Все брошено, как во время панического бегства. Что с детьми? Говорят, двоих старших забрал приехавший за ними отец, третий пропал где-то с цыганами, четвертый, грудной, остался у матери. Самым главным в этом грустном рассказе для директора и парторга было то, что они наконец-то освободились от беспокойной доярки. А мне почему-то вспомнились «Страницы пережитого» Ивана Твардовского, где он рассказывает, как их жестоко выселяли из Загорья. Конечно, исторический контекст тут иной. Но в изломанной судьбе Ивашковой я вижу продолжение того, чему начало было положено в 1929 году, когда хуторян-средняков вроде Твардовских душили налогами, выселяли. Пролетаризация земледельца дошла до своего логического завершения — пауперизации.

Среда эта глубоко равнодушна к тому, кто живет и трудится рядом с тобой. Про Ивашкову мне никто не мог ничего путного сказать, кроме того, что она водилась с цыганами. Парторг Лобченкова вспомнила, что вроде бы она детдомовка. Мол, этим многое объясняется. Работавшая с ней на ферме зоотехник гордо заметила, что у нее тоже двое детей, но она себе ничего подобного не позволяет.

Как-то в разговоре об отце Иван Трифонович обронил, что однажды тот радостный пришел домой и сообщил, как удачно выменял томик Некрасова на мешок картошки. Интересно, кто из нынешних работников этого села способен на подобную сделку? Шатыркин убеждал, что его механизаторы безо всяких хуторов живут здесь нынче великолепно: подъезжают к половине девятого к мехдвору на собственных машинах, заводят своих стосильных стальных коней, а вечером, опять же на личном транспорте, разъезжаются по домам. При этом вспоминал своих родителей, которые в соседнем племхозе имени Коминтерна ходили за пять верст на работу с песней и с песней же возвращались. А теперь народ испортился. Ни пешком ходить, ни тем более петь не желает. Главным условием возрождения смоленской деревни Петр Владимирович видит создание бытовых удобств, максимально приближенных к городским. Именно так три пятилетки назад наши руководители собирались решить продовольственную проблему, сселяя деревни, строя типовые квартиры.

Я приехал в Загорье как раз накануне выборов народных депутатов России и принятия Верховным Советом СССР Закона о земле. И если в Починках еще проявлялись какие-то эмоции по поводу этих событий, то в Сельце и окрестностях, можно смело сказать, они не вызывали никакого движения души. А ведь речь шла, как это во всяком случае казалось нашим публицистам и парламентариям, об акте исторического масштаба, подобном первым ленинским декретам. Потом выяснилось, что нынешнюю ситуацию на Смоленщине следует признать хуже той, что была накануне отмены крепостного права, сто тридцать лет назад. Не только те, кому положено землю отдавать, но даже те, кто вроде бы может ее получить, ни под каким видом не собираются этого делать. Ни о каких арендных и уж тем более хуторских хозяйствах здесь никто и слышать не хочет.

— Действительно, а что бы не попробовать и такую форму?! — бодро реагировал Шатыркин на мой вопрос. И стал доказывать, почему из этого ничего не получится.

С какой легкостью многие приезжают в совхоз, с той же и уезжают. Либо не

понравилось, либо следом за новожителями прибывают разные бумаги от правоохранительных органов, и людям надо убежать подальше. От этого на территории Сельцовского сельсовета получается такая несообразность: живет здесь более пятисот человек, план разверстывается на триста, а на полях и фермах трудится менее двухсот.

И тем не менее хозяйство живет. За счет чего? Это надо понять. Если корова на лучшей ферме дает молока меньше, чем надаивали здесь до войны, а худшая не может подняться выше двухтонной отметки («навозниками» звали их во времена Энгельгардта), то на чем-то же должно держаться совхозное благосостояние?

Когда пришла председатель сельсовета, все более-менее разъяснилось. Елена Ильинична Зайцева держит трех коров, двенадцать поросят, птицу и в год сдает по десять тонн молока и по две тонны мяса. Да двое сыновей ее держат по две коровы, да у парторга Зои Алексеевны Лобченковой... Словом, вся совхозная управленческая элита держит скот на подворье и, конечно, не знает отказа ни в сене, ни в кормах.

Понятно, почему Елена Ильинична и Зоя Алексеевна в один голос утверждают, что с арендатором-хуторянином в «лочинковской» ситуации хода нет. Зайцева, например, прошла всю локальную иерархию власти от бригадира до завотделением, замдиректора, и потому ее представления о плюсах и минусах совхозной жизни отличаются предельной конкретностью:

— Вот бастуют, выступают. По-моему, это все от какого-то бессилья. В наше время, хоть и говорят, что оно трудное, если работаешь, можешь жить как хочешь.

И правда. Для своего «кадрового ядра» совхоз всегда найдет корма, а вот продать что-либо хуторянину-арендатору — еще подумает. Тот ведь куда захотел, туда и повез, а это даже в гипотетическом смысле нетерпимо. Потому что свои совхозные коровы доятса, как козы, питаются, как кролики, придавая отчетности неказистый вид. Поэтому если не плеснуть в это водянисто-синее госмолоко сливков из индивидуального сектора, сметаны руководству не будет. Тонкость тут в том, что молоко-мясо хуторянина пойдет прямо на местный рынок, а если его реализовать через совхоз — это значит неведомо куда и с большими потерями. В этом варианте проигрывают все. Производитель, так как сдал по дешевке. Потребитель, так как многое до него не дошло, пропало в дороге. Выигрывает только совхозная отчетность.

Шатыркин указывал на первоочередную трудность — строительство. Государство построило совхозу лишь животноводческий комплекс. Все остальное — хозспособом. Да вот еще Твардовский соорудил «домик культуры» с залом на восемьдесят человек.

Допустим, государственному предприятию, которое и создавалось-то для того, чтобы посрамить частный и кооперативный сектор, нет ни привычки, ни сноровки строить своими руками и на свои деньги. Но тогда почему же именно животноводческий комплекс в хозяйстве прозябает, а процветают коровы только по дворам? Правильно, говорит Зайцева, все потому же: если работаешь, можешь жить как хочешь. Весь вопрос только — на какой должности работать и чего хотеть. Потому что здесь корова на подворье во многом живет за счет коровы на комплексе. И не по своему или своего хозяина злодейству, а совершенно естественным экономическим образом. Капиталы неизбежно перетекают туда, где дают больший эффект. Читателю сегодня уши прожужжали об ужасной «теневой» экономике, которая может перекупить или перепродать страну оптом и в розницу. Так вот вам кусочек вполне легальной теневой сельскохозяйственной экономики, где госпредприятие питает частника, который служит и даже руководит этим предприятием. Понятно, что такой человек агрессивно не заинтересован в том, чтобы кто-то на соседнем хуторе подрывал его монополию. И не случайно как механизаторы, так и бригадиры и выше — все в один голос меня убеждали, что сельский труженик и так по уши в работе. Еще хутор повесить себе на шею? И довод, что теперь приходится разрываться между подворьем и фермой или полем, а на своей земле такого не будет, — неубедителен совершенно. Потому что каждый для себя довольно ясно представлял, что нынче «разрываться» все же легче и выгоднее, чем жить сам себе хозяин.

Однако всем жить за счет совхоза невозможно. Кто-то должен отдавать себя ему целиком, чтобы это ветхое сооружение не завалилось окончательно. Для этого нужны люди, которым некуда податься, которые когда-то в чем-то глубоко проштрафились, потом были прощены директором и теперь по гроб жизни связаны с ним узами благодарности и личной преданности. С ними мне удалось познакомиться благодаря все тому же Шатыркину, решившему во что бы то ни стало доказать, что крестьяне не хотят брать землю и становиться ее хозяевами.

Пятидесятивосьмилетний звеньевой механизатор Владимир Иванович Евграфов, прозванный за малый рост и бойцовскую петушистость Шупындиком, на прошлогодней посевной возглавил одно из четырех арендных звеньев, показавших «образцы труда, высокое сознание». Собрали по 350 центнеров свеклы, 160 — картофеля. Честно говоря, для «образца труда» — не Бог весть... Но дальше пошли неясности: то ли механизаторы авансом все деньги vybrали, то ли совхоз отказался платить за все заработанное — во всяком случае, теперь из четырех сделали два укрупненных звена, учет выработки им будет двойной (в бухгалтерии и сами учитывают), и платить им станут по нормосменам, стоимость которых на всех видах работ одна — шесть рублей. Вообще-то двойной учет и шесть рублей (хочешь — на культивации, хочешь — на тереблении льна) — в чем тут аренда и где стимулы?

Но Шупындик на все согласен, кроме «возрождения кулака», которого он «чуть было сам не застал», родившись почти шестьдесят лет назад. Владимира Ивановича не интересует и даже не смешит то обстоятельство, что для его звена в совхозе вроде бы недоставало кадров (хотя плохо ли это?), зато их вполне хватило для контролеров специально созданной внутрисовхозной комиссии на яровом клине.

Евграфов — натура драматическая. Как рассказывает Шатыркин, лет до пятидесяти пил в мертвую, куражился, что не одну «Волгу» пропил, а потом внезапно «завязал» и с такой же яростью принялся вкалывать. Со своими механизаторами, почти как Шатыркин, строг. Разве только рукам волю не дает, но только по причине природного слабосилия. Тем не менее в разгар посевной беспощадно изгнал из звена Андрея Карпова, который направил трактор с поля напрямик за портвейном и, как застенчиво формулируют починковцы, «не справился с управлением».

Цветущий, розовощекий Андрей участвует в нашем споре и тоже категорически против всех нынешних новшеств, но, по всему судя, понимает их смысл еще хуже Евграфова.

— Если я виноватый, чего ж обижаться. Сделали мне начет, теперь деваться некуда, стараешься исправиться. А вообще я страшней сельского труда не видал. Поднимаешься затемно, возвращаешься затемно..

Понятно, Карпов из города приехал, на заводе работал, вот и ужасается. Иная философия у него, теперь уже бывшего звеньевого.

— Вот у меня на день задание: перевезти двадцать пять тонн органики. Я за три ездки управился. На дворе только еще двенадцать часов, а у меня уже, считай, восемнадцать рублей в кармане. Сижу, курю...

Впрочем, Евграфов устраивает перекуры не по злему умыслу, а от тонкого понимания полной незаинтересованности системы в том, чтобы он работал по-настоящему. Что толку биться за количество и качество урожая, когда совхоз все равно не может урожаем обработать, зернопункт путем принять, а элеватор сохранить. Когда возьмут зерно по одной цене, а вернут его совхозу же испорченным в виде комбикорма, но уже по тройной. Если чем больше даешь корнеплодов, тем больше их гноят, то не лучше ли с меньшими затратами давать меньше, чтобы получить хотя бы больший экономический эффект?!

Самое-то главное, что совхоз в таких условиях еще жить может. Его государство всегда поддержит, сколько бы там ни кричали о самофинансировании и самоокупаемости. А вот фермеру, хуторянину от таких условий хозяйствования обеспечена скоростная экономическая смерть. И этот приговор ни отсрочке, ни обжалованию не подлежит до тех самых пор, пока в корне не будет переделана вся система переработки продукции и обслуживания села. Чтобы она гонялась за крестьянином и умоляла его сдать урожай на самых выгодных условиях, а не мариновала его у ворот и на весах, не обсчитывала на каждом центнере.

Независимо от того, проводила ли Шатыркин работу с Евграфовым накануне нашей беседы, в совпадении их точек зрения — «управляющего» и «поденщика» — нет ничего противоестественного. Аргументы одни и те же — как почему нельзя давать, так и почему нельзя брать землю. И нет в этом злой воли Петра Владимировича. И нет испорченности Владимира Ивановича, потому что первому пока еще ничего не грозит, а второму все еще ничего не светит. Шесть десятилетий назад не только здесь, а и по всей стране сокрушили экономику хозяев, заменив ее поденщиной. И все последующие годы она совершенствовалась как бы в двух противоположных направлениях. С одной стороны, делалось все, чтобы из поденщика выжать последнее. С другой — поденщик изворачивался, чтобы выжить. Ясно, что такая борьба могла

привести только в тупик, когда обе стороны разом обессилели и окончательно подорвали производительные силы Деревни. Римляне разрешили аналогичную ситуацию со своими латифундиями простой раздачей земли всем тем, кто хотел ее обрабатывать. Правда, это было сделано слишком поздно из-за сопротивления погрязших в пороках и праздности землевладельцев, и потому империю спасти уже не могло. У нас же на страже латифундий стоят не расслабленные и малочисленные патриции, а деятельные, многочисленные и по преимуществу молодые управленцы, которые до сих пор на всякое действие с точки зрения здравого смысла отвечали противодействием на всех уровнях хозяйственной, районной, областной и выше власти. Энергии тратилось столько, что хватало бы ананасы в открытом грунте выращивать, но назначение ее было совершенно определенным: никоим образом не допустить в деревню хозяина, сохранить поденщину во что бы то ни стало.

Рассматриваем фотографии Твардовских на стенах. Мать-страдалица, брат ее, что умер молодым, сестра...

— Если присмотреться,— лукаво хмыкает Иван Трифонович,— не такой уж мы были отсталой деревней. Вот все мы тут сидим: отец, мать, и нас тогда еще четверо. Трифон Гордеевич, я помню еще по молодости, так просто отлично одевался. У него были такие легкие пальтеца из тончайшего касторового сукна...

Рядом фотография хутора Возновых, близких родственников. Людей очень религиозных и подвергшихся жестокой репрессии. От них не осталось никого и ничего. Снимались они в тридцатом году. В двух верстах от Твардовских жили.

Первое стихотворение Александра в подражание Пушкину:

Раз я позднею порой
Шел от Вознова домой.

Много сил на родном хуторе положил семидесятилетний Иван Трифонович. А надо в хлеву поставить кормушку и телегу сбить в точности такую, какая была у них. Бороны сделать, плуг — второго такого ни у кого не было. Трифон Гордеевич покупал сильных лошадей, которые таскали парный плуг. Лошадь держали одну, но обязательно такую, чтобы заменяла двух. Впрочем, это и в «Муравии» описано:

И склад хорош, и стать легка,
В монету весь одет.
Под Ворошиловым конька
Такого, может, нет.

Сбрую Иван Трифонович нынче ладит. Не просто хомутик какой-нибудь на гвоздь повесить. А сколько таких мелочей, которых не вдруг, собственно говоря, и заметишь. Одежду тогдашнюю теперь вообще не отыщешь. А что трудней всего? Трудней всего было ему доказывать местным властям, что все это нужно.

— Если Александр Достоев, то, казалось бы, и без меня должны были все это сделать...

Правда, помогают друзья из Москвы, Подольска, Рязани, да студенты, да Починковский райком партии, да совхоз. Николай Васильевич Жвац, бывший первый секретарь райкома, много помогал. Договаривался с воинской частью, чтобы солдатиков прислали. Хотя теперешние солдатики и неумелые, и работать не хотят, им лишь бы день прошел. А Иван Трифонович с толком их использовал. Это надо было видеть!

Выходим с Иваном Трифоновичем Твардовским на крыльцо. Взгляд останавливается на дальних некогда полях, а ныне путаных зарослях лозы и березняка.

— К чему пришли? Не думали не гадали. Да разве можно без собственности иметь интерес? Это доказал мир. Та же Канада, Бельгия, Голландия, Швеция, где мне самому пришлось быть и жить и пироги есть. И видеть, как эти самые варяжские крестьяне работают. Как они в лесу действуют, как природу берегут, насколько они честны, доброжелательны.

Мы же потеряли лицо. Не только крестьянина. Русского человека. Мы и учителя потеряли, который пользовался огромным нравственным влиянием на ученика. Я все не могу забыть, как дорого мне было слово учителя, его похвала. Я ночь не спал мальчишкой... А сейчас педагог местной школы жалуется: никто не хочет учиться. Никто с учителем не считается...

По всем Твардовским всероссийская судьба проехала колесами вдоль и поперек, а Иван Трифонович вернулся сюда, чтобы сотворить невозможное, восстановить самой жизнью своей порванные связи. Ему нужно увидеть в нынешних малых Иванах да

Марьях, плетущихся в Починковскую неполную среднюю школу, самого себя, а вместо этого он встречает трех нерадивых девятиклассников, из которых один — турок-мексехтинец.

Эх, думаю, порыться бы Ивану Трифоновичу в смоленском архиве, он бы и этому печальному факту нашел историческое объяснение. И только ли по крестьянину прошелся «великий перелом»? Вот документ ГПУ:

«Секретарь Волкома ВКП(б) Плановщиков, совместно с Львовым, устраивают систематические поездки к сельским учительницам, которых заставляют себя угощать, принуждая их к половой связи. Так, в феврале м-це с. г. Львов и Плановщиков специально приехали в Яблонскую школу к учительнице Орловой, дочери кулака осужденного на 8 лет за а/с деятельность, и Кустовой — дочери попа, где устроили попойку, добываясь сожительства с ними.

О безобразиях, творимых Плановщиковым и Львовым, знает все население. Однажды группа деревенской молодежи, желая подшутить над своими «руководителями» увели лошадь, для розыска которой был вызван специально милиционер. Весной тек. года Львов совместно с агрономом Шимаревым приехал в ту же школу, где, при участии землемера Иванова, до бесчувствия напились, и в пьяном виде ворвались в помещение школы, где проживали учительницы Кустова и Орлова, принуждая их к половой связи, и лишь только после сопротивления учительницы выдворяются в кухню, а Львов с Шимаревым занимают их кровать.

Львов свои гнусные предложения мотивировал тем, что «я власть, и все могу». Зная, что подобные заявления будут иметь особое действие на Орлову и Кустову, как на лиц чуждого происхождения. Кустова, вследствие издевательств, близка была к самоубийству. Попытки местного учительства довести до сведения уездных организаций о творящихся безобразиях рассматривались чуть-ли не как а/с выступления, причем Волком Партии и в частности секретарь Волкома КСМ Константинов, через аппарат милиции, производит дознание, вызывая на очную ставку учительниц, которые якобы ходили в Ржев жаловаться.

Местные работники, зная о проделках своих руководителей, своими действиями превосходили последних. Секретарь ВИКа Погостов, человек с уголовным прошлым, совместно с избачем Соколовым — сыном бывш. управляющего имением, в Марте пр. года, в нетрезвом виде, ворвались к учительнице Образцовой Вере, которую с оружием в руках Погостов и Соколов заставили раздеться до-гола и насильничали над ней. Образцова настолько была терроризирована, что бросила работу в школе и уехала...»

На семидесятом году жизни директору Починковской школы Сергеем Степановичу Селифонову удалось достичь коммунистического сочетания умственной и физической деятельности: он преподает труд, физику, историю, черчение и изобразительное искусство.

— Я сорок пять лет в школе,— говорит Сергей Степанович почти словами Ивана Трифоновича,— но такого отношения к педагогам не припомню. Учителя жалуются: в совхозную контору за молоком через силу идешь. Обязательно упрекнул, зачем корову не держишь?!

Кто будет учителей уважать, если школе топливо отпускают лишь на сиротскую зиму, о ремонте лучше и не заикайся, а с родителями по поводу успеваемости их детей Селифонов просто боится разговаривать. Десятой дорогой обходит завмага Лаптеву, которая, понимая свой починковский вес и значение, отчитывает его прилюдно за то, что ее тринадцатилетний сынишка предпочитает шестому классу улицу, а домашним урокам поздне сеансы видеотеки. Нет, канули в вечность те патриархальные времена, когда в школу вместе с родителями собирался сельский совет в полном составе, председатели колхоза, члены правления, и все вместе судили-рядили об учениках и школьных делах. А были, несмотря ни на что, такие времена.

— Вот твердят как попугаи: трудные дети, трудные дети,— возмущается Селифонов и делится своим педагогическим открытием: — Поймите, нет у нас трудных детей. Есть трудные родители!

У родителей самого Селифонова было 14 детей, половина умерли. Единственных лошаденку и коровенку отец свел в колхоз. Ему это зачли, поставили бригадиром на ферме. Стал папаша форменным активистом колхозного движения, авторитет занимал. А тут, как назло, теленок на ферме возьми да и сдохни. И дали кормильцу огромной семьи за «вредительство» два года...

Нынче в совхозе что ни год — падеж, по сталинским меркам, хоть всех под расстрел. Но сколько можно продержаться на одном администрировании. Оно как на-

чинается, так и кончается само собой. Селифонов помнит, как после войны он с учениками вокруг школы ячмень сеял. А по осени все вместе терли его в самодельных ступах. Так начинали учебный год. Такая была торжественная линейка.

Вот тогда бы, в те времена, объявить людям раздачу земли. А теперь землю никто не возьмет. Зачем, если и так деньги платят. Но самое главное — нет перед глазами фермера, чтобы на его примере показать: вот ведь как можно жить и работать.

Именно в школе, именно Селифоновым был создан на родине первый музей Твардовского. Начало экспонатам положило издание «Василия Теркина» — одно из первых отдельной книгой, с автографом Александра Трифоновича. А добыла его семиклассница Валентина Щербакова, дочь небезызвестного в «Починковском» Александра Харитоновича, который еще подростком воевал здесь в партизанах. В один из приездов Твардовского в родные места она попросила его подарить последнюю поэму «За далью — даль», но книжка тогда еще не вышла (63-й год), и поэт с извинениями прислал «Теркина».

И еще Селифонов бережно хранит в своем музее остатки библиотеки, которую Александр Трифонович прислал землякам, когда здесь ни читать было нечего, ни писать не на чем. Но и ее разорили самым безобразным образом и только кое-что Сергей Степанович спас. С гордостью продемонстрировал он издания начала века: великолепное собрание Тургенева, Гончарова, Гейне...

Пятнадцатилетним мальчишкой Александру Щербакову пришлось воевать с фашистами на пороге собственного дома. Нет теперь родной деревни Жигалово, дотла была она сожжена карателями. Отца расстреляли. Мать пытали в гестапо, потом отправили на торфоразработки. Александра бросили в Рославльский концентрационный лагерь, а оттуда отправили работать в Германию. Под городом Касселем он батрачил у бауэра Фрица Ноймана, пока его не освободили американцы. Потом служба в Советской Армии, а после демобилизации работа трактористом в Починковской МТС, звание совхозным междвором. В 77-м Александра Харитоновича избирают председателем Сельцовского сельсовета, и в этой должности он благополучно пробыл десять лет.

Все помнит: и послевоенную натурповинность мясом, салом и шкуркой, плюс десять рублей налога за куст смородины, и пахоту на собственном горбу. Но верит он, что колхозы себя не исчерпали. Ставит в пример довоенную жизнь, когда давали два молочных бидона меду на трудовни. А теперь вот «приходится в хаосе помирать». От чего хаос? Да вот в Починках собралось три десятка мракобесов церковь открывать, а Щербаков хоть теперь и отошел от власти, все равно одобрить этого не может. И технику совсем жалеть перестали. У механизатора колесо спустило, так он с ним полтора десятка километров и шлепает. А колесико 220 рублей стоит. Попадись ему такой механизатор где-нибудь после войны...

Кстати, воинствующий атеизм местным председателям передается как бы вместе с сельсоветовской печатью. Зайцева тоже признается, что настолько ненавидит попов, что даже телевизор выключает, когда начинается воскресная проповедь! И не важно, что там не только церковники проповедают. Не спрашивал я у Зайцевой, ощущает ли она себя властью. С ней пока все в порядке. А вот у Щербакова поинтересовался. Как-никак десять лет держал Совет в Сельце.

— Да какая я власть?! Вот директор — власть. Потому что у него деньги. А наш бюджет — 32 тысячи. «Домик» культуры не могли отремонтировать, который нам Твардовский из какой-то своей премии построил. Вот было раньше, еще до коллективизации, такое понятие — «самообложение». Все из своих средств: и на клуб, и на школу, и на медицину, и на дороги. А теперь даже и к этому не вернешься. Ну что такое полторы сотни работающих? Сколько с них возьмешь?

Вот не хочется, а все время возвращаешься мыслью к смоленскому архиву, потому что какую починковскую беду ни затронь, обязательно там найдешь ее истоки. В каком-нибудь «переломном» документе. К примеру, когда-то на собрании граждан деревни Немцево звучали такие речи: «Учитываете ли вы, к чему приведет в конечном результате раскулачивание деревни, ослабление мощности зажиточных? — Ведь это приведет к всеобщему обнищанию, так как все землеробы оставят по одной лошади и по одной корове и сократят посевную площадь, лишнего хлеба ни у кого останется не будет, не будет держать лишнего скота, а раз так, то падет урожайность. Вслед за этим обнаружится нехватка шерсти, кожи, мяса, молока, масла и проч. Вследствие этого в 5—6 месяцев сократится сумма налога, самообложения и т. п., а ведь на

это содержатся школы, больницы и т. п. При такой постановке в сельском хозяйстве прогресса не будет, а потому нужно отказаться от системы обращения зажиточных землеробов в пролетариев».

Надо же, ведь были головы на плечах у смоленских мужиков, хотя никаким полтэкономиям их никто не обучал. Да и снявши головы, как известно, по волосам не плачут. Нет теперь экономически мыслящего мужика, хозяина с большой буквы, самостоятельного и предприимчивого. Так меня во всяком случае уверяли в дирекции, на ферме и на мехдворе. В прямом и переносном смысле некому тут «самооблагаться». Любопытно, на чем же, в таком случае, мы собираемся строить свои местные бюджеты? На дырявых совхозно-колхозных? На новых государственных дотациях и ассигнованиях в эту прорву?..

К склону оврага притулилась Деревенька Птахино. На десять дворов в ней лишь двое работающих, так что не исключено в ближайшем будущем ее полное и совершенно естественное исчезновение где-нибудь на дне этого разверзшегося ландшафта, похоже, всерьез решившего поглотить незадачливого смоленского землепашца. И вдруг чудо: опрятное подворье, исправная, хотя и не новая бременчатая изба. В Сельце уже коттеджи каменные и все вокруг них пришло в худшее состояние. Не иначе молодая семья поселилась. А вдруг, чем черт не шутит, с видами на хуторское будущее?! Земли-то кругом — глазом не охватишь...

Хозяину, Алексею Петровичу Комарову, оказалось под восемьдесят. Супруге Ольге Ивановне где-то соответственно, к тому же второй год она в параличе, еле передвигается по чисто вымытому избяному полу. И то поднялась лишь из любопытства взглянуть на редкостных гостей. К ним в медвежий угол вряд ли кто заглядывает чаще чем раз в месяц. Значит, дом, корова, поросята, овечки, птица — все на Алексее Петровиче, который, к слову сказать, в первый год войны получил под Ленинградом столько в свое тело немецкого железа, столько крови и костей потерял, что диву даешься, как еще жив человек. А он ведь какую работу тащил на себе! С 53-го по 57-й председатель Васильевского сельсовета, потом еще год — непонятно почему — во главе колхоза. А после реорганизации вплоть до 1977 года — председатель Сельцовского сельсовета.

Алексея Петровича мы застали безукоризненно выбритым, в каком-то приподнятом настроении и с ведром в руках. Оказывается, помешали его «выходу в люди». Собрался сотню яиц отнести в станыковское селпо, выручить девять рублей. Сами понимаете, в связи с болезнью Ольги Ивановны деньги в доме особенно нужны. Да, немного нажил Комаров за четверть века своего председательства. Самое значительное приобретение состоялось в пятьдесят восьмом году — габардиновое зимнее пальто с меховым воротником. Оно и теперь еще как новое, потому что надевано три раза на выборы и два раза в больницу. Полно, Алексей Петрович, да была ли власть у вас?

— А как же... Снег сошел, я сумку через плечо и пошел порядок наводить по деревням и колхозам. Интересно было в пятидесятые годы. Все колхозные работы — а на моей территории восемь небольших хозяйств — шли через сельсовет. И за все заготовки, налоги, статистику, орнабор — за все ты в ответе. Председателей вызывали на исполком для отчета. Чуть что, могли поставить вопрос «о соответствии»...

Сутками Комаров не появлялся дома. Проверял, как тракторный отряд пашет и сеет. А что была за техника?! Для ее поддержания разбирали советские и немецкие танки на запчасти. Безрукий Дудыкин большой был мастер по комплектации. А уж Колька Борисов, тот мог восстанавливать трактора прямо в борозде, в полевых условиях, так, наверное, теперь и на мехдворе не сделают. Ему бы учеников, а он возьми да и повесься сразу как отсыялся. Тогда и женщины работали на тракторах. Вон, Ольга Ивановна зубов на этом лишилась. Выбило заводной ручкой...

Самым тяжелым в своей работе Алексей Петрович считал налогообложение. Особенно горько было смотреть, как хозяин, чтобы не платить непосильную подать, яблоки вырубает. И Комаров хитрил, обманывал государство еще и потому, что сам не представлял жизни без сада. Теперь его можно в этом уличить, достав из архива похозяйственные книги тех лет...

— Вот вы про землю, а я вам скажу, что поздно. Замучили мужика совсем. Дурой оказалась наша власть, хоть и прослужил ей, прости господи, всю жизнь.

Комаров вспоминает: семь душ их было в семье отца. Держали две коровы, итель, с десятков овец, две-три свиньи, лошадь. Типичный смоленский середняк. Как

Твардовский и другие прочие. Жил не только крестьянским трудом, но и отходничеством. Плотничал в Москве. После Октября взял землю, стал удобрять, пошел урожай, вроде какой-то свет в окошке забрезжил. Кстати, на хутора еще стремились потому, что в деревне испокон веков друг друга поедом ели. А тут повеяло вольной жизнью, независимой. В губернии целые волости становились сплошь хуторянами. Потом опять народ в деревни сселяли. Перестали верить руководству...

Теперь у совхоза «Починковский» — где-то под 600 гектаров одних выпасов, так дай Бог, если сто из них скашивается. Остальное зарастает. Есть, есть земля, но никто никому ее не отдаст. Потому что труд на ней обесмыслили и обесценили, совсем как те пореформенные смоленские помещики, о которых рассказывал Энгельгардт (кстати, Шатыркин родом из бывшего энгельгардтовского имения): все интересы их были в городе, а землю свою они так, «болтали», для своего социального статуса. То же и теперь. В районе, в области «болтают» землю и ведут бесконечные разговоры о перестройке на селе, и все для того же самого — для сохранения своего социального статуса. Над «Починковским» шефствует не кто-нибудь, а весь состав райкома партии. Уже зримо одно из благотворных последствий этого — в Сельце великолепная баня с сауной, которая для нормального люда в субботу закрыта. И нечего тут роптать, потому что для нынешних условий это естественно. Как и то, что если в пятидесятые годы Комаров давал на исполкоме разгон председателям, то уже его преемник Щербakov не только при директоре, но и при совхозном партгоре боится рот раскрыть, потому что вчера Лобченкова была председателем сельсовета, сегодня Шатыркин ее переставил секретарем партбюро, а на ее место поставил Зайцеву. Потом подумает и еще какую-нибудь перестановку произведет. И на это тоже обижаться не надо — естественный ход вещей. Ведь в таких, как Комаровы, Возновы, Твардовские и другие иже с ними, мы загубили смоленских хуторян. Фермеров, если на американско-канадский лад. Кулаков, если по-сталински.

Немногим более ста лет назад уроженец здешних мест Александр Николаевич Энгельгардт утверждал, что «земля должна привлечь интеллигентных людей, потому что земля дает свободу, независимость, а это такое благо, которое выкупает все тягости тяжелого земледельческого труда».

Теперь этот тезис опрокидывается хотя бы таким простым обстоятельством, что когда Комарову потребуется машина отвезти в райцентр Ольгу Ивановну, ему придется просить Шатыркина, а тот вполне может ответить: «Подожди, у меня еще силос на ферму не завезли».

Опять же на собственном опыте Энгельгардт мог доказывать, будто «интеллигентный человек знает достаточно, чтобы быть хозяином, и ему нужно только научиться работать, научиться работать так, как умеет работать мужик». Но где мужик? В Иване Твардовском, в Алексее Комарове? Но это мужик уходящий. А кто за ними? Есть ли в поле жив человек?

Представьте, есть. Там же, на родине Энгельгардта и Шатыркина, с некоторых пор обнаружился дояр с дипломом зоотехника. На животноводческом комплексе племязвода имени Коминтерна Игорь Андреенков получил от каждой коровы по пять с половиной тонн молока за одиннадцать месяцев прошлого года. Но почему же, спрашивается, он не хочет работать по специальности?

— Потому что специалист в деревне — подневольный человек, — отвечает молодой интеллигент и требует дать ему сотню первотелок на аренду.

В «Починковском» я немного нарушил навязанный Шатыркиным регламент и обратился к совсем еще молоденькому пареньку, который в стороне от нас возился со своим МТЗ. Николай Василевский лишь год как из армии. Толком еще не освоился. Впрочем, заработок у него доходит где-то до 180 рублей. Так вот, он совершенно неожиданно ответил, что взял бы двадцать гектаров. Конечно, со всей полагающейся техникой и прочим. Но прежде надо все подсчитать. Земля дураков не любит.

— Будут у нас хутора, будут! — говорил мне Иван Трифонович, и гульки половицы отстроенного им отчего дома вторили его шагам и словам. — Не оскудеет русская земля. Вот только стар я, чтобы все это своими глазами увидеть...

Но ведь замечательно то, что еще совсем недавно, в Сибири, Иван Трифонович не думал вернуться и увидеть свое родное Загорье. Так что и наши надежды, разбуженные юбилейным праздником великого поэта, должно быть, не за горами...

ПУБЛИЦИСТИКА

М. ВОСЛЕНСКИЙ

*

НОМЕНКЛАТУРА

Фрагменты книги

М. С. Восленский — широко известный за рубежом советолог, живет на Западе. Ныне он является директором боннского Института по изучению советской современности.

В условиях перестройки, при всех тех разительных переменах, которые происходят в нашем обществе и государстве, предмет исследования книги М. Восленского «Номенклатура» отнюдь не потерял своего исключительного значения и поныне. Хотя бы потому, что, подвергая безжалостной критике недавнее прошлое, мы, увы, не только не лишены его недостатков и пороков, таких, как номенклатура, но и готовы эти пороки воспроизвести — и воспроизводим — почти что в прежнем их виде. Это касается не только старой административно-командной системы, но и новейших общественных и государственных образований.

Институт государственного чиновничества, государственной бюрократии неизбежен в любой системе управления, от этого никуда не уйдешь. Важно другое: не упустить тот момент, когда он может возобладать над функциями управления, перестать работать на государство и общество и превратиться в самостоятельную, все подчиняющую себе силу...

Рождение господствующего класса

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил.
Нас вырастил Сталин — на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил.

*Гимн Советского Союза
в редакции до 1977 года.*

Каждый изучавший в советском вузе историю знает, каким томительно-тягучим процессом изображается в ней возникновение классов. В курсе истории первобытного общества — скучноватом пересказе книги Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» с добавлением примеров из археологии и этнографии — речь без конца идет о «разложении родового строя». Разложение это начинается с возникновения патриархата и продолжается затем тысячелетиями. На экзамене ничего не учивший студент в ответ на любые вопросы привычно заводит речь о «разложении родового строя» — и ошибки не бывает. Классообразование рассматривается как нечто очень далекое от современности, и даже относительно недавнее возникновение пролетариата в России оттягивается в глубь прошлого рассуждениями об издавна складывавшемся «предпролетариате».

Мы пришли на исторический факультет университета 1 сентября 1939 года — в день начала второй мировой войны. Ложившаяся в тот день на судьбу нашего поколения зловещая тень казалась светлой по сравнению с только что пережитым мраком ежовщины. Нудные лекции о классовом образовании не переключались в нашем сознании с рыскавшими еще недавно по городу черными машинами НКВД, с ночными обысками, с безысходным горем наших одноклассников, оказавшихся обездоленными сиротами — детьми «врагов народа». Мы еще не понимали, что на наших глазах развернулся кровавый заключительный акт подлинного, а не книжного процесса рождения господствующего класса...

Две организации: профессиональные революционеры и партия

Ленин любил говорить, что в политике всегда важно найти основное звено, ухватившись за которое можно вытянуть всю цепь. Таким звеном в его плане было создание «организации профессиональных революционеров». Это был для Ленина рычаг Архимеда: «...дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию!»¹

Что же столь важное, принципиально новое содержалось в этой идее? Организации революционеров бывали и до того в разных странах, в том числе в России. В чем было изобретение Ленина? В том, что речь шла об организации не вообще революционеров, а профессиональных революционеров. Именно здесь была опорная точка ленинского рычага. Это важнейший вопрос. Постараемся внимательно в нем разобраться.

Конечно, в конце XIX века в России бывало, что кто-либо из террористов «Народной воли», находясь на нелегальном положении, не работал и не учился, а жил на средства, предоставлявшиеся ему товарищами по партии. Однако подавляющее большинство революционеров состояло из людей, для которых революция была их убеждением, а не профессией. Такое положение Ленин заклеил словом «кустарничество». На смену революционерам-любителям должен был, по его плану, возникнуть слой революционеров-профессионалов. Именно этот слой должен был взять в свои руки все дело систематической подготовки революции. Ленин явно не верил убеждениям и самоотверженным порывам, а считал возможным строить подготовку революции только на повседневной полной зависимости штатных революционеров от руководства организации. Уверен в этом Ленин был до самого конца своей жизни. На XI съезде партии, в 1922 году, он говорил: «История знает превращения всяких сортов; полагаться на убежденность, преданность и прочие превосходные душевные качества — это вещь в политике совсем не серьезная»².

Штатные и подначальные революционеры должны были, по мысли Ленина, в свою очередь стать начальниками для актива. Любители, сторонники и сочувствующие должны были помогать, быть статистами и во всем слушаться знающих свое дело профессионалов. На этих профессионалов и возлагалась задача привести догматизированный марксизм в российский рабочий класс, организовать и повести массы на пролетарскую революцию.

Какие же люди должны были составить когорту такой организации? Рабочие-самородки, подобные Степану Халтурину, те, кто нашел в себе силу и способность преодолеть отупляющие условия жизни российского пролетария, поднял голову над монотонной работой бескультурьем, водкой и матерщиной, самостоятельно изучил и принял — хотя бы как догму — марксистские идеи? Нет, несмотря на все славословия по адресу пролетариата, не на них рассчитывал Ленин. Хотя речь шла о пролетарской революции и о диктатуре пролетариата, Ленин совершенно не стремился к тому, чтобы организация профессиональных революционеров состояла из рабочих. В «Что делать?» Ленин подчеркнуто противопоставлял организацию рабочих организации революционеров. В рабочей организации члены, естественно, рабочие. «Наоборот, организация революционеров должна обнимать прежде всего и главным образом людей, которых профессия состоит из революционной деятельности... Пред этим общим признаком членов такой организации должно совершенно стираться всякое различие рабочих и интеллигентов, не говоря уже о различии отдельных профессий тех и других»³. Больше того. Рабочий, вступавший в эту организацию, не должен был оставаться рабочим. Ленин прямо писал: «Сколько-нибудь талантливый и подающий надежды» аги-

¹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 6, стр. 127.

² «Одиннадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет». М. 1961, стр. 28.

³ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 6, стр. 112.

татор из рабочих не должен работать на фабрике по 11 часов. Мы должны позаботиться о том, чтобы он жил на средства партии»⁴.

Итак, создававшаяся для борьбы за «дело рабочего класса» организация не должна была быть рабочей. Та же парадоксальность проявилась и в вопросе о структуре организации. Создававшаяся для борьбы за самую широкую демократию, она, оказывается, совсем не должна была быть демократической. Ленин подчеркивал: «Единственным серьезным организационным принципом для деятелей нашего движения должна быть строжайшая конспирация, строжайший выбор членов, подготовка профессиональных революционеров. Раз есть налицо эти качества,—обеспечено и нечто большее, чем «демократизм», именно: полное товарищеское доверие между революционерами... им некогда думать об игрушечных формах демократизма (демократизма внутри тесного ядра пользующихся полным взаимным доверием товарищей), но свою ответственность чувствуют они очень живо, зная притом по опыту, что для избавления от негодного члена организация настоящих революционеров не останавливается ни пред какими средствами»⁵. Не о классовой демократической организации пролетариата шла, таким образом, речь, а о создании своего рода революционной когорты, где демократизм считался ненужной игрой, а все было основано на конспирации и круговой поруке. Тому из членов когорты, кого организация (то есть — при отсутствии демократизма — ее руководство) сочла бы негодным, грозила смерть. «...нам нужна военная организация агентов»⁶, — отчетливо сформулировал Ленин. Члены этой когорты чувствовали себя связанными круговой порукой. «Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки, — писал Ленин. — Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились, по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами»⁷...

Таков был ленинский план создания организации профессиональных революционеров. Значит, эта организация и должна была стать партией? Нет, для формирования партии у Ленина был совсем другой, так называемый искровский план. Ленин выдвинул его в статье «С чего начать?» в мае 1901 года⁸. Начать надо было, по Ленину, с создания общерусской политической газеты «Искра». Эта нелегальная революционная газета, доставляемая из-за границы в Россию, должна была стать, по формулировке Ленина, не только коллективным пропагандистом и агитатором, но также коллективным организатором. Она должна была организовать тайные группы своих читателей в группы членов партии — рассеянных по стране помощников организации профессиональных революционеров. Расчет был психологически совершенно правильным: уже самый факт регулярного получения нелегальной, строго запрещенной газеты ставил читателей «Искры» в положение нелегальной оппозиции по отношению к царизму и сплачивал их в единую группу, причем пропагандировавшиеся «Искрой» идеи автоматически становились платформой этой группы.

Однако только распространением искровских идей дело не должно было ограничиваться.

Неверие Ленина в то, что революционер будет по-настоящему заниматься революционной работой, не будучи профессионалом, переключалось с его уверенностью в том, что член партии станет вести работу, только если будет находиться под неусыпным контролем парторганизации. То, что человек будет работать, руководствуясь своими убеждениями, казалось Ленину сомнительным. В этом и был смысл исторического спора между Лениным и Мартовым на II съезде партии, приведшего к ее расколу на большевиков и меньшевиков. При формулировке § 1 Устава — о членстве в партии — Мартов и его сторонники исходили из добровольности и сознательности члена Российской социал-демократической партии, а Ленин и его приверженцы — из необходимости признавать членом только того, кто входит в состав организации и работает под ее контролем. Надсмотр над завербованным коллективным организатором — «Искрой» — членами партии призваны были осуществлять профессиональные революционеры.

Таким образом, по планам Ленина должны были возникнуть две различные, хотя и дополняющие друг друга организации: организации профессиональных революционеров и подчиненная ей собственно партия. Хотя обе вместе носили название партия, в действительности принималась схема, описанная впоследствии Оруэллом в романе «1984»:

⁴ Там же, стр. 133.

⁵ Там же, стр. 141.

⁶ Там же, стр. 178.

⁷ Там же, стр. 9.

⁸ См.: там же, т. 5. стр. 1.

внутренняя и внешняя партия — первая как кадровая элита руководителей, вторая как поголовье подчиненных. Именно таково было изобретение Ленина. Партячейки читателей «Искры» были эмбрионом массовой «партии нового типа», организация профессиональных революционеров — эмбрионом диктаторски руководящего ею партийного аппарата.

Зародыш «нового класса»

Разумен был ленинский план создания профессиональной организации для подготовки революции? Безусловно да, если просто ставить задачу переворота: свержение существующего правительства и захват власти. Безусловно нет, если с полной убежденностью исходить из марксистского учения об исторически закономерной пролетарской революции как о диалектическом скачке общества в новое качество, как о взрыве производительными силами превратившихся в оковы для их развития производственных отношений, как о необходимом порождении истории борьбы классов. Деклассированная когорта профессиональных организаторов переворота явно не вписывалась в эту историко-философскую картину, тем более в качестве центральной фигуры, основного звена.

Надо отдать должное Ленину: он прямо признавал, что образцом для него служила конспиративная организация «Земли и воли», перенятая затем народниками, — «та превосходная организация, которая была у революционеров 70-х годов и которая нам всем должна бы была служить образцом»⁹. Тут же Ленин сделал многозначительное замечание: «Не в том состояла ошибка народовольцев, что они постарались привлечь к своей организации всех недовольных и направить эту организацию на решительную борьбу с самодержавием. В этом состоит, наоборот, их великая историческая заслуга. Ошибка же их была в том, что они опирались на теорию, которая в сущности была вовсе не революционной теорией, и не умели или не могли неразрывно связать своего движения с классовой борьбой внутри развивающегося капиталистического общества»¹⁰.

Любопытная оценка! То, что тайная организация народников носила не классово определенный характер, хорошо. Плохо то, что она не сумела подобрать себе подходящую теорию, которая обосновывала бы революцию, и не использовала для целей организации классовую борьбу в капиталистическом обществе.

Ленин, разумеется, сознавал, что у читателей его книги может возникнуть вопрос: чем же, собственно, определяется пролетарский характер организации профессиональных революционеров и ее действий? Он пытается дать ответ: «...если мы должны взять на себя организацию действительно всенародных обличений правительства, то в чем же выразится тогда классовый характер нашего движения?.. Да вот именно в том, что организуем эти всенародные обличения мы, социал-демократы; — в том, что освещение всех поднимаемых агитацией вопросов будет даваться в неуклонно социал-демократическом духе без всяких потачек умышленным и неумышленным искажениям марксизма; — в том, что вести эту всестороннюю политическую агитацию будет партия, соединяющая в одно неразрывное целое и натиск на правительство от имени всего народа, и революционное воспитание пролетариата, наряду с охраной его политической самостоятельности, и руководство экономической борьбой рабочего класса, утилизацию тех стихийных столкновений его с его эксплуататорами, которые поднимают и привлекают в наш лагерь новые и новые слои пролетариата!»¹¹

Патетическое многословие не придает ответу убедительности. Только два пункта соприкосновения между рабочим классом и организацией профессиональных революционеров названы вполне конкретно: революционное воспитание пролетариата и использование его столкновений с эксплуататорами. Все остальное — тавтология, которой Ленин и в дальнейшем будет неизменно отвечать на вопрос о пролетарском характере большевизма: большевизм представляет интересы пролетариата потому, что он представляет интересы пролетариата. Не станем принимать эту тавтологию на веру, но не будем и отвергать ее. Расспросим о ней самого Ленина.

Итак, профессиональные революционеры представляют интересы рабочего класса. В чем состоят эти интересы? Не в том, посягает Ленин, чтобы повысить заработок, улучшить условия труда и быта рабочих (это тред-юнионизм), а в том, чтобы победила

⁹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 6, стр. 135.

¹⁰ Там же.

¹¹ Там же, стр. 90—91.

пролетарская революция. Что же принесет эта революция? Главное в революции, поучает Ленин, это вопрос о власти. После пролетарской революции власть перейдет в руки пролетариата в лице ее авангарда. А кто этот авангард? Авангард, сообщает Ленин, это партия, ядро которой составляет организация профессиональных революционеров.

Подведем итоги ленинских оценок: профессиональные революционеры представляют интересы рабочего класса, состоящие, оказывается, лишь в одном — в том, чтобы эти профессиональные революционеры пришли к власти. Иными словами: ленинцы представляют интересы рабочего класса потому, что стремятся прийти к власти. К власти ленинцы действительно рвутся, тут сомнений нет. Но ведь это в их, ленинцев, интересах. А при чем тут рабочий класс? Почему рабочий класс должен вместо борьбы за улучшение своего положения бороться за улучшение положения ленинцев? Обратимся за ответом опять к Ильичу. Рабочий класс, скромно констатирует Ленин, это по характеру своей работы наиболее организованный и дисциплинированный класс общества, именно он способен стать политической армией революции.

Вот теперь все ясно. Без рабочего класса профессиональным революционерам действительно не обойтись. Только не потому, что они выражают его интересы (этого нет!), а потому, что без него они, горстка интеллигентов, при всей своей шумливой энергии власть в стране захватить не могут. Попытка народников опереться на большинство населения — крестьянство — провалилась, поэтому ленинцы ориентируются на меньшинство, но зато организованное и дисциплинированное, — на рабочий класс, чтобы его руками захватить себе власть.

Ни ленинская партия в целом, ни ее ядро — организация профессиональных революционеров никогда не были не только авангардом, но вообще какой-либо частью рабочего класса...

К какому же из существовавших классов тогдашнего русского общества относилась в таком случае ленинская организация профессиональных революционеров? Ни к какому. Организация профессиональных революционеров с самого начала ставилась Лениным вне тогдашнего общества и должна была представлять собой самостоятельный социальный организм, руководствовавшийся своими правилами. Неминуемым объективным результатом осуществления такого плана было следующее. С созданием организации профессиональных революционеров в обществе возникла деклассированная замкнутая группа. Ее роль в системе общественного производства и в обществе в целом состояла в том, чтобы взорвать существующую систему производства и структуру общества...

Диктатура, которой не было

Диктатура пролетариата — одна из важнейших идей марксизма...

Всю свою жизнь Маркс продолжал придавать этой идее первостепенное значение. В 1875 году в «Критике Готской программы» он записал известное положение: «Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как *революционной диктатурой пролетариата*»¹².

Маркс и Энгельс считали что Франция 1871 года уже явила миру образчик такой диктатуры. Двадцать лет спустя Энгельс написал во введении к работе Маркса «Гражданская война во Франции» столь часто цитируемые строки: «Хотите ли знать... как эта диктатура выглядит? Посмотрите на Парижскую Коммуну. Это была диктатура пролетариата»¹³.

Нет нужды напоминать, что в сочинениях Ленина говорится чуть ли не на каждой странице о пролетарской диктатуре. Недаром Сталин, формулируя определение ленинизма, охарактеризовал его как «теорию и тактику пролетарской революции вообще, теорию и тактику диктатуры пролетариата в особенности»...

Как обстояло дело с диктатурой пролетариата после Октябрьской революции в России?

Начнем с определения.

«Диктатура пролетариата, — писал Ленин, — если перевести это латинское, научное, историко-философское выражение на более простой язык, означает вот что:

¹² Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т 19, стр. 27.

¹³ Там же, т. 22, стр. 201.

только определенный класс, именно городские и вообще фабрично-заводские, промышленные рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых в борьбе за свержение ига капитала, в ходе самого свержения, в борьбе за удержание и укрепление победы, в деле созидания нового, социалистического, общественного строя, во всей борьбе за полное уничтожение классов»¹⁴.

Постановка вопроса ясна. Революцией и затем государством руководят промышленные рабочие — это и есть диктатура пролетариата.

А как на практике?

Ведь на деле и революцией, и возникшим после нее Советским государством руководили не промышленные рабочие, а профессиональные революционеры, большинство которых вообще никогда рабочими не были. Где же доказательство того, что это диктатура пролетариата?

Возьмем аргументацию, так сказать, итоговую, данную в 1955 году — накануне смены диктатуры пролетариата «общенародным государством». Приводится она в учебнике политэкономии, написанном по указанию и под присмотром товарища Сталина. Вот эта аргументация полностью: «Рабочий класс в СССР базирует свое существование на государственной (всенародной) собственности и на социалистическом труде. Он является передовым классом общества, ведущей силой его развития. Поэтому в СССР государственное руководство обществом (диктатура) принадлежит рабочему классу»¹⁵. Видите, как ясно. При капитализме же все наоборот. Рабочий класс базирует свое существование на государственной или частной собственности и на капиталистическом труде (социалистического там нет). Он является... впрочем, он и там является, с точки зрения марксизма, передовым классом общества, ведущей силой его развития. Так что же, выходит по этой логике, что и при капитализме государственное руководство обществом (диктатура) принадлежит рабочему классу? Но ведь это не так. Значит, мы имеем дело с псевдодоказательством, со словами, которые только на первый взгляд представляются глубокомысленным аргументом, а на деле в них полная бессмыслица. При рабовладельческом строе рабы по необходимости базировали свое существование на рабовладельческой государственной или частной собственности и были революционным, следовательно, передовым классом общества, ведущей силой его развития. Но диктатура-то была рабовладельцев, а не рабов!

Существует основополагающий ленинский постулат. Вот он: «Господство рабочего класса в конституции, собственности и в том, что именно мы двигаем дело...»¹⁶ «Мы» — это организация профессиональных революционеров, и ее идентичность с пролетариатом как раз и есть недоказуемая ленинская тавтология! Собственность после национализации государственная, а государство — в руках этой же организации; следовательно, это та же тавтология. Остается конституция. Верно, в ней написано, что существует диктатура пролетариата. Но ведь под доказательствыми мы подразумеваем не написанное на бумаге, а существующее в реальной жизни...

Ленин сам признавал в 1921 году, что всего, «по неполным данным, около 900 рабочих» участвовали в управлении производством. «Увеличьте это число, если хотите, хотя бы даже в десять, хотя бы даже в сто раз... все же таки мы получаем ничтожную долю непосредственно управляющих по сравнению с 6-миллионной общей массой членов профсоюзов... Партия, это — непосредственно правящий авангард пролетариата, это — руководитель»¹⁷.

Ленин и не считает, что рабочие действительно должны управлять государством: не доверяет он им. В 1921 году Ленин объявляет, что «действительные „силы рабочего класса“ состоят сейчас из могучего авангарда этого класса (Российской коммунистической партии, которая не сразу, а в течение 25 лет завоевала себе делами роль, звание, силу «авангарда» единственно революционного класса), плюс элементы, наиболее ослабленные деклассированием, наиболее податливые меньшевистским и анархистским шатаниям»¹⁸.

Таким образом, партия носит имя и играет роль авангарда, а настоящие рабочие симпатизируют меньшевикам и анархистам. Вот вам и диктатура пролетариата!

¹⁴ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 14.

¹⁶ «Политическая экономия». Учебник. М. 1955, стр. 378.

¹⁷ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 40, стр. 222.

¹⁸ Там же, т. 42, стр. 292, 294.

¹⁶ Там же, т. 44, стр. 107.

Означает это, что пролетариату не было сделано совсем никаких поблажек, после того как его руками была захвачена власть для организации профессиональных революционеров? Нет, поблажки были. Торжественно-пророческие слова Маркса: «Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприруют» — были переведены на общедоступный русский язык в форме доходчивого лозунга «грабь награбленное!». Периодически устраивались организованные «экспроприации буржуазии», во время которых вооруженные чекисты водили рабочих в квартиры «бывших» и позволяли тащить приглянувшиеся вещи. Некоторое количество рабочих семей было переселено из подвалов в квартиры буржуазии; судьба прежних обитателей оставалась неизвестной, но о ней можно было догадаться. В газетах, речах и лозунгах восхвалялся пролетариат. Наконец, в качестве вершины его возвеличения был введен рабочий контроль на предприятиях и в учреждениях.

Именно в связи с рабочим контролем можно хорошо проследить тактику Ленина в отношении пролетариата сразу же после Октября. Погибший затем в сталинской тюрьме руководитель Профинтерна С. А. Лозовский сообщает следующее. Написанный Лениным проект декрета о рабочем контроле звучал столь радикально, что Лозовский запротестовал. «Если оставить декрет в таком виде, как Вы его предлагаете,— писал он Ильичу,— тогда каждая группа рабочих будет рассматривать его как разрешение делать все что угодно». Ленин разъяснил: «Сейчас главное заключается в том, чтобы контроль пустить в ход... Никаких преград не нужно ставить инициативе масс. Через определенный период можно будет на основании опыта увидеть, в какие формы отлить рабочий контроль в общегосударственном масштабе»¹⁹. «Через определенный период» форма была найдена довольно простая: рабочий контроль был вообще отменен как, по словам того же Ленина, «шаг противоречивый, шаг неполный»²⁰.

Рабочий контроль отменили, а квартиры были в результате введенной жилищной нормы разгорожены на такие клетушки, что стало в них теснее, чем в подвалах.

Вырисовывается следующая картина. Хотя диктатура пролетариата фигурирует в работах Маркса и составляет сущность ленинского вклада в марксизм, обнаружить ее реальные следы в советской действительности после Октябрьской революции не удается. Не видно не только ее установления, но и ее окончания. В самом деле, когда она кончилась? Кто из нас это заметил? Почему-то конец диктатуры класса феодалов или буржуазии всегда бывал грандиозным событием для страны. Не говоря уж о конце диктатуры целого класса, даже уход со сцены отдельного диктатора никогда не проходил незамеченным — не только Гитлера, но даже Примо де Ривера, Дольфуса, Хорти, Антонеску... Смерть товарища Сталина мы тоже не обошли вниманием. А вот о том, что кончилась диктатура пролетариата, мы узнали задним числом из теоретических статей, и до сих пор никто, включая авторов статей, толком не может сказать, когда же это произошло: до принятия Конституции 1936 года или на двадцать лет позднее, когда было объявлено, что Советское государство — общенародное. Это отсутствие фактов и доказательств, сбивчивость даже в теоретической постановке вопроса — безошибочный симптом того, что речь идет о политической фикции...

Создание номенклатуры

Вождь революции Ленин изобрел организацию профессиональных революционеров. Глава аппарата Сталин изобрел номенклатуру. Изобретение Ленина было рычагом, которым он перевернул Россию. Изобретение Сталина было аппаратом, при помощи которого он стал управлять Россией, и оно оказалось гораздо более живучим.

Латинское слово «номенклатура» означает буквально перечень имен или наименований. Этимологический смысл термина, в общем, соответствует его содержанию в социалистических странах. Первоначально этим термином обозначили распределение функций между различными руководящими органами. Но постепенно этот смысл утрачивался и вытеснялся другим. Поскольку при распределении функций были расписаны между руководящими органами и те высокопоставленные должности, на которые эти органы должны были производить назначение, именно этот кадровый аспект, оказавшийся исключительно важным, и вместил в себя все содержание термина «номенклатура». Номенклатура — это: 1) перечень руководящих должностей, замещение которых

¹⁹ Лозовский С. А. Практик революции. М. 1925, стр. 84.

²⁰ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 139.

производит не начальник данного ведомства, а вышестоящий орган; 2) перечень лиц, которые такие должности замещают или же находятся в резерве для их замещения.

Почему, кем и как была создана номенклатура?

Ленинская организация профессиональных революционеров была слишком малочисленной, чтобы в условиях огосударствления всей жизни и монопольного положения правящей партии в огромной стране обеспечить занятие всех ответственных должностей в стремительно разраставшемся партийном и государственном аппарате. В образовавшийся вакуум в различных звеньях власти рвалась лавина карьеристов. Для того чтобы получить шансы на успех, требовалось, в сущности, немного: быть не дворянского и не буржуазного происхождения и вступить в уже победившую и прочно усевшуюся у власти правящую партию (а для молодежи — в комсомол). В качестве революционных заслуг засчитывалось пребывание в годы гражданской войны в рядах Красной Армии, куда были мобилизованы миллионы людей. Но даже если этого не было, в существовавшей неразберихе заслуги можно было легко придумать. Одним словом, путь вверх был открыт.

Необходимость отбора людей была неоспорима. Вставал вопрос о критериях и системе отбора. Казалось бы, поскольку речь шла не о синекуре, а о работе, естественным критерием была максимальная пригодность и способность к выполнению данного дела — по советской кадровой терминологии, деловые признаки. Однако вместо них были безоговорочно сделаны главным критерием политические признаки....

Очевидная глупость такого подхода вовсе не свидетельствует о недомыслии тех, кто его декретировал. Когда ленинскому правительству действительно важно было иметь на руководящих постах подлинных специалистов, оно это делало: в гражданскую войну красными войсками командовали военспецы — бывшие царские генералы и офицеры. Торжество в мирное время политических признаков объяснялось следующей закономерностью, малопонятной в условиях капиталистической конкуренции: при реальном социализме считается целесообразным, хотя об этом не принято прямо говорить, назначать на посты людей, которые для работы на этих постах не очень подходят, а в ряде случаев совсем не подходят. Это на первый взгляд нелогичное явление, с которым, однако, сталкиваешься на каждом шагу в любой социалистической стране, имеет вполне рациональное объяснение. Каждый должен чувствовать, что он занимает место не по какому-то праву, а по милости руководства, и если эта милость прекратится, то он легко может быть заменен другим. На этом основывается известный сталинский тезис: «У нас незаменимых людей нет». В нем присутствовала своя логика. За многие годы в Советском Союзе мне лишь в редких случаях доводилось встречать людей, действительно подходивших к своим постам, и обычно у них всегда бывали неприятности: так как общий признак подбора кадров был иным, объективно получалось, будто именно они занимали не свои места.

Этот принцип кадровой политики порождал у счастливых назначенцев не просто покорность воле начальства, но бурное стремление выслужиться, чтобы хоть таким путем стать незаменимыми. При этом выслужиться не значит хорошо работать, а значит хорошо делать то, чего желает назначающее и, соответственно, могущее сместить с поста начальство. Такой результат, ощутимый, даже если речь идет о мелких служащих, сулил неценные политические возможности на уровне руководящих чинов партийного и государственного аппарата. Произвольно назначенные по политическим признакам и весьма легко заменимые, эти чины готовы были всячески выслуживаться перед назначавшими их, чтобы удержаться и получить еще более высокие посты.

Кто был этим назначавшим и, следовательно, потенциальным хозяином быстро разрастающейся номенклатуры?

Все дело назначения руководящих кадров в стране Сталин сосредоточил в руках своих и своего аппарата. Так под прикрытием примата политических признаков при отборе кадров Сталин создал ситуацию, в которой автоматически вся новая номенклатура оказывалась преданной лично ему.

Западные биографы Сталина не раз делали превратившееся постепенно в общее место противопоставление: Троцкий, Бухарин, Зиновьев и другие с их позерством и любованием собственным красноречием — и неуклюжий плебей Сталин, молчаливо и упорно работающий в партийном секретариате. Ситуация, может быть, и выглядела так. Но главное было не в этой внешней коллизии. Главным было существо той работы, которую делал Сталин. Недалекие остроловы называли его тогда «товарищ Картошек». Он и вправду вместе со своими сотрудниками постоянно возился с карточка-

ми, заведенными на руководящих работников. «Кадры решают все», — формулирует он впоследствии свою установку. Эти кадры он старательно изучал, просеивал через сито своих интересов и расчетов, размещал их на различных уровнях номенклатуры, как композитор ноты на нотной линейке, чтобы возникла нужная ему симфония. Рассказывают, что картотеку на наиболее интересовавших его по тем или иным соображениям людей Сталин с первой половины 20-х годов вел сам, не допуская к ней даже своего секретаря.

Однако было бы наивно представлять себе работу по формированию номенклатуры в образе Сталина с парой помощников, роющихся в картотеке. Сталин создал систему подбора руководящих кадров в партии и государстве. Она привела его к власти и осталась его главным свершением. Некоторые общие соображения об этой системе Сталин впервые изложил на XII съезде партии в 1923 году, представляя делегатам организационный отчет ЦК: «...необходимо подобрать работников так, чтобы на постах стояли люди, умеющие осуществлять директивы, могущие понять директивы, могущие принять эти директивы, как свои родные, и умеющие проводить их в жизнь. В противном случае политика теряет смысл, превращается в махание руками», — говорил Сталин²¹. Основная идея состояла, таким образом, в том, чтобы на ответственные политические посты в стране посадить ретивых исполнителей директив. А для этого, пояснил Сталин, «необходимо каждого работника изучать по косточкам»²², необходимо «знать работников, уметь схватывать их достоинства и недостатки»²³.

Вот как функционировала на практике сталинская система создания номенклатуры.

В 1920 году были образованы в ЦК и губкомах РКП(б) учетно-распределительные отделы. Они стали первыми органами, специально занимавшимися выдвижением и перемещением ответственных партийных работников, а также учетом кадров. Отделы не только выдвигали, но и «задвигали» людей, ведя учет лиц, «подлежащих переводу к станку и плугу»²⁴.

В апреле 1922 года Сталин стал Генеральным секретарем ЦК. В августе того же года на XII партконференции было впервые сообщено количество партийных работников в аппарате, который был фактически подчинен Секретариату ЦК. В центральных и областных учреждениях было 325 человек, в губернских 2 тысячи, в уездных 8 тысяч, кроме того в волостях и на крупных предприятиях 5 тысяч освобожденных секретарей парткомов — всего 15 325 человек²⁵. Такова была уже к этому моменту численность сталинского партийного аппарата.

В уже цитированном докладе на XII съезде партии Сталин объявил: «Доселе дело велось так, что дело Учраспреда ограничивалось учетом и распределением товарищей по укомам, губкомам и обкомам... теперь Учраспред уже не может замыкаться в рамках губкомов и укомов... Необходимо охватить все без исключения отрасли управления»²⁶. И действительно: после XII съезда партии, когда стало ясно, что Ленин к власти больше не вернется, в учетно-распределительных отделах были немедленно сконцентрированы учет и распределение ответственных работников «во всех без исключения областях управления и хозяйствования»²⁷.

Особенно активно действовал подчиненный непосредственно Секретариату ЦК РКП(б) Учетно-распределительный отдел ЦК, о котором Сталин говорил, что он «приобретает громадное значение»²⁸. В 1922 году Учраспред ЦК произвел более 10 тысяч назначений. В 1923 году он расширил работу. В отделе было создано 7 комиссий по пересмотру состава работников основных государственных и хозяйственных органов: в промышленности, кооперации, торговле, на транспорте и в связи, в финансово-земельных органах, в органах просвещения, в административно-советских органах, в Наркоматах иностранных дел и внешней торговли.

Руководящие должности в партийных комитетах по Уставу партии выборные. Путь к обходу этого пункта Устава был без труда найден, он используется и сегодня:

²¹ «Двенадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет». М. 1968, стр. 63.

²² Там же.

²³ Сталин И. В. Сочинения, т. 6, стр. 277.

²⁴ «Справочник партийного работника». Вып. 2, М. 1922, стр. 70.

²⁵ См.: «ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». М. 1933, ч. I, стр. 560—561.

²⁶ «Двенадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет», стр. 63, 64.

²⁷ «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». М. 1953, ч. I, стр. 729.

²⁸ «Двенадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет», стр. 63.

руководящие партийные органы «рекомендуют» нижестоящим лиц, подлежащих избранию. Например, кандидатуры секретарей волостных комитетов партии рекомендовал губком, кандидатуры секретарей губкома — Секретариат ЦК. Секретариат вел напряженную работу по подбору и перестановке этих новых губернаторов: в 1922 году были перемещены 37 секретарей губкомов и 42 новых «рекомендованы». Показательно, что тот же Секретариат ЦК рекомендовал кандидатов не только нижестоящим, но и вышестоящему органу — Оргбюро ЦК, которое принимало решение о замещении высших постов в партии и государстве. Так Секретариат во главе со Сталиным централизовал в своих руках дело назначения на наиболее ответственные руководящие должности в стране.

Бурная деятельность сталинского Секретариата и его Учраспреда расчистила путь к закономерному созданию новой обстановки в партийном аппарате. Ее обрисовал Троцкий в письме в ЦК от 8 октября 1923 года и в работе «Новый курс». Отметив, что даже в годы военного коммунизма система назначений в партии не составляла и десятой доли достигнутого ею размера, Троцкий подчеркивал, что эта система сделала секретарей-назначенцев независимыми от местных партийных организаций. Работники партийного аппарата не имеют больше — или, во всяком случае, не высказывают — собственного мнения, а заранее соглашаются с мнением «секретарской иерархии». Массе же рядовых членов партии решения этой иерархии вообще спускаются в виде приказов.

Что это за процесс? Троцкий называет его бюрократизацией партии. Но это беззубое определение, да другим оно и быть не могло, так как Троцкий сам в 1923 году находился еще в Политбюро. Происходит другое: раздвигаются общественные слои. Один слой — секретари парткомитетов и их аппарат — идет вверх и начинает беспартийно изрекать приказы, другой идет вниз и вместе с беспартийными вынужден беспрекословно эти приказы исполнять. Троцкий сам констатирует: партия живет на два этажа: в верхнем — решают, в нижнем — только узнают о решениях²⁹.

Письмо Троцкого — как бы моментальная фотография процесса классообразования в советском обществе.

Между тем был открыт шляз для носителей этого процесса — лезших к власти карьеристов. После смерти Ленина был объявлен ленинский призыв в партию. В итоге к маю 1924 года (XIII съезд партии) число ее членов возросло почти вдвое по сравнению с апрелем 1923 года (XII съезд): с 386 тысяч до 736 тысяч. Половину партии составляли теперь новобранцы, точнее сказать, не ленинского, а сталинского призыва. Им чужда была посевшая в ссылах и эмиграции ленинская гвардия, как бы она ни переродилась к тому времени. Новобранцы шли в рядах не тех, кого ссылают, а тех, кто ссылает, шли не совершать революцию, а занимать хорошие места после совершенной революции. Они были потенциально людьми Сталина. На книге «Об основах ленинизма» — своей претензии на роль систематизатора и толкователя теоретических взглядов Ленина — Сталин демонстративно написал: «Ленинскому призыву посвящаю».

Секретариат ЦК продолжал развертывать работу по формированию номенклатуры. Для 1924 года есть цифровые данные: в этом году числялось около 3500 должностей, замещение которых должно было осуществляться через ЦК, и около 1500 должностей, на которые назначали ведомства с уведомлением Учраспреда ЦК. Еще более обширной была номенклатура губернских, волостных и прочих партийных комитетов. В 1925 году платный партийный аппарат ВКП(б) составлял 25 тысяч человек — по одному на каждые 40 коммунистов. В одном только аппарате ЦК насчитывалось 767 человек.

Тем временем в 1924 году Учраспред слился с Оргинструкторским отделом ЦК. В результате был образован Орграспредотдел, ставший фактически главным отделом в аппарате ЦК. Орграспред, во главе которого Сталин поставил Л. М. Кагановича, формировал как партийную, так и государственную номенклатуру, причем число назначений на руководящие должности в государственном аппарате перевешивало: в период с конца 1925 (XIV съезд ВКП(б)) до конца 1927 года (XV съезд) Орграспред произвел 8761 назначение, в том числе только 1222 в партийные органы.

В 1930 году Орграспред был снова разделен на два отдела: Оргинструкторский, занимавшийся назначениями и перемещениями в партийном аппарате, и Отдел назна-

²⁹ Троцкий Л. Новый курс. М. 1924, стр. 11—13.

чений с рядом секторов (тяжелой промышленности, легкой промышленности, транспорта, сельского хозяйства, советских учреждений, загранкадров и др.), ведавший вопросами формирования номенклатуры в аппарате государства. Сталин в своей работе «Вопросы ленинизма» так по-военному характеризовал «командный состав партии»: «В составе нашей партии, если иметь в виду ее руководящие слои, имеется около 3—4 тысяч высших руководителей. Это, я бы сказал, — генералитет нашей партии. Далее идут 30—40 тысяч средних руководителей. Это — наше партийное офицерство. Дальше идут около 100—150 тысяч низшего партийного командного состава. Это, так сказать, наше партийное унтер-офицерство». Будущий Генералиссимус включил, очевидно, в первую группу всех членов ЦК ВКП(б), ЦК нацкомпартий, обкомов и крайкомов, во вторую — членов районных и городских комитетов партии, в третью — секретарей первичных парторганизаций, членов их комитетов и бюро. Таким образом, речь шла только частично — в первых двух группах — о номенклатуре, причем значительная часть партийного аппарата вовсе не была учтена. Как нередко бывало, приведенные Сталиным цифры ни о чем не говорили. Но иерархическое мышление, пронизывавшее процесс создания номенклатуры, отразилось в этих словах очень ясно.

Каковы были взаимоотношения между созданной таким образом номенклатурной иерархией и ее творцом Сталиным? Эти отношения не исчерпывались преданностью аппаратчиков своему вождю. Они были не лирическими, а вполне реалистическими, как всегда бывает в социальных явлениях. Сталинские назначенцы были людьми Сталина. Но и он был их человеком. Они составляли социальную опору его диктатуры, но не из трогательной любви к диктатору: они рассчитывали, что он обеспечит их коллективную диктатуру в стране. Подобострастно выполняя приказы вождя, они деловито исходили из того, что эти приказы отдаются в их интересах. Конечно, он мог любого из них в отдельности выгнать и ликвидировать, но пойти против слоя номенклатуры в целом Сталин никак не мог. Безжалостно уничтожая целые общественные группы: нэпманов, кулаков, духовенство, — Сталин старательно заботился об интересах своих назначенцев, об укреплении их власти, авторитета, привилегий. Он был ставленником своих ставленников и знал, что они неуклонно выполняют его волю, лишь пока он выполняет их волю.

Волей сталинской гвардии было обеспечить свое безраздельное и прочное господство в стране. Уже однажды обманувшие надежды на мировую революцию и пытавшиеся их гальванизировать троцкистские рассуждения о «перманентной революции» не устраивали сталинцев. Они не хотели быть временщиками и ставить свое будущее в зависимость от новых событий, слабо поддающихся их контролю. Сталин поспешил облечь эту волю своих назначенцев в солидно звучащую формулу: «построение социализма в одной стране».

Формула о построении социализма в одной стране действительно оказалась исторической. Она стала теоретическим обоснованием создания не абстрактного, а реального социализма. О том, что этот социализм в основном построен, Сталин объявил в связи с принятием Конституции 1936 года — в промежуток между первым и вторым московскими процессами.

Затем развернулась ежовщина...

Гибель ленинской гвардии

...Ежовщина, уничтожившая и обездолившая миллионы людей, была сложным социальным и политическим явлением. Но в истории создания в СССР господствующего класса она прежде всего осуществила смену руководящих кадров в стране.

В 1937 году — через двадцать лет после Октябрьской революции — ленинская гвардия профессиональных революционеров была весьма немолода. Но до естественного ухода ей оставалось еще примерно полтора десятка лет, если не больше. Этих-то лет жизни ей и не хотели давать обосновавшиеся в разных звеньях номенклатуры карьеристы, метившие на занятые постаревшими революционерами высшие посты. Сбылось пророчество Шульгина: «их, конечно, скоро ликвидируют», как только под ними «образуется дружина, прошедшая суровую школу. Эта должна уметь властвовать...». Номенклатурная дружина образовалась, прошла суровую школу и научилась властвовать. Осталось ликвидировать «двурушников» — ленинскую гвардию.

Читатель вправе спросить: разве эта задача не решалась постепенно? Ведь Секретариат ЦК «рекомендовал» новых секретарей губкомов, впоследствии обкомов и край-

комов, массами производились и другие назначения. Зачем же ежовщина? Затем, что в ВКП(б) к этому времени оказалось как бы две гвардии: сталинская и ленинская. Сталинская состояла из назначенцев, отобранных по политическим признакам, а ленинская — из занимавших свои посты по праву членов организации профессиональных революционеров. Сместить ленинцев — не несколько отдельных лиц, а весь слой — обычным путем было невозможно. Вот почему, несмотря на все назначения и перемещения, в 1930 году среди секретарей обкомов, крайкомов и ЦК нацкомпартий 69 процентов — больше двух третей — все еще были с дореволюционным партстажем. Из делегатов XVII съезда партии (1934) 80 процентов вступили в партию до 1920 года, то есть до победы в гражданской войне.

На чем держалась неуязвимость постаревших ленинских соратников?

Ленин справедливо видел силу своей гвардии в ее огромном, долгими годами культивированном авторитете в партии. Только потом мы привыкли к тому, что любой партийный руководитель мог быть весьма просто арестован и затем ликвидирован как фашистский шпион и троцкистский выродок при стандартном всеобщем одобрении. Но тогда к этому благословенному состоянию надо было еще прийти. Вспомним, что в 1927 году даже ненавистного Троцкого Сталин вынужден был выслать за границу и не мог даже запретить ему взять с собой личный архив. Участие в различных оппозициях тогда еще не воспринималось как основание удалять членов ленинской гвардии с руководящих постов.

Чтобы уничтожить стариков, было только одно средство: полностью растоптать их авторитет, превратить длительность их пребывания в партии и участие в ее деятельности на многих этапах из заслуги в потенциальное преступление. Сталин отлично видел, как возвращенные им номенклатурщики со злобной завистью поглядывают на чуждых и антипатичных им дряхлеющих ленинцев, у которых еще остались следы каких-то убеждений помимо понятной сталинцам жажды занять пост повыше и насладиться властью...

Сталин выполнял волю своих назначенцев, поведав их на разгром ленинской гвардии. Ничего героического в походе не было. Можно по-разному относиться к членам созданной Лениным организации профессиональных революционеров, но расправа с ними была омерзительна.

Был применен продуманный метод, обеспечивавший одновременно физическое и моральное уничтожение ленинцев. С этой целью были проведены известные московские процессы: 1) «Троцкистско-зиновьевского террористического центра» (август 1936 года); 2) «Антисоветского троцкистского центра» (январь 1937 года); 3) «Антисоветского право-троцкистского блока» (март 1938 года). Подсудимые — Зиновьев, Каменев, Рыков, Бухарин, Пятаков, Радек и другие соратники Ленина — усердно признавались в том, что они были агентами Гитлера и Троцкого, шпионами, диверсантами и террористами, стремившимися реставрировать капитализм. После признаний старых большевиков государственный обвинитель старый меньшевик Вышинский вопил, что «взбесившихся собак надо расстрелять». Суд выполнил его пожелание: хотя из 54 подсудимых несколько человек и были приговорены к многолетнему заключению, не выжил ни один. Подобные процессы с тем же итогом были проведены в 1937—1938 годах в разных республиках СССР.

Рассказывают, что Л. М. Каганович дал тогда весьма точную формулировку метода ликвидации ленинской гвардии: «Мы снимаем людей слоями». Такой метод приводил к широко известному явлению: те, кто в начале ежовщины арестовывал других, к концу операции сами оказались арестованными. Показательна в этом смысле судьба наркома внутренних дел СССР Ягоды: он организовал первый московский процесс и был в числе подсудимых на последнем. Падение Ягоды не просто иллюстрация к словам Кагановича. Оно бросает свет на механизм чистки 1936—1938 годов.

Вместо Ягоды, члена партии с 1907 года, профессионального чекиста, сотрудника Дзержинского, наркомом внутренних дел СССР был назначен Н. И. Ежов, секретарь ЦК ВКП(б), предусмотрительно вступивший в партию только после победы революции в 1917 году. Вскоре после своего назначения Ежов арестовал Ягodu и сместил почти всех старых чекистов. На их место в НКВД пришли партаппаратчики. Заместителем Ежова стал Шкирятов, член Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б). Именно эти партаппаратчики в формах комиссаров государственной безопасности и вершили трагедию ежовщины.

Газеты льстиво именовали Ежова сталинским наркомом, редакционные остряки казенно шутили о ежовых рукавицах, а услужливый народный акын воспевал «орла и батыра Ежова».

В действительности в этом тщедушном карлике с худощавым лицом не было ничего не только богатырского, но драматического или демонического. Люди, работавшие до 1936 года под начальством Ежова в ЦК ВКП(б), где он заведовал промышленным отделом, с недоумением рассказывают, что Ежов вовсе не производил впечатления злодея или садиста. Он был обычным высокопоставленным партбюрократом и выделялся лишь тем, что особенно старательно выполнял любые указания руководства. В промышленном отделе было указание организовать строительство заводов — он организовал. В НКВД было указание пытаться и убивать — он пытал и убивал. Не Макбет и не Мефистофель, а выслуживавшийся номенклатурный чин стал одним из гнуснейших массовых убийц современности.

А указания поступали конкретные. Вот, например, резолюция на очередном выезде бригадой «признания»: «т. Ежову. Лиц, отмеченных мною в тексте буквами «ар», следует арестовать, если они уже не арестованы. И. Сталин». Или той же рукой на поданном Ежовым списке лиц, которые «проверяются для ареста»: «Не «проверять», а арестовать нужно»³⁰.

О том, что делать после ареста, также давались указания. Вот резолюция почтенного главы Советского правительства В. М. Молотова на не удовлетворивших его показаний заключенного ленинца: «Бить, бить, бить. На допросах пытаться». И это указание выполнялось.

Получались указания и для логического завершения процедуры. На XXII съезде КПСС цитировались рутинные докладные записки Ежова Сталину с просьбой дать разрешение приговорить перечисленных лиц «по первой категории», то есть к расстрелу. Разрешение давалось, и перечисленных тащили в подвал Лефортовской тюрьмы...

Ежов был исполнителем. Любой сталинский номенклатурный чин делал бы на его месте то же самое. Это не значит, что Ежова незаслуженно считают в СССР самым кровавым палачом в истории России. Это значит только, что любой сталинский назначенец потенциально являлся таким палачом. Ежов не исчадие ада, он — исчадие номенклатуры.

После победы

Ленинскую гвардию разгромили и уничтожили. Победа сталинцев была полной. После того как цели ежовщины были достигнуты, Ежова деликатно удалили. Сначала его заместителем назначили Берию, известного своей близостью к Сталину. Сам Ежов вдруг по совместительству стал наркомом водного транспорта. Ему и здесь было позволено еще пошуметь в связи с разрекламированным им методом стахановца Блиндымана. В декабре 1938 года Ежов был освобожден от обязанностей наркома внутренних дел, а потом, разумеется, и от поста наркома водного транспорта, после чего исчез бесследно. Из кругов НКВД был распушен слух, что он сошел с ума и сидит на цепи в сумасшедшем доме, — любопытная самооценка организаторов ежовщины.

Вполне вероятно, что сделавшего свое дело мавра ликвидировали за ненужностью. Но не подлежит сомнению, что ликвидация Ежова была осуществлена с непривычной мягкостью, можно сказать — нежностью. Не было ни проклятий в газетах, ни процессов с признаниями, ни обвинений в стремлении к реставрации капитализма, ни обычного сообщения о том, что приговор приведен в исполнение. Не было элементарных репрессий в отношении родственников, что неизменно сопутствовало аресту любого советского гражданина, не говоря уж о столь важной персоне.

Если сам Ежов был устранен так деликатно, то его приспешники вообще не пострадали, а некоторые быстро пошли в гору. Зам Ежова Шкирятов был избран в члены ЦК ВКП(б) и вернулся на важный пост в Комиссию партийного контроля при ЦК. Вышинский был осыпан почестями: он стал членом ЦК, заместителем Председателя Совнаркома СССР, академиком.

Любовная мягкость аппарата к руководителям операции по истреблению ленинской гвардии сочетается с непреклонной суровостью к погибшим. Излишне говорить, что никто не вспомнил о провозглашенном Хрущевым на XXII съезде партии намерении воздвигнуть в Москве памятник жертвам сталинских репрессий. Какой там памятник! По предложению Л. И. Брежнева XXV съезд КПСС решил соорудить в Москве

³⁰ «Вопросы истории КПСС», 1964, № 2, стр. 19.

другой монумент — не тем уничтоженным в СССР коммунистам, а «героям международного коммунистического и рабочего движения, самоотверженным борцам за народное счастье, павшим от рук классового врага»³¹.

Почему, несмотря на все разоблачения культа личности и скороговоркой произносимые слова о «необоснованных репрессиях», «управляющие» в СССР так долго солидаризировались с тем, что было проделано в 1934—1938 годах? Потому что, не произнося этого вслух, они притворно знали: именно тогда ими был совершен прыжок к вершинам власти. Вот некоторые его результаты в статистическом выражении. В 1930 году среди секретарей обкомов, крайкомов и ЦК нацкомпартий 69 процентов были с дореволюционным партстажем, а всего через девять лет, в 1939 году, среди лиц, занимавших эти посты, 80,5 процента вступили в партию позднее 1924 года, то есть после смерти Ленина. Да и остальные 19,5 процента отнюдь не члены организации профессиональных революционеров: 91 процент в этой группе моложе сорока лет, то есть во время революции были несовершеннолетними. Так же выглядела и следовавшая за ними группа секретарей райкомов и горкомов партии: 93,5 процента со стажем после 1924 года, 92 процента моложе сорока лет.

Весьма показательное сравнение данных о XVII съезде партии (1934), официально именуемом съездом победителей, и о XVIII съезде (1939). На XVII съезде 80 процентов делегатов вступили в партию до 1920 года. А через пять лет, на XVIII съезде, половина делегатов оказалась моложе тридцати пяти лет, в 1920 году они еще были школьниками³². На XVII съезде из 71 члена ЦК всего 10 человек, впервые избранных в этот орган, причем и они были по преимуществу с дореволюционным стажем. На XVIII съезде из 71 члена ЦК впервые избранных оказалось почти две трети — 46 человек, из них с дореволюционным стажем всего четверо (в том числе зам Ежова Шкирятов). Из избранных на XVII съезде кандидатов в члены ЦК было меньше половины впервые вошедших в этот орган, а на XVIII съезде их оказалось 64 человека из 67, в том числе с дореволюционным стажем двое³³. XVII съезд был на деле не «съездом победителей», а съездом обреченных. Съездом победителей стал XVIII съезд.

Не только состав ЦК и съездов партии, но и статистические данные о составе КПСС в целом свидетельствуют о свирепости процесса классового образования в СССР. В 1973 году в КПСС было всего 702 члена с партстажем до 1917 года. А ведь в начале 1917 года их было 80 тысяч. Только с марта по октябрь 1917 года в партию большевиков вступили 270 тысяч человек, а в ноябре — декабре 1917 года, после прихода большевиков к власти, несомненно, еще очень много людей. Сколько же из вступивших в 1917 году дожило до 1973 года? 3340 человек³⁴. Таким образом, за эти годы исчезло более 99 процентов тех коммунистов, которые под руководством Ленина боролись и победили...

Коммунистическую партию Франции назвали после войны партией расстрелянных. Однако особенно подходит это название к ленинской партии большевиков...

Исторический смысл процесса

Процесс рождения нового господствующего класса в СССР осуществился в три этапа. Первым этапом было создание в недрах старого русского общества деклассированной организации профессиональных революционеров — зародыша «нового класса». Вторым этапом был приход этой организации к власти в результате Октябрьской революции и возникновение двух правящих слоев: высшего — ленинского, состоявшего из профессиональных революционеров, и находившейся под ним сталинской номенклатуры. Третьим этапом была ликвидация ленинской гвардии сталинской номенклатурой.

Был ли исторически смысл у этого трехступенчатого процесса? Да, был. Как всегда в истории, где линия развития проходит по равнодействующей стремлений и усилий множества людей, каждый из этапов процесса имел свои социально-психологические основы.

³¹ «XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет». М. 1976, т. 1, стр. 56.

³² См.: «XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). Стенографический отчет». М. 1939, стр. 149.

³³ Подсчет произведен по Советской исторической энциклопедии, т. 7, стр. 706—707.

³⁴ См.: «Правда», 17.07.73.

Большевики-ленинцы не были донкихотствующими идеалистами, шедшими, подобно народовольцам, на гибель во имя неопределенной светлой цели. Они не испытывали народовольческой романтической любви к «простому люду», и симпатия их к пролетариату была эгоистической, диктовалась тем, что в нем они усматривали единственную силу, способную свергнуть этот строй. Ленинскую гвардию не останавливало то, что она обманывала рабочих, обещая им «диктатуру пролетариата», хотя в действительности планировала собственную диктатуру. Ленинцы были уверены, что их диктатура будет в интересах пролетариата и всех трудящихся страны. В борьбе за свою власть они были безжалостны к другим, неразборчивы в средствах уничтожения противника, легко шли на сделки с совестью, но были убеждены в справедливости марксизма и искренне хотели создания предсказанного Марксом коммунистического общества. Ленин был не просто их вождем: он как личность был их воплощением.

Вождем и воплощением своей номенклатуры явился Сталин. Подобно тому как он был не противоположностью Ленина, а доведением до логического конца ряда его черт, сталинская гвардия была в ряде пунктов продолжением ленинской. В борьбе за власть она тоже была безжалостна, но уже ко всем, в том числе к товарищам по партии. Она была готова применить любые средства для уничтожения всякого, ей мешавшего, в том числе ленинских гвардейцев. Сделки с совестью она просто заменила отсутствием совести. Она спокойно обманывала пролетариат, крестьянство, всех остальных, но в противоположность ленинцам не обманывала себя.

Соответственно вопрос о правоте марксизма для сталинских аппаратчиков был вообще неинтересен, а уверенность в такой правоте они заменили марксистской фразеологией и цитатами. В действительности, несмотря на громогласное повторение, что коммунизм — светлое будущее всего человечества, вскарабкавшиеся на высокие посты ставленники Сталина меньше всего хотели бы создания общества, где не на словах, а на деле все работали бы по способностям и получали по потребностям...

Итак, в чем заключается исторический смысл того, что в период ежовщины сталинские назначенцы перегрызли горло ленинской гвардии? В том, что в правящем слое общества коммунисты по убеждению сменились коммунистами по названию. Это историческое явление имело свою объективную основу и свой механизм. Основа состоит в том элементарном факте, что создание нового господствующего класса есть процесс, идущий в направлении, прямо противоположном процессу создания бесклассового коммунистического общества. Механизм же состоял в следующем. Пойдя по этому пути, ленинцы, естественно, удалялись от коммунизма, но делали они это неуверенно, непоследовательно, так как их действия расходились с их убеждениями. У сталинской номенклатуры, напротив, действия по созданию и укреплению нового классового господства никогда не расходились с убеждениями, они расходились только с ее словами.

Было бы неверно считать различие незначительным. Именно по этой грани, не по возрасту или партийному стажу, пролегал в конечном счете рубеж между уничтожавшими и уничтожаемыми при ликвидации ленинской гвардии. Молотов, Микоян, Ворошилов, Каганович, Шкирятов, Поспелов и другие были членами партии с дореволюционным стажем, но они оказались в лагере пожиривших, а не пожираемых, так как заблаговременно отрешились от марксистских убеждений и сохранили лишь марксистскую фразеологию для прикрытия единственного своего кредо: забраться возможно выше в новой системе классового господства.

Механизм процесса рождения нового господствующего класса легко объясним и, в сущности, очевиден. В борьбе за открывшиеся места под социальным солнцем могли утвердиться в качестве членов этого класса только те, которые наиболее последовательно, без колебаний и сомнений кратчайшим путем шли к цели — установлению своего господства. С неизбежностью отбрасывались с пути и в жестокой борьбе погибали те, кто еще верил в правоту марксизма и в построение коммунистического общества. Такая вера была роковой слабостью в схватке за места в новом классе. Это понятно: успешно строить классовое господство, думая, что строишь бесклассовое общество, так же невозможно, как успешно заниматься планированием семьи, думая, что детей приносит аист.

Трехчленная схема рождения господствующего класса характерна не только для СССР. Всюду, где был установлен реальный социализм, развитие шло этим путем: аппарат подпольной (или находившейся в явной изоляции) коммунистической партии выступал в качестве зародыша нового господствующего класса, превращался после при-

хода к власти в организацию профессиональных правителей, быстро развивавшуюся в «новый класс», и в результате чистки подпольщики сменялись примкнувшими к победившей партии карьеристами. Повсеместное повторение этих стадий свидетельствует о том, что мы имеем здесь дело с исторически закономерным процессом...

Так выглядело в реальной жизни рождение господствующего класса: не в отдаленную эпоху «разложения родового строя», а на глазах у нынешнего поколения советских людей, которое, как обещала прежняя Программа КПСС, должно было жить при коммунизме.

Десятилетиями длившаяся самоотверженная борьба революционеров-марксистов, революция, длительная и суровая гражданская война, истребление целых классов прежнего общества, бесконечные усилия и несчетные жертвы — все это во имя построения справедливого общества без классов и классовых антагонизмов — привели в итоге лишь к созданию нового классового антагонистического общества. Господствующий класс помещиков сменился в России новым господствующим классом. Социалистическое общество не составило исключения в истории человечества...

Номенклатура — правящий класс советского общества

Во второй половине дня 15 октября 1964 года я ехал из ЦК КПСС по центру Москвы. Городской партактив только что закончился, аппарату ЦК сказали о состоявшемся Пленуме и отставке Хрущева, руководство социалистических государств было поставлено в известность о происшедшем. Короткое информационное сообщение должно было быть передано по радио поздно вечером. Виктору Луи было разрешено продиктовать своей газете в Англии текст, подготавливавший западную прессу к официальному известию, а заодно поднимавший акции этого в ряде отношений полезного журналиста. Меня попросили сообщить о случившемся западным дипломатам в Москве через моего знакомого пресс-атташе посольства ФРГ Альфреда Рейнелта.

Люди на улице еще ни о чем не подозревали. Жизнь шла своим чередом, скоро предстояло развлечение — встреча космонавтов. Каждый принял бы за сумасшедшего того, кто сказал бы, что Хрущев два дня назад ушел на пенсию.

«Сталин умер сам, — думал я. — Лаврентия Берия ликвидировал Маленков, Маленкова выгнал Хрущев. Кто прогнал Хрущева? Это не Брежнев и Косыгин, которые просто по формальным данным, как первые заместители, заняли освобожденные Хрущевым посты. Большинство в Президиуме ЦК? Нет, этого недостаточно: в июне 1957 года это большинство пыталось свергнуть Хрущева, а оказалось само разогнанным. Так кто же?»

На следующее утро в метро меня поразил вид людей: вчера они были спокойными, а тут стали испуганными и подавленными. На всех лицах — печать неуверенности и озабоченности, как при Сталине. Кого они боятся? Ведь не Брежнева с Косыгиным, которых никто не знает. Было ясно: людей, еще вчера мало боявшихся говорливого толстяка с его прихотями и клоунадами, пугала сегодня мрачная анонимная сила, легко с ним разделавшаяся, сила, от которой они не ожидают ничего хорошего.

Эти памятные сутки заставили серьезно задуматься над вопросом: кто составляет эту силу? кто такие «управляющие» в Советском Союзе?

«Управляющие» — номенклатура

Ответить на этот вопрос — задача более сложная, чем можно подумать: «управляющие» постарались тщательно замаскироваться. «Новый класс» скрывает самый факт своего существования... В области теории выдвигается с этой целью сталинская схема структуры советского общества; в области практики класс «управляющих» употребляет все свое искусство мимикрии, чтобы представить себя частью нормального — хотя при реальном социализме всегда патологически раздутого — государственного аппарата, армии обычных служащих, которые есть во всех странах мира...

Они так же являютя на работу к 9 часам утра, сидят за письменными столами, звонят по телефонам, проводят часы на совещаниях, не носят формы или знаков различия — как их выделить? Где границы «нового класса»? Джилас несколько раз ставит этот вопрос, но так и не дает ответа.

Да и нелегко его дать. Мы имеем дело не с социологической схемой, а с реальной общественной жизнью. В реальной же жизни границы между слоями общества

всегда несколько размыты огромным многообразием отдельных случаев. В этих условиях сознательное стремление класса «управляющих» спрятаться в массе служащих делает границы этого класса вообще едва обнаружимыми. Помогает одно решающее обстоятельство: у «нового класса» есть потребность — психологическая, а главное, практическая — самому очертить свою границу. Класс «управляющих» и его руководители должны сами точно знать, кто в него входит. В этом объективный смысл номенклатуры.

Номенклатура и есть пресловутый «один из отрядов интеллигенции, профессионально занимающийся управлением» и поставленный «в несколько особое» положение по отношению к тем, кто занят исполнительским трудом. Ей и принадлежит «особое место» в общественной организации труда при социализме. Зачисленные в номенклатуру и есть «лица, которые от имени общества, выполняют организаторские функции в производстве и во всех других сферах жизни общества». Номенклатура — та организованная Сталиным и его аппаратом «дружина», которая научилась властвовать, а в годы ежовщины перегрызла горло ленинской гвардии. Номенклатура и есть господствующий класс советского общества. «Новый класс» — это номенклатура. Она знает это и окружает себя завесой секретности. Все данные о номенклатурных должностях хранятся в строгой тайне. Списки номенклатуры считаются совершенно секретными документами. Только крайне ограниченному кругу лиц рассылаются отпечатанные типографским способом в виде книжки с заменяющимися листами «Списки руководящих работников».

Главное в номенклатуре — власть

...Мы видели, что номенклатура возникла как историческое продолжение организации профессиональных революционеров, сделавшихся после победы революции профессиональными правителями страны. Номенклатура — это «управляющие». Функция управления — стержень номенклатуры...

Буржуазия руководит в первую очередь именно экономикой, непосредственно материальным производством, а уже на этой основе играет роль и в политике. Так пролегал исторический путь буржуазии от ремесла и торговли, от бесправия третьего сословия к власти.

Иначе проходит исторический путь номенклатуры. Он ведет от захвата государственной власти к господству и в сфере производства. Номенклатура осуществляет в первую очередь именно политическое руководство обществом, а руководство материальным производством является для нее уже второй задачей. Политическое управление — наиболее существенная функция номенклатуры. В своей совокупности номенклатура обеспечивает всю полноту власти в обществе. Все действительно подлежащее выполнению решения в стране реального социализма принимаются номенклатурой. Эта особенность делает необходимым четкое разделение политико-управленческого труда в номенклатуре.

Такое разделение существует, и правила его неукоснительно соблюдаются. Это ведь лишь посторонние наблюдатели полагают, что вся власть в СССР принадлежит Политбюро ЦК или, что еще наивнее, всему ЦК КПСС. В действительности же хотя власть Политбюро огромна, она введена в определенные функциональные рамки. Функциональные потому, что такое ограничение власти Политбюро не имеет никакой связи с демократией, или «либерализмом», а целиком определяется разделением труда в классе номенклатуры. Так, Политбюро, разумеется, может назначить — или, как принято говорить, «рекомендовать» — председателя колхоза. Но это было бы вопиющим нарушением установленных правил и было бы встречено молчаливым недоумением номенклатуры (если, конечно, речь не шла бы о разжаловании в председатели колхоза кого-либо из высокопоставленных лиц, входящих в номенклатуру Политбюро). При повторении нарушения недоумение правящего класса быстро переросло бы в столь же молчаливое, но интенсивное неодобрение. Поэтому, казалось бы, всемогущее Политбюро таких экспериментов не проводит, и председателей колхозов уверенно назначают бюро райкомов партии.

Ясное осознание номенклатурой принципа разделения в ее рамках политико-управленческого труда нашло отражение и в номенклатурном жаргоне. На этом косноязычном, но всегда точно выражающем понятия воляпюке принято говорить, что вышестоящие в номенклатуре не должны «подменять» нижестоящих.

Каждый номенклатурщик имеет свой отведенный ему участок властвования. Здесь заметно сходство режима номенклатуры с феодальным строем. Вся номенклатура является своеобразной системой ленов, предоставляемых соответствующим партийным комитетом — сюзереном его вассалам — членам номенклатуры этого комитета. Известно, что на заре средневековья эти лены состояли необязательно из земельных наделов, но, например, и из права собирать дань с населения определенных территорий. Не кто иной, как Маркс писал о «вассалитете без ленов или ленах, состоящих из дани». Номенклатурный «лен» состоит из власти.

Даже термин, применяемый в партжаргоне к номенклатуре, соответствует средневековому русскому термину, применявшемуся по отношению к вассалам: посадить. О князе говорили в феодальной Руси, что сам он сел на княжение, своих же ленников посадил в различные города и области; отсюда и термин «посадник» (княжеский уполномоченный). В сегодняшней советской номенклатуре вы тоже то и дело слышите, что товарища такого-то посадили на министерство, посадили на область, посадили на кадры.

Главное в номенклатуре — власть. Не собственность, а власть. Буржуазия — класс имущий, а потому господствующий. Номенклатура — класс господствующий, и потому имущий. Капиталистические магнаты ни с кем не поделятся своими богатствами, но повседневное осуществление власти они охотно уступают профессиональным политикам. Номенклатурные чины — сами профессиональные политики и, даже когда это тактически нужно, боятся отдать крупницу власти своим же подставным лицам. Зав сектором ЦК спокойно относится к тому, что академик или видный писатель имеет больше денег и имущества, чем он сам, но никогда не позволит, чтобы тот послушался его приказа...

После своего падения Хрущев говорил, что всем пресыщаешься — едой, женщинами, даже водкой, — только власть такая штука, что чем ее больше имеешь, тем больше ее хочешь. Побывавший сам на вершинах номенклатуры Джилас назвал власть наслаждением из наслаждений. Это наслаждение, сладостное для номенклатуры в масштабе городка, района, области, огромно в масштабе страны. Но еще острее оно, когда можно по телефону вежливо отдавать приказы другим странам, запомнившимся по школьной географии как дальняя граница. Варшава, Будапешт, Берлин, София, Прага, сказочно далекие Гавана, Ханой, Аддис-Абеба... Во время интервью в своем кремлевском кабинете Брежнев не удержался и показал корреспондентам «Штерна» телефон с красными кнопками прямой связи с первыми секретарями ЦК партий социалистических стран. Нажмешь кнопку, справишься о здоровье, передашь привет семье — и дашь «совет». А потом откинешься на спинку жестковатого кожаного кресла и с сытым удовольствием подумаешь о том, как сейчас в чужой столице начинают торопливо приводить «совет» в исполнение...

Путь наверх, или Как формируется номенклатура

Исторически система формирования номенклатуры берет свое начало, как и сам класс номенклатуры, от ленинской организации профессиональных революционеров. В эту организацию принимали — или, поскольку речь идет о профессионалах, точнее будет сказать, что в ее штат зачисляли — по решениям ее руководящих органов. Изобретатель номенклатуры в ее ныне существующем виде Сталин формализовал этот порядок, превратив его из импровизированного действия подпольной организации в бюрократическую рутину правящего аппарата. На смену устному поручительству товарищей, принимавших в свою среду человека, с которым им предстояло делить тяготы и опасности нелегальной работы, появились пухлые номенклатурные дела, заполненные анкетами, автобиографиями и фотокарточками, характеристиками с подписью трюгельника и справок КГБ.

Подверглись характерной трансформации и мысли, высказанные Лениным о подборе руководящих кадров. Ленин предвосхитил сталинскую идею создания номенклатуры, заявив: «Теперь «хозяйном» является рабоче-крестьянское государство, и оно должно поставить широко, планомерно, систематично и открыто дело подбора наилучших работников по хозяйственному строительству, администраторов и организаторов специального и общего, местного и общегосударственного масштаба»³⁵. Дело подбора руководителей разных масштабов Сталин действительно поставил «широко, планомер-

³⁵ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 43, стр. 280.

но, систематично». Только проводится оно не открыто, а совершенно секретно, и не государством, а руководящими органами номенклатуры, так как именно она, а не «рабоче-крестьянское государство», является хозяином в стране.

Укоренился и введенный Сталиным принцип подбора людей прежде всего по политическим признакам. Ленин в свое время писал, что руководящие кадры следует подбирать «а) с точки зрения добросовестности, б) с политической позиции, в) знания дела, г) администраторских способностей...»³⁶. Как видим, и он считал знание дела второстепенным моментом по сравнению с политической благонадежностью. Однако на самый первый план Ленина выдвинул добросовестность назначаемого руководителя. Сталину этот критерий явно показался излишним и уже не выдвигался при утверждении номенклатурных работников...

XXIV съезд КПСС записал в своей резолюции: «Партия придает первостепенное значение тому, чтобы все участки партийной, государственной, хозяйственной, культурно-воспитательной и общественной работы возглавляли политически зрелые, знающие дело, способные организаторы»³⁷. Добросовестности от номенклатуры по-прежнему не требовалось. Зато требовалось и требуется другое: стремление занять руководящий пост и готовность сделать все, чтобы заслужить дальнейшее продвижение по иерархической лестнице. Карьеризм твердо стал негласным критерием подбора номенклатурных кадров. Об удачливом карьеристе, включаемом начальством в группу для продвижения, говорят: «вошел в обойму». В каждом значительном советском учреждении можно встретить такие обоймы людей, объединяемых, во выражению одного моего московского знакомого, «пристальным отношением к своей биографии» и благоволением начальства. Именно из такой обоймы и совершается прыжок в номенклатуру.

Как технически он происходит? Каким образом жаждущий повышения, скажем, И. И. Иванов проникает в номенклатуру?

В глубине души товарищ Иванов будет руководствоваться теми же моральными принципами, что и балзаковский Растигьяк или мопассановский Жорж Дюруа: пролезть наверх всеми путями. Если представится возможность, он охотно пойдет и по стопам «милого друга». Так совершал свою карьеру Аджубей, зять Хрущева. Так с завидным упорством рвался в номенклатуру Григорий Морозов, первый муж Светланы Сталиной, безуспешно пытавшийся потом, уже сорокапятилетним мужчиной, жениться на дочери Громыко... Можно было бы назвать не одного видного товарища из советской номенклатуры, совершившего свой путь наверх именно таким способом.

Но И. И. Иванов знает, что женитьба на начальничьей дочке или успешный роман с номенклатурной дамой — дело счастливого случая и что, следовательно, не здесь пролегает столбовая дорога в номенклатуру. Запасшись терпением, он займется общественной работой. Нет нужды говорить, что товарищ Иванов вступил в партию, как только представилась такая возможность. Членство в партии — необходимая предпосылка карьеры, и несколько редкостных исключений лишь подтверждают всеобщность этого правила. Советская народная мудрость отлила его в четкую формулу: хочешь жить — плати партвзносы.

Товарищ Иванов начнет с малого. Он будет агитатором на избирательном участке, потом бригадиром агитаторов, парторгом группы, наконец членом и затем — замом секретаря парткома. Во время всего этого восхождения по партийной лестнице Иванов будет прост и скромно, исполнителен и трудолюбив. Он постарается создать себе среди товарищей по партийной организации репутацию человека хотя и принципиального, но доброжелательного. Свое заискивание перед начальством он будет старательно скрывать от коллег. В то же время, притворяясь перед всеми таким своим парнем, он будет расчетливо подбирать круг своих приятелей, в который входили бы только перспективные и полезные люди — в идеальном случае вся обойма. Потому что Иванов знает: чтобы сделать партийную карьеру, надо быть не одиночкой, а членом когорты, где все поддержат друг друга, и суметь стать ее вожаком, ибо именно ему достается наивысший завоеванный когортою пост. Короче говоря, Иванову придется немало потрудиться и проявить большую расчетливость, упорство и актерский дар, чтобы выбраться на подступы к номенклатурным постам.

Наилучший подступ — место секретаря парткома. Это уже, собственно, наполовину номенклатурный чин: секретаря парткома утверждает бюро райкома партии, так

³⁶ Там же, т. 53, стр. 97.

³⁷ «XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет». М. 1971, т. II, стр. 239.

что он уже входит в номенклатуру райкома — с той, однако, разницей, что должность у него не штатная и каждый год происходят переборы парткома. Это своего рода испытательный срок для кандидатов в номенклатуру. Если он пробудет секретарем только год и не будет переизбран, ясно, что он провалился. Нормальное время пребывания на посту секретаря — два, а лучше три года. Поэтому товарищ Иванов, сделавшись секретарем, будет первый год заниматься тем, чтобы обеспечить свое переизбрание на второй, а во второй и третий годы постарается получить возможно более высокую должность — номенклатурную или в крайнем случае предноменклатурную. На жаргоне советских отделов кадров, он будет стремиться обеспечить себе хороший выход. Успех зависит целиком от высшего начальства, а не от коллег Иванова по работе, так что он уже на этом этапе начнет постепенно меняться в отношении своих сослуживцев, будет с ними все более официален и прочно войдет в стоящую высоко над простыми смертными группу «руководства». В этой же группе Иванов будет показывать себя человеком надежным, на которого можно положиться в любом деле, требовательным к подчиненным и трогательно дружественным к членам группы.

Особую, поистине собачью преданность будет проявлять товарищ Иванов к главе этой группы — скажем, Петру Петровичу Петрову, номенклатурному чину, который по своему положению имеет так называемое право найма и увольнения (а фактически право представления к зачислению) номенклатурных работников низшей категории. Привыкший к власти и уже успевший заметно от нее поглупеть, П. П. Петров оценит Иванова, смотрящего на него влюбленными глазами, говорящего о нем с тихим восхищением и готового сделать по его кивку любую подлость. Дрогнет суровое сердце под партбилетом и пропуском в кремлевскую столовую, и, когда откроется подходящая вакансия, товарищ Петров прикажет своему начальнику отдела кадров готовить «для засылки вверх» личное дело Иванова.

Предварительно П. П. Петров будет говорить с ответственным чином в аппарате назначающего парторгана — скажем, С. С. Сидоровым. Рассказав чину о том, как он в субботу и воскресенье охотился или был на рыбалке, П. П. Петров скажет: «Знаешь, Сидор Сидорович, у меня к тебе дело. Тут я на должность начальника управления подобрал хорошего мужика. Он, правда, еще не в номенклатуре, но парень растущий; три года был у меня секретарем парткома, надежный человек. не пьет, по женской части скандалов нет, как специалист разбирается в деле. Я думаю его представлять. Просьба к тебе, Сидор Сидорович: посмотри его и, если сочтешь возможным, поддержи». Сидоров с непроницаемым выражением толстой физиономии коротко обронит: «Присылай дело, посмотрим».

Дальше все пойдет как частный случай подготовки и принятия решения парторгана. Дело будет оформлено и направлено в партийный орган. Подчиненный Сидорова, получив дело, осторожно прозондирует, как относится его шеф к перспективе назначения Иванова («Сидор Сидорович, тут пришло дело от Петрова на Иванова...»), и, убедившись, что вопрос согласован («Да, Петров мне говорил»), подготовит запрос в КГБ: нет ли возражений против назначения товарища Иванова И. И. на такую-то должность? Через месяц-полтора придет ответ. Тем временем референт будет наводить справки о кандидате: вызовет к себе секретаря парткома управления и расспросит, какого мнения об Иванове в парторганизации, не было ли у него каких-либо неприятностей по партийной линии; поговорит с секретарем партрайкома министерства и с ведущим соответствующим отделом райкома, с секретарем райкома; посоветуется с теми из своих коллег, кто имел дело с Ивановым.

Смысл всех этих бесед прежде всего в том, чтобы разделить ответственность на случай, если Иванов впоследствии чем-нибудь себя опорочит. Тот же смысл имеют и представляемые на кандидата письменные материалы. Все характеристики пишутся по единому стандарту, отличить одну от другой невозможно да и не нужно: при редактировании характеристики из нее сознательно вытраивают всякую индивидуальность. Важно другое: что характеристика положительная, подписана треугольником (руководитель ведомства, секретарь парторганизации, председатель профкома) и утверждена парткомом, райкомом, обкомом. В характеристике должно быть написано, на какой предмет она дана; если бы обольщенный перечисленными в характеристике добродетелями товарища Иванова С. С. Сидоров подумал утвердить его не начальником управления, а сразу начальником главка, понадобилась бы новая характеристика, ибо считается возможным, что Иванов, исполненный доблестей в качестве кандидата на первый пост, явится отпетым мерзавцем в качестве кандидата на второй.

Короче говоря, вся так называемая подготовка кандидатуры проводится по принципу работы страховых компаний, путем перестраховки распределяющих между собой риск. Характерно, что сами термины «перестраховка», «перестраховщик» прочно вошли в жаргон советской номенклатуры и, хотя употребляются в уничижительном смысле, ясно показывают направленность мышления.

Когда вся эта перестраховочная процедура будет закончена, референт подготовит проект решения, поставит на нем свою визу, и проект будет пущен в ход. Сначала он будет дан на визирование ответственным работникам аппарата, потом на голосование на решающем уровне.

Голосуют члены того партийного органа, в номенклатуру которого зачисляется товарищ Иванов. На низшем уровне — бюро райкома или горкома партии; на среднем — бюро обкома или крайкома, секретариат или бюро ЦК компартии союзной республики; на высшем — Секретариат или Политбюро ЦК КПСС. Если на низшем уровне решения о назначениях принимаются на заседаниях бюро, то в более высоких органах они обычно принимаются путем опроса. Подготовленный проект решения, как принято говорить, пускается на голосование, то есть дается на подпись членам соответствующего парторгана. Поскольку и здесь, разумеется, действует принцип перестраховки, на подложенном втором экземпляре проекта должны быть визы руководящих работников аппарата, ответственных за подготовку проекта. Первым подписывает секретарь комитета, ведающий той отраслью номенклатуры, куда должен войти товарищ Иванов.

Когда решение, как принято говорить на номенклатурном жаргоне, вышло, или состоялось, оно изготавливается начисто и выглядит так. На бланке с черной надписью сверху «Коммунистическая партия Советского Союза. Центральный Комитет» (или «Московский городской комитет», или «такой-то районный комитет») ставится дата, пометка «Строго секретно» и отступя номер решения и его подчеркнутое заглавие. Затем традиционно лаконичный текст, повторяющий заглавие: «Утвердить тов. Иванова Ивана Ивановича начальником Управления...» Ниже ставится подпись: «Секретарь ЦК» (ГК, РК) и его факсимиле. На подписи аккуратный оттиск круглой печати: по кругу «Коммунистическая партия Советского Союза», в центре вытянутым фигурным шрифтом — «ЦК» (или другой комитет).

Оформленная таким образом бумага направляется в то ведомство, которое формально назначает на данную должность. Офицер фельдъегерской связи КГБ привозит эту бумагу в светло-зеленом конверте с надписью «Секретариат ЦК КПСС» (или другой принявший решение комитет). Передать бумагу полагается начальнику лично, и он сам должен расписаться на квитанции, приклеенной к конверту. Если товарища Петрова нет, фельдъегерь должен звонить своему начальству и только с его разрешения может оставить бумагу под расписку секретарше Петрова. Начальник сам вскрывает макет и по прочтении сдает бумагу в секретную часть, где она будет храниться в сейфе в папке «Решения директивных органов». На основании этой бумаги (однако без ссылки на нее) Петров издает свой приказ о назначении. Товарищ Иванов И. И. включен в номенклатуру. Вкусивший от сладкого плода власти еще на посту секретаря парткома, он может наслаждаться теперь ею неограниченное время.

Номенклатура неотчуждаема

Неограниченное ли? Можно ли исключить из номенклатуры? Этот на первый взгляд наивный вопрос имеет серьезный социальный смысл.

Формально, конечно, можно. Юридически включение в номенклатуру — всего лишь назначение на должность, внесенную в список номенклатурных должностей. Значит, казалось бы, переход на другую должность, не находящуюся в этом списке, означает автоматически исключение из номенклатуры. Но это только формально так. В действительности вошедший в номенклатуру товарищ с полным основанием может считать, что находится в ней прочно. Если не будет никаких потрясений и массовых чисток, если он не навлечет на себя гнев высшего начальства, если он будет в дружеских отношениях с влиятельными коллегами по номенклатуре и будет соблюдать все ее писанные и, главное, неписанные порядки, то он должен попасть в очень уж скандальную историю, чтобы быть выброшенным из номенклатуры.

Может быть, тут и рассуждать не о чем? Просто номенклатурщик будет продвигаться вверх, а потому все последующие должности тоже, естественно, окажутся но-

менклатурными. Таково, как известно, положение в офицерском корпусе всех армий и в чиновничестве. Хорошо, номенклатура не армия. Но может быть, она — чиновничество?

Номенклатура охотно разрешила бы посторонним наблюдателям считать ее чиновничеством. Она старательно маскируется под обычный административный аппарат и готова молчаливо согласиться с тем, чтобы ее принимали за любую категорию этого аппарата, только бы не было раскрыто то, что она — класс. К сожалению, исследователь не может удовлетворить это страстное желание номенклатуры.

Чиновничество в капиталистических странах — сила подчинения, исполнительская. Она обслуживает государство. Несменяемость чиновников, гарантированное им постепенное продвижение и повышение пенсии — это компенсация, которую буржуазное государство дает своим слугам, получающим значительно меньшее жалованье, чем служащие частнокапиталистического сектора. Такая компенсация лишь внешне имеет некоторые черты сходства с привилегиями господствующего при реальном социализме класса номенклатуры.

По существу же между западным чиновничеством и номенклатурой ничего общего нет. В этом легко убедиться, поставив вопрос: кто является определяющей силой для традиционного чиновничества и для номенклатуры, чью волю они выполняют? Тут и выяснится, что чиновники выполняют приказы государственных органов, тогда как номенклатура сама диктует свою волю этим органам через решения, мнения и указания руководящих партийных инстанций. Чиновники — привилегированные слуги, номенклатурщики — самовластные господа.

Неудивительно, что при ближайшем рассмотрении оказываются различными и те черты положения чиновников и номенклатурщиков, которые сначала показались общими. В номенклатуре нет характерной для любого чиновничества жесткой иерархии рангов, обеспечивающей сравнимость чиновничьих постов в различных сферах государственной структуры. А главное, в номенклатуре нет составляющего суть чиновничества планомерного перемещения всех чиновников вверх по ступенькам этой иерархической лестницы.

Конечно, бывает такой вариант номенклатурного пути: директор завода — начальник управления — начальник главка — зам министра — министр. Но есть немало менее удачливых номенклатурщиков, которые движутся по другой траектории: директор текстильного комбината — директор приборостроительного завода — директор мучкомольного комбината; а то и так: редактор областной газеты — зам министра местной промышленности республики — зав сельскохозяйственным отделом обкома партии. Легко меняются специальности, кабинеты и персональные машины — незыблемой остается принадлежность к номенклатуре. Эта незыблемость гарантируется самим порядком формирования номенклатуры. Освобождает от номенклатурной должности тот орган, который на нее утверждал. Но правило таково, что освобождают от одной должности, назначая тут же на другую (или «уходят» на пенсию). Значит, освобожденного номенклатурного работника назначает на новую должность тот же орган, а назначать он может только на номенклатурные должности.

Мы упомянули уход на пенсию. Казалось бы уж тут-то, поскольку никакой должности человек больше не занимает, принадлежность к номенклатуре автоматически прекращается. Ничего подобного. Просто меняется обозначение: вместо номенклатурного работника товарищ именуется отныне персональным пенсионером местного, республиканского или союзного значения. Смысл этого нелепого названия в том, что персональная пенсия утверждена ему в первом случае бюро горкома, райкома или обкома партии, во втором случае — бюро ЦК нацкомпартии, в третьем — Секретариатом или даже Политбюро ЦК КПСС. Пенсия оказывается не персональной, а номенклатурной.

Бывают ли удаления провинившегося из номенклатуры? Они нередки были при Сталине. Тогда в таких случаях обычно происходило физическое уничтожение изгояемого. Такой порядок доходил до самых верхов номенклатуры. Достаточно напомнить о члене Политбюро Вознесенском и секретаре ЦК ВКП(б) Кузнецове, ликвидированных по так называемому ленинградскому делу в 1950 году, или о том, что Молотов числился «ближайшим другом и соратником» Сталина, а жена Молотова Полина Семеновна Жемчужина сидела в это время в лагере. Хрущев вспоминал на XX съезде партии, с каким страхом он с Булганиным — членами Политбюро — ездили к Сталину, каждый раз не зная, вернутся ли назад.

Впрочем, случалось и тогда, что изгнанного оставляли жить. Я знал секретаря ЦК Компартии Казахстана Мохамеджана Абдыкалыкова, который после своего падения в конце 40-х годов работал рядовым редактором в Казахском государственном издательстве.

После смерти Сталина нравы изменились именно в этом направлении. Хотя Берия и его ближайшие приспешники были расстреляны, менее близкие его сообщники уцелели. Анатолий Марченко сообщает, что в начале 60-х годов во владимирской тюрьме в хорошо обставленной камере сидели сытые бериевцы, явно находившиеся в привилегированном положении...

Появилась новая, неизвестная в сталинские времена черта: даже падшие ангелы номенклатуры сохраняли отблеск своего благородного происхождения. Я хорошо знал симпатичного и умного А. А. Лаврищева. Любимец Сталина, бывший в годы войны на трудном посту посла СССР в союзной с Гитлером Болгарии, член советской делегации в Потсдаме, Лаврищев в 1956 году снят с должности советского посла в Демократической Республике Вьетнам, выгнан из Министерства иностранных дел СССР и послан на научную работу, которой никогда прежде не занимался. Но вот назначен он был не рядовым научным сотрудником, а сразу получил персональный оклад и стал заведующим сектором Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. Вскоре он был сделан секретарем партбюро этого института. Заведующим сектором того же института стал и выгнанный вместе с Лаврищевым советский посол в Югославии Вальков. Занимавшийся делами Испанской компартии референт Международного отдела ЦК КПСС Коломийцев в пьяном виде попал в милицию и буянил там, тыча в нос милиционерам свое служебное удостоверение. Работавшие в милиции садисты, привыкшие по ночам избивать беззащитных пьяниц, не решились, конечно, прикоснуться к номенклатурной персоне, а робко позвонили о случившемся в ЦК. Из ЦК Коломийцев был удален — тоже на научную работу — и очень скоро был назначен заместителем директора Института Латинской Америки Академии наук СССР.

Положение номенклатурщика настолько устойчиво, что ему сходят с рук даже политические погрешности — разумеется, в определенных рамках. Занимавшийся в Международном отделе ЦК КПСС германскими делами Павел Васильевич Поляков сопровождал однажды Ульбрихта и, изрядно напившись армянского коньяка, стал в машине делиться с высоким гостем своими мыслями о том, что все немцы, в том числе в Германской Демократической Республике — фашисты. Творец теории «социалистического человеческого сообщества» (перелицованного гитлеровского «народного сообщества»), почувствовав себя уязвленным, тут же высадил Полякова из машины и немедленно пожаловался в ЦК КПСС. Но Поляков не был исключен из партии, а был направлен в ту же многострадальную Академию наук в качестве ученого секретаря Института истории. Он так и остался в Институте всеобщей истории, насчитывающем более 200 научных сотрудников, единственным обладателем персонального оклада, по-прежнему преисполненным важности в связи со своим номенклатурным прошлым.

Я привел только несколько примеров из жизни знакомых мне людей. Количество подобных примеров нетрудно умножить. Почитайте газеты — вы нередко встретите там сетования по поводу того, что даже заведомо провалившиеся работники просто перемещаются на новую номенклатурную должность. Но сетования продолжают уже много лет, а порядок не меняется — верный признак того, что газетные вздохи предназначены лишь для успокоения рядовых читателей. Даже в тех редких случаях, когда человек формально выбывает из номенклатуры, он остается привилегированным по сравнению с обычными гражданами и до конца дней своих сохраняет отблеск номенклатурного величия...

Номенклатура потому неотчуждаема, что она не должность, а класс. Как мы видели, эта неотчуждаемость возникла не сразу. Сталин явно не был склонен предоставлять своему детищу такую привилегию. Истребив в соответствии с волей номенклатуры ленинскую гвардию, Сталин упорно оставлял за собой право и в дальнейшем уничтожать любого — независимо от его принадлежности к номенклатуре...

Четко осознанный факт, что судьба не только обычного советского гражданина, но и номенклатурного работника целиком в руках свирепых бериевских органов, вызвал молчаливое, но глубокое недовольство номенклатуры. После смерти Сталина оно отлилось в формулу: Сталин и Берия поставили органы госбезопасности над партией и государством.

Со свойственной ей определенностью политического мышления номенклатура породила формулу того, что она инкриминирует Сталину. Это не массовые репрессии, не жестокие репрессии, а необоснованные репрессии. Если не считать заведомо запоздалых, а потому неискренних вздохов о ленинской гвардии, под категорию необоснованных подводились репрессии только против членов класса номенклатуры. Остальные были, видимо, обоснованными, во всяком случае репрессированных не жалели: это были обычные советские граждане, судьба которых, естественно, и была полностью в руках органов. Можно не сомневаться, что «Один день Ивана Денисовича» был бы встречен номенклатурой гораздо приветливее, если бы Солженицын сделал своего Шухова не безвинно пострадавшим колхозником, а безвинно пострадавшим секретарем обкома.

Партийное руководство после Сталина в несколько приемов провело перетряхивание органов госбезопасности: в 1953 году в связи с прекращением «дела врачей», в 1953—1954 годах в связи с делом Берия, в 1955 году — после падения Маленкова, в 1956 году — после XX съезда партии. Партаппарат подмял под себя развороченные органы госбезопасности и решительно пресек их вольности в отношении номенклатуры. Из таинственного страшилища, перед которым дрожали даже руководящие работники ЦК, эти органы стали тем, чем они являются теперь: тесно связанной с партаппаратом и подчиненной ему тайной политической полицией...

Номенклатура и партия

Передержка! — радостно воскликнет советский пропагандист. Фальсификация! Нигде не сказано, что руководящая и направляющая сила — это только номенклатура. Руководящая и направляющая сила, ум, честь и совесть, организатор и вдохновитель — это партия! А в ней не полтора процента, как вы тут рассуждаете, а 9 процентов взрослого населения страны — примерно 17 миллионов человек.

Что ж, рассмотрим вопрос о партии и ее соотношении с классом номенклатуры.

Численность КПСС действительно велика. В стране около 400 тысяч первичных партийных организаций, это больше, чем во время Октябрьской революции было членов партии (350 тысяч). При Ленине численность партии была ограниченной, несмотря на гражданскую войну и военный коммунизм, заставлявшие, казалось бы, охотно принимать людей в партию. При Сталине КПСС быстро выросла: в 1941 году партия насчитывала около 2,5 миллиона членов и 1,5 миллиона кандидатов. За годы войны, когда на фронте записывали в КПСС без особого разбора, эти цифры поднялись соответственно до 4 и 1,8 миллиона. Но оказалось, что и в послевоенное время КПСС продолжала раздуваться, дойдя теперь действительно до 17 миллионов членов. Таким образом, со времени Октябрьской революции партия разрослась более чем в 40 раз. За этим развитием явно скрывается какой-то процесс. Посмотрим, в чем его смысл.

Ленин сформировал партию не массовую, а элитарную. Однако она стояла в тени другой, главной для Ленина элиты — организации профессиональных революционеров. Задача партии состояла в том, чтобы этой организации всемерно помогать и быть резервом ее пополнения.

Когда после захвата власти профессиональные революционеры превратились в профессиональных управляющих, партия расширилась, но осталась вспомогательной элитой, обеспечивающей на фронтах гражданской войны и в тылу выполнение приказов рождавшегося «нового класса». Сохранилась и функция пополнения рядов «управляющих»; эта функция была широко использована Сталиным при создании номенклатуры.

При Сталине партия продолжала численно увеличиваться, хотя все еще оставалась элитарной. Она по-прежнему была помощницей и резервом пополнения правящего класса, но по мере укрепления власти номенклатуры и ее обособления от общества связь между нею и партией заметно слабела.

После Сталина, с дальнейшим раздуванием численности партии и с прогрессирующим окостенением господствующего класса, разница между главной и вспомогательной элитами еще больше возросла. Массовая, многомиллионная теперь партия все больше играет роль не помощницы, а служанки номенклатуры.

Процесс, проявляющийся в непомерном численном росте КПСС, — это продолжение длящегося уже десятилетиями социального раздвижения советского общества. Господствующий класс номенклатуры все больше обособляется, разрыв между ним и партией растет, и партия оказывается частью народа. Хотя она и выполняет приказы

номенклатуры с большей готовностью и менее угрожающе, чем весь народ, неверно было бы игнорировать сдвиг в ее сознании. Партийцы конца 20-х — начала 30-х годов были еще почти такими же убежденными, как коммунисты в капиталистических странах сегодня. В дальнейшем же члены КПСС если в чем-нибудь и были убеждены, так только в том, что они вынуждены официально произносить заведомую ложь. Любая неудача номенклатуры вызывает ныне среди членов партии осязаемое чувство удовлетворения. Это неосознанное настроение поражения — важная черта современного состояния КПСС. Такое настроение не случайность, а прямое следствие процесса раздвижения слоев советского общества. Непосредственно оно вызвано характером отношений между номенклатурой и партийной массой...

Готовность миллионов людей просить о приеме их в партию имела разумное основание. Официально таким основанием провозглашалось стремление бороться за построение коммунистического общества. Именно подобную цель принято называть в заявлениях о приеме в партию. На стандартный вопрос: «Зачем идешь в партию?» — который неизменно ставят на собраниях партгруппы, заседаниях партбюро и парткома и наконец в райкоме КПСС, принято отвечать: «Прошу принять меня в партию, так как хочу активно участвовать в строительстве коммунизма». Ответ придуман неудачно. Как хорошо известно из документов КПСС, весь советский народ от мала до велика активно участвует в строительстве коммунизма. Значит, для этого советскому человеку нет необходимости вступать в партию. Так для чего же все-таки? Поскольку, кроме приведенного выше, другого официального ответа не спущено, стоило прислушаться к голосу народа. Что говорили люди — не на собраниях, а между собой — о мотивах вступления в партию? Говорили всегда одно: в партию вступают в основном ради карьеры.

Речь идет необязательно о головокружительной карьере. Просто если вы хотите быть уверенным, что начальство на работе не будет к вам придирается, что вы нормально будете продвигаться по службе и будете относиться к числу привилегированных, а не преследуемых — вступайте в партию! Что же касается карьеры в обычном понимании этого слова, то есть ясное правило: партбилет не гарантия карьеры, но его отсутствие — гарантия того, что вы никакой карьеры не сделаете. (Исключения лишь подтверждают это правило. Впрочем, встречаются они только в творческой области: есть некоторое количество беспартийных академиков и видных деятелей искусства.) То, что руководитель любого советского учреждения — непременно член партии, прочно вошло в установившийся порядок. В каждом парткоме есть гарантированное руководителю место и показателем влияния руководителя считается количество голосов, поданных за него на выборах в партком...

Класс деклассированных

В нацистском рейхе всегда ценилось арийское, в Советском Союзе — пролетарское происхождение. Советские пропагандисты немало потрудились, чтобы найти доказательства неарийского происхождения нацистских главарей. Труды не увенчались успехом: несмотря на явно не нордическую внешность, евреями они не оказались. Те же пропагандисты еще более усердно трудились, чтобы найти доказательства пролетарского происхождения советских вождей. И эти труды не увенчались успехом: несмотря на все попытки вождей изображать из себя потомственных пролетариев, рабочими они никогда не были.

Ничего удивительного в этом нет. Ленин, создавая зародыш класса номенклатуры — организацию профессиональных революционеров — отнюдь не стремился формировать ее из рабочих. Набившиеся в сталинскую номенклатуру карьеристы тоже необязательно были выходцами из рабочего класса. Но открыто признать это было неумолимо трудно. Партия выдавалась за «передовой отряд рабочего класса», «организованный отряд рабочего класса», «высшую форму классовой организации пролетариата».

Одна легенда порождала другую. Было провозглашено, что руководство и аппарат партии целиком относятся к рабочему классу. И вот оплывшие нежным жирком партработники, ни часу в жизни не пробывшие в цехе, вывели коленой рукой в анкете в графе «Социальное положение» — «рабочий». Смехотворность процедуры была явной: вздох облегчения пронесся по номенклатурным кабинетам когда партия была наконец объявлена «общенародной». Но и до сих пор нет-нет да помянут, что какой-либо руководящий номенклатурщик начинал-де свою трудовую жизнь рабочим.

Это мыслится как иллюстрация тезиса о том, что в СССР стоят у власти представители рабочего класса, осуществляющего таким образом свою руководящую роль в советском обществе. Между тем то, что многолетний секретарь обкома сорок лет назад был в течение одного года рабочим, отнюдь не доказывает, что он сейчас представитель рабочего класса. Во время войны мы, студенты Московского университета, были направлены на сельскохозяйственные работы, так что я начинал свою трудовую деятельность рабочим совхоза; не называю же я теперь по этому поводу пролетарием! Пребывание такого, с позволения сказать, бывшего рабочего на посту секретаря обкома отнюдь не свидетельствует, что страной управляет рабочий класс. Немало американских миллионеров старшего поколения начинали, как известно, чистильщиками обуви, но это не значит, что при капитализме господствующим классом США являются чистильщики обуви.

Почитайте появляющиеся в советской печати однотипные некрологи номенклатурных чинов старшего поколения — вы увидите: подавляющее их большинство — выходцы из крестьян. Каково бывает соотношение рабочих и крестьян в номенклатуре, видно из следующего примера: в 1946 году в Минской области было 855 руководящих работников, в том числе из крестьян 709 (почти 80 процентов), а из рабочих — всего 58 человек³⁸.

Тезис о пролетарском происхождении номенклатурщиков подтверждения в этом не находит. Но определенная социальная закономерность за такими цифрами видна. Она не в том, будто бы КПСС — авангард рабочего класса. Она в том, что, когда минские номенклатурщики начинали свою карьеру, крестьянство действительно составляло около 80 процентов населения страны, а рабочих действительно было незначительное меньшинство. Мы натакиваемся на упрямый факт, что социальное происхождение номенклатуры просто соответствует социальному составу всего населения. Специфики нет. Точнее сказать, именно в этом и состоит специфика: на словах якобы пролетарская, номенклатура рекрутируется на деле в равной степени из всех слоев населения.

Ну что же? Нет пролетарского характера, так по крайней мере есть демократический, представительный характер номенклатуры. Кстати, по мере роста удельного веса рабочего класса в населении СССР окажется, таким образом, обеспеченным преобладание рабочих в номенклатуре. Не так ли? Нет, не так. Нет и никакого представительного характера у номенклатуры. Пролезая в номенклатуру, и. и. ивановы идут туда не как представители, а как сознательные ренегаты класса, из которого происходят.

Вы побеседуйте с ними о своем бывшем классе они будут говорить словами передовиц «Правды». А если разговор станет совсем задушевным, вы обнаружите, что они с антипатией и насмешливым презрением относятся к классу, прах которого отряхнули со своих обутых в импортную обувь ног.

Враждебная отрешенность от своей прежней социальной среды — характерная психологическая черта номенклатурных чинов. Никакие они не представители: вскарабкавшись на номенклатурную лестницу, они представляют только самих себя...

Номенклатура сознательно и с полным основанием рассматривает себя как новую социальную общность. Эта общность воспринимается номенклатурщиками не просто как отличная от других классов общества, но как противостоящая им и имеющая право взирать на них сверху вниз. Такое восприятие вполне обосновано, только не добродетелями номенклатуры а тем что она как господствующий класс действительно противопоставит всем прочим классам советского общества и действительно находится над ними. В номенклатуре объединены не представители классов, а выскочки из них. Номенклатура — класс деклассированных...

³⁸ См.: «Структура советской интеллигенции». Минск. 1970, стр. 124.

Д. МЕДРИШ

*

ПОСЛЕ ВЫСТРЕЛА

Пушкин: «Песня о Георгии Черном»

Более ста лет назад Ф. М. Достоевский писал, что «Песни западных славян» — «шедевр из шедевров Пушкина, между шедеврами его шедевр, не говоря уже о пророческом и политическом значении этих стихов». Из шестнадцати стихотворений цикла особо выделив два — «Песню о битве у Зеницы-Великой» и «Песню о Георгии Черном» («Это два шедевра из этих песен, бриллианты первой величины в поэзии Пушкина»), — он с горечью добавил: «...и непременно потому-то они совершенно неведомы в наших школах не только ученикам, но, и весьма вероятно, и учителям...» («Дневник писателя», февраль 1877 года). Последние слова сохраняют справедливость и в наши дни — к сожалению. А ведь сейчас, кажется, самое время перечитать одиннадцатую в цикле — «Песню о Георгии Черном»:

Не два волка в овраге грызутся,
Отец с сыном в пещере бранятся.
Старый Петро сына укоряет:
«Бунтовщик ты, злодей проклятый!
Не боишься ты Господа Бога,
Где тебе с султаном тягаться,
Воевать с белградским пашою!
Аль о двух головах ты родился?
Пропадай ты себе, окаянный,
Да зачем ты всю Сербию губишь?»
Отвечает Георгий угрюмо:
«Из ума, старик, видно, выжил,
Коли лаешь безумные речи».
Старый Петро пуще осердился,
Пуще он бранится, бушует
Хочет он отправиться в Белград,
Туркам выдать ослушного сына,
Объявить убежище сербов.
Он из темной пещеры выходит;
Георгий старика догоняет:
«Воротись, отец, воротись!
Отпусти мне невольное слово».
Старый Петро не слушает, грозитя:
«Вот ужко, разбойник, тебе будет!»
Сын ему вперед забегает¹,
Старику кланяется в ноги.
Не взглянул на сына старый Петро.
Догоняет вновь его Георгий
И хватает за сивую косу².
«Воротись, ради Господа Бога:
Не введи ты меня в искушенья!»
Отпихнул старик его сердито
И пошел по белградской дороге.

¹ В поверьях многих народов существует запрет: идущему мужчине не следует оглядываться.

² Деталь, вероятно, подсказана портретом Георгия Черного, помещенным в книге Д. Н. Вантыш-Каменского (о ней речь впереди), на котором сербский воевода изображен с длинной косой. У старого Петра коса, естественно, сивая: подчеркнута, что перед нами отец и сын.

Горько, горько Георгий заплакал,
 Пистолет из-за пояса вынул,
 Ввел курок, да и выстрелил тут же.
 Закричал Петро, зашатавшись:
 «Помоги мне, Георгий, я ранен!»
 И упал на дорогу бездыханен.
 Сын бегом в пещеру воротился;
 Его мать вышла ему навстречу.
 «Что, Георгий, куда делясь Петро?»
 Отвечал Георгий сурово:
 «За обедом старик пьян напился
 И заснул на белградской дороге»*.
 Догадалась она, завопила:
 «Будь же Богом проклят ты, черный,
 Коль убил ты отца родного!»
 С той поры Георгий Петрович
 У людей² прозывается Черный.

Судьба Георгия Черного, или Карагеоргия⁴ (1768—1817), «основателя сербской независимости», вождя Первого сербского восстания против турок в 1804—1813 годах, некоторое время жившего в пределах России (в Бессарабии) и трагически погибшего на родине, вызвала живой интерес в Европе, в России особенно. Эпизод, о котором рассказал в стихотворении Пушкин, имел под собой реальную основу. Одна неточность, однако, поэтом допущена. В действительности Георгий убил не отца, а отчима; если на этот счет у кого-нибудь и оставались сомнения, то они окончательно рассеялись после того, как М. Вукичич опубликовал свое исследование о Карагеоргии⁵. Отчего же у Пушкина иначе? Можно было бы объяснить это неосведомленностью современников, сославшись, например, на книгу Д. Н. Бантыш-Каменского «Путешествие в Молдавию, Валахию и Сербию», опубликованную в Москве в 1810 году и Пушкину хорошо известную. Но только ли с версией, изложенной в этой книге, был знаком поэт? Да и сама эта версия где и по какой причине возникла?

На первый из поставленных вопросов ответ однозначен: нет, не только. Можно еще допустить, что в пору создания «Дочери Карагеоргия» — стихотворения с упоминанием о верховном воеводе Сербии, написанного сразу же по приезде в Кишинев (1820). — Пушкину была известна только версия об убийстве родного отца (на этот счет имеется приписка в рукописи стихотворения). «Песня о Георгии Черном», однако, создавалась, как и весь цикл, примерно тринадцать лет спустя. Считается, что все эти годы Пушкин не обращался к сербской теме, пока толчком к созданию цикла не послужила «Гузла» П. Мериме (издана в Париже в 1827 году), связь которой с творческой историей «Песен западных славян» отмечена самим Пушкиным в авторском предисловии. Между тем это не так.

Набросок в две строки, сделанный на обороте черновика стихотворного послания к А. П. Керн («Я помню чудное мгновенье...») и, следовательно, относящийся к 1825 году, пушкинисты определяют то как запись неизвестной русской народной песни, то как подражание ей:

Расходились по поганскому граду,
 Разломали темную темницу...⁷

Не только принадлежность этих двух написанных рукою Пушкина строк к русскому фольклору сомнительна, но и косвенное отражение в них ситуации которая могла бы быть заимствована из какой-либо русской песни, на наш взгляд, маловероятно. Ведь для русского культурно-исторического сознания было характерно иное соотношение своего и чужого. Свое ассоциировалось с городом, существовал особый культ «града», ярко выраженный, например, в былинном эпосе или в «Слове о пол-

* По другому преданию, Георгий сказал товарищам: «Старик мой умер; возьмите его с дороги». (Прим. А. С. Пушкина)

² Заметим, что первая и последняя строки стихотворения противостоят, как полюсы магнита: «Не два волка...» — «У людей...».

⁴ «Кара» по-турецки значит черный.

⁵ Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 9, стр. 35.

⁶ Вукичич М. Карађође. Кнь. 1. Београд. 1907.

⁷ Как это по-пушкински всеохватно: на одном листе и чудное мгновенье, гений чистой красоты — и поганский град, темная темница!

ку Игореве». Чужое («поганское») связывалось с «полем», со «стестью»⁸. Обратная картина сложилась в историческом сознании южных славян. Восстания против турецкого ига начинались с того, что народ («райя» — стадо, как презрительно называли его завоеватели) уходил в леса и ущелья и оттуда начинал поход на города, в которых засели турки. Первое сербское восстание, руководимое Георгием Черным, сопровождалось штурмом многих городов-крепостей и длительной осадой Белграда, взятого в конце 1806 года. В эпических песнях сербов строки о захвате «поганских» городов становятся своеобразным лейтмотивом:

Чтоб ударить на турецкий город,
Выгнать войско, уничтожить стражу
И разрушить вражескую крепость.⁹

Итак, вопреки существующим толкованиям строки о «поганском граде», надо думать, представляют собой перевод общего места сербских народных песен, может быть, даже перевод строк из песни о начале поднятого Карагеоргием восстания¹⁰. Значит, уже за несколько лет до появления «Гузлы» Пушкин пытался осуществить какой-то замысел, ориентируясь при этом на подлинный фольклор сербов. Значит, у автора «Песен западных славян» наряду с «Гузлой» были и другие, хронологически более ранние импульсы. И если рассматривать это восходящее к сербскому эпосу двуступное как первый подступ к «Песням западных славян», то окажется, что работа над циклом началась вслед за написанием «Бориса Годунова» и «Песен о Стеньке Разине», пик ее совпал с созданием «Медного всадника» и пушкинских сказок, а завершение — с разработкой пугачевской темы («История Пугачева», «Капитанская дочка»). «Песням западных славян» предшествовали также годы общения Пушкина с проживавшими в Бессарабии сербами, годы знакомства с многочисленными письменными источниками — сначала в богатейшей, ныне почти полностью утраченной библиотеке Липранди в Кишиневе, а потом и с более поздними трудами о Сербии, русскими и зарубежными¹¹.

С какими же трактовками трагического события из жизни Георгия Черного мог встретиться поэт? Следует вспомнить прежде всего «сербского Оссиана» Милутиновича Симу Сарайлия, друга Караджича, участника сербского восстания, который как раз в пору пушкинской ссылки проживал в Кишиневе. Его знаменитая поэма «Сербиянка» (он даже намеревался назвать ее «Сербиада» — по аналогии с «Илиадой») была издана в Лейпциге в 1826 году на средства И. С. Ризнич¹². У Милутиновича об убитом сказано однозначно: «отчух» (отчим). Двумя годами позже В. Герхард (это, видимо, тот самый «ученый немец», который упомянут Пушкиным в предисловии к «Песням западных славян») издает в Лейпциге же сборник сербских песен, сказок и героических преданий; здесь изложена следующая версия: «...Георгий с отрядом сопровождал жителей своей деревни через Саву в Австрию, где они искали защиты от турок...» Накануне переправы «отчим Георгия утратил мужество и посоветовал вернуться назад. Никто не хотел последовать его совету. Тогда он ушел один, угрожая, что если они не пойдут с ним, то он их выдаст в Белграде. Все возопили... Но тот ничего не хотел слышать, а все дальше уходил в лес. Георгий крикнул еще несколько раз и настойчиво просил его не обрезать их из-за своего малодушия на верную погибель, но тот не слушал. Тогда Георгий взял свое ружье и выстрелил в него, тихо промолвив: «Лучше ты один, чем все мы!» Это точные и истинные обстоятельства убийства¹³. Убит — отчим. Учтем также, что среди сербских воевод, бессарабских собеседников поэта, были и ближайшие спод-

⁸ См., например: Довженок В. И., «Сторожевые города на юге Киевской Руси» (в кн. «Славяне и Русь»). М. 1968, стр. 37).

⁹ «Сербский эпос». В 2-х тт. М. 1960, т. 2, стр. 357—358. Перевод А. Ахматовой.

¹⁰ Подробнее об этом см.: Медерш Д. Н. Фольклоризм Пушкина. Вопросы поэтики Волгоград, 1987, стр. 23.

¹¹ В библиотеке поэта сохранилось девять книг, связанных с историей и культурой Сербии, на русском, сербскохорватском, французском, немецком языках, в их числе три тома фундаментального сборника сербских народных песен, изданных Вуком Караджичем; дошли до нас и сделанные рукой поэта выписки из других источников.

¹² Мужа той самой Амалии Ризнич, которой посвящено одно из лучших пушкинских стихотворений — «Для берегов отчизны дальней...».

¹³ Jerhard W. Wila. Serbische Volkslieder und Heldenmärchen. Leipzig. 1828.

вижники Георгия (например, Яков Ненадович), а они скорее всего знали, как все происходило на самом деле.

По-разному в различных источниках освещены и другие обстоятельства этого события. В одних мать побуждает Георгия к убийству, в других, напротив, проклинает его за это. Конфликт мотивируется то намерением старика предать восставших, то его нежеланием вместе со всеми уходить из родных мест. Одни утверждают, будто Георгий сам похоронил свою жертву, другие сообщают, что он, следуя традиции, отказался хоронить предателя. Судя по авторскому примечанию о «другом предании» (и примечания в произведениях Пушкина — неотъемлемая часть художественного текста), поэт хотел обратить читательское внимание и на то, что он следует народным преданиям, и на то, что при этом отбирает ту из версий, которая представляется ему предпочтительнее. Очевидно, и в вопросе об отце или отчиму у Пушкина была возможность выбирать — и он сделал свой выбор.

Что сын убил именно родного отца — этот факт акцентируется на протяжении всей песни: «Отец с сыном в пещере бранятся», «Старый Петро сына укоряет», «Туркам выдать ослушного сына», «Воротися, отец, воротися», «Сын ему вперед забегает», «Не взглянул на сына старый Петро», «Сын бегом в пещеру воротился», «Будь же Богом проклят ты, черный, коль убил ты отца родного»... С первых строк называя имена отца и сына порознь, поэт сводит их вместе в самом конце стихотворения: как раз после убийства родного отца персонаж — впервые — назван не только по имени, но и по отчеству — Георгий Петрович (замечено О. С. Муравьевой).

Очевидно, именно такая версия сюжета соответствовала творческому замыслу и самого стихотворения, и всего пушкинского цикла в целом. Не случайно открывающее цикл стихотворение повествует об отцеубийстве и братоубийстве, а четырнадцатая песня, получившая у Караджича заглавие «Бог в долгу не остается», в пушкинском изложении названа «Сестра и братья». В конфликт вступают самые близкие люди, сыновья поднимаются на отца, брат на брата. Взаимоотношения между самыми близкими, кровно связанными людьми как бы представляют в укрупненном плане человеческие отношения в целом. Тут тоже угадывается фольклорное начало, в духе которого — сводить весь спектр человеческих отношений к связям семейным: отец, сыновья, супруги. Иногда они соответствуют народным представлениям о должном, и тогда даже смерть не может разлучить родных людей, как, например, в «Похоронной песне Иакинфа Маглановича», седьмой в цикле:

Вспоминай нас за могилой,
Коль сойдется как-нибудь;
От меня отцу, брат милый,
Поклониться не забудь!

На таком фоне еще сильнее воспринимается трагическая неестественность отцеубийства — и следы связанной с ним фабулы тоже можно отыскать в фольклоре.

В опубликованных при жизни Пушкина сербских народных песнях о Георгии Черном конфликт его с отцом не изображается, что дает повод даже наиболее дальновидным пушкинистам утверждать: «...трагический конфликт идеологического характера между отцом и сыном, завершающийся убийством, сознательным и обдуманным, — ситуация для фольклора немислимая. Резкое расхождение внутри одного стана борцов за национальную независимость, приводящее к отцеубийству, для патриархального сознания даже не трагедия, а катастрофа, крушение устоев жизни. Все это говорит о том, что сюжет «Песни о Георгии Черном» — пушкинский, а не фольклорный по самому своему существу...»¹⁴. Однако, на наш взгляд, такое противопоставление не имеет достаточных оснований. Пушкинский сюжет не противоречит фольклорному; источники стихотворения об этом свидетельствуют — и те, которые исследователями учтены, и те, которые еще не замечены пушкинистами. Так, рассказ об убийстве Георгием своего отца (не отчима) — то есть сюжет, якобы «для фольклора немислимый», — в песенном творчестве южных славян существует. Он был записан в войске черногорского князя Данилы сотником Савой Мартиновичем и позднее передан им Караджичу, который включил этот текст в свой сборник значительно позже, в 1862 году. В разгар свадьбы своей сестры Елы Георгий узнает,

¹⁴ Муравьева О. С., «Из наблюдений над „Песнями западных славян“» («Пушкин. Исследования и материалы». Л. 1983, т. XI, стр. 161).

что турок Салим собирается увезти ее силой. После тщетных попыток урезонить похитителя разгневанный Георгий пускает в ход оружие, и Салим укрывается за городскими воротами, пользуясь поддержкой старого Петра, отца Георгия. Как и у Пушкина, Георгий трижды обращается к Петру — сначала просит отпереть ворота, затем требует и угрожает и наконец, взломав ворота, отсекает голову своему отцу. Турки в страхе бегут из города¹⁵. Итак, версия об отцеубийстве — фольклорная по происхождению. Опыт мирового фольклора убеждает, что на самые трагические ситуации народ глядит широко раскрытыми очами. Пушкин (в который раз!) всем другим версиям предпочел ту, которая отозвалась и в народной поэзии. Ведь для Пушкина-поэта не менее, чем разъяснения историков, важны были представления «людей» («...у людей прозывается»), идет ли речь о Сальери, быть может и не повинном в отравлении Моцарта, касается ли это Годунова, к убийству младенца, как уверены современные историки, непричастного, или Георгия Черного, родного отца не убивавшего. Из этого вовсе не следует, будто Пушкин пренебрегал историческими фактами, — напротив, только на их фоне и можно проникнуть в природу народных преданий.

Наряду с мифологией, формирующейся снизу, издавна существует и иная, идущая сверху. Народ рассказывает о встречах с нечистой силой — сверху поступают указания об охоте за ведьмами. Наш случай исключением не является. Уже в фольклоре сложилась мифологема из трех элементов: отец и сын — донос — убийство. Реальный жизненный материал переосмысливается народным певцом в свете этого построения. Вероятно, для того, чтобы кристаллизация легенды началась, необходимо, чтобы из трех составных частей мифологемы две существовали реально. Так, сербские гусяры (а вслед за ними и Пушкин), сохранив две жизненные реалии, привнесли вымышленную третью — превратили согласно мифологеме отчима в отца. Мифологическая цепь замыкается, и возникает повествование, осуждающее разрыв естественных человеческих связей и утверждающее принципы добра и человечности. Такова мифологизация фольклорная. При желании, однако, в ту же мифологему может быть привнесен смысл, прямо противоположный народнопоэтическому. Так, в официально-мифологическом жизнеописании Павлика Морозова выстраиваются те же компоненты, что и в истории о Георгии Черном: конфликт между отцом и сыном — донос — убийство доносчика. Мифотворцам эпохи всеобщей коллективизации было не важно, доносил ли Павлик в действительности на отца или вел с ним открытую борьбу: чтобы восславить, вознести сына, в цепи его поступков требовался необходимый недостающий компонент триады: донос на отца. Цепь замкнулась, миф был пущен в оборот.

Вправе ли мы в данном случае говорить о мифе? Не касаясь многочисленных, особенно в последние полтора-два года, статей о случившемся в североуральской деревне шесть десятилетий тому назад, сошлемся лишь на высказывание автора одной из них: «Если бы литераторы и историки изучили два тома этого дела, они смогли бы заметить, что материалы его значительно отличаются от всего того, что мы знаем о трагедии в Герасимовке»¹⁶. Сам факт, что уже у истоков официального жизнеописания обнаруживается множество несогласованных вариантов и версий, говорит о том, что мы имеем дело не с историей, а с сочинительством, но, разумеется, не с фольклором, а с административно-идеологической мифологией. Если фольклорный миф нуждается в народном одобрении, то административному мифу положена санкция свыше. Дату ее нетрудно определить, если воспользоваться информацией из книжки Е. Смирнова «Павлик Морозов» (М. 1938): «Год тому назад товарищ Сталин предложил Московскому совету поставить у Красной площади памятник Павлику Морозову». Таким образом, версию, воспевающую доносительство сына на отца, «любимый вождь и отец всех ребят» (слова из книжки) утвердил в 1937 году.

¹⁵ Караџић Вук Стеф. Српске народne пјесме. Београд. «Просвета». 1976. књ. 4, № 25. Публикации русского перевода этой песни нам неизвестны. Заметим, что сюжет об убийстве отца-предателя вписывается черногорским гусяром в типичную для южнославянского эпоса группу сюжетов о героическом сватовстве, столь основательно описанную фольклористом В. Н. Путяловым в его книге «Героический эпос черногорцев» (Л. 1982, стр. 95).

¹⁶ Кононенко Вероника, «Посмертно... репрессировать?» («Человек и закон», 1989, № 1, стр. 79). Иная версия изложена в работе: Дружинников Ю., «Вознесение Павлика Морозова» («Родник», 1990, № 4—6).

Административно-идеологический миф — жанр паразитический: он использует структуру мифа народного, чтобы внедрить в жизнь нормы противоестественные, вступающие в противоречие с народной моралью. Если традиционный миф, имея опору в устоях народной жизни, погружает исходный исторический факт в круговорот народного быта, то административный миф, напротив, превращает бытовой эпизод (предварительно подвергнув его деформации) в прецедент политической истории. Понятно, что административно-спекулятивный миф с его аморальностью и антиэстетизмом в противоположность переходящему от поколения к поколению фольклорному в историческом масштабе недолговечен, потому и нуждается в высоком покровительстве и в постоянных идеологических впрыскиваниях¹⁷.

У всех народов самое страшное проклятие — отлучение от семьи. Разрыв родственных уз воспринимается как трагедия, а трагедия ведет к потрясению и очищению. Административный миф перешагивает через человеческие взаимосвязи как через несущественные осложнения. Вот что испытывает во время суда над отцом Павлик, если верить уже упоминавшейся книге Е. Смирнова, выпущенной «в помощь пионервожатому»: «Все просто...— Да, он был моим отцом, но больше я его своим отцом не считаю». Все просто — и никаких трагедий...

Как и в народной песне, в пушкинском стихотворении о Георгии Черном сын убивает отца. Но в творении поэта есть и то, чего нет в фольклорном сюжете, — он знает, что случилось после выстрела:

«Помоги мне, Георгий, я ранен!»
И упал на дорогу бездыханен.¹⁸

Двуступище, ради которого, быть может, и написана вся «Песня...», отмечено рифмой — единственной на все стихотворение¹⁹. Это миг просветления, когда исчезает все переходящее и остается — вечное. «Помоги мне, Георгий!» — как будто не собирался Петро донести на сына и словно не Георгий мгновением ранее произвел смертельный выстрел. А ведь это по-человечески самое простое и естественное — в самый трудный момент обратиться за помощью к самому родному человеку.

Можно подумать, что, создавая этот эпизод, поэт помышлял о противоядии от того административного мифа, который возник столетие спустя («...но больше я его своим отцом не считаю»). И если из всей бесценной пушкинской поэзии Достоевский выделил «Песни западных славян», а из всего этого цикла особо — два стихотворения, одно о давней битве, другое о Георгии Черном, то не только потому, что в том 1877 году потомки сражавшихся у Зеницы-Великой и внуки Георгия Черного вновь поднялись против османского ига, но, может быть, еще и оттого, что тогда же Иван Карамазов уже замышлял отцеубийство... Не этот ли трагический гуманизм стихотворения восхитил автора «Братьев Карамазовых»?

Запоздалое прозрение не в силах спасти Петра — от смерти, Георгия — от народного осуждения, от клички Черный, которая осталась за ним на вечные времена. Но голос поэта звучит сквозь годы и столетия. И там, где он будет услышан, роковой выстрел, возможно, не прогремит.

¹⁷ Когда С. Эйзенштейн в фильме «Бежин луг», в основе которого судьба Павлика Морозова, отказался следовать канонам спекулятивной мифологии, фильм был уничтожен по распоряжению свыше.

¹⁸ Анджей Вайда в фильме «Пепел и алмаз», вероятно, непреднамеренно повторил примерно ту же ситуацию, с очень похожей развязкой: убитый, прежде чем упасть, пытается опереться на своего убийцу.

¹⁹ Сербский народный певец обходится обычно без рифмы, тоже, однако, прибегая к ней в исключительных случаях — там, где говорится о главном, на что следует обратить особое внимание слушателя.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Е. ТАМАРЧЕНКО

*

ИДЕЯ ПРАВДЫ В «ТИХОМ ДОНЕ»

Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше народа, выше России, выше всего, а потому надо желать одной правды и искать ее... и даже несмотря на все те преследования и гонения, которые мы можем получить из-за нее.

Ф. Достоевский.

Есть правдивое слово, но есть и разновидность его — слово о правде. «Тихий Дон» — произведение последнего рода.

Недостаточно понимать, что роман Шолохова — ни с чем пока не сравнимое по правдивости изображение русской революции и гражданской войны. Необходимо по-иному повернуть всю проблему: правда — тема центральная и определяющая в этом романе. Своеобразие «Тихого Дона» — в народной идее правды и образе целом народного героя, ее носителя, нигде более не выразившихся с такой непосредственностью и полнотой. Правда здесь — предмет изображения и исследования, а не только критерий и инструмент художника. В этом существе выполненной «Тихим Доном» огромной человеческой, культурной и жизненной задачи. Как бы ни относились мы к последующему творчеству и политической роли Шолохова, шедевр его эстетически и этически несомненен и безусловно утвердил себя среди вершин классики.

Говоря о народной идее правды, я имею в виду прежде всего народные мысли-образы, посвященные ей. Такие мысли-образы представляют высокоразвитую, разветвленную единую мудрость, складывавшуюся с древнейших времен. История культуры, литературоведение, фольклористика, этика и этнология пока этот комплекс во всей его целостности мало затронули¹. И, однако, он один из краеугольных камней культуры.

Подобные представления не изучены как система, возможно, и потому, что они шире и собственно этики, и эстетики, и отвлеченных идей об истине. Выступая на поверхности культуры в каких-то ее явлениях (народных обычаях, притчах, сказках, пословицах, отдельных изречениях античной трагедии, названиях средневековых судебных-Правд и т. д.), представления эти существовали чаще всего неявно, вне письменной фиксации и традиции. Они едины по сути и отражают мечту о мире, в котором человек связан прекрасно-добрыми отношениями со своим народом, человечеством и природой. Это идеал прежде всего практический, сказывающийся в человеческом поведении, принимаемом народом за образец, в народном искусстве и очень мало выразимый и выражаемый отвлеченно. Норма эта, уже на заре ранних цивилизаций понятая и сформулированная как Правда, и до сих пор, по-видимому, составляет живую душу подлинной литературной классики. Эту норму следует отличать от развитых и поздних мировоззренческих явлений (например, христианства) и тем более от достаточно абстрактных представлений о Правде, характерных для среднего интеллигентского сознания прошлого века.

¹ Прямо затронута низовая идея Правды исследователями народной утопии. См., например: А. И. К л и б а н о в. Народная социальная утопия в России. Период феодализма. М. «Наука». 1977. Но у Клинбанова неприемлема плоско-атеистическая трактовка вопроса, и в частности отождествление Веры с Кривдой. Принципиальная (и вполне позитивная) связь Веры с Правдой в конечном счете неоспорима. Но тема эта выходит за пределы нашего очерка.

Исторически народный идеал правды напряженно и со своими драмами развивался и совершенствовался вместе со становлением человека и человечества. Расширяясь, он ломал рамки замкнутого, древнейшего общинного идеала, в свете которого людьми считались только свои, а территория племени ограничивала и символизировала вселенную. При всем том народная мысль о правде до сих пор бесчисленными нитями связана с духом значительных общинных норм. Те или иные низовые представления о полной и земной правде стояли у истоков великих религий и были — напрямую либо от противного — одним из стимулов к их оформлению. Эта правда является первичным источником и так называемого утопического, и так называемого научного социализма и коммунизма. Но она лежит и в основе либеральных и демократических идеалов западноевропейского и американского образцов. Особо бурно и разнообразно выплескивается на поверхность вековая мечта народа в кризисные моменты истории. Лозунги различных революционных партий — в зависимости от степени народности каждой — можно расценивать и как более или менее отдаленные политические фольклорные отзвуки правды-воли, правды-мечты, входящей в нестареющий золотой фонд общечеловеческих целей и устремлений.

Этот всепронизывающий внутренний свет и привлекает прежде всего в «Тихом Доне».

В конечном счете речь у Шолохова идет о цели жизни человека и человечества, об их оправдании. «Тихий Дон» дает целый спектр представлений о смысле жизни, — быть может, наиболее полный, хотя и своеобразнейший, среди произведений всей русской классики. И романом этим осуществляется суд, кризисное, критическое рассмотрение и анализ бытующих представлений о смысле существования, начиная с простейших и примитивных.

Вот, казалось бы, прочнейшая из восходящих ступеней, придающих жизни человека осмысленность, — природа и ее правда. В «Тихом Доне» вечная природная жизнь показывается в постоянном переплетении с социальной (миром, войной, революцией). Подчеркивается ее возвышенная цикличность и упорядоченность и торжество жизни в кругообороте жизнь — смерть. Это космическая жизнь, объемлющая человеческий мир и справляющая свои торжества независимо и в стороне от его разлада. Так, весной над могилой Валета стрелеты устраивают свой ток, а позднее самка высиживает птенцов (эпизод книги второй).

Особый аспект этой темы — природная жизнь в человеке (голос жизни, особенно на краю и перед лицом смерти). Таковы многократные в романе изображения смерти, прежде всего насильственной, под углом жизни и ее правды (смерть комбрига Лихачева, захваченного и зарубленного повстанцами; подчеркнуты исключительное здоровье и красота, естественное бесстрашие, сила тела, лепестки весенних березовых почек, прилипшие к губам чудовищно истерзанного человека).

Однако природная (и несомненная) правда человеческой жизни, ее самостоятельная ценность и инстинктивная требовательность приносятся героями Шолохова в жертву более высокой и настоятельной правде социальной солидарности и личностных идеалов.

Весомая в жизни частная правда как оправданность существования отдельного, конкретного человека, его семьи, общины (хутор, станица), исторически сложившейся территориально-этнической общности (донское казачество), государства (Россия, Австро-Венгрия) и т. п. Примером подобных правд может служить та местническая, областная «казачья правда», во имя которой поднималось донское восстание. В этом плане Шолохов последовательно показывает коренную и реальную неустоячивость, и, по существу, невозможность отдельно помысленной и отстаиваемой эгоистически «частной» правды (любых масштабов) в затягивающем всех и вся круговороте революции, мировой и гражданской войны — и, главное, перед лицом взыскваемой всеми связующей общей правды. В пределе это правда человечества как единства.

К линии несостоятельности «малых правд» следует отнести почти полное разрушение семейного мира и традиционно крепких семейных связей в шолоховском романе, как и реальную неосуществимость на этом этапе нового семейного идеала (Григорий — Аксинья, Анна — Бунчук). Здесь одно из выражений раскола, разделившего на различных кругах и уровнях социального единения казачий край, страну и в конечном счете мир в наиболее древних и значительных смыслах этого слова.

Искусительна и высока далеко превосходящая частную жизнь правда «имени» человека, или «имя» как честь и слава. Таков старинный, языческий по происхождению и по существу идеал, перевешивавший и смягчавший в течение тысячелетий трагическое сознание человеческой ограниченности и смертности. Тема «имени» уже в «Эпосе о Гильгамеше» противопоставляется ужасу смерти, это идеал Плутарха с его героями дела, как и (со времен Древнеегипетского «Провлавления писцов») мотив вечной жизни литературного автора в бессмертном слове («Non omnis moriag...»). Тут очень значительная чисто человеческая, земная правда (имя как объект почитания, как память у людей, современников и потомков). Христианская «вечная память» в Боге, независимая от земной славы и чести, исторически противостояла этому идеалу и призвана была его заменить. В эпоху Ренессанса «имя» и «слава» человека вновь, впервые со времен античности, занимают высокое место в общественной психологии. Напомним предсмертные опасения Гамлета, требующего, чтобы Гораций остался жить и поведал истину: «О друг, какое раненое и мя, скрой тайна все, осталось бы по мне!» (Здесь и далее в цитатах — разрядка моя.— Е. Т.) С идеями «чести» и «славы» связана этика доблести, культ совершенствования личности и пафос великих дел. В народе с его тягой к земному тема «имени» никогда, по сути, не умирала.

В мире шолоховского романа это прежде всего казачья честь и слава. «Добрый казаком ушел на фронт Григорий; не мирясь в душе с бессмыслицей войны, он честно берег свою казачью славу». Правда «имени» в судьбе Григория подвергается сильным испытаниям. Честь и слава воина неразрывны с искусством и необходимостью убивать, а это претит душе Григория. Травма первого убийства во время войны обнаруживает конфликт между требованиями казачьей чести и этикой «не убий», необязательно рассматриваемой в христианском духе: это аксиома любого конструктивного общежития. В дальнейшем отвращение к убийству осложняется мотивами классового характера и нового, вынашиваемого в революции единства (припадок после схватки с матросами: «Кого же рубил!»). Разрешается для Григория конфликт отказом от войны и оружия (сюжет, хорошо знакомый веку). Но не менее важно, что с начала и до конца Мелехов остается образцом и вершиной народного представления о казаке-воине (так он, в частности, дан глазами казачки при возвращении с фронтов гражданской). В финале романа испытания истощают почти все физические и духовные силы героя, но не отнимают у него этого ореола. Казачий идеал «чести и славы» в лучших его чертах (без грабительской и шельмовской удали) применительно к Григорию не снимается, но выживает и сохраняется не только рядом с его ошибками и заблуждениями, но, что существеннее, и рядом с иными, более высокими, воплощаемыми и искомыми им же истинами. В этой неотменимости песенного казачьего идеала — одно из свидетельств органической народности героя романа.

Есть у темы «имени» и женская вариация — верность женщины, социальные табу и традиции, ограждающие ее и не преступаемые без утраты «доброе имени». Тут разные грани представлены Аксиньей, Натальей, Дарьей. Ценность социального «имени» и стоящая за ним правда высоки, но и относительны. Именем можно жертвовать — и Аксинья так поступает — перед лицом высшей и большей истины (правды любви). Наталья, утратив и любовь, и, как ей представляется, «имя» жены и женщины, стремится к самоубийству. Судьба Дарьи — пример ошибочного и регрессивного выбора правды-ценности. «Имя» она преступает ради инстинкта пола, отделенного и от любви и от деторождения. Для нее в этом — до поры — своя обдуманная позиция: «Мне без этого нельзя... Мне казак нужен...» В данной сцене (когда Дарья пыгается соблазнить и одновременно убедить свекра) Пантелей Прокофьевич забавно по форме, но по сути верно определяется в отношении правды Дарьи: «Неужели на ее стороне правда? Может, мне надо бы было с нею грех принять?» Сцена по общему содержанию переключается с той, в которой Митька Коршунов пугает свою сестру Наталью готовностью переспать с ней. Образы Митьки и Дарьи отдаленно ассоциируются в структуре романа как мужской и женский варианты эгоистической аморальности и извращенной силы. С ними связаны мотивы утраты родового, принципиально «человеческого имени». В случае Дарьи это эпизод убийства ею Ивана Алексеевича Котлярова и реакция на случившееся Григория («Гга-дю-ка!»), слова Дуни: «Мамазя забоялась ночевать с ней в одной хате, ушла к соседям...» Так же и Пантелей Прокофьевич — не пускает (после истребления семьи

Кошевого) Митьку Коршунова в свой двор. В духе народной правды написан и конец Дарьи. Подводя итоги, она жалеет о прошлом: «Я вон какую жизнь прожила и была вроде слепой... Мне бы теперь сызнова жизнью начать,— может, и я бы другой стала?» В подобных эпизодах и поворотах сюжета проглядывает сопоставление лишь узкозначимого и относительного «добротного имени» (связанного с условностями места и времени) и безусловно ценного имени человека (к разрушению которого и ведет преступление).

Христианская правда-нравственность в романе дается как ценная и высокая, но для описываемой эпохи неактуальная, менее всего возможная и воплотимая в революции:

В годину смуты и разврата
Не осудите, братья. брата.

Не случайно ее носитель — «какой-то старик», живущий в стороне от сути событий (финал второй книги). Другой старик, Чумаков, рассуждает в духе национально-государственного православия: «Ну, мыслимое ли это дело: русские, православные люди, сцепились между собой, и удержу нету» — и звучит это наивно.

Следует добавить, что русский «пафос совлечения, жажда совлечься всех риз и всех убранных, и совлечь всякую личину и всякое украшение с голой правды вещей»² для народа никогда не был ограничен аскетически истолкованной истиной христианства («оставь все и по Мне гряди»). В низовой линии размышлений о Правде (так называемая народная версия христианства) акценты стоят на земном идеале, социальных и нравственных его аспектах. Близок к этой линии и тот личностный идеал «святости в миру», несколько двусмысленный и колеблющийся на границах, который занимал всегда русскую литературную классику. В русском сознании есть характерная убежденность в земной осуществимости идеала, требование к нему воплотиться полностью не где-нибудь, а здесь и теперь...

Бытует в народе особое представление — «человечья правда». Это правда-справедливость как минимум земной человеческой справедливости. Соблюдать ее следует не ради славы — столь минимальная справедливость с высокой славою не связана — и не из-за чисто внутренних побуждений (хотя и они в таком случае никак не исключены). Хранить минимум справедливости обязывают особого рода практические соображения. Этому учит молодых, следующих на войну, старик казак: «Помните одно: хочешь живым быть, из смертного боя целым выйтить — надо человечью правду блюсть... чужого на войне не бери — раз. Женщин утиси бог трогать...» Отказ от чужого в условиях войны, казалось бы, разрешающей все, и есть минимум правды-справедливости, обязательный, чтобы не навлечь на себя месть выводящего преступником из равновесия мира («Женщин никак нельзя трогать. Вовсе никак! Не утерпишь — голову потеряешь али рану получишь, посла спопашаешься, да поздно»). Тут в «Тихом Доне» всплывают древнейшие народные (тесно связанные с магией: «...и ипо молитву такую надо знать...») представления о справедливости как законе, объемлющем равно человеческий и природный мир (прочищу Гераклита: «Солнце не нарушит предписанной ему меры, иначе его настигнут Эринии, помощницы справедливости»). Мировая гармония согласно этим старинным воззрениям включает в себя войну, но и на войне безоглядное своеволие, затрагивающее последнюю справедливость, нарушает основы жизни и непостижимым образом наказуемо. Чубатого, попирающего справедливость и наслаждающегося убийством, сторонятся не только люди, но и животные.

«Человечья правда» не что иное, как стихийно сложившееся народное право. Правда эта жива и актуальна, но неясны, безличны стоящие за ней силы. В конечном счете она не более чем равновесие мира, гомеровская «золотая цепь» бытия, таинственно реагирующая на нарушение любого звена. Ведь абсолютная справедливость — нечто безличное и надчеловеческое, лежащее выше и за гранью этого мира. Это загробный — или Страшный — суд, когда все тайное и скрытое даже от себя становится явным и каждый получает в точности по заслугам. Между тем, как заметил Гамлет, «если принимать каждого по заслугам, то кто избежит кнута?». Справедливость в полную ее меру выше человеческих сил и суда («Мне отмщение, и Аз воздам...») и мало совместима с земными условиями и возможностями чело-

² Иванов Вячеслав, «О русской идее» («По звездам. Статьи и афоризмы»). СПб. 1909, стр. 328).

века. Поэтому в реальных обстоятельствах и приходится настаивать на ограниченной справедливости — «человечьей правде».

«Так судят в небесах, но на земле — когда?» — говорит Изабела в пушкинском «Анджело» о претензии на безусловную и безоговорочную справедливость, рядящейся в тогу юридического закона Пушкин сводит здесь истину (реальный характер закона, государства и человека, иногда неизвестный самому человеку, — так, герой поэмы Анджело с изумлением открывает такого себя, о котором не мог и подозревать) и буквальную нелицеприятную справедливость, место которой больше «на небесах», чем «на земле». Рядом он ставит третью, более высокую правду — милосердие («...без милосердия; скажи: что было б с нами?»), в духе которой и завершается произведение («...Прости же ты его!» И Дук его простил). С милосердием, в свою очередь, сопоставлена исходная и полная его ипостась — любовь («Подумай — и любви услышишь в сердце глас, и милость нежная твоими дхнет устами, и новый человек ты будешь»). Отправляя Анджело на заслуженную казнь, Дук обещает Марьяне:

«...но о твоей судьбе
Сам буду я пещись Останутся тебе
Его сокровища, и будешь ты награда
Супругу лучшему». — «Мне лучшего не надо».

Эти (выделенные) слова Марьяны, идущие вразрез с плоской логикой, неподсудны ни правде-истине (как объективному взгляду на вещи), ни правде-справедливости, ни даже правде-милосердию. Это правда-любовь, как бы венчающая в поэме сопоставление ипостасей Правды.

Если милосердие — действительно грань Правды, то у Шолохова оно насущный, но, как правило, невысказанный вопрос, ибо к кому обращаться с просьбой о милосердии в огне и безжалостности гражданской войны? Личная слабость бессмысленна и раздражает прежде всего соратников, обращение к врагу бесполезно и унижительно (сцены перед расстрелом подтелковцев) Закушенное Бунчуком во время расстрела плечо — знак отказа от всякого намека на просьбу о милосердии. Это выражение крайней ненависти, и так живущий и умирающий на острие борьбы Бунчук прав и оправдан ее законами. Тем не менее и невысказанный вопрос о милосердии звучит как пронзительная, готскливая нота, составляющая авторский фон ряда трагических сцен, таких, как расстрел Петра Мелехова, массовые расправы над пленными, и многих аналогичных. Речь, конечно, не об обращении к врагу с мольбой о пощаде, а об ином и большем — о наличии правды как милосердия в самых основах человеческой жизни. Прямо эта тема вырисовывается редко. Пожилая казачка спасает красноармейца, какой-то мальчонка бьется в истерике при виде избиваемых пленных («Маманя! Не бей его! Ой, не бей!.. Мне жалко! Боюсь! На нем крови!..»), старик конвоир дает им напиться из колоды для скота Не случайно проявляющие милосердие — это люди, вынесенные даже по возрасту (старик, старуха, младенец) как бы на периферию времени, психологически удаленные от жгущегося центра событий. Для «Тихого Дона» в целом характернее окончание последнего из перечисленных эпизодов: «Иван Алексеевич напился, стоя на коленях, и, подняв освеженную голову, увидел с предельной, почти осязательной яркостью: изморозно-белый покров известняковой пыли на придонской дороге, голубым видением вдали отроги меловых гор, а над ними, над текучим стремением гребнистого Дона, в неохватной величавой синеве небес, в недоступнейшей вышине — облачко. Окрыленное ветром, с искрящимся белым, как парус, надвершием, оно стремительно плыло на север, и в далекой излучине Дона отражалась его опаловая тень» Предельная жестокость и страдание человека — пленных гонят, чтобы забить в пути, и забивают — спроецированы на гармонический фон бескрайнего мира. Человек из глубины муки поднимает взгляд к небу, но небо молчит, непроницаемое в «недоступнейшей вышине». Где ответ на взыскание милосердия, на тоску и нужду в нем? В конце романа «низ» и «верх» общей картины сливаются, и герой видит черное небо и сияющее на нем черное солнце (солнце мертвых в народных архаических мифологиях). Но как раз в образе этого персонажа, Мелехова, «Тихий Дон» и дает трагический, но вполне позитивный ответ на вопрос о наличии в мире правды.

«Жестокость» реализма «Тихого Дона» — существенная черта народного восприятия правды жизни; жестокости как индивидуалистической извращенности она

противоположна по смыслу и происхождению. Подход к миру и человеку, подобный шолоховскому, выковывается суровым опытом повседневности, падающим на долю низовых масс, и невероятными испытаниями души и тела, которые они берут на себя, в особенности в решающие минуты истории. Главное же: то, что для индивидуального сознания лишь с предельным усилием выносимо, так способно его затемнить и разрушить, — утрата достоинства и свободы, физические муки, потеря близких, обреченность на безвременную и тяжкую смерть, — с точки зрения народа как целого, страшно, но далеко не закрывает всего горизонта. Жизнь народа в сознании его неуничтожима и вечна, что перевешивает ужасы и потери порой громадного большинства, позволяя видеть происходящее в нерушимом обетовании будущего. Во всяком случае, так было еще вчера, до зенита термоядерной эры.

Убежденность в торжестве над всеми трагедиями и приводит к бесстрашию и прямоте ни от чего не отворачивающегося взгляда, поражающего уже в «Илиаде», где, скажем, описание подробностей ранений и боя по объективной анатомической детализации (пародии на нее можно найти у Рабле) с трудом приемлемо для более индивидуализированного эстетического сознания. Шолохов в самом глубинном смысле народный автор, вдобавок обогащенный внутренним знанием новоевропейской личности с ее запросами и, что в рассматриваемом аспекте особо важно, опытом политической новейшей истории с ее специфической беспощадностью.

С тех пор как Макиавелли подчеркнул различие между моральными основами частных (межличностных) и публичных (политических) отношений людей, различие это нельзя не учитывать в анализе реалистического изображения жизни, и в особенности таких явлений истории, как революции и гражданские войны. Герои Шолохова погружены в стихию бескомпромиссной и кровопролитной борьбы классов и партий, неустойчивых, перестраивающихся и распадающихся конкретных единств и союзов, в которой личность как абсолютный (а не просто значимый практически) фактор на время снимается со счетов. На стыке этих взаимодействий — сокровенного мира личности с ее судьбой и общенародного, а также политического приоритета — и складается жесткая шолоховская манера повествования. Тут обнаруживает себя политическая, партийная и классовая идеология времени — сталкивающиеся «правды» социальных слоев и групп. В этом смысле роман рассматривался подробнее и чаще всего, но зато наиболее тенденциозно и конъюнктурно. Анализ устремлялся обычно к утверждению и поддержке одной из идеологий — у нас, разумеется, большевистской правды. Накал политических страстей, с обжигающей силой бушующих в «Тихом Доне», десятилетиями выплескивался на страницы критических монографий и отзывов: менялись оценки и знаки, но оставался пафос разъединения, непримиримости, несогласия. А ведь сердцевина, смысл «Тихого Дона», напротив, в центрирующей, объединяющей всех идее. Вне координации с ней невозможны ни подлинное постижение позиций героев, ни оценка русской революции, согласная с произведением в целом. Бездна раскола, трагедия революции в зеркале романа безупречно реальны, но эстетически они переданы через пафос народной правды, «под крылом которой мог бы посогреться всякий». Подобной правде чужда предвзятая и нивелирующая логика социальной утопии; напротив, она стремится сохранить в своем лоне все мыслимые противоречия и разногласия жизни.

Говоря о «Тихом Доне», совершенно недостаточно утверждать — вместе, скажем, с П. Палиевским, — что «точку зрения народа как целого, формировавшегося нового единства взамен распавшегося — отчего и шла гражданская война, — вынесли, доказали и объединили собой красные»⁴. В свете «Тихого Дона» достаточно проясняется и противоречивая суть «большевистской правды», природа того рока, который она несла в себе и который проявился в судьбе и характере всего нашего общества. Темы, развиваемые сегодня в публичных дискуссиях, ораторских и печатных, почти не касаются этой сути. Спорят о троцкистско-сталинских отклонениях от ленинской стратегии в экономике и политике, о характере сталинизма как тоталитарной системы, о насилии как изнанке идеологии, сыгравшем столь зловещую роль в отечественной истории. Но явления эти вторичны и производны. Это только следствия и симптомы основного политического инструмента марксизма: доктрины о борьбе классов, рожденной ранее, чем марксизм, но им возведенной в степень

⁴ П а л и е в с к и й П. Литература и теория. М. 1978, стр. 274.

научной истины и государственного руководства к действию. Как критерий политики социального переустройства тезис этот был интерпретирован и воплощен в жизнь прежде всего большевистской партией. «Крайности» типа полпотовского эксперимента обрисовывают лишь логические пределы ориентированной на классовую борьбу стратегии. Дело в приоритете самой идеи, а не в формах ее применения — маоистских, полпотовских или сталинских.

Классовая борьба — истина, но истина относительная и частная. Как политический лозунг она требует подчинения универсальным ценностям. Становясь доминирующей, «правда» эта заражает насилием и фальшью всю логику общественных отношений. Принцип классовой борьбы в качестве путеводной звезды политики не оставляет в обществе почти ничего не извращенного, не затронутого ложью, ненавистью, бесплодием и проклятием неподлинности существования.

В определенные, решающие моменты первой четверти XX века «ветер истории» — баланс ее социальных сил — неудержимо пронес Россию сквозь огонь трех революций, а затем гражданской войны. Моменты эти, и в особенности характер ситуаций, резонировавших со стратегией и тактикой большевистской партии, еще ждут внимательного исследования. Во всяком случае, уже вскоре после Октябрьского восстания поэтапно и неотвратимо проступили зловещие признаки углубляющегося раскола в «новом единстве». Это был не только раскол наверху — в новых коридорах власти, — но и в первую очередь обнаружившийся раскол внизу. «Ты говоришь — равнять... Этим темный народ большевики и приманули. Посыпали хороших слов, и попер человек, как рыба на приваду! А куда это равнение делось?.. Да ить это год ихней власти прошел, а укоренятся они — куда равенство денется?..» Такие и более горестные заметы и создают грозовой фон в последних книгах «Тихого Дона».

Конечно, многое в приведенных словах наивно с точки зрения так называемой политграмоты. Но это наивность мудрости: за горькими словами Григория стоит все та же максималистская народная этика, не приемлющая политической конъюнктуры, не согласная мириться с неправдой во имя правильности общего курса. И герой прав; история вплоть до наших дней систематически подтверждает его правоту.

Диалектика большевистской правды — суровых законов стоящей за нею ненависти, копившейся тысячелетиями, неудержимого порыва к лучшему и неизбежной трагедии, которую нес с собой этот порыв в его реальных исторических формах, — представлена в «Тихом Доне» достаточно резко и неприкрыто. И с высоты сегодняшнего нашего знания вывод может быть лишь один: в сторону сберегающего весь спектр различий общего единения.

Именно этот выбор и совершает в поворотных пунктах своей судьбы Григорий. Конфликты, составляющие суть таких эпизодов, как убийство Кошевым деда Гришаки или его же последняя беседа с Мелеховым, очень остро прочерчиваются в романе. «Враги мы с тобой...» — «Были». — «Да, видно, и будем» — такова линия Кошевого. Логика Григория: «Ежли все помнить — волками надо жить» — ему недоступна. По этой линии, размежевающей всеобщую и большевистскую правду, и проходят разногласия Григория Мелехова с победившей властью, уже выказывающей свои самые существенные черты. И когда нам говорят: «...неверно полагать, что запросы и стремления, вытекающие из таких качеств личности Григория, как благородство, вольнолюбие, чувство справедливости, неизбежно должны вступить в противоречие и даже в конфликт с обстановкой гражданской войны, условиями диктатуры пролетариата»⁴, — этому не приходится верить.

Сколь ни печально, но к торжеству идеи сплочения над всем партикуляризмом страстей, над драматическим хаосом индивидуальных, общественно-политических, религиозных, этнических и межгосударственных разногласий человечество в целом может принудить только необходимость. В первой половине нашего века, не говоря обо всей новой истории, силы разъединения и противоборства классов, наций и государств были действительно неизмеримо весомее, чем силы объективной консолидации. Сегодня наконец сложились условия, когда основные противостоящие лагери оказались вынужденными склониться к объединяющей, связующей человечество политической логике. Всерьез и надолго ли — знать, увы, не дано.

⁴ Хватов А. Художественный мир Шолохова. М. 1978, стр. 241.

Но зато повсеместно и во все эпохи отдельные люди отдавались идее всеобщего единения абсолютно свободно, вопреки, казалось бы, безнадежному противоречию ее с действительностью. Подобные судьбы далеко не единичны, хотя в любом случае исключительны, и в каждом таком случае независимо от исторического костюма перед нами — народный герой. Увенчаны этого рода образами и высочайшие вершины искусства, не говоря уж о колоссальных, надчеловеческих фигурах, центральных для великих религий. В советской же художественной литературе есть по крайней мере одно безусловно убедительное изображение «положительно прекрасного человека», выходящего из анонимных глубин, носителя почти безмолвной, но общей Правды. Решающее различие между «Тихим Доном» и «Поднятой целиной» состоит в том, что в последней немислим подобный герой и подобного размаха идея. В «Тихом Доне» трагически торжествует общая, в «Поднятой целине» — классовая и партийная истина.

Противоречие между нереалистической, казалось бы, сутью большой, объединяющей Правды и императивной потребностью, безотлагательной нуждой в ней и приводит к особому драматизму участи ее носителей. Представительство ее чревато как трагизмом, так и комизмом судьбы и личности (полусами олицетворения этой Правды выступают герой и шут). В «Тихом Доне» нет никаких следов приписывавшейся некогда Григорию Мелехову склонности к «абстрактному» гуманизму, «поверхностности» или «примитивно» понятой справедливости. Все это фальшивые, конъюнктурные обвинения. В народной правде не может быть никакой абстрактности: она сама конкретика и полнота жизни ее героя, обычно не готового обсуждать ее или формулировать.

Такие выразители ее, как Григорий Мелехов, обретают в мировой литературе особый статус. Это исключения, уникальные и одинокие личности-судьбы, как бы выпавшие (на поверхностный взгляд) из своей эпохи. Однако подобные исключения ценностно ориентируют свою эпоху, ибо через них проходит осевая линия народной устремленности к немедленной правде, счастью и справедливости для всех без изъятия. Не имея определенной и узаконенной роли ни в одной из борющихся сторон и партий, герои этого рода как бы высвобождаются для максималистской, но потому и связывающей все времена задачи: духовного очищения и объединения человечества.

Григорий, безусловно, не ограничен конкретной (казачьей и середняцкой) «психологией». Это лишь промежуточный уровень его личности и судьбы, реально необходимый, но над которым и личность и судьба высоко поднимаются. Ведь и среди иных по социальному происхождению героев романа Григорий Мелехов стоит одиноко и высоко. Однако не столько из-за своих человеческих качеств, пусть даже понятых как выражение лучшего в нации (людей с замечательными человеческими качествами в «Тихом Доне» немало), сколько в силу стоящей за ним огромной мысли.

«Тихий Дон» все еще недостаточно нами осознан в качестве романа идеи. За деревьями, как нередко бывает, не видят леса, и роман до сих пор подсудно воспринимается как почти что этнографический, натуралистический, приземленный. Философский характер «Тихого Дона» не замечается, ибо перед нами — народная, органическая, враждебная отвлеченностям философия. Правда здесь более поступок, чем умозрение. И в этом смысле «Тихий Дон» — один из наиболее своеобразных романов идеи.

Проблематика произведения со всех сторон сходится к фигуре и жизненному пути Григория Мелехова и как бы сгущается и кристаллизуется в них. Григорий — центральный герой не только сюжетно, но и идейно; это не маргинальная по исторической сути (хотя и привлекательная лично) фигура — не только не «враг» и не «отщепенец», но и не из безличной «середки»; он представитель центра, ствола народа, это позитивный образ, представляющий весомую истину. Но какую же? С привычными критериями героя революции и гражданской войны персонаж несовместим. На каком-то этапе критика пыталась чисто механически подставить его в привычный положительный ряд: «Какие они разные в своей крупной и яркой индивидуальности — Чапаев Д. Фурманова и Левинсон А. Фадеева, Павка Корчагин Н. Островского и Мересьев Б. Полевого, Григорий Мелехов, Давыдов М. Шолохова... Свод положительных героев многонациональной советской литературы многокрасочен и ярок. Он выражает время на каждом новом этапе нашей героической истории и включает в себя разнообразнейшие, подлинно народные характеры, в своей

совокупности воссоздающие богатейший спектр человечности и гуманизма социалистического общества»⁵. Само это сопоставление обнаруживает, что позиция «рядом» отражает своеобразие Мелехова несколько не лучшим образом, чем позиция «сбоку» (представитель «казацкого автономизма» и в этих пределах народный тип) или «напротив» (жертва объективных исторических условий, носитель личного заблуждения).

Не замечая непосредственно данной, почти не формулируемой идеи, видят вместо нее только «личные качества», психологию. «Герой Шолохова сильный, энергичный и мужественный человек, субъективно стремившийся к правде... Его натура открыта, благородна, порывиста и правдива»⁶. Цитируют сочувственно: «...ничего я не понимаю... Мне трудно в этом разобраться... Блуждаю я, как в метель в степи...» Но «блуждает» Григорий, «ища правды», не от пустоты и не от незнания; он тоскует по воплощению правды в жизнь, ибо слишком остро, изнутри ее знает. Откуда в противном случае обобщающая сила этой фигуры, оцутимо стоящая за ней и далеко ее превышающая правда позиции, свободно выбираемой и отставиваемой?

Думается, решение подобных вопросов связано с выдвинутыми еще Аристотелем понятиями «вершины» и «середины» (книга вторая «Никомаховой этики»). Подлинно среднее, «мезотес», — не арифметически среднее (и даже не «золотая середина» Горация, столь в последующие века излюбленная мещанством), но «акротес» — высшее и поэтому лучшее.

Применительно к «Тихому Дону» это допустимо выразить в терминах «середки» и «центра», как делает П. Палиевский, характеризуя степень связанности героев романа с сутью народа. Ведь что такое, собственно, центр? Это уникальная точка сферы, не находящаяся в ней симметрических и прямо родственных соответствий. В то же время в единственной этой, неповторимой точке скрыто (свернуто) заключен закон сферы, и относительно центра все остальное разворачивается, измеряется, получает свой смысл и место. В русской культуре центр — это Пушкин, эстетически уникальный, но сосредоточивший в себе ее прошлое, как и будущее; для Древней Руси это «Слово о полку Игореве», действительно «единственный памятник» (Пушкин), сколько бы переключил его с XII и последующими веками ни вскрывалось со временем: единственный как чудо своеобразия, но содержащий и предсказывающий общие черты национальной самобытности российской культуры задолго до вычленения восточнославянских национальностей. То, что усреднено и имеет параллели и соответствия, — типично, но более или менее поверхностно и шаблонно. Сущностное же, универсальное — неповторимо, единственно, исключительно.

В этом смысле напомним как бы скрыто цитировавшиеся выше слова Достоевского об исключительном человеке: «Ибо не только чудак «не всегда» частность и обособление, а напротив, бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину целого, а остальные люди его эпохи — все, каким-нибудь напывным ветром, на время почему-то от него оторвались...» Органическим «чудаком», существующим в большой Правде, интересовалась до и помимо Достоевского центральная, может быть, линия мировой и европейской культуры. Это и сегодня в литературе одна из самых популярных фигур. Откуда только не приходит этот чудак — «с высот поэзии» («Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?»), с Неба, из рыцарских романов, из лаборатории Фауста, из кельи аскета, с учительской кафедры. Но у Шолохова его пришествие с хутора Татарского — само по себе огромное культурно-историческое событие. Место «исключительного» обнаруживается в глубинах, в массе, а не на социальных и интеллектуальных высотах.

Главное в человеческом характере Мелехова — верность идеалу, а следовательно, цельность. Прочно бытовавшие (и сохраняющие и сегодня определенный вес в критике) представления о раздвоенности Григория как психологической его доминанте — недоразумение. Герой этот ничуть не менее целен, чем персонажи-большевики или их противники, но по-своему. Трагический герой, как правило, — вообще образец человеческой цельности, а не раздвоенности. Представитель объединяющей Правды, Мелехов не вмещается в рамки реальной политики времени, что и может создавать

⁵ Кузнецов Ф., «Мужество гражданское» («Литературная газета», 19.9.84).

⁶ Радос Андреас, «Традиции греческой античности в творчестве Михаила Шолохова» («Поэтика стваралаштва Михаила Шолохова». Нови Сад, 1986, стр. 19).

иллюзию расщепленности и неоднородности его установки. Конечно, сам он мучается своей обособленностью и безуспешно стремится к партийной определенности, но это не следует принимать за дезориентированность. Григорий не может примкнуть окончательно ни к кому, ибо не принимает частичной правды. Это над кризисами эпохи встающая бескомпромисность личности, ничего общего не имеющая с политическими шатаниями.

Григорий Мелехов — целостный человек в трагически разорванном времени. Вот как обозначена личность и позиция шолоховского героя устами других персонажей. По словам старика Чумакова: «Хороший казак! Всем взял, и ухваткой и всем, а вот непутевый... Сбился со своего шляху!» Здесь соединены и «честь, и слава», и нечто, может быть, более глубокое, общечеловеческое с выломанностью, выпадением из среды, если же говорить шире — из времени, его «столбовых дорог». Последнее знает, как «деватьеся некуда», и Григорий: «У меня выбор, как в сказке про богатырей: налево поедешь — коня потеряешь, направо поедешь — убитым быть... И так — три дороги, и ни одной нету путевой...» Мелехов — «несчастный человек», как это видится самым близким (слова Аксиньи), и, если угодно, тот же «чужак» — так определяет его случайная попутчица: «...какой-то чудаковатый... Нет, хороший казак, только вот чудной какой-то». Она же саркастически характеризует Мелехова: «Святой во вшивой шинели, вон ты кто!» Соратник его по восстанию Копылов, обобщая свои впечатления, подводит сходный итог: «...давно к тебе приглядываюсь, Григорий Пантелеевич, и не могу тебя понять... С одной стороны, ты — борец за старое, а с другой — какое-то, извини меня за резкость, какое-то подобие большевика... Ну, не чужак ли ты?»

Мелехов действительно «борец за старое», но в ином смысле, чем тот, который вкладывает в это понятие Копылов. Он борется, не всегда и не полностью давая себе в этом отчет, за древний, но не стареющий нравственный императив народа. Выражая ближайшие идеалы среды («честь и слава»), он мучается убийством, несправедливостью, бесчеловечностью, хочет всеобъемлющей земной правды, которую порой отчаивается найти, сомневаясь в ее существовании. Между тем, связанный неизбежностью неоткладываемых решений, совершая порой ошибки и озлобляясь, он — и здесь трагизм личности и судьбы — парадоксально зависим и неотъемлем от революции. Революция — прорыв в исторических силах необходимости, в который только и может вместиться не знающая половинчатости надежда. Но революция есть как раз то время, когда носитель всеобщей надежды — герой ее не на словах, а на деле — оказывается один против всех.

В разрывающее все связи время носитель идеи объединения заведомо обречен и как человек любящий. Для Григория невозможен и закрыт выбор между Аксиньей (любовь-страсть и любовь-свобода) и Натальей (любовь-долг и любовь-закон, любовь-семья и любовь-жалость), и закрыт не только психологически, но и в высшем нравственном смысле. Поистине Шолохов «убедил нас в том, что и эта история решается не просто между «тремя», а в том самом необъятном смысле, которому посвящен роман»¹. Правда, каков этот смысл, П. Палиевский не раскрывает.

Говоря об «этой истории» точнее, трагическое в романе просвечено тягой к согласованию несогласуемого. В данном случае мы прикасаемся к острой и деликатной, но также старинной, непреходящей и тесно связанной с сутью «Тихого Дона» мысли. Я говорю об исключении из сферы интимных отношений (во всем их психофизиологическом и нравственно-социальном диапазоне) разъединяющих людей факторов ответственности и власти. Это мечта многих авторов философских и художественных утопий, начиная с Платона (в «Республике») и кончая рядом современных произведений близкого жанра, скажем, «Мальвием» Робера Мерля. В заострившем на свой лад проблему ренессансном искусстве, народном по духу, напомним «Сад земных наслаждений» Босха или «Скованную любовь» Джона Донна. В практике исторически имевших место коммун и закрытых духовных объединений были выработаны два крайних пути с целью исключить «обладание» и «доминирование» в интимной сфере: аскетизм и половая община. Пусть прямого касательства к роману Шолохова это не имеет, но мотивы собственности и власти в этой сфере проведены Шолоховым с обычной, то есть исключительной, прямотой. Например, разговор Аксиньи с Панте-

¹ Палиевский П., «„Тихий Дон“ Михаила Шолохова» (Шолохов М. Тихий Дон. М. 1980, т. I, стр. 7).

леем Прокофьевичем: «Гришка мой! Мой! Мой! Владаю им и буду владать!»; с Натальей: «У нас с тобой так: я мучаюсь — тебе хорошо, ты мучаешься — мне хорошо... Сдного ить делим?.. Завладала я Григорием опять и уж зараз постараюсь не выпустить его из рук» — и т. д. Мысль о трагической судьбе объединяющей Правды в разорванном, сталкивающем несовместимые интересы мире — для Шолохова проблема и применительно к лично-интимной области (любовь, семья, дети, брак).

В мировом, космическом плане «Тихий Дон» прикасается к древнему убеждению о единстве природного и этического начал. У Шекспира, казалось бы, в последний раз на пороге нового времени «нестроение» в мире людей отзывается бурями, зловещими знаменьями и явлениями потусторонних сил. Но что же происходит, когда Григорий, похоронив Аксинью, «словно пробудившись от тяжкого сна... поднял голову и увидел над собой черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца»? Это место толкуют психологически, как великолепную передачу душевного потрясения и общей безысходной ситуации персонажа. Но истина, эстетически выраженная здесь, древнее и шире этих бесспорно наличных смыслов. Тут художественной интуицией высвечен и выведен на поверхность старинный народный символ трагического несогласия и неблагополучия в мире. Так выглядит потрясенный мир с точки зрения не только индивидуального сознания Григория Мелехова, но и его утопической идеенормы. Однако превышающий историческую ситуацию исход трагедии в пределе связан если не с надеждой, то с вопросом о ней, о чем свидетельствует не раз цитировавшийся приблизительно в этом смысле финал: Григорий держит на руках сына.

Устает и почти надывается в итоге конечный и ограниченный человек, но не отстаиваемая им правда. Развитие событий «Тихого Дона», если сосредоточиться на линии основного героя, идет от спокойного эпического зачина к романно-эпическому трагизму с нарастанием — почти до предела в финале — трагической темы. Значит ли это, что Шолоховым дан пример «разрушения личности», что герой шел принципиально обреченным путем, погубив на нем и себя и близких? Такая трактовка встречается и в достаточно недавних работах о «Тихом Доне». У Шолохова все иначе и глубже. Григорий оказывается в одиночестве как разрешитель непрагматической, но всегда актуальной задачи; сама идея в его образе вызывает и все более вырастает к финалу.

В истории литературы Мелехов стоит на одной линии с величайшими художественными образами праведников, правдоискателей и борцов за правду. Ближе всего, пожалуй, он к Дон Кихоту. Указывались выразительные параллели: вполне родственные по духу сцены с освобождением узников в обоих романах, фигура денщика Прохора, соотносящегося с Григорием так же, как Санчо со своим господином⁸. Шолоховский герой, отмеченный чертами высокого «чудака», дан и с юмористическими оттенками (например, Копылов примечает невежество и плебейские замашки Григория), и не без черточек «рыцаря печального образа» («несчастный человек... уж такой он уморенный, как, скажи, на нем воза возили.. седых волос много, и усы вон почти седые»). Выражение «казачий Гамлет» раз или два мелькало в дискуссиях о «Тихом Доне» и тоже имеет свои основания: Григорий Мелехов, как и Гамлет, ищет «связи времен», взыскуя чести и достоинства человека. Мелехов — вообще низовой (казацкий) тип рыцаря. По близкой линии («рыцарь бедный») возможна параллель с князем Мышкиным⁹. Наконец, Григорий в сценах пиров с соратниками, водительства им полков — может быть, какой-то оригинальный отзвук «царя от нищеты» из русской народной утопии, посвященной Правде («Житие Андрея Юродивого»).

В общем же, низового происхождения фигуры правдоискателей варьируют высокий тип безумца и чудака (в низшем пределе — шут); такой герой получает со всех сторон удары и редко встречает понимание, но зато олицетворяет живую преемственность человеческой жизни — неистребимость в ней реального идеала. В свете таких символических образов осуществляется иронико-трагедийный суд над условиями земного утверждения правды, что и высказано Достоевским по поводу «Дон Кихота»: «...это самая горькая ирония, которую только мог выразить человек, и если бы кончилась земля, и спросили там, где-нибудь, людей: „Что вы, поняли ли вашу

⁸ См.: Таутовий Радојица, «Буря на Тихом Дону» («Поэтика...», стр. 53).

⁹ Сближение принадлежит Чингизу Айтматову: «Один человеческий тип — Овод, он совершил подвиг и зовет к подвигу своим примером. Но есть и другой — в литературе это, скажем, Мелехов или Мышкин, — в них тоже происходит кристаллизация добра, честности, бескомпромиссности» (Айтматов Чингиз, «Ответь себе» — «Правда», 5.8.67).

жизнь на земле и что об ней заключили?" — то человек мог бы молча подать Дон-Кихота: „Вот мое заключение о жизни и — можете ли вы за него осудить меня?" В то же время подобные фигуры — глубокие прозрения во взыскуемое испокон веков будущее и свидетельства высших возможностей человека.

Есть существенный и важный аспект темы Мелехова, проясняющий растущее к концу романа его одиночество. Он и народный по сути своей персонаж, и неожиданное развитие темы «лишнего человека» в русской литературе.

Допустимо нетрадиционное применение этого старого термина русской критики. В конце концов, «лишний человек» как явление социальной жизни не ограничен классово-сословными рамками верхушки европейского общества Нового времени или, что еще более узко, русского дворянства второй трети прошлого века. У нас утвердилось понимание «лишнего человека» как привлекательной и наделенной высокими задачами личности, отесненной, однако силою обстоятельств на обочины жизни, личностно, связанной прежде всего с критическим, а не с позитивным идейным потенциалом. Такое понимание узко и для некоторых привычно признаваемых «лишними» героев русской литературы. Есть более глубокая и существенная, объединяющая мирового масштаба образы линия «лишнего человека», ее мы отдельными разрозненными приемами и намечали выше.

Литературная тема (и реальное явление) «лишнего человека» возникает там, где имеются не только социально-культурные в узком смысле, но и высшие морально-этические основания для отчуждения (невольного и добровольного) подобного человека от общества. Необходимо, чтобы он был носителем (или хотя бы, как Чацкий, взыскующим и беспокойным искателем) бескомпромиссной и не востребованной в реальность, но насущно необходимой сегодня и всегда правды. Это сразу же ставит его в особое, исключительное, трагически-позитивное положение. Есть у темы «лишнего человека» и древнейшие фольклорные корни. В русской сказке это Иван-дурак (третий сын сюжетов мировой сказки). Он «дурак» потому, что поступает согласно с непрактической, но высшей народной моралью, за что сказка (прибежище такой правды) и вознаграждает его. К сожалению, в реальности переломных моментов истории, в трагедии революции для вознаграждения «третьего сына» нет места.

Однако, следуя старинному пониманию «очарования человека», Шолохов рассказал нам именно об этом герое — «третьем сыне» революции Григории Мелехове.

СИМОНА ВЕЙЛЬ

*

«ИЛИАДА», или ПОЭМА О СИЛЕ

Достоевского уже в XIX веке прочли не только в России, да и Киркегором погонец того же века заинтересовался, например, Брандес. И все же есть, очевидно, какой-то смысл в утверждении, согласно которому наше столетие принадлежит Киркегору и Достоевскому по преимуществу; наше столетие больше и х столетие, нежели то, в котором они жили.

Если XXI век — будет, то есть если человечество не загубит до тех пор своего физического, или нравственного, или интеллектуального бытия, не разучится вконец почтению к уму и к благородству, я решился бы предположить, что век этот будет в некоем существенном смысле также и веком Симоны Вейль. Ее сочинения, никогда не предназначавшиеся к печати ею самой, уже теперь изданы, прочитаны, переведены на иностранные языки. Но трудно отделаться от мысли, что ее время еще по-настоящему не наступило. Что она ждет нас впереди, за поворотом.

То, что она до сих пор неизвестна русскому читателю, особенно прискорбно, потому что во всем составе ее морального облика присутствует та готовность к самопожизнию, которой нам, почитающим себя за народ пророка Аввакума, так часто недостает в западной духовности.

Ее жизнь началась с того, что она, не без блеска окончив Сорбонну и получив право преподавать философию в лицеях, обладая притом весьма хрупким здоровьем, пошла на завод, чтобы лично перестрадать тревожившую ее ум проблему механического труда (она считала, что именно проблема одухотворения такого труда оставлена нам греками как неразрешенная — прочие проблемы культуры они в принципе решили). Ее жизнь кончилась тем, что она, работая во время войны у де Голя в лондонском штабе французского Сопротивления и готовясь к нелегальной высадке на оккупированной территории, жестко сокращала свой ежедневный рацион, чтобы не иметь преимуществ перед соотечественниками, томившимися в условиях оккупации. Этот род высокого безумия мы слишком легко склонны считать исключительной специальностью русских максималистов.

Декларации Прав Человека, на которой основывается величие, но и некоторая духовная «теплохладность» западного гуманизма, его готовность уклониться в сторону идеала внешнего и внутреннего комфорта, Симона Вейль противопоставила Декларацию Обязанностей Человека. Она аргументировала так: если прав не соблюдают, их просто нет; но если обязанностей не выполняют, они остаются такими же реальными, такими же неумолимыми. Поэтому обязанности онтологически первичнее прав.

Ее страх оказаться в привилегированном положении перед кем бы то ни было — перед рабочими на фабрике, перед оккупированными французами, но также перед неверующими, лишенными шанса религиозно осмыслить свое страдание, — привел ее к поступку, вернее, отсутствию поступка, которое христианский богослов любого направления не может не оценить как ошибку. Любя многое — например, наследие классической Эллады, — она пламеннее всего любила образ Христа, евангельскую духовность, жизненные навыки старых монастырей, чистоту грегорианского пения; она по долгу жила в бенедиктинской обители, беря на себя все аскетические требования, де-

L'Iliade, ou le Poème du la Sorce. — Cahiers de Lud, 1940, decembre — 1941, janvier (под псевдонимом Emile Novis). Перевод с французского Кэтрин Темерсон и Александра Суконока. Статья печатается с небольшими сокращениями. «Илиада» цитируется в переводе Н. И. Гнедича.

ля с насельниками обители все, кроме таинств; но она так и умерла некрещеной. На поверхности было нежелание формально выходить из еврейства, пока продолжают гитлеровские гонения на евреев. В глубине была боязнь, что место в Церкви — тоже «привилегия», хотя бы и самая желанная. Симона Вейль ждала, что Бог сам какими-то непредсказуемыми путями разрешит для нее эту дилемму. Зримо для мира никакого разрешения не произошло. Рассуждать на эту тему неуместно — как здесь, так, наверное, и вообще. Одно можно сказать о ней в христианских терминах: заслышав зов нового страдания, который она принимала своей верой как зов Христа — «Иди за Мною!», — она никогда не жалела себя и не уподоблялась тем персонажам из притчи (Евангелие от Луки, 14, 16—20), что отказываются идти на зов Бога, потому что один купил землю, другой волов, а третий как раз вступил в брак. У нее не было ни земли, ни волов, ни брака — ничего, кроме несговорчивой совести. Кроме неразделенной воли к абсолютному.

Она была французенка и еврейка, и ей довелось жить во времена, когда гитлеризм угрожал национальному бытию французов и физическому бытию евреев, как никто и никогда. На борьбу с гитлеризмом она положила жизнь. Это не мешало ей высказывать такие жестокие укоризны французскому самовольству и еврейскому высокомерию, каких не высказывал, кажется, ни один галлофоб и юдофоб. Оно и понятно: «фобы» вообще бранятся бездарно, потому что настоящие горькие истины можно высказать только изнутри, из опыта сопричастности, в пылу яростной, взыскующей любви. Став вне, отделившись, никогда по-настоящему не поймешь, что не так. Человеческий суд причастен правде Божьей только тогда, когда это суд над самим собой.

Изредка, но бывают такие дочери: умрет за мать не сморгнув глазом, но, пока обе живы, не пропустит матери ни одного бессердечного взгляда на соседку или нищенку, все выскажет, все выговорит своим ломким, но отчетливым голосом. А мать, как бы ни злилась, будет помнить, что так дочь поступает прежде всего с самой собою. Совесть, как соль, как йод, — для ран мука, но и единственная защита от гниения.

Предлагаемый текст характерен для Симоны Вейль, постольку поскольку в нем присутствует важная для нее тема унижающего овеществления личного бытия человека под действием Силы — насилия истории, насилия природы. Недаром один из ее сборников озаглавлен «Тяжесть и благодать». Тяжесть — несвобода, благодать — обретение свободы. Показателен и выбор эллинского эпоса как отправной точки рассуждений. Гомера и трагиков Симона Вейль знала наизусть по-гречески.

...А когда-нибудь нашему читателю придет время ознакомиться с ее размышлениями о духовности труда, о необходимости восстановления «укорененности», утраченной современным человеком. И не в последнюю очередь — с Декларацией Обязанностей Человека.

С. АВЕРИНЦЕВ.

Истинный герой истинная тема «Илиады», центральная тема ее есть Сила. Та Сила, которую пользуется, распоряжается человек, та Сила, которая подчиняет себе человека, та Сила, перед которой плоть человека сжимается и цепенеет. Человеческая душа является в «Илиаде» подверженной деформациям под воздействием Силы, беспомощно влекомой и ослепленной, согбенной под гнетом той самой Силы, которую человек надеялся располагать по своей воле. Тот, кто думает, что прогресс и цивилизация укротили Силу, оставили ее в варварском прошлом, может находить в поэме Гомера документальное свидетельство об этом далеком прошлом. Но тот, кто умеет различить голос Силы сквозь века и прозревать ее сегодня, как и прежде, в центре всей истории человечества, находит в «Илиаде» ее самое совершенное, самое чистое отображение.

Сила есть некий феномен который превращает в предмет, в «вещь» каждого, кто оказывается в поле ее действия. Того же кто попадает под прямой удар, она превращает в вещь буквально: был человек остался труп. Был некто, и вот спустя мгновение нет никого. И «Илиада» не устает рисовать эту картину — герой превратился в вещь, которую волочит в пыли колесница:

Прах от влекомого вьется столпом; по земле, растрепавшись,
Черные кудри крутятся; глава Приаида по праху
Вьется, прекрасная прежде; а ныне врагам Олимпиец
Дал опозорить ее на родимой земле илионской!

Нам дано вкусить горечь этой сцены в полной мере. Никаких утешительных выдумок, никакого бессмертия, никакого пошлого ореола, будь то родина или слава.

Тихо душа, из уст излетевши, нисходит к Анду,
Плачась на долю свою, оставляя и младость и крепость.

Еще горестнее — так скорбен этот контраст — вдруг вспыхивающее и тут же гаснущее воспоминание об ином мире, о том далеком и непрочном мире, где царят семья и покой, где человек для своих близких есть самое дорогое:

Прежде ж дала повеленье прислужницам пышноволосям
Огнь развести под великим треногом, да будет готова
Гектору теплая ванна, как с боя он в дом возвратится,
Бедная! дум не имела, что Гектор далеко от дома¹
Пал под рукой Ахиллеса, смирен светлоокой Афиной.

Действительно, он был куда как далеко от теплых ванн, несчастный. И не он один. Вся почти «Илиада» совершается вдалеке от теплых ванн. Вся почти жизнь человеческая всегда проходила вдали от теплых ванн.

Сила, которая убивает,— лишь примитивная, грубая форма силы. Насколько же более разнообразна в своих выдумках, насколько более остроумна в своих эффектах та, иная, которая не убивает — еще не убивает. О, она несомненно должна убить. Или, вероятно, может убить. Или нависает над головой того, кого в любой момент способна убить. Но во всех этих случаях она превращает человека в камень. Власть образовать человека в вещь, убив его, порождает другую власть, куда более удивительную, способную обратить в вещь человека, еще живущего. Да, человек живет, он наделен душой, а все-таки он вещь. Ну и странное же он существо — вещь, обладающая душой,— и странное это состояние для души. Кто знает, сколько душе приходится в любое мгновение скручиваться и гибаться, чтобы приноровиться, чтоб ужиться в вещи? Душа ведь не создана обитать в неодушевленном предмете, а коль скоро она к тому принуждена, то нет в ней клеточки, которая не страдала бы от такого насилия.

Человек, безоружный и обнаженный, против которого в воздухе повисло копье, становится трупом еще до того, как оружие тронет его. Еще мгновение он рассчитывает, движется, надеется:

Так размышлял и стоял он; а тот подходил полумертвый,
Ноги Пелиду готовый обнять: неказанно желал он
Смерти ужасной избегнуть и близкого черного рока.

Но тут же он понял, что ему не избежать копья противника, и хотя он все еще дышит, он уже только материя: все еще думая, он не способен думать ни о чем.

Так говорил убеждающий сын знаменитый Приамов,
Так Ахиллеса молил; но услышал не жалостный голос...

Так произнес,— и у юноши дрогнули ноги и сердце.
Страшный он дрот уронил и, трепещущий, руки раскинув,
Сел; Ахиллес же, стремительно меч обоюдный исторгши,
В व्यю вонзил у ключа, и до самой ему рукояти
Меч погрузился во внутренность; ниц он по черному праху
Лег, распростершись; кровь захлестала и залила землю.

Когда вдали от поля боя слабый и безоружный пришелец обращается со смиренной мольбой к могучему воину, он вовсе не подписывает себе тем самым смертный приговор. А все-таки одного нетерпеливого движения воина достаточно, чтобы отнять у него жизнь. И этого довольно, чтобы плоть его утратила главное свойство живой материи. Ведь любой кусочек живой плоти свидетельствует о жизни прежде всего способностью вздрогнуть — как лапка лягушки под током: перед лицом чего-то пугающего, ужасного содрогнется любая масса из плоти, нервов и мускулов. Но наш старик проситель не может ни содрогнуться, ни съежиться от страха, ему не отпущено даже такой вольности. Вот-вот его губы коснутся предмета, который внушает ему наибольший ужас:

¹ В греческом подлиннике Гомера буквально: «далеко от теплых ванн». (Здесь в дальнейшем прим. переводчиков.)

Старец, никем не примеченный, входит в покой и, Пелиду
В ноги упав, обымает колена и руки целует,—
Страшные руки, детей у него погубившие многих!

Зрелище человека, Доведенного до такой степени отчаяния, леденит нас почти так же,
как леденит нас зрелище трупа.

Так, если муж, преступлением тяжким покрытый в отчизне,
Мужа убивший, бежит и к другому народу приходит,
К сильному в дом,— с изумлением все на пришельца взирают,—
Так изумился Пелид, боговидного старца увидев;
Так изумилися все, и одни на другого смотрели.

Но и это только на мгновение, и вскоре самое присутствие страдальца забыто.

Так говоря, возбудил об отце в нем плачевные думы;
За руку старца он взяв, от себя отклонил его тихо.

И вовсе не от недостатка чувствительности отклонил Ахиллес старца; нет, слова Приама, вызвав образ отца, тронули его до слез. Просто он вдруг ощутил себя таким не стесненным в движениях, как если бы его колена касался не умоляющий человек, а безжизненный предмет. Одно лишь присутствие человеческого существа рядом с нами обладает властью остановить, задержать, обуздать, изменить любое движение, задуманное нашим телом. Если кто-то пересекает наш путь, он заставляет нас остановиться или свернуть с дороги, и вовсе не так, как это сделал бы светофор. Никто не садится, не встает или движется по комнате в присутствии посетителя так же, как он делал бы это, находясь один. Но есть люди, которые не способны более источать это непостижимое качество живого присутствия. Они знают, что малейшее нетерпеливое движение противостоящего им человека — и им конец, хотя бы никто не присуждал их к смерти. В их присутствии другие ведут себя так, будто этих людей здесь нет: сами же они под угрозой мгновенного уничтожения словно утрачивают существование. Оттолкни их — и они упадут, а упав, будут лежать до тех пор, пока кому-нибудь не придет в голову поднять их. Но даже если их подняли со словами почтения и сердечности, они все равно не смеют поверить, что их воскресили всерьез, и по-прежнему трепещут выразить хоть какое-то желание; малейшее раздражение в голосе противостоящего вновь повергает их в молчание.

Так говорил; устранился Приам и, покорный, умолкнул.

Немногие, если их ободрить, возвращаются снова к жизни. Другие же, горемыки, не умирая, до конца своих дней остаются вещью. Нет для них вольного пространства, неизведанной дороги. Они больше не способны ни одарить людей от щедрот своего сердца, ни принимать щедроты, предлагаемые другими. Внешне их жизнь не кажется более суровой, чем у других; и необязательно им находиться на низкой общественной ступени, не в этом дело, просто они уже иная порода людей — компромисс между человеком и трупом.

Чтобы человек был вещью — это с точки зрения логики противоречие; но когда невозможное делается реальностью, тогда противоречие раздирает душу. Всякий момент эта вещь стремится быть мужчиной, женщиной — и не может. Это смерть, растянувшаяся на целую жизнь; это жизнь, которую оцепенила заранее смерть.

Непорочную дочь жреца ожидает эта судьба:

Деве свободы не дам я; она обещает в неволе,
В Аргосе в нашем доме, от себя, от отчизны далече —
Ткальный стан обходя или ложе со мной разделяя.

И молодую женщину, молодую мать, жену царского сына, такая судьба ожидает:

Скоро в неволю они на судах повлекутся глубоким;
С ними и я неизбежно; и ты, мое бедное чадо,
Вместе со мною и там, изнуряясь в работах позорных,
Будешь служить властелину суровому...

Такая судьба ребенка для матери столь же страшна, как самая смерть; супруг, пророчествуя о ней, хочет погибнуть прежде, чем она свершится; старик отец призывает все кары неба на неприятельскую армию, которая обречет его дочь на такую судьбу. Но тем, на кого обрушилась она прямо, эта страшная судьба, им более не до

размышлений о прошлом и будущем, не до проклятий и бунта. Им даже не до воспоминаний — ибо рабу не подобает хранить верность ни родному городу, ни родным могилам.

Вот когда насильник, который отобрал у раба все, разорил его город, вырезал его родню на его глазах, да, да, когда этот насильник терпит бедствие, тогда-то рабу позволено пролить слезы. Ему даже полагается плакать тогда. Впрочем, он плачет с готовностью: невыплаканных слез скопилось достаточно.

Так говорила, рыдая; стенали и прочие жены,
С виду, казалось, о мертвом, но в сердце о собственном горе.

Что ж, никто не теряет больше, чем раб, ведь он потерял свой внутренний мир. Он может вновь его обрести, хотя бы частицу, лишь завидя возможность изменить свою участь. Таково царство Силы: оно простирается столь же далеко, сколь царство природы. Ведь и природа, когда диктуют ее слепые нужды, стирает внутренний мир, заглушает даже материнскую скорбь:

Пищи забыть не могла и несчастная мать Ниоба,
Мать, которая разом двенадцать детей потеряла...
.....
Плачем по ним истомая, и мать вспомнула о пище.

Тирания Силы над душой человека сравнима с тиранией голода, когда в его власти жизнь и смерть человека. Власть такая холодная и такая твердая, словно принадлежит она инертному веществу. Но как безжалостно она давит слабых, так же безжалостно опьяняет Сила и мутит разум тех, кто обладает ею (или думает, что обладает). Никто не обладает ею на самом деле. Род человеческий отнюдь не разделен в «Илиаде» на побежденных и униженных, рабов и просителей, с одной стороны победителей и повелителей — с другой. Никто не избежит участи в какой-то момент поклониться Силе. Воины, хотя и свободные и отлично вооруженные, уязвимы ничуть не меньше других.

Терсит дорого платит за свои слова, хотя они совершенно разумны и не слишком отличаются от слов Ахиллеса:

...скиптром его по хребту и плечам он ударил.
Сжался Терсит, из очей его брызнули крупные слезы;
Вдруг по хребту полоса, под тяжестью скиптра золотого,
Вздуплась багровая; сел он, от страха дрожа; и, от боли
Вид безобразный наморщив, слезы отер на ланитах.

Но и Ахиллес, гордый и непобедимый герой, плачет в начале поэмы от унижения и беспомощности, когда на его глазах уводят женщину, которую он хотел взять в жены, — а он не может и пальцем пошевелить. Агамемнон же нарочно унижает Ахиллеса, дабы показать, кто тут главный:

...чтобы ясно ты понял,
Сколько я властью выше тебя, и чтоб каждый страшился
Равным себя мне считать и дерзко верстаться со мною!

А спустя несколько дней уже этот главный в свою очередь плачет, принужден покориться и молить, испытывая всю меру унижения оттого, что мольбы его напрасны.

Никто не избавлен и от того, чтобы испытать постыдный страх. Герои трепещут, как и простые смертные. Доблесть героя определяет успех и победу меньше, нежели слепая судьба, представленная золотыми весами Зевса:

Зевс расprostер, промыслитель, весы золотые; на них он
Вросил два жребия Смерти, в сон погружающей долгий:
Жребий троян конеборных и меднооружных данаев;
Взял посредине и поднял: данайских сынов преклонился
День роковой...

Поскольку она слепа, судьба устанавливает слепую же справедливость, которая наказывает тех, кто поднял меч, — мечом. «Илиада» формулировала этот закон задолго до Евангелия и почти в тех же словах:

Общий у смертных Арей; и разящего он поражает!

Что всем людям, уже оттого, что они родились на свет, суждено страдать от насилия — это такая истина, путь к постижению которой силой внешних обстоятельств

всегда закрыт для ума человека. Сильный не силен абсолютно, точно так же как и слабый не абсолютно слаб, но оба они не знают этого. Они не верят, что сотворены из одного теста. Слабый соглашается с точкой зрения сильного на него. Обладающий же силой движется так, будто вокруг него нет никого. Он движется в среде, не оказывающей сопротивления, не обладающей свойством, отличающим человеческий мир, — способностью порождать между порывом к действию и самим действием краткий интервал, в котором может поместиться мысль. Там, где нет места мысли, нет места справедливости и благоразумию. Вот почему эти вооруженные люди так грубы и безрассудны. Мгновенно погружают они свое оружие в обезоруженного соперника и победительно расписывают умирающему те оскорбления, которые предстоит претерпеть его мертвому телу. Ахиллес обезглавливает двенадцать троянских юношей перед погребальным костром Патрокла так же непринужденно, как мы срезаем цветы на могилу. Размахивая палицей Силы, сильные не догадываются, что рано или поздно последствия их действий падут на них самих и заставят их тоже согнуться. Происходит так, что те, которым судьбой отпущена Сила, гибнут оттого, что слишком положились на Силу.

Они и не могут не гибнуть: не воспринимая свою мощь как нечто, чему положено ограничение, они и свои отношения с другими людьми не воспринимают как равновесие неравных сил. Другие люди для них не являются той реальностью, какая обязывала бы их приостановиться, умерить свои движения, сделать ту самую паузу, из которой только и истекает наше внимание к себе подобным, — и вот они выводят из этого, что судьба предоставляла им право на все, а другим, низшим, не позволено ничего. И тут же — неминуемо — переходят границы отпущенной им Силы, поскольку не знают этих границ. И отдают себя на волю случая, и события более не подвластны им. Случай же иногда благоволит, в другой раз препятствует, и вот тогда они вдруг обнаруживают, что Сила покинула их, из героев они превратились в слабых людей, и, как слабые люди, они дают волю рыданиям.

Кара, которая со столь геометрической строгостью постигает всякое злоупотребление Силой, была для греков первейшим объектом размышлений. В ней средоточие греческого эпоса. Под именем Немезиды она — главная пружина действия в трагедиях Эсхила, Пифагорейцы. Сократ. Платон — все исходило из нее, чтобы мыслить о человеке и космосе. Идея возмездия становилась интимно знакомой всюду, куда проникал эллинизм. Вероятно, она продолжила жизнь под именем Кармы на Востоке, пропитанном буддизмом. Но Запад потерял ее и ни в одном из своих языков не имеет даже слова, адекватно ее выражающего. Идеи ограничения, меры, равновесия, которые должны были бы определять жизненное поведение, не имеют ныне другого применения, кроме служебного и технического. Мы оказались геометрами только в делах материальных. Греки были геометрами прежде всего в деле обучения благу.

Умеренное пользование Силой, какое одно позволяло бы нам избежать цепной реакции самоуничтожения, — оно потребовало бы от нас какой-то большей доблести, чем обыкновенная человеческая добродетель. Оно потребовало бы чего-то не менее редкого, чем постоянное сохранение достоинства в слабости. Впрочем, даже и умеренное пользование Силой небезопасно: это уж свойство Силы как таковой — ведь тайна ее обаяния и основана прежде всего на том великолепном безразличии, которое сильный испытывает к слабым и которое, словно вирус, передается самим же слабым. Обычно не политическая идея подталкивает к злоупотреблению Силой. Скорее соблазн такого злоупотребления почти непреодолим, соблазн Силы. Благоразумные речи звучат в «Илиаде» то здесь то там — слова Терсита, например, которые разумны в высокой степени Или же слова Ахиллеса, произнесенные в минуту волнения:

С жизнью, по мне, не сравнится ничто: ни богатства, какими Сей Илион, как вещают, обилывал, — град, процветавший
В прежние мирные дни, до нашествия рати ахейской...

Можно все приобрести, и волов и овец сереброрунных,
Можно стяжать и прекрасных коней и золотые треноги;
Душу ж назад возратить невозможно; души не стяжаешь...

Однако благоразумные речи падают в пустоту. Если их произносит подчиненный, его наказывают, и он замолкает. Если же военачальник — слова у него не сходятся с действием, тем более что всегда к его услугам находится божество, которое посоветует

поступить безрассудно. И самая мысль, что можно было бы человеку желать избежать ремесла, предначертанного мужу, этой профессии — любимицы судьбы, предписывающей убивать и быть убитым, такая мысль не придет на ум этим героям,

которым
с юности нежной до старости Зевс подвизаться назначил
В бранях жестоких, пока не погибнет с оружием каждый!

Эти бойцы уже тогда, как и много веков спустя солдаты Кранна², ощущали себя «поголовно приговоренными».

Они завлечены в эту ситуацию с помощью простейшей западни. Они выступают в поход с легким сердцем, имея при себе свою силу, а против себя пустоту. Еще бы: рука на рукоятке меча, а врага и на горизонте не видно. Мы всегда сильнее отсутствующего противника, если только душа не подавлена его грозной репутацией заранее. То, что отсутствует, не налагает на душу ярма неизбежности. Никакой неизбежности нет для тех, кто выступает сейчас в поход, и война для них начинается как игра, как праздник, освобождающий от гнета повседневных нужд.

Но это состояние для большинства не длится долго. Приходит день, когда то ли страх, то ли поражение, то ли смерть товарища принуждает признать реальность и ей поклониться. Тогда прощай сны и игры; тогда нельзя наконец не понять, что война действительно существует. Реальность же войны ужасна, слишком ужасна, чтобы можно было вынести ее: война приносит смерть. Думать о смерти постоянно нельзя; можно выдержать мысль о смерти только как моментальную вспышку, когда чувствуешь, что она в самом деле близка. Да, конечно, каждый должен умереть, а солдат, не покидая поля битвы, может дожить до седин. Но для тех, чьи души впряжены в ярмо войны, отношение между смертью и будущим выглядит иначе, чем для остальных людей. Для остальных людей смерть — это заведомый предел их жизни, отнесенный куда-то в будущее. Для воинов смерть — это само будущее, назначенное им их профессией. Иметь в качестве будущего смерть — противоестественно. Лишь только война дает почувствовать, что можно погибнуть в каждый следующий миг, мысль становится не способной уже представить завтрашний день иначе, как словно переправляясь через образы смерти. Находиться под таким напряжением сознание может только урывками; а между тем каждый новый рассвет приносит одну и ту же реальность; день за днем составляют годы. И каждый день душа должна производить над собой хирургическую операцию, отсекая надежды и планы, потому что мысль не может передвигаться во времени, не проходя через образ смерти. Так война отменяет всякую цель, включая и цель, для которой она сама началась. Она вообще стирает идею о том, чтобы ставить войне какую-то цель.

И все же душа под властью войны взывает к освобождению; но к такому освобождению, которое представляется ей в форме трагической, экстремальной, в форме разрушения. Умеренный и разумный исход из ситуации оставил бы мысль лицом к лицу с перенесенным или нанесенным насилием, и как пережить это? Невозможно выдержать эту картину даже только как воспоминание. Ужас, боль, изнурение, массовые убийства, погибшие товарищи — кажется, что все это не перестанет грызть душу; и где искать забвения как не в новом опьянении силой, которое потопило бы грызущие воспоминания? И от сознания, что затраченное сверх всякой меры усилие не принесло ничего или очень мало, — от такого сознания плохо

Как? со срамом обратно, в любезную землю отчизны
Вы ли отсель побежите, в суда многоместные реясь?
Вы ли на славу Приаму, на радость троянам Елену
Бросите, Аргоса дочь, за которую столько ахеян
Здесь перед Троей погибло, далеко от родины милой?

Что Улиссу до Елены? И даже что ему до Трои со всеми ее богатствами? Они ведь не возместят руин Итаки. Но Елена и Троя важны для греков лишь потому, что из-за них было пролито столько крови и слез. Душа, которая вопреки природе вынуждена уничтожить часть самой себя, дабы противостоять врагу, верит, что может изле-

² Местечко на севере Франции, где в ходе первой мировой войны французские войска терпели дважды (в апреле 1917 и в мае 1918 года) тяжкие поражения от немцев.

читься, только если уничтожит врага. А между тем не замечает, что смерть возлюбленных друзей подталкивает ее к иному соревнованию, порождает темное желание последовать их примеру. Одно и то же отчаяние толкает и гибнуть и убивать:

Слишком я знаю и сам, что судьбой суждено мне погибнуть
Здесь, далеко от отца и от матери. Но не сойду я
С боя, доколе троян не насыщу кровавою бранью

Тот, в кого вселилось это двойное притяжение к смерти, принадлежит, если его ничто не изменит уже к иной породе, нежели все живое человечество.

Когда поверженный смиренно просит пощады и умоляет позволить ему увидеть завтрашний день, какое эхо может найти эта робкая надежда в сердце, где одно отчаяние? Уже тот факт, что один вооружен, а другой безоружен, лишает жизнь последнего почти всякого значения. Может ли тот, кто разрушил в себе самую мысль о радости, которую принесет свет завтрашнего дня, — может ли он снизойти к мольбам почкорным и тщетным?

Ноги объемлю тебе, пощади, Ахиллес, и помилуй!
Я пред тобою стою как молитель, достойный пощады!

И каков же ответ на эту мольбу?

Так, мой любезный, умри! И о чем ты столько рыдаешь?
Умер Патрокл, несравненно тебя превосходнейший смертный!
Видишь, каков я и сам, и красив, и величествен видом;
Сын отца знаменитого, мать имею богиню!
Но и мне на земле от могучей судьбы не избегнуть;
Смерть придет и ко мне поутру, ввечеру или в полдень,
Быстро, лишь враг и мою на сражениях душу исторгнет...

Кто искалечил свою душу, истребив в ней желание жить, откуда тому взять великодушное усилие, какое растопило бы ему сердце, чтобы он оказался способен почтить уважением жизнь другого человека? Ни о ком из гомеровских героев мы не можем предположить, что он способен на такое усилие, за исключением, может быть, одного, того, кто в известном смысле находится в центре поэмы, — Патрокла; о нем ведь сказано, что он «умел быть нежным ко всем», а в «Илиаде» он не совершил ничего жестокого и свирепого. Но во всех тысячелетиях истории сколько мы знаем людей, которые дали примеры такого божественного великодушия? Сомнительно, если двух или трех. По недостатку этой сердечной щедрости солдат-победитель являет собой подобие стихийного бедствия. Одержимый войной, он так же, как и раб, только иным образом, превращается в вещь, и человеческое слово не имеет более над ним никакой власти, как над бездушной материей. Оба они, и воин и раб, прикоснувшись к Силе, претерпели над собой ее непреложное действие, а оно заключается в том, чтобы сделать тех, кого оно коснется, немыми или глухими.

Такова природа Силы. Ее власть обратить человека в вещь — обоюдоострая власть и осуществляется в обе стороны: она равно, хотя и различным образом, поражает и души тех, кто претерпевает ее, и тех, кто ею обладает. Высшей точки эта способность Силы достигает в переломный момент сражения, когда успех начинает склоняться на чью-то сторону. Исход битвы решается не теми, кто рассчитывал и планировал, принимал и осуществлял решения, но теми, кто как раз потерял все эти способности и превратился либо в косную материю, коей имя пассивность, либо в слепой смерч, имя коему молниеносность. Именно здесь последний секрет войны, и «Илиада» его раскрывает своими сравнениями, в которых войны являлись как подобия либо слепых и буйных стихий — пожара, ветра, наводнения, дикого зверя, либо, напротив, боязливого животного, гнушегося дерева, развеянного песка — всего, что подвержено действию внешних стихийных сил. Как греки, так и троянцы изо дня в день, а то и из часа в час претерпевают трансформацию одну и другую.

Искусство войны и есть не что иное, как искусство вызвать в душах людей такие перерождения. Материальные завоевания, деяния героев, самое уничтожение противника — все это лишь средства, а не цель войны, потому что ее настоящая цель — это души сражающихся. Эти перерождения — всегда тайна, и творится она богами, поскольку они возбуждают человеческое воображение. Это главное свойство Силы — обоюдонаправленная способность превратить человека в камень, и спасти от нее может только нечто подобное чуду. Мгновения такого чуда редки и кратки.

Легкомыслие и прихоть тех, кто манипулирует людьми и вещами, отчаяние, толкающее солдата все вокруг разрушать, убийство, следующее за убийством,— вот картина однообразного ужаса, и единственный герой ее — Сила. Картина, которая казалась бы нам удручающе монотонной, когда бы не всплывали то там, то здесь на пространствах поэмы светящиеся точки: краткие и дивные моменты озарения душ. Душа пробуждается на миг, чтобы опять, увы, потерять себя на бескрайних просторах империи Силы,— но она пробуждается, чистая, неповрежденная; нет в ней места тогда ничему двусмысленному, запутанному, тревожному; храбрость и любовь заполняют ее тогда. Иногда человек обретает душу наедине с собой, когда он пытается, как Гектор под стенами Трои, без помощи богов и людей взглянуть в лицо своему предназначению. В иных случаях он ее обретает через любовь, и нет такого рода чистой любви одного человека к другому, которая бы не встретила нас в «Илиаде».

Радужие гостеприимства, воспитанное в поколениях, берущее верх над слепой злобой битвы; трогательность любви родительской, братской; совершенная чистота любви супружеской на пороге несчастья, к которому она уже приговорена. Чистейшая же любовь из всех возможных, ее триумф и высшая благодать посреди войны — это дружба, способная зародиться в сердцах смертельных врагов. Она гонит из сердца жажду мести за убитого сына, за убитого друга, она творит чудо, перебрасывая мост над пропастью, разделяющей благодетеля и просителя, победителя и побежденного:

...И когда питием и пищей насытили сердце,
 Долго Приам Дарданид удивлялся царю Ахиллесу,
 Виду его и величеству: бога, казалось, он видит.
 Царь Ахиллес удивлялся равно Дарданиду Приаму,
 Смотря на образ почтенный и слушаю старцевы речи.
 Оба они наслаждались, один на другого взирая...

Эти благодатные моменты редки в «Илиаде», но и их достаточно, чтобы нам с горчайшим сожалением воспринять и прочувствовать всю ту жизнь, которую губит сейчас и будет всегда губить насилие.

Ибо ведь это нагромождение всяческого насилия, какое мы находим в поэме, само по себе оставило бы нас холодными, когда бы не интонация неизбывной горечи, которая чувствуется повсюду, тот горький акцент, который выражен иногда одним лишь словом, а иногда всего лишь сдвигом цезуры или иным оттенком в строе стиха. Вот что делает «Илиаду» произведением уникальным — горечь, истекающая из нежности и падающая, как солнечный свет, равно на всех и каждого. Нигде интонация не перестает быть пропитанной горечью и нигде не опускается она до жалобы. Справедливость и любовь — им нет как будто места в этой картине сплошного насилия, но они омывают этот свирепый мир, будучи ощутимы всего лишь как акцент. Ничто, драгоценное сердцу человеческому, не презирается, суждено ему погибнуть или нет; беспомощность и нужда человека нигде не сокрыты и всюду показаны без пренебрежения; никто не вознесен выше человеческой меры и никто не опущен ниже ее; обо всем, что разрушено, поэма сожалеет. Победители и побежденные равно близки нам, взятые в одной и той же перспективе — как ближние и поэту и слушателям. Если и есть различие, то оно в том, что горе другой стороны, страдания тroyанцев, пожалуй, переживаются еще более скорбно.

На всей поэме лежит тень предошущения самой великой печали, какая может постигнуть народ,— разрушения его Города. Родись поэт в Трое, он не мог бы найти более сильные и трогательные слова. И таким же тоном рассказывается об ахейцах, погибающих вдалеке от дома.

Все, чему нет места на войне, что война разрушает или грозит разрушить овеяно поэзией в «Илиаде»; подробности войны нигде не опозитизированы. Переход от жизни к смерти не завуалирован никакой недомолвкой:

Вырвалась бурная медь: просадила в потылице череп,
 Вышибла зубы ему; и у павшего, выпучась страшно,
 Кровью глаза налились; из ноздрей и из уст растворенных
 Кровь изрыгал он, пока не покрылся облаком смерти

Холодная грубость фактической стороны войны ничем не замаскирована, поскольку ни победители, ни побежденные не вызывают ни восхищения, ни презрения, ни ненависти. Судьба и боги решают почти всегда колеблющийся исход сражений.

Судьба устанавливает границы неизбежного, а боги в этих границах пользуются полной властью, наградить ли сражающихся победой или же наказать поражением. Это они подстрекают людей на безумие и предательство, всякий раз срывающие возможность мирных исходов. Это их дело — война, и нет у них для этой любимой игры иных мотивов, кроме каприза и злобы. Что касается воинов, победителей и побежденных, то являются ли они в зверином обличье или подобием вещи — все равно, они не возбуждают ни восхищения, ни презрения, но только горькое сожаление, что люди могут так перерождаться.

Да, поистине настоящее чудо эта поэма. Горечь, ее проникающая, проистекает из обстоятельства, единственно достойного горечи, — подчинения души человека Силе, то есть в конечном счете материи. Подчинение это — удел всех смертных, хотя и в неравной степени, потому что души различны, качество душ различно. Никто в «Илиаде» не изъят из общего закона, как никто не изъят из него на земле. И никто не презираем за свою слабость. Если же кому-то удастся — в глубине души или в делах с людьми — ускользнуть из-под имперской власти Силы, он возлюблен, но возлюблен с болью, поскольку опасность быть уничтоженным всегда над его головой.

Такого духа — единственный подлинный эпос, каким обладает Запад. «Одиссея» уже кажется великолепной имитацией — иногда «Илиады», иногда восточных поэм. «Энеида» — это тоже имитация, которую, при всем ее блеске, портят холодность, напыщенность и плохой вкус. Героические поэмы средних веков не сумели достигнуть истинного величия именно оттого, что уже не знали древнего кодекса справедливости; смерть противника в «Песни о Роланде» не переживается автором и читателем так же, как смерть самого Роланда.

Только аттическая трагедия — трагедия Эсхила и Софокла, во всяком случае, — представляет собою истинное продолжение эпоса. В ней идея справедливости освещает все своим светом, нигде при этом не выступая открыто; Сила является во всей холодной суровости своих действий и последствий, которых не избежать ни тому, кто ею пользуется, ни тому, кто претерпевает ее; унижение души в тисках принуждения не маскируется и не делается объектом снисходительной жалости или, напротив, презрения; не раз и не два человек, испытывший душевный ущерб под бременем бед, представляется как достойный восхищения. Наконец, Евангелия суть последние и дивные свидетельства греческого гения, как «Илиада» была его первым выражением. Греческий дух позволяет себя почувствовать здесь не только в заповеди искать, мимо всякого иного блага, царства Божия и его справедливости, но и в том, как обнажена здесь нищета, беспомощность и нужда человеческая, и обнажена она в страданиях существа божественного, которое в то же время есть человек. Евангельские Страсти повествуют о том, как божественный дух, соединившийся с человеческой плотью, искажается в несчастье, трепещет перед лицом физического страдания и смерти и в момент глубокой агонии ощущает себя оставленным людьми и Богом. Понимание нищеты и нужды человеческой сообщает Евангелию тот дух простоты, на котором лежит печать греческого гения и который составляет главную ценность аттической трагедии и «Илиады». Некоторые строки Евангелия звучат удивительно близко тому, что уже было сказано в эпосе; когда Христос говорит Петру: «...и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь», — мы вспоминаем троянского юношу, отправленного против его воли в Аид. Этот акцент, лежащий на эпосе, неотделим от идеи, вдохновляющей Евангелие; ибо понимание нищеты и нужды человеческой — условие справедливости и любви. Кто не знает, до какой степени повороты судьбы и неумолимая необходимость держат в зависимости человеческую душу, тот никогда не сможет ни воспринять как себе подобных, как ближних, ни возлюбить как самого себя других людей, отделенных от него пропастью жизненных обстоятельств. Разнообразие ограничений и принуждений, тяготеющих на человеческом мире, так велико, что оно порождает пагубную иллюзию существования разных пород людей, не способных к общению друг с другом. Только зная, что такое империя Силы, и обретя способность не поклониться ей, можно любить и быть справедливым.

Отношения между душой и судьбой: в какой мере душа способна формировать свою собственную судьбу, что в душе, какова бы она ни была, подвержено неизбежным перерождениям под действием безжалостной необходимости и по прихоти рока и что в душе силой доблести и благодати сохраняется неповрежденным — вот область вопросов, в которой так легко и соблазнительно впасть в заблуждение и обман. Гордость, унижение, ненависть, презрение, безразличие, желание забыть или пройти ми-

мо — все работает на такой соблазн. Что бывает особенно редко, так это верное отношение к несчастью и правдивое его выражение; изображая несчастье, либо видят в нем прирожденное свойство несчастного, его призвание, либо же полагают, что душа может переносить несчастье без того, чтобы оно наложило на душу свою печать, изменило и деформировало мысль человека, и именно только особым, его отличающим образом. Греки чаще всего обладали силой души, позволяющей избегнуть самосбмана. За это они были одарены знанием, как достигнуть во всем навывшей степенности, чистоты и простоты. Но дух, который перешел через философов и трагических поэтов от «Илиады» к Евангелию, не пересек границы греческой цивилизации; и от него после Греции нам остались лишь отсветы.

Римляне и евреи верили, что им дано быть исключениями, что общая участь, нужда человеческая их не касается. Римляне — потому что судьба избрала их в правители мира, евреи — поскольку их Бог отличил их своим покровительством, и притом в точном соответствии с мерой их послушания ему. Римляне презирали иноземцев, врагов, побежденных, данников, рабов; и от них не осталось ни эпоса, ни трагедий. Игры гладиаторов заменили им трагедии. Для евреев несчастье было симптомом греха и, следовательно, закладывало в себе законную причину его презирать. Евреи видели своих побежденных врагов отвратительными в глазах Бога и потому осужденными в несчастьях искупать свои вины, что делало жестокость по отношению к ним не только дозволенной, но и необходимой. Во всем Ветхом завете, кроме, быть может, некоторых частей Книги Иова, нет ни одной ноты, которая была бы созвучна греческому эпосу. Римляне и евреев превозносили, читали, им подражали в слове и действии, их цитировали всякий раз, когда нужно было оправдать преступление,— и так продолжалось все двадцать веков христианства.

Сверх того и дух Евангелия не был передан в чистоте поколениям христиан. С ранних времен, рассказывая про мучеников, с радостью выносивших страдания и смерть, захотели видеть в этом проявление благодати; как будто действие благодати было явлено в людях более, нежели во Христе. Кто способен помыслить о том, что сам Бог, поскольку он стал человеком, не мог взглянуть без содрогания и тоски в лицо своему суровому предназначению, тот должен будет понять, что по видимости возвыситься над нищетой и нуждой человеческой дано лишь тем, кто опьяняет себя иллюзиями или фанатизмом, отворачиваясь от встречи со строгой реальностью существования. Не укрываясь за броней самообмана, человек не вынесет столкновения с Силой без того, чтобы не была поражена его душа. Благодать может предохранить душу от разложения, но не может предохранить ее от раны. Христианская традиция слишком забыла об этом и оттого лишь очень редко умела она обретать ту простоту духа и тона, которая делает столь пронзительной каждую фразу повествования о Страстях. В то же время утвердившаяся практика обращения в христианство с помощью насилия маскировала последствия действия Силы на душу тех, кто ею пользовался для этой цели.

Несмотря на бурный, но преходящий восторг, с каким Возрождение открывало для себя эллинскую словесность, дух Греции не имел настоящего возрождения на протяжении всех двадцати веков европейской культуры. Он иногда обнаруживается какой-то частью своей в Вийоне, Шекспире, Сервантесе, Мольере, однажды в Расине. В «Школе жен» и в «Федре» страдание и нужда человека раскрываются нам в делах любовных; то был странный век, когда, в противоположность эпическим временам, нищете, нужде, страданию человеческому позволено было открыться только в любви, тогда как деяния Силы на театре войны и политики неизменно драпировались в тогу славы. Вероятно можно назвать еще и другие имена. Но из всего, что было сотворено народами Европы, ничто не может стать ровень с той, первой поэмой, явившейся некогда у одного из них. Может быть, гений эпоса будет вновь обретен народами Европы; это будет тогда, когда люди вновь научатся видеть свою роковую необеспеченность, незащищенность перед лицом судьбы когда они научатся отвергать обаяние Силы, не поддаваться ненависти к врагу и презрению к бедствующему. Возможно, такой день придет. Но вряд ли он близок.

ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Альбер Камю называл ее единственным духоборцем нашего времени. Андре Жид соглашался: «Симона Вейль — самый духовный писатель двадцатого века». Т. С. Элиот: «Мы просто должны отдать ее воздействию личности этой женщины, гениальность которой сродни гениальности святых».

Симона Вейль родилась в 1909 году в Париже, в состоятельной семье известного врача Бернарда Вейля (в числе друзей дома был Илья Мечников) — и, больная туберкулезом, умерла себя голодом в августе 1943 года в Ашфорде (Англия), но не совсем так, как наш Гоголь, потому что не только в мистическом порыве искала торжества сверхъестественного над естественным («Рожденные в этот мир, мы не обладаем ничем, кроме силы произнести «я». Вот что мы должны уступить Богу, вот что мы должны уничтожить»), но еще и верила: «Поделиться куском хлеба важнее, чем произнести проповедь».

Так сразу же обнажаются противоположности, сочетавшиеся в этой удивительной женщине. Политическая левизна — и религиозность. Беспощадно трезвый, с презрением ко всякого рода иллюзиям ум — и открытость мистическому откровению. Непрерывные попытки личного участия в событиях времени (забастовки, работа на фабрике, гражданская война в Испании, вторая мировая война), почти всегда непрактичные, зачастую гротескные, — и пророческий смысл этих попыток. Очевидное отсутствие в ее жизни плотской любви — и укор Фрейду: «Он ошибался, полагая эротическое низким»...

Однако есть точка, в которой эти противоречия сливаются: пронзительная гуманность Симоны Вейль, чувство сострадания и любви к угнетенному и униженному человеку, ни на мгновение не покидавшие ее («Столь хрупко человеческое существо, таким опасностям подвергается, что не могу не любить его без трепета»). Ей не было еще шести лет, когда старая медсестра, работавшая под началом доктора Вейля, сказала: «Симона святая»; и с тех пор эти слова неоднократно повторялись. Сама же Симона Вейль в конце жизни перед лицом жестокости и бесчеловечности века определяла современную задачу: «Сегодня совершенно недостаточно быть просто святым. Сегодняшний беспрецедентный день требует новой святости, тоже без прецедента»; и, разумеется, она не имела в виду себя.

Шестнадцати лет Симона Вейль поступила в лицей Генриха IV, где преподавал тогда известный философ Ален (Эмиль Огюст Шартье), и сразу была выделена им как «ум, далеко превосходящий своих современников». В 1931 году блестяще окончила Эколь Нормаль Сюпериор, получив диплом преподавателя философии. До 1934 года преподавала в различных женских лицеях и активно участвовала в радикальном движении, публикуя многочисленные статьи в левой печати (Борис Суварин называл ее единственным теоретическим умом левого движения). Однако теоретик из нее выходит такого рода, что в 1933 году «Юманите» требует «выдворить из Франции Троцкого, офицеров белой армии и Симону Вейль». Вот что пишет в том же году эта двадцатичетырехлетняя женщина: «Мы живем согласно доктрине, разработанной великим человеком (Марксом.— А. С.), однако великим человеком, умершим 50 лет назад... Не важно, каста это или класс, но бюрократия есть новый фактор в классовой борьбе. В СССР диктатура пролетариата превращена в диктатуру бюрократии, которая отдает повеления революционным рабочим всего мира. В Германии, напротив, бюрократия объединилась с финансовым капиталом... Нигде в мире рабочие так не угнетены, как в сталинской России».

Отказавшись от политической деятельности, Симона Вейль поступает в 1934 году рабочей на завод, и этот период играет в ее жизни, по-видимому, роль, схожую с той, какую сыграла каторга в жизни Достоевского: «Столкновение с людским несчастьем убило во мне юность... Я знала отвлеченно, что в мире хоть отбавляй человеческой беды, но теперь это был продолжительный и личный опыт, который каленным железом вошел мне в плоть и душу... Там навсегда я была отмечена печатью рабства... С тех пор я полагаю себя рабой». Постепенно Симона Вейль все больше обращается к религии, в 1938 году испытывает мистическое откровение: «.. Христос сошел и овладел моим существом...»

Однако если выше было замечено: не совсем, как наш Гоголь, — то и здесь следует признать: совсем не так, как наш Достоевский, ибо схема развития жизни Симоны Вейль «от и до», например от социального, атеистического радикализма к религиозному мистицизму, не имеет даже второстепенного значения для понимания ее личности и ее предвидений. Как еще в юношеские годы радикальной политической активности преклонялась она перед древнегреческим идеалом равновесия, так в конце жизни она записывала: «Искажение которое Бхагавадгита называет искажением пары противоположностей, ведет сегодня к поискам противоположности гуманизму. Одни находят эту противоположность в поклонении силе, коллективизму, социальному зверю. Другие — в возвращении к патриархальности средних веков. Первое, возможно, даже легко достижимо, но оно — зло. Второе химерично и потому нежелательно: нам невозможно отрешиться от конкретного мира, в котором мы вращены. Нет, спасение следует искать в той целиности, в которой противоположности суть одно... Гуманизм вовсе не был не прав, полагая правду, красоту, свободу и равенство абсолютными ценностями. Он только ошибался, полагая, что человек может добыть их для себя сам, без милости Божьей»...

Александр СУКОНИК.

СОДЕРЖАНИЕ

*

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Нежный. Современный паломник.— Ирина Васюченко. Арлекин против Коцея.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Н. Бросова, Л. Лисюткина. Реабилитация здравого смысла.

Литература и искусство

СОВРЕМЕННЫЙ ПАЛОМНИК

Борис Дедюхин. Сердца сокрушенные. Рассказы из жизни современных монастырей. «Волга», 1989, № 6—9.

Хотя Русская Православная Церковь за последние два-три года стала значительно ближе обществу (или общество ей), всякое новое слово о ее современной жизни все равно еще несет в себе смысл почти открытия, вторжения в область доселе неведомого, как бы даже запретного и потому встречается с острым интересом. Тем более пространный рассказ о монастырях, напечатанный в четырех подряд номерах «Волги».

В самом деле, для советского сознания, изуродованного прокатным станом идеологии, с потерянными ощущениями присутствующей в мире тайны, с перерубленными корнями, утраченными связями, с выкошенным чувством священного, одетые в черное люди всегда представляли раздражающую загадку. Я думаю, многие из нас томилась ею, бросая, например, быстрые, жадные взгляды на насельников Троице-Сергиевой лавры и пытаясь понять, отчего они выбрали именно этот путь, отчего захотели стать иноками, иными, отчего заточили себя в монастырь. Что побудило их уйти — какие-нибудь личные невзгоды, крушения и драмы или, может быть, нечто совершенно прозаическое: желание покоя, безбедной жизни, маленькая корысть? Обыденное сознание в лучшем случае остановится на ответах, вдоль и поперек исхоженных популярной беллетристкой, а в худшем — произнесет хорошо нам известный беспощадно-угрюмый приговор в «дикости и изуверстве».

Вот и Бориса Дедюхина, автора «Сердце сокрушенных», чрезвычайно занимает воп-

рос: почему люди совершают такой странный поступок? Можно даже сказать, что Дедюхин, посетивший четыре православных монастыря, в первую очередь и был озабочен именно тем, чтобы найти какую-то конкретную причину, которая привела этого мужчину или эту женщину в монастырь. И он без усталости выспрашивает, выпытывает, выпрашивает, ловит собеседников на слове, на выражении лица — и всякий раз, когда находит нечто удобопонятное, кажется мне, с облегчением переводит дух. В Псково-Печерском монастыре Дедюхин приступил сначала к привратнику инок Евлогию, затем началась очередь библиотекаря игумена Тавриона, в которого автор, по собственному признанию, просто «вцепился». Появляются перед нами иеродьякон Герман («...он безусловно красив, с такой внешностью в миру он, очевидно, пользовался среди женщин несомненным успехом... И что же привело Германа... в монастырь?»), эконома монастыря, иеромонаха Филарет, послушник Александр, который в ответ на неизбежный уже, как рок, вопрос Дедюхина потрясает нас оперным речитативом: «Да, я навсегда бросил тот мир, в котором родился и вырос, испытал мгновения счастья и годы тоски и разочарования, первую любовь и крушение юношеских идеалов». Однако Дедюхин, словно змий, некогда соблазнивший Еву, продолжает допрашивать бедного послушника: «Не раскаиваешься, хотя бы временами? Не посещают ли вопросы: правильно ли поступил...» Так и хочется сказать ему: «Отстань от человека». (Хотя беседа с Александром оказалась пло-

дотворной: послушник обмолвился, что вместо отца у него был отчим, и Дедюхин с удовлетворением заключил: «Вот одна из причин».)

Мне кажется, Дедюхин даже по завершении предпринятого им паломничества не сумел освободиться от свойственной многим из нас уверенности, что можно установить причинно-следственные связи любого феномена бытия. Есть между тем исчерпывающий ответ, мимо которого журналист как человек, несомненно симпатизирующий церкви, но, судя по всему, неверующий, не раз проходил в каждом из четырех монастырей. Особенно внятно сказала ему настоятельница Пюхтицкого Успенского женского монастыря игуменья Варвара: «Монахом становится тот, кто призван к этому, кто на это способен». И все! И никаких более вопросов, ибо всякий имеющий уши услышит, что в монастырь приводит призвание. Конечно, человек может и обознаться, приняв, к примеру, тоску неразделенного чувства, маету не нашедшей себя души или отчаяние от слишком уж сильно сжавшихся тисков жизни за верное доказательство своей несовместимости с миром. Но в таком случае горько будет его пробуждение на монастырской каторге. (Она настоящая каторга, монастырская жизнь, каторга, радостная лишь для тех, кому всякая иная участь будет во сто крат тяжелей.) «Для истинного монаха,— наставляла старец Киево-Печерской лавры иеросхимонах Парфений,— не существует никто и ничто на земле. Его радость и наслаждение — непрестанная молитва. Он любит всех людей, но скучает с ними, потому что они отлучают его от Бога». В монастырь зовет Бог — и, право, могут ли встать в ряд с этим поистине грандиозным событием наши житейские печали?

Кому-то, наверное, может показаться, что я чересчур строг к Дедюхину, упрекнув в том, что я совсем не ценю его трудов, которыми он поднял такую тему. Напротив: чрезвычайно ценю — как всякую попытку дать обществу сумму положительных знаний о Русской Православной Церкви, ее побителях (и в этом отношении мне представляется наиболее удачным рассказ об Оптиной пустыни с его добросовестной исторической основой) и, рассуждая шире, как спасительное стремление привить нашему изрядно одичавшему сердцу побег религиозного умаления. Ибо, как сказал Ф. М. Достоевский, «горе обществу, не имеющему религиозного умаления».

Конечно, монахи тоже люди. Иные из них являют собой драгоценнейшие слитки

жалости, Доброты, глубокого человековедения и деятельного милосердия, а иные, как кипятком, обдают тебя таким диким фанатизмом, такой нетерпимостью, таким яростным блеском в глазах, что поневоле начинаешь задумываться об их нарушенном душевном равновесии. Иные полны неподдельного покаяния, а иные едва ли не сразу же после поступления в монастырь воображают себя старцами и непременно хотят учить. Иные носят монашество как крест, а иные — как орден. Иные страдают миру и молятся за него, а иные с некоторой даже безразличностью стремятся отрясти его прах с подошв своих сапог. Но все-таки монахи — народ особенный, и современный паломник-литератор должен, мне кажется, спокойно признать, что его задача — без всяких вышпытываний, догадок, поспешных умозаключений, с возможно более высокой степенью достоверности показать, что происходит за монастырскими стенами сейчас, на исходе второго тысячелетия новой эры. И если мы признаем наконец в монастыре органичную составную народную жизнь, образ иного, нам еще непривычного, но освященного исторической традицией бытия, неложное свидетельство неисследимой глубины человеческого сердца, то сколь тщательны должны мы быть в выборе слов, их звучаний и смыслов, сколь чутки к малейшей неточности и сколь нетерпимы даже к тени неправды и фальши! За слишком важное дело взялся Дедюхин, важное и в нашей литературе все еще новое, — вот почему с досадой я вынужден отметить как чисто художественные промахи «Сердец сокрушенных», так и куда более опасные прегрешения против правды. Когда, например, вместо более свойственной всей речи повествования, простой и вполне подходящей даже и для монастыря «ладони» вдруг выскакивает «длань»; когда уже знакомый нам привратник Евлогий, в миру шофер и слесарь, внезапно начинает изъясняться красиво: «Вот и отвратил я лицо свое навсегда от житея блудного...»; когда автор затевает довольно невнятное рассуждение о способах поддержания физического здоровья, ссылаясь при этом на монашеский образ жизни, но одновременно и ограждаясь: «...я не агитирую за веру в Христа и его воскресение как за панацею — универсальное лекарство при всех болезнях» (поразительно, что паломничество не внушило Дедюхину стойкого отвращения ко всякой ерунде вроде связи лечебного голодания с «христианскими очищающими постами»); и когда, наконец, замечает, что пюхтицкая настоятельница,

игуменя Варвара, иконописец игумен Зинон, наместник Оптиной пустыни архимандрит Евлогий, другие монахи и монахини говорят на один манер, будто держат перед глазами заранее приготовленный для них текст,— то, разумеется, все это изрядно мешает нашему соучастию в паломничестве.

Вообще многое удивляет в «Сердцах сокрушенных». Разве только «сталинский каток репрессий» прошелся по Русской Православной Церкви? (Да ведь и не репрессии это были — война, которую атеистическое государство вело против Бога.) К 1921 году уже пролилась кровь сотен новых мучеников, уже были закрыты шесть с лишним сот монастырей, и Патриарх Тихон уже сказал свое вещее слово: «Мы захотели создать рай на земле, но без Бога и Его святых заветов. Бог же поругаем не бывает. И вот мы алчем, жаждем и наготуем на земле, благословенной обильными дарами природы, и печать проклятия легла на самый народный труд и на все начинания рук наших». Разве можно назвать мать Марию (Кузьмину-Караваеву) кумиром населения Пюхтицкой обители? И вовсе не потому, что она недостойна подражания, а потому, что монахини — в отличие от журналиста — знают Священное Писание, в котором сказано: «Не делай себе кумира... Ибо Господь, Бог твой, есть огонь поядоющий, Бог ревнитель». И разве кто-нибудь из православных воспринимает «старообрядческое двуперстие» как «ересь»? Не будем говорить о том, что реформы Патриарха Никона не выдерживают объективной исторической критики; напомним, однако, что в 1971 году Поместный Собор Русской Православной Церкви снял со старообрядцев клятвы XVII века и признал двуперстие равночестным трехперстию.

Мне кажется, пафос «Сердец сокрушенных» станет особенно понятен в свете переживаемого нами сегодня события, которое — весьма, правда, условно — можно назвать возвращением блудного сына. Блудный сын спешит ныне к отцу не только потому, что бездарно прожил свою «часть имения» вынужден пасти свиней и мечтает досыта наесться хотя бы «рожками», из которых варят для них пойло; не только нищета и голод гонят его, но и страх потерять образ человеческий, ужас перед духовной смертью и еще не убитое до конца отвращение перед ложью, мало-помалу выедающей из него душу. Но хватит ли у него сил для искреннего и глубокого покаяния? Хватит ли мужества последовать призыву Патриарха Тихона и признаться,

что грех — на нем, что он сам, поддавшись соблазну, ушел от отца? И отвергнет ли льстецов, уже кидających наперебой внушить ему, что он, собственно, тут как бы и ни при чем, что ему необязательно казнить себя раскаянием и что его, если вникнуть, увел и из отчего дома?

Лишь поверхностному или — что, вероятно, одно и то же — необратимо секуляризованному уму религиозный вопрос кажется второстепенным, обособленным от социально-хозяйственной жизни и потому не имеющим того значения, какое, к примеру, придается всеобъемлющей экономической реформе. Можно показать, что это совсем не так, сославшись хотя бы на Западную Европу. Ибо все, чем она заслуженно гордится перед нами — политические свободы, свобода совести, права человека, экономическое благоденствие, — все это имеет глубокие религиозные корни. (Своей привязанность к ним минувшее столетие, по-видимому, осознало не до конца; но зато наш век в полной мере ощутил, откуда берет человечество возможность жить и расти.) Религия создает личность, личность — общество и государство. Я не говорю уж о том, что заповеданные нам заботы о природе и всей сущей в ней твари, о плодах земли и человеческом благе без духовной санкции — и мы вполне убедились в этом на примере нашего хозяйственного крушения — будут лишены надежного основания. Вот почему религиозный вопрос, я убежден в этом, — первый вопрос наших дней и вот почему не дай нам Бог уклониться в какое-нибудь ложное его решение.

А такая опасность есть. Можно привести в пример заметное в последнее время стремление того же телевидения принизить сакральное до уровня массового сознания, включить его в поп-искусство, шлягер, сделать частью моды. Или, обратившись к делам писательским, можно показать, что свойственное сейчас многим литераторам желание говорить о деятелях церкви исключительно в самых возвышенных тонах и с каждого из них писать чуть ли не икону представляет собой как бы обратную сторону того угромо-разрушительного отношения к религии, в котором советский человек последовательно воспитывался семь десятилетий подряд.

В «Сердцах сокрушенных» есть сцена появления в Оптиной пустыни епископа Владимирского и Суздальского Валентина. Архиерей приехал на «Волге», сам сидел за рулем (из чего, вероятно, следует, что автомобиль собственный), и Деаюхин, вначале принявший его за «обыкновенного

туриста», затем присмотрелся и обнаружил, что едва, как говорится, не дал маху. «...я отметил у него характерное выражение внутренней напряженности, которая свойственна людям, привыкшим к самоограничению и удержанию страстей во имя правильности избранного пути». Поражает не столько выпренность суждения и даже не столько необыкновенная пронизательность Дедюхина, сумевшего со второго взгляда проникнуть в самую суть личности епископа (тем более что примеров подобного ясновидения в «Сердцах сокрушенных» пре-

достаточно), сколько потрясающая готовность автора немедленно поставить знак равенства между высотой сана и свойствами человека.

Вопрос, разумеется, не только и не столько в этом. Вопрос, как я его особенно понял после чтения «Сердец сокрушенных», в том, что в нашу литературу входит, у же вошла совершенно новая, сложная и значительнейшая тема. Уровень ее постижения должен быть ей соразмерен.

А. НЕЖНЫЙ.



АРЛЕКИН ПРОТИВ КОЩЕЯ

Сигизмунд Кржижановский. Воспоминания о будущем. Избранное из неизданного. М. «Московский рабочий». 1989. 403 стр.

«Бытие пусть себе определяет сознание, но сознание не согласно». Сигизмунд Кржижановский, произнесший эти такие вроде бы задорно современные слова, умер в 1950 году в бедности и безвестности. Правда, иные авторитетные ценители той поры называли его писателем европейской величины, Гулливером среди лилипутов. Но Гулливеры всегда неудобны, а уж в несокрушимом лилипутском строю смотрятся совсем плохо. Поэтому не диво, что Кржижановскому при жизни удалось напечатать лишь одну повесть и несколько рассказов, да и те не вызвали широкого отклика. Изысканная и прихотливая, отражающая сложную работу мысли, эта проза требовала от не приученной к подобному аудитории слишком больших ответных усилий духа.

Она требует их и сегодня. Подобно самому Сигизмунду Доминиковичу, который никогда ни с кем не переходил на «ты», его книга своеобразна и полна достоинств, но общедоступность не из их числа. Возвращая литературе «прозванного гения», В. Перельмутер, составитель сборника, автор предисловия и комментариев, похоже, не ждет, что эта встреча станет триумфом. Рассказывая об удивительной личности писателя, его горькой судьбе и «странной прозе», он так заботливо взвешивает каждое слово, что сама эта тщательность выдает тревогу.

Между тем нынешние читатели в массе лучше подготовлены к восприятию творческой манеры Кржижановского. На исходе XX столетия она уже кажется едва ли не классической, внушает множество до смешного разнообразных литературных ассоциаций. Некогда Шенгели сравнивал

Кржижановского с Эдгаром По и Александром Гринем. В. Перельмутер, не без оснований причисляя писателя к гоголевскому направлению русской словесности, вместе с тем отмечает его родство с Кафкой, Борхесом, Камю, Честертоном, а заглядывая в более отдаленное прошлое, поминает Свифта и Гофмана. Возможны и другие параллели: скажем, мне проза Кржижановского напомнила философские повести французского XVIII века, театр Блока, черный юмор поэтов-сюрреалистов...

Правомерность любого из уподоблений нетрудно доказать, но сравнение с тем, что знакомо, не лучший способ проникнуть в суть мировидения писателя. Он, напоминающий столь многих, ни на кого не похож. Звучит как парадокс, но говоря о Кржижановском, трудно обойтись без парадоксов. Это его стихия как художника и мыслителя, причастного к «титаническому спору» философских учений.

Философия Кржижановского, его отношение к категориям случайности и закономерности, мнимого и сущего и прочему — тема, требующая отдельного исследования, ее лучше оставить в стороне, чем подвергать опасности торопливого упрощения. Сам Сигизмунд Доминикович признавался, что к писательству его привело сомнение в возможностях умозрительного познания мира, желание «подать апелляцию на понятия суду образов». Подчиненный замысловатой процедуре такого суда, писатель как бы претендует на документальность; скажем, повествование «Итанесиэс», поэтической легенды о странствиях «дивного народца», искавшего обетованную страну гармонии и тишины, начинается почти научной ссылкой на некий источник — «Азбуковник». И при

этом проза его может выглядеть педантично-рассудительной там, где царствует миф и вымысел,— предельно конкретными, вплоть до осязаемости, возникают перед читателем, например, реалии жутокватого мифа о новых людях, видящих мир перевернутым («Граий»).

Сложность произведений Кржижановского не имеет ничего общего с элитарной затменностью смысла. Напротив, писателем, видимо, потрачено немало изобретательности и фантазии, чтобы быть как можно понятнее. Обремененная громадной культурной традицией, его проза охотно пользуется легчайшими сюжетными конструкциями, теми же, что в ходу у литературной развлекательной. Формально сродни научной фантастике «Квадратурии» — рассказ о том, как некий житель коммуналки стал обладателем таинственного «средства для ращения комнат», и «Воспоминания о будущем» — повесть о похождениях изобретателя машины времени. К научно-фантастической антиутопии тяготеет «Желтый уголь». «Боковая ветка» строится по канонам приключенческого романа: героя обступают кошмарные тайны, стерегут рискованные совпадения, здесь есть погоня и подслушивание, потасовка над пропастью, неминуемая гибель и печальное избавление. Фабула «Тринадцатой категории рассудка» сгодилась бы для фильма ужасов... В прозе Кржижановского вообще много игры, даже театральности. Ее персонажи, будь то Иван Иванович из скучного провинциального Здесевска («Квадрат Пегаса») или ангел небесный, что фигурирует в том же рассказе, столь же выразительны, сколь условны. Неприкаянный литератор Савл Влоб («Чужая тема»), хоть и наделен автобиографическими чертами, сказочен не менее, чем эльф из «Смерти эльфа», а пугает подчас больше, чем не погребенный мертвец из «Тринадцатой категории рассудка», блуждающий среди живых.

Впрочем, когда речь идет о Кржижановском, не стоит так уж уверенно судить о том, что в книге реально, что условно. Скажем, Москва, где происходит действие многих его произведений, предстает таким бредовым наваждением, рядом с которым и Петербург Андрея Белого мог бы показаться уютным. Писателя преследует образ жутокго, лишенного красок, словно погруженного в вечные сумерки города-лабиринта, города-ловушки «с беспумно рушащимися домами, с напряженной до смертной истомы спешкой по спутанным улицам, неизменно приводящим снова и снова — всё к одному и тому же кривому перекрест-

ку, с тупой тоской глухих и мертвых переулков, то подводящих близко-близко к сиянию и гулу большой и людной площади, то вдруг круто поворачивающих назад в молчье и мертвь». Однако вспомним: это обреченная старая Москва, та самая, что бесшумно рушится перед нашими глазами, когда мы смотрим кинохронику 30-х. Значит, в двадцать пятом у Кржижановского не было никакого наваждения. Такое зовется иначе: пророчество.

Когда-то другому отечественному пророку, Гоголю, привиделся мечущийся в петербургской вьюге мстительный призрак человека, обездоленного людьми и судьбой. В книге Кржижановского человек, затерянный во времени и пространстве абсурдного мира, зачастую живет среди привидений, да и сам не уверен в своей реальности. Так, в рассказе «Швы» к «затравленному и полуиздохшему нищему», обитателю московских бульваров конца 20-х, приходит Пурвапакшин, «человек-миф, придуманный индусскими казуистами». Всегда и всему говорящий «нет», он становится единственным другом выброшенного из жизни российского интеллигента. Никто не видит, как в вечерних потемках возникает его сумрачная, закутанная в бурнус фигура и опускается на парковую скамейку рядом с бездомным оборванцем. Медленно умирая от голода, герой рассказа все еще занят разрешением вечных вопросов бытия, хотя никому, кроме его экзотического спутника, уже не узнать, какая работа совершается в его гаснущем мозгу.

Дело здесь не в сострадании. Оно подчас прорывается у Кржижановского, глухо, скупно, как глубоко запрятанная боль, но из толпы безликих его героя выделяет не тяжкая доля, а отвага рыцаря и мученика мысли. По сути, выбор происходит, как в сказках: кто дерзнет отправиться на бой с драконом или на поиски Кощейевой смерти, тот и герой. А уж силен он или слаб, простодушен или хитер, царский или коровий сын — дело случая. Его противник тоже сказочен — старый, как мир, неуязвимый, многоликий. Скажем, «Некто» из одноименного рассказа — он и тихий господин, персонаж детского задачника, и сам сатана. Повелитель цифр, вечно странствующий из города А в город Б, признается случайному собеседнику, что давно решил «задачу... самую трудную из всех» и получил в ответе — ноль. Но собеседник не признает эту встречу случайной, он ищет поединка с тем, кто планомерно сводит мир к искомому ноллю, кому «цифр не жалко, но нужен порядок». Зная тайное всеислие серо-

го «Некто», он все же твердит себе: «...рано ли, поздно ли, а будет встреча. Последняя. Я помню его «до свидания». Пусть. И тогда: или я — или он».

Думал ли Кржижановский о сталинизме? Скорее о природе мирового зла, небывалое торжество которого вершилось на его веку. Писатель бросает вызов противнику, за чьими плечами сотни, тысячи лет. Он вездесущ, вот почему путь героев Кржижановского, опять-таки как в сказке, начинается где придется и ведет куда глаза глядят. Как ищут смерть Кощея в зачарованном ларце, в улетающей птице, на кончике иглы, так они ведут свой бесконечные поиски в уличной толпе, в умпостроениях мыслителей прошлого, в темных глубинах собственного «я».

Последнее особенно характерно для персонажей Кржижановского, недаром писатель полагал, что мыслить значит «расколоться по мнению с самим собой». Если на то пошло, сомневаюсь, стоит ли вообще говорить о многих и разных героях этой книги. Мне здесь видится один, хоть и меняющийся обличья, герой. Внутренне диалогичная, сообразно давней традиции философской прозы, книга в целом воспринимается как его нескончаемый спор с самим собой. Прочие персонажи, если приглядеться, не отбрасывают тени, все они — из каверзного племени зазеркальных собеседников, ночных гостей, крупных и мелких бесов, созданных мыслью героя. Даже «Некто» и тот ему не чужой: это его демон. Отсюда роковая неотвратимость встреч и сумасшедший замысел помериться силами с губителем людского рода.

Но при всей надмирности и вневременности духовного единоробства, которое вершится в книге, ее герой принадлежит своей стране и эпохе. Недаром он так часто предстает в образе бедствующего литератора, отверженного новым строем сына «серебряного века». Угрюмый бродяга, он хранит в своей повадке что-то от былой утонченности. Он в грязном тряпье, но это, может быть, обрывки того голубого плаща, в котором блоковский персонаж некогда предстал перед звездной гостьей Марией. Он способен пасть низко, стать, как в «Чужой теме», попрошайкой, даже воровать собак, чтобы выманить у их владельцев вознаграждение за мнимую находку. Но речь выдает его, она порой так изящна и меланхолична, что в пору краснобаю Арлекину из «Балаганчика».

Что он «вычеркнут из списка» неправых советских граждан, что романтический плащ износился, а все выпренности размышления суть «метафизика без бутерброда» — это не вся беда. Над сознанием героя книги тяготеет трудное, но для верного сына все-таки священное наследство вскормившей его мысль, варварски попорченной культуры «серебряного века». Не она ли, утомленная своей сложностью, грезила о жестокой очистительной простоте мирового пожара, задумчиво склонялась к оправданию насилия, устами лучших поэтов слагала гимны грядущим гуннам и скифам? Когда звучат такие гимны, человеческое сердце должно смириться перед величием стихии или столь же беспощадным диктатом разума. Трагедия героя Кржижановского в том, что сердце, бьющееся в его груди, жаждущее доброты, любви, жалости, бесловесно еще от тех, лучших времен. А уж в царстве варваров, которые действительно пришли — прозаические, серые, с портфелями, — ему тем более не заговорить в полный голос. Боль души будоражит ум, побуждая искать спасительные доводы против бесчеловечности, но сама эта боль для героя Кржижановского не аргумент, она, как сказали бы сегодня, всего лишь «его обстоятельство». Если Сигизмунд Доминикович, по свидетельству знавших его, был одарен богатой жизнью чувства, то герой книги смотрит на мир без любви и гнева, с тоской человека, чьи плечи давит непосильная ноша. Для его сознания, не согласного с бытием, но берущего на себя все его грехи, сама мысль становится таким бременем. Это, в сущности, значит, что хрупкий, уязвимый Арлекин выходит на бой с древним Кощеем почти безоружным. Слово «люблю», когда-то волшебное, для него утратило былую силу, и кресты, еще венчающие московские храмы, кажутся ему плюсами, которые ничего не складывают. Просто верить, что жизнь священна, герою Кржижановского не дано, противостояние злу требует от него великих ухищрений духа. Но в лучшие минуты ему все же верится, что он не просто жертва, а лазутчик света в мир тьмы. Может быть, это лишь иллюзия «людей, которые ходят ночью по солнечной стороне, думая, что там теплее»? Писатель не знает ответа на этот вопрос.

А мы — знаем?

Ирина ВАСЮЧЕНКО.

Политика и наука

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗДРАВОВОГО СМЫСЛА

50/50. Опыт словаря нового мышления. М. «Прогресс» — «Пайо». 1989. 558 стр.

Эта книга сделана на основе двух композиционных принципов: она и лексикон, словарь, и в то же время диалог. Каждое входящее в корпус словаря понятие дается в двух версиях: советской и французской. Насколько нам известно, у такого издания нет аналога в мировой литературе. Есть толковые словари, есть энциклопедии с комментариями, но словарей с несколькими версиями одного и того же понятия вроде бы никто никогда не издавал. Почему же сейчас в нашей стране появилось это странное издание? Какую потребность — духовную или познавательную — оно удовлетворяет? Ответ очевиден: словарь-диалог — один из шагов на пути выхода из изоляции, попытка присоединиться к общемировому развитию, говорить на одном языке с остальным человечеством.

Потребность в лексиконе, в энциклопедии, в уточнении смыслов регулярно обнаруживается в переломные эпохи исторического развития, когда исчерпан старый консенсус относительно смысла и значения понятий. Самый общеизвестный пример — французские энциклопедисты, заложившие фундамент эпохи Просвещения своим знаменитым изданием. В нашей стране на рубеже веков, на волне общекультурного ренессанса, было издано несколько солидных лексиконов — например, энциклопедия Гранат и восьмидесятишеститомный Брокгауз и Ефрон. Актами сопротивления можно считать вышедшие в годы застоя Философскую энциклопедию и словарь «Мифы народов мира». Некоторым авторам этих изданий пришлось заплатить за нелояльность и нарушение общепринятых правил самоцензуры...

«50/50» — словарь нового мышления. В чем же смысл той духовной и нравственной революции, которая обозначена этим понятием? У всего нового бывает две ипостаси: критический отказ от старого и собственно новое. У нас это новое, как ни парадоксально, в основном представляет собой реабилитацию старого и общепризнанного. Совместный словарь-диалог — наша декларация о возвращении к общечеловеческим представлениям, признание поражения тшеславской попытки присвоить себе роль утопических демиургов, творцов нового мира. Об этом беспощадно говорит Ю. Левада в статье «Социология»: «...распадаются и

иллюзии в отношении... традиционного для отечественной культурной традиции ожидания социального чуда: просветительски-модернизационный мессианизм исчерпал себя».

Итак, сегодня с нами можно по крайней мере говорить на общечеловеческом языке. Это не значит, что мы во всем единомышленники с французскими партнерами, но расхождения в истолковании понятий исходят уже от личности, а не от классов или социальных систем. На суперобложке книги понятие «личность» вынесено на первое место. В самом словаре оно находится в начале второго раздела и представлено в трех статьях: А. Эткинда, В. Мухиной (СССР) и А. Турена (Франция).

Чтобы воспрятьнуть от тоталитаризма, люди должны прежде всего сбросить бетонную плиту принудительного коллективизма. Об этом пишет А. Эткинд: «Доминирование абстрактно-государственных интересов преодевается решительным поворотом в сторону индивидуальных, семейных, групповых и коллективных форм человеческой жизни». Уже здесь, в определении приоритетов развития свободной личности, обрисовывается некий контрапункт, который присутствует во всех наших диалогах с Западом, ибо он обусловлен стадийными различиями в истории наших обществ. У нас проблема состоит в том, чтобы сначала дать возможность людям отдохнуть от массовидности, от толпы, от скученности в убогом жилье, от парт- и профсобраний, от давки в общественном транспорте. На Западе же преобладал индивидуализм, поэтому общество сейчас усиленно ищет гармоничных форм коллективности, не противоречащих интересам свободного развития личности. Аллен Турен в своем истолковании личности сразу переходит к проблеме кризиса индивидуализма, выход из которого он связывает с феноменом 80-х годов — так называемыми новыми социальными движениями: «Понятие индивида не является более синонимом эмансипации, оно все больше становится ширмой для всяческого принуждения к конформизму перед лицом сил, господствующих в социальной жизни. Напротив, главный принцип новых социальных движений заключается впрямь в понятии субъекта. Этот принцип ставит в качестве цели коллективных действий обеспечение большинству людей возможности жить своей

собственной жизнью, на высшем уровне проявления индивидуальности».

Для нас требование Турена понятно, но пока неприемлемо. Должна пройти целая эпоха социальной эволюции, прежде чем мы, уже став свободными индивидами, сможем поставить себе как ближайшую цель воссоздание нетоталитарной коллективности. Сейчас наша добровольная коллективность выражается в отнюдь не всегда созидательных митингах и демонстрациях, в попытках наладить нетрадиционные формы коммерческой активности (кооперацию, артели, бригады), а также в мафиозных структурах власти и теневой экономики. Что касается положительного противовеса этим малопривлекательным объединениям по-настоящему заинтересованных единомышленников, то тут налицо дефицит коллективности. В отличие от стран Восточной Европы, где политические единомышленники нашли друг друга в считанные дни после падения тоталитарных режимов, у нас за пять лет так и не сформировался новый партийно-политический спектр; несмотря на явное наличие групп единомышленников среди экспертов, специалистов (например, экономисты — сторонники рыночной экономики), нет оформленных научных школ; даже неформальные объединения распадаются прежде, чем широкая публика получает информацию об их возникновении. Полным ходом идет распад искусственно созданной тоталитарной целостности общества, к сожалению, не уравнивающий процессом его нового структурирования. Вакуум власти, провороты впустую механизмов экономической реформы обусловлены в значительной степени (хотя и не на все сто процентов) именно атомарным состоянием общества. Насилие, на котором держалась социальность, отступило, а собственные внутренние силы, оформляющие его кристаллическую решетку, еще не включились, не работали.

Итак, в данный исторический момент у нас нет личности, нет общности и нет, по сути дела, государственности. Чего еще нет? Нет частной жизни, об этом пишет Л. Седов: «Постоянные нехватки, очереди, коммунальные квартиры — все эти пытки бытом, а в довершение всего груз мнимодобровольной псевдообщественной работы, всевозможные идеологические накачки и т. п. практически лишали человека частной жизни, облегчали государству тотальный контроль за всеми его жизненными отправлениями».

Может, есть еще последнее прибежище человека — семья? Увы, и семьи тоже нет.

Социолог И. Бестужев-Лада не оставляет у читателя никаких иллюзий на этот счет. «Русский сатирик XIX века М. Е. Салтыков-Щедрин написал сказку о жителях города Глупова, которые штурмом взяли свой собственный город и своих собственных жен и дочерей самим себе отдали на поругание. Мы повторили их подвиг и в довершение отдали на поругание самим себе самих себя» — таков беспощадный приговор семье в лексиконе нового мышления.

Не лучше обстоит дело и с общественным мнением: «Увы, правы те, кто ставит под сомнение существование в СССР общественного мнения в прошлом и настоящем... понятие, на протяжении последних десятилетий практически полностью отсутствовавшее в политическом лексиконе советского общества». Правда, автор этих слов Б. Грушин признает, что общественное мнение включено в массовое сознание, но это мало утешает — нерелеферирующее отражение присуще почти всем живым организмам, вплоть до растительных.

Ю. Левада считает, что нет интеллигенции: «В функциональной системе, именованной реальным социализмом, интеллигенция утратила свою идентичность; насмешкой судьбы можно считать сохранение ее имени для обозначения определенной рубрики в таблице социально-профессиональных позиций». Как тут не вспомнить Воланда с его изумленно-издевательским вопросом: «Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!»

Чтобы свести дебет с кредитом, давайте посмотрим, а что у нас есть. Должно же быть хоть что-то, раз есть как минимум авторский коллектив высокого уровня, создавший этот замечательный словарь, зеркало сегодняшнего состояния нашего общества! Есть много такого, что никого не может обрадовать: тоталитаризм (см. статья С. Серебряного и К. Ингерфлома), национализм (Г. Гусейнов), алкоголизм («К началу перестройки наше общество было весьма сильно поражено и этой болезнью», — пишет М. Левин). Есть у нас и такие понятия, которые непередадимы на иностранные языки, — например, пресловутая «прописка» или «объективизм». Как объяснить человеку вне нашего культурного контекста, что «объективность» — хорошо, а «объективизм» — плохо?

Новое мышление — наша единственная надежда и оружие в борьбе со всем тем, что у нас есть, за все то, чего пока нет.

Во французской версии (Ж. Бианде) новое мышление определяется как «советская доктрина международных отношений, из-

ложенная М. Горбачевым во второй части книги „Перестройка“. А вот А. Бовин — уже не в первый раз — характеризует данный феномен как «синтез, объединение науки и политики или, иными словами, как применение научных методов, научных подходов к политической деятельности».

Не хотелось бы втягиваться в схоластический спор с авторитетным политическим комментатором, но вопрос слишком важен, чтобы о нем не упомянуть. Как ни прискорбно, но, видимо, то, что Ю. Левада называет просветительски-модернизационным мессианизмом, все же не исчерпало себя до конца. Представление о науке как основе политики и социальной жизни вообще было присуще старому, доктринальному мышлению, претендовавшему, как известно, на научный характер своих догм и принимаемых якобы на их основе решений. Едва ли мы сможем преодолеть нынешний кризис, если будем исходить из того, что в прошлом, мол, недобросовестно отнеслись к неким «настоящим», «подлинным» теоретическим принципам, — отсюда и неудача в «строительстве общества на научной основе». На самом деле любой мало-мальски грамотный ученый-обществовед прекрасно знает, что никакого научно обоснованного общественного строя (системы) не может быть. В обществе действуют совсем иные механизмы, нежели в научном познании. Научные теории разрабатываются экспертами. А эффективное управление обществом, как показала реальная история, основано на представительстве интересов и волеизъявлении широких масс населения. Наука по природе своей инструментальна, она дает ответ на вопрос «как надо сделать?», и очень редко можно на научной основе определить, что именно надо делать. Культурные и гуманистические ценности, определяющие в конечном счете индивидуальное и коллективное целеполагание, иррациональны и не могут быть обоснованы научно. Они могут быть предметом научного анализа; их можно объяснить причинно, можно истолковать символический смысл того или иного социального действия. Этим занимается социология, стоящая на позициях «свободы от оценок».

Нам представляется, что наиболее плодотворным элементом социального прогресса является не наука, а некая неуловимая социальная органика — с элементами стихийности, культурного традиционализма и другим «балластом», замедляющим, вероятно, социальный прогресс, но придающим ему устойчивость и соразмерность с реальными возможностями и потребностями об-

щества. На научной основе можно разрабатывать социальные технологии, продуктивные для решения задач среднего уровня, в рамках отрасли или конкретного проекта. Но едва ли целесообразно моделировать такие объемные понятия, как «общественно-экономическая формация», «способ производства», «цель исторического развития» и т. п. Опыт свидетельствует, что в таких случаях любое притязание на научные теории оборачивается насилием над историей, чреватым самой тяжелой расплатой.

Так что не прав А. Бовин, утверждая, что «новое политическое мышление следует тем же методологическим установкам, что и научное мышление вообще». Напротив — оно зародилось не в научном и не в теоретическом, а в практически-политическом контексте. В разных сферах возможных его различные истолкования. В функциональном плане новое мышление можно определить как своего рода социальный код, способный порождать множество индивидуальных комбинаций. Не следует думать, что новое мышление означает одно и то же для людей с различной исходной позицией: оно не тождественно для правых и левых, для развитых стран и для развивающихся. От политических деятелей оно требует большей рациональности, предсказуемости поведения. От деятелей искусства, наоборот, возвышения эмоционального, духовного начала, задавленного псевдорациональными идеологическими схемами. В сфере гражданского общества принципы нового мышления должны активизировать гуманизм, терпимость, возрождать забытый идеал свободы.

Из всех ипостасей нового мышления наименее ясен именно его научный, теоретический аспект. Это феномен изначально инструментальный, и ему сродни идеологические, а не теоретические критерии. И А. Бовин и французский автор Ж. Бинде, для которого первостепенное значение имеет внешнеполитический срез нового мышления, не упоминают о том, что в конечном счете носителем нового мышления должно стать массовое сознание. Именно здесь оно должно вытеснить некое старое мышление. Историки и социологи знают, что социальная система отливается в такие формы, которые соответствуют среднему уровню массового сознания. В этом смысле «Котлован» и «Чевенгур» А. Платонова — точный портрет массового сознания, подогнавшего под себя спущенный сверху идеал социализма.

На самом деле антиподом нового мышления является не старое мышление, а отсут-

ствие всякого мышления. У нас за спиной период ритуальной социально-политической риторики, несоотносимой с реальностью. Заполнить этот вакуум должны не наука и не теория, а самый обычный здравый смысл, не деформированный утопическими и идеологическими мифами. Реабилитация здравого смысла — это задача номер один и для науки, и для публицистики, и для полити-

Общество — живой организм, и в нем действует принцип незавершенности, открытости, по поводу которого норвежский исследователь Э. Дамман сказал: «Альтернативой всеобщему и окончательному является не другое всеобщее и окончательное, а не завершённое, которое остается революционным, ибо оно никогда не превращается в нечто жестко ограниченное, а постоянно пребывает на пути к новому и неизвестному». Сам словарь нового мышления построен по принципу именно такой благотворной, жизнеподобной незавершенности. Это не «разум в алфавитном порядке» (так был озаглавлен изданный в Женеве и Лондоне «Философский словарь» Вольтера), а «кладези и бездны» энциклопедии (слова Рабле). Маленькие эссе, каковыми является каждая статья, — это и блестящий автопортрет авторов, и обобщенный портрет двух культур, вступивших в плодотворный диалог на страницах словаря. По степени концентрации мысли и стилистическому совершенству текста книга представляет собой выдающееся явление даже на фоне нынешней публицистики, богатой талантами. Отличительной чертой словарных статей является передача содержания на стыке образа и понятия — академизм, научная строгость сочетаются с такой внутренней динамикой изложения, которая не отпускает читателя, ведет от статьи к статье, открывает все новые виды интеллектуального ландшафта, по которому гуляет эхо, внутренняя перекличка идей, образов, логики, доводов и контрдоводов. Так, в статье М. Абенсура «Утопия» гулко аукнулся факт тотального отрицания, явившегося в нашей нынешней ситуации как реакция на не изжитый еще тоталитаризм: «Маркс умер, утопия умерла, анархизм стал трупом. Кто же выживет? Нет, это не мощное живительное очищение от прошлого, открывающее новые горизон-

ты. Это больше походит на уборку квартиры, когда на виду у всех выбрасывают в окно свои иллюзии. Это горькое время подведения итогов перед тем, как обосноваться здесь всерьез и надолго, время, осененное крылом глупости. Такая позиция проникнута злопамятством, ее пафос — лишь оборотная сторона революционной серьезности и реакция на нее. Это — позиция зашедших в тупик интеллектуалов, уставших быть идеологами партии и превратившихся в пророков, чтобы надежнее уберечь привилегии мышлящей корпорации». Не об этом ли, но иными словами говорит А. Фадин в статье «Права человека», констатируя наличие замкнутого круга в споре между Властью и Антивластью в русской истории: «Тотальная власть порождает тотальный бунт»? И не эта ли дилемма возникает сейчас на многочисленных митингах, хрестоматийно воспроизводящих самые тушкотовые эпизоды недавнего исторического прошлого?

Если бы можно было уточнить заглавие словаря, то его, пожалуй, стоило бы слегка изменить: не «Опыт словаря нового мышления», а «Манифест нового мышления». Ибо то, что думают А. Гуревич, М. Гефтер, Ю. Левада, А. Сахаров, Г. Гусейнов и другие авторы словаря, не является достоянием массового сознания, нехарактерно для его уровня. Наоборот, специалисты, ставшие партнерами по диалогу в рамках словаря нового мышления, являются (или являлись в течение долгого времени) группой-изолятом в рамках нашей политической культуры. Объединившись с представителями «другого мира», они создали книгу, которая сама и есть «мир миров», если взять слова М. Гефтера, обозначившего так будущее человеческое сообщество, «...но интеллектуальная революция, — по словам С. Аверинцева, — становится из возможности фактом не тогда, когда открыт новый способ мыслить, а тогда, когда этот способ мыслить доведен до сведения всех носителей данной культуры» («Вопросы философии», 1989, № 3).

Общество наше пока не подошло к тому состоянию, которое соответствовало бы «миру миров», заключенному под обложкой словаря. И в этом отношении он, можно сказать, обогнал свое время.

**Н. БРОСОВА,
А. ЛИСЮТКИНА.**

КОРОТКО О КНИГАХ

*

ДЖЕЙМС ДЖОЙС. Улисс. Роман. Перевод с английского В. Хинкиса и С. Хоружего. «Иностранная литература», 1989, № 1—12.

В потоке новых захватывающих публикаций отечественной литературы почти незамеченным оказался первый полный перевод Джойсова «Улисса». А ведь этого события жаждали. Давно оттремели на Западе бои вокруг «скандального» произведения, возмущавшего в 20—30-е годы разного рода «непристойностями» и «кошмарами» блюстителей литературного и нравственного этикета. Р. Олдингтон осудил ирландского коллегу за «ненависть к человечеству» и «отвращение к человеческому телу», Г. Уэллс увидел в романе всего лишь «литературный эксперимент», ведущий прямиком в тупик. Более десяти лет после выхода в 1922 году «Улисс» подвергался цензурным гонениям в Англии и США за «нарушение приличий».

Если б не политические обстоятельства, Джойс мог бы надеяться на более благоприятный прием в России. Ведь «Петербург» А. Белого явно превосхищает книгу о Блауме и Дедалусе своей идейно-художественной структурой: образные системы обоих романов пронизаны многоуровневой символикой, объемлющей микро- и макрокосм, быт и апокалиптику. Разнообразные параллели Джойсу можно найти в ранней советской литературе — это ассоциативно-символическая проза Б. Пильняка, безудержный разлив речевой стихии у Артема Веселого, «роскошные» грубости Бабея и многое другое. На волне этого дружеского интереса к зарубежному новатору-классику и началось печатание «Улисса» в журнале «Интернациональная литература» в 1935—1936 годах. Над сложнейшей задачей дать адекватный русский текст романа трудилась целая бригада талантливых молодых переводчиков — Н. Волжина, Е. Калашникова, И. Кашкин, В. Топер и другие. Но дело не было доведено до конца: Джойс, как и многое иное, оказался не ко двору. И лишь с конца 50-х известность его снова стала доходить до нас, но лишь как свет отдаленной звезды. Новое поколение советских авторов училось тогда у Хемингуэя, усвоившего кое-что из джойсовской техники потока сознания. Это было подражание подражанию. Увлекались внутренним монологом в 70-е годы литовские романисты Й. Авижюс, В. Бубнис и М. Слущкис, но этот опыт не подкреплялся в их творчестве концепцией свободной личности.

И все-таки логика художественного развития брала свое. Уже в последние годы стали появляться крупные произведения Ч. Амиразжиби, О. Чиладзе, А. Кима, А. Би-

това, в которых — скорее всего независимо от интенций авторов — все органичнее проступают качества, которые могли бы оказаться близкими творцу «Улисса»: расширяющееся разнообразие форм субъективной речи, ее интеллектуализация и т. п.

Знакомство с русским переводом романа Джойса поможет нашим писателям обрести некоторые ориентиры в безбрежном море современной романной прозы. Они увидят, что в вершинных своих проявлениях модернизм — это не хаос и не набор отдельных приемов вроде того же «потока сознания», а некая, пусть и с великим трудом достигаемая, целостность, в которой тяжеловесность и герметичность многих образов, их натуралистичность или, наоборот, экзотичность уравниваются особыми глубинными эффектами: виртуозно строгой ритмичкой повествования, его символической сверхконцентрацией, позволяющей автору в одни сутки романного действия, в пределах одного города втиснуть почти всю историю человечества.

Конечно, такой титанически дерзкий эксперимент в искусстве не мог обойтись без издержек. И чем дальше отстоит читатель от реалий, изображаемых или подразумеваемых писателем, от культуры, его взрастившей, тем труднее адресату джойсовского текста обходиться без комментариев к книге. К счастью, таковые в журнальной публикации есть; хотелось бы, чтобы эти комментарии, составленные Е. Гениевой, были еще более детальными, и это единственное к ним замечание.

Что касается перевода В. Хинкиса и С. Хоружего, то прежде всего надо отметить колоссальность проделанного ими труда. Конечно, им было легче, чем их предшественникам, но все равно сколько же понадобилось им выдумки, эрудиции, лингвистического чутья, чтобы передать все лексическое изобилие романа, его прихотливо-гибкую фразировку, его многоязычие, богатство его пародийно-стилизаторских оттенков и многожанровость.

Есть правда, в новом переводе один существенный недостаток, вызванный таким объективным обстоятельством, как большая краткость английских слов по сравнению с русскими. Поэтому русский Джойс подчас звучит более вяло, чем в оригинале. Так, первая фраза из отрывка «Как говаривал Везерап» (седьмой эпизод «Эол») в русском тексте имеет 32 слога, в то время как ее английский эквивалент равен 21 слогу, на целую треть меньше! Но о переводе в целом нужен особый разговор. Главное же в том, что наши читатели имеют наконец своего «Улисса», одну из великих книг мировой литературы.

В. Вахрушев.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

*

ПОЛИТИЗДАТ

Социальные ориентиры обновления: общество и человек. Под общей редакцией Т. Заславской 448 стр. Цена 1 р. 50 к.

И. Тарасевич. Примирения нет. Повесть о Д. Писареве («Пламенные революционеры») 381 стр. Цена 1 р. 30 к.

А. Яновлев. Оптимизация идеологической работы 240 стр. Цена 1 р. 10 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Белый. Серебряный голубь. («Забытая книга») 463 стр. Цена 2 р. 20 к.

Л. Добычин. Город Эн. Рассказы. («Забытая книга») 222 стр. Цена 70 к.

И. Лажечников. Последний Новик. Роман («Классики и современники») 511 стр. Цена 2 р. 40 к.

Д. Мережковский. Воскрешение боги. Леонардо да Винчи. 640 стр. Цена 4 р. 50 к.

«РАДУГА»

Бриллиантовая свадьба. Повести и рассказы писателей Финляндии. Перевод с финского, шведского 478 стр. Цена 3 р. 10 к.

А. Гроссо. Гости. Роман. Перевод с испанского («Современная испанская литература») 160 стр. Цена 1 р.

Современная югославская повесть. 80-е годы. Перевод с разных языков, 496 стр. Цена 3 р. 40 к.

Царь-дерево. Современные китайские повести. Перевод с китайского. 544 стр. Цена 3 р. 50 к.

«ПРОГРЕСС»

В. Кёппен. Голуби в траве. Теплица. Смерть в Риме. Перевод с немецкого. («Политический роман») 505 стр. Цена 3 р. 40 к.

Ф. Нибел, Ч. Бейли. Семь дней в мае. Перевод с английского. («Политический роман») 336 стр. Цена 2 р.

Ю. Торвальд. Век криминалистики. Перевод с немецкого. 335 стр. Цена 3 р. 30 к.

Э. Фромм. Бегство от свободы. Перевод с английского. 271 стр. Цена 1 р. 10 к.

«СОВРЕМЕННОК»

Записки очевидца. Воспоминания Дневники. Письма Мемуары, связанные с русской историей и культурой XVIII—XX веков 720 стр. Цена 2 р. 80 к.

В. Набоков. Романы. Машенька Защита Лужина Камера обскура Приглашение на казнь. 541 стр. Цена 5 р.

В. Соловьев. Литературная критика (Библиотека «Любителям российской словесности Из литературного наследия») 422 стр. Цена 1 р. 90 к.

С. Чупринин. Настоящее настоящее. Три взгляда на современную литературную смуту. («Диалог со временем») 160 стр. Цена 30 к.

«НАУКА»

М. Алексеев. Русская литература и ее мировое значение. Л. 413 стр. Цена 4 р. 50 к.

Чеховиана. Статья, публикации, эссе. 277 стр. Цена 2 р.

Япония. 1988. Ежегодник. 314 стр., с илл. Цена 1 р. 80 к.

МЕСТНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

М. Бекетова. Воспоминания об Александре Блоке. («Литературные воспоминания») М. «Правда» 671 стр., с илл. Цена 2 р. 90 к.

Париж изменчивый и вечный. Сборник произведений Перевод с французского Л. Издательство ЛГУ 629 стр. Цена 4 р. 20 к.

Э. Радзинский. Последняя из дома Романовых. Повести в диалогах М. СП «Вся Москва». 495 стр. Цена 5 р.

Ю. Черный-Диденко. Вечерние огни Роман, рассказы, очерки, статьи Киев «Радянський письменник». 304 стр. Цена 1 р. 40 к.

Редакция рукописи не рецензирует и объемом меньше 2 печатных листов не возвращает.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

В. П. Астафьев, А. Г. Битов, В. М. Борисов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), **Ф. К. Виграшку** (зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов, Д. А. Гранин, И. Я. Зигдонис, В. А. Костров** (зам. главного редактора), **Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева, Е. Л. Храмов, О. Г. Чухонцев, В. А. Ярошенко**

Технический редактор **А. С. Гинзбург**

Адрес редакции 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2 Тел. 200 08-29.

Сдано в набор 20.03.90

Подписано в печать 20.08.90

Формат бумаги 70×108^{1/16}. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 17 п. л.

(23,8 усл. печ. л., 24,0 усл. кр.-отт.) 27,02 уч.-изд. л.

Тираж 2.710.000 экз. (1-й завод 1—400.000 экз.). Зак. 1351. Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798, Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, 103798, Москва, Пушкинская пл., 5

1 р. 20 к.

Индекс 70636

ISSN 0130-7673 Новый мир, 1990, № 6, 1—272.